Герберт Уэллс





СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ПЯТНАДЦАТИ
ТОМАХ

ТОМ 3

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» • ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
МОСКВА • 1964

Собрание сочинений выходит
под общей редакцией
Ю. Кагарлицкого.

Первые люди на луне

Три тысячи стадий от Земли до Луны... Не удивляйся, приятель, если я буду говорить тебе о надземных и воздушных материях. Просто я хочу рассказать по порядку мое недавнее путешествие.

«Икароменипп» Лукиана.

ГЛАВА I

МИСТЕР БЕДФОРД ВСТРЕЧАЕТСЯ С МИСТЕРОМ КЕЙВОРОМ В ЛИМПНЕ

Когда я сажусь писать здесь, в тени виноградных лоз, под синим небом южной Италии, я с удивлением вижу, что мое участие в необыкновенных приключениях мистера Кейвора было чисто случайным. На моем месте мог оказаться любой другой. Я впутался в эту историю в то время, когда меньше всего думал о каких-либо приключениях. Я приехал в Лимпн, считая это место самым тихим и спокойным в мире. «Здесь, во всяком случае,— говорил я себе,— я найду покой и возможность работать».

И в результате — эта книга. Так разбивает судьба все наши планы.

Здесь, быть может, уместно упомянуть, что еще недавно мои дела были очень плохи. Теперь, живя в богатой обстановке, даже приятно вспомнить о нужде. Допускаю даже, что до некоторой степени я сам был виновником моих бедствий. Вообще я не лишен способностей, но деловые операции не для меня. Но в то время я был молод и самонадеян и среди прочих грехов молодо-

сти мог похвастать и уверенностью в своих коммерческих талантах; я молод еще и теперь, но после всех пережитых приключений стал гораздо серьезней, хотя вряд ли это научило меня благоразумию.

Едва ли нужно вдаваться в подробности спекуляций, в результате которых я попал в Лимпн, в Кенте. Коммерческие дела связаны с риском, и я рискнул. В этих делах все сводится к тому, чтобы давать и брать, мне же пришлось в конце концов лишь отдавать. Когда я уже почти все ликвидировал, явился неумолимый кредитор. Вы, вероятно, встречали таких воинствующих праведников, а может быть, и сами попадали в их лапы. Он жестоко разделался со мной. Тогда, чтобы не стать на всю жизнь клерком, я решил написать пьесу. У меня есть воображение и вкус, и я решил бороться с судьбой. И дорого продать свою жизнь. Я верил не только в свои коммерческие способности, но и считал себя талантливым драматургом. Это, кажется, довольно распространенное заблуждение. Писание пьес казалось мне делом не менее выгодным, чем деловые операции, и это еще более окрыляло меня. Мало-помалу я привык смотреть на эту ненаписанную драму как на запас про черный день. И когда этот черный день настал, я засел за работу.

Однако вскоре я убедился, что сочинение драмы потребует больше времени, чем я предполагал; сначала я клал на это дело дней десять и прежде всего хотел иметь «pied-à-terre»[1], поэтому я и приехал тогда в Лимпн. Мне удалось найти небольшой одноэтажный домик, который я и нанял на три года. Я расставил там кое-какую мебель и решил сам готовить себе еду. Моя стряпня привела бы в ужас миссис Бонд, но, уверяю вас, готовил я недурно и с вдохновением. У меня были две кастрюли для варки яиц и картофеля, сковородка для сосисок и ветчины и кофейник — вот и вся нехитрая кухонная утварь. Не всем доступна роскошь, но устроиться скромно можно всегда. Кроме того, я запасся восемнадцатигаллонным ящиком пива — в кредит, конечно,— и отпускающий на веру булочник являлся ко мне ежедневно. Разумеется, устроился я не как сибарит, но у

[1] Pied-à-terre — временное помещение (*франц.*).

меня бывали и худшие времена. Я немного беспокоился о булочнике — он был славный малый,— однако надеялся, что сумею с ним расплатиться.

Без сомнения, для любителей уединения Лимпн — самое подходящее место. Он расположен в глинистой части графства Кент, и мой домик стоял на краю старого приморского утеса, откуда за отмелью Ромни-Марш виднелось море. В ненастную погоду место это почти неприступно, и я слышал, что иногда почтальону приходится перебираться через болота на ходулях. Хотя я не видел сам, но верю этому. Перед дверями лачуг и домишек деревни повсюду торчат воткнутые в землю березовые веники для очистки обуви от налипшей глины, и по одному этому можно судить, какая тут грязь.

Я думаю, что это место осталось бы необитаемым, если бы не наследие давно минувших времен. Когда-то, в эпоху Римской империи, здесь была большая гавань, Портус Леманус; с тех пор море отступило на целые четыре мили. На всем склоне крутого холма еще сохранились камни и кирпичи римских построек, и старинная Уотлинг-стрит, до сих пор еще местами замощенная, прямая как стрела, тянется на север.

Я часто стоял на холме и думал о кипевшей здесь некогда жизни, о галерах и легионах, о пленниках и начальниках, о женщинах и торговцах, о дельцах вроде меня, о сутолоке и шуме гавани.

А теперь здесь лишь кучи мусора на заросшем травой скате холма, две-три овцы да я!

Там, где была гавань, вплоть до отдаленного Дандженеса, расстилается лишь болотистая равнина с редкими метелками деревьев да церковными башнями старых средневековых городов, которые теперь так же приходят в упадок, как некогда приморский Леманус.

Вид на болото — один из самых красивых, какие мне случалось встречать. Данджeнес находится отсюда милях в пятнадцати; он кажется плотом в море, а далее к западу виднеются холмы Хастингса, особенно заметные на закате. Иногда они вырисовываются отчетливо, иногда бывают подернуты дымкой, а в туманную погоду их часто совсем не видно. Вся болотистая равнина исполосована плотинами и канавами.

Окно, у которого я работал, выходило в сторону холмов, и из этого окна я впервые увидел Кейвора. Я корпел над сценарием, стараясь сосредоточиться на трудной работе, и, естественно, Кейвор привлек к себе мое внимание.

Солнце уже закатилось, небо окрасилось в желтый и зеленый цвета, и на фоне заката вдруг появилась темная странная фигурка.

Это был низенький, кругленький, тонконогий человек с неровными, порывистыми движениями; на нем было пальто и короткие брюки с чулками, как у велосипедиста, а гениальную голову покрывала шапочка, как у игроков в крикет. Зачем он так нарядился, не знаю: он никогда не ездил на велосипеде и не играл в крикет. Вероятно, все это были случайные вещи. Он размахивал руками, подергивал головой и жужжал—жужжал, как мотор. Вы, наверно, никогда не слышали такого жужжания. Время от времени он прочищал себе горло, неимоверно громко откашливаясь.

Недавно прошел дождь, и порывистость его походки усиливалась от скользкой тропинки. Встав прямо против солнца, он остановился, вынул часы и с минуту постоял словно в нерешительности. Потом судорожно повернулся и поспешно пошел назад, не размахивая больше руками, но широко шагая неожиданно большими ногами, которые, помнится, казались еще уродливей от налипшей на подошвы глины; видимо, он очень торопился.

Это случилось как раз в день моего приезда, когда я всецело был поглощен своей пьесой и досадовал, что потерял из-за этого чудака пять драгоценных минут. Я снова принялся за работу. Но когда на следующий день явление повторилось с поразительной точностью и стало повторяться регулярно каждый вечер, если не было дождя, я уже не мог сосредоточиться над сценарием. «Это не человек, а какая-то марионетка; можно подумать, что он нарочно так двигается», — сказал я с досадой, проклиная его от всего сердца.

Но скоро досада сменилась удивлением и любопытством. Зачем он это проделывает? На четырнадцатый вечер я не выдержал, и как только незнакомец появился, открыл широкое окно, прошел через веранду и направился к тому месту, где он всегда останавливался.

Когда я подошел, он держал в руке часы. У него было круглое румяное лицо с красноватыми карими глазами; раньше я видел его лишь против света.

— Одну минуту, сэр,— сказал я, когда он повернулся.

Он посмотрел на меня с удивлением.

— Одну минуту,— промолвил он,— извольте. Если же вы желаете говорить со мной дольше и не будете задавать слишком много вопросов — ваша минута уже прошла,— то не угодно ли вам проводить меня?

— Охотно,— ответил я, поравнявшись с ним.

— У меня свои привычки. И время для бесед ограничено.

— В это время вы обычно прогуливаетесь?

— Да, я прихожу сюда любоваться закатом солнца.

— Не думаю.

— Сэр!

— Вы никогда не смотрите на закат.

— Никогда не смотрю?

— Никогда. Я наблюдаю за вами тринадцать вечеров подряд, и вы ни разу не смотрели на закат, ни разу.

Он сдвинул брови, как бы решая какой-то вопрос.

— Все равно я наслаждаюсь солнечным светом, атмосферой, я гуляю по этой тропинке, через те ворота,— он кивнул головой в сторону,— и кругом...

— Нет, вы никогда так не ходите. Это неправда. Сегодня вечером, например...

— Сегодня вечером! Дайте вспомнить... А! Я только что взглянул на часы и, увидев, что прошло уже три минуты сверх положенного получаса, решил, что гулять уже поздно, и пошел назад.

— Но вы постоянно так делаете.

Он посмотрел на меня и задумался.

— Может быть. Пожалуй, вы правы... Но о чем вы желали поговорить со мной?

— Вот именно об этом.

— Об этом?

— Да, зачем вы это делаете? Каждый вечер вы приходите сюда жужжать.

— Жужжать?

— Да. Вот так.

И я изобразил его жужжание.

Он посмотрел на меня: очевидно, звук ему не понравился.

— Разве я так делаю?

— Каждый вечер.

— А я и не замечал.— Он остановился и посмотрел на меня серьезно.— Неужели,— сказал он,— у меня уже образовалась привычка?

— Похоже на то. Не правда ли?

Он оттянул нижнюю губу двумя пальцами и уставился в лужу у своих ног.

— Мой мозг все время занят,— сказал он.— Значит, вы хотите знать, почему я это делаю? Уверяю вас, сэр, что я сам не знаю, почему, я даже не замечаю этого. А ведь, пожалуй, вы правы: я никогда не заходил дальше этого поля... И это мешает вам?

Я несколько смягчился.

— Не мешает,— сказал я.— Но вообразите, что вы пишете пьесу.

— Не могу этого вообразить.

— Тогда представьте, что занимаетесь чем-нибудь, что требует сосредоточенности.

— Да, конечно,— сказал он и задумался.

Он казался таким огорченным, и я смягчился еще больше. К тому же с моей стороны было довольно невежливо требовать от незнакомого человека объяснений, зачем он жужжит в общественном месте.

— Вы видите,— сказал он робко,— это уже привычка.

— Вполне согласен с вами.

— Это надо прекратить.

— Зачем же, если вам нравится? Притом я не так уж занят, у меня нечто вроде отпуска.

— Вовсе нет,— возразил он,— вовсе нет. Я очень обязан вам. Мне следует воздержаться от этого. Я постараюсь. Могу я попросить вас воспроизвести еще раз это жужжание?

— Вот так,— сказал я,— «ж-ж-ж-ж»... Но знаете...

— Я очень вам обязан. Действительно, я рассеян до нелепости. Вы правы, сэр, совершенно правы. Да, я вам очень обязан. Это прекратится. А теперь, сэр, я уже увел вас дальше, чем следует.

— Надеюсь, вы не обиделись...

— Нисколько, сэр, нисколько.

Мы посмотрели друг на друга. Я приподнял шляпу и пожелал ему доброго вечера. Он порывисто раскланялся, и мы разошлись.

У изгороди я оглянулся на удалявшегося незнакомца. Его манеры резко изменились; он шел, прихрамывая, весь съежившись. Этот контраст с его оживленной жестикуляцией, с жужжанием почему-то странно растрогал меня. Я наблюдал за ним, пока он не скрылся из виду, и, от всей души жалея, что полез в чужие дела, поспешно вернулся в домик, к своей пьесе.

Следующие два вечера он не появлялся. Но я все время думал о нем и решил, что как комический тип сентиментального чудака он мог бы, пожалуй, войти в мою пьесу. На третий день он зашел ко мне.

Сначала я недоумевал, почему он пришел: он вел безразличный разговор самым официальным образом, а затем вдруг перешел к делу. Он желал купить у меня домик.

— Видите ли,— сказал он,— я нисколько не сержусь на вас, но вы нарушили мои старые привычки, мой дневной распорядок. Я гуляю здесь уже много лет — целые годы! Конечно, я жужжал... Вы сделали это невозможным!

Я заметил, что он мог найти другое место для прогулок.

— Нет. Здесь нет другого такого места. Это единственное. Я уже справлялся. И теперь после обеда, в четыре часа, я не знаю, куда мне деваться.

— Ну, дорогой сэр, если это так важно для вас...

— Чрезвычайно важно. Видите ли, я... я исследователь. Я занят научными изысканиями. Я живу...— Он запнулся и, видно, задумался.— Вон там,— закончил он, внезапно махнув рукой и чуть не попав мне в глаз,— в том доме с белыми трубами, за деревьями. И положение мое ужасно, просто ужасно. Я накануне одного из важнейших открытий, уверяю вас, одного из важнейших открытий, какие были когда-либо сделаны. Для этого нужна сосредоточенность, полный покой, энергия. И послеобеденное время было для меня наиболее

плодотворным, у меня возникали новые идеи, новые точки зрения.

— Но почему бы вам не приходить сюда по-прежнему?

— Теперь это совсем не то. Я уже не могу забыться. Вместо того чтобы сосредоточиться на своей работе, я буду думать, что вы отрываетесь от вашей пьесы и с раздражением следите за мной... Нет! Мне необходим этот домик.

Я задумался. Конечно, прежде чем ответить что-либо решительное, нужно было взвесить предложение. Я тогда был вообще склонен к аферам, и продажа показалась мне заманчивой. Но, во-первых, домик был не мой, я не смог бы его передать за самую хорошую цену, так как домохозяин пронюхал бы об этой сделке; во-вторых, я был обременен долгами. Это было слишком щепетильное дело. Кроме того, возможно, что Кейвор сделает какое-нибудь важное открытие, — это также интересовало меня. Мне хотелось расспросить подробнее о его изысканиях — не из корыстных целей, а просто потому, что я рад был отдохнуть от своей пьесы.

Я начал осторожно расспрашивать.

Он оказался словоохотлив, и скоро наша беседа превратилась в монолог. Он говорил, как человек, который долго сдерживался, но самому себе повторял одно и то же много раз, говорил без умолку почти целый час, и должен сознаться: слушать его было нелегко. Но все же в душе я был очень доволен, что нашел предлог не работать. В это первое свидание я мало что понял в его работе. Половина его слов состояла из технических терминов, совершенно мне незнакомых, некоторые же пункты он пояснял при помощи элементарной (как он говорил) математики, записывая вычисления чернильным карандашом на конверте, и эта часть мне вовсе была непонятна. «Да,— говорил я,— да, да... Продолжайте». Тем не менее я убедился, что это не просто маньяк, помешавшийся на своем открытии. Несмотря на чудаковатый вид, в нем чувствовалась сила. Во всяком случае, из его планов вполне могло что-нибудь выйти. Он рассказывал, что у него есть мастерская и три помощника, простых плотника, которых он приспособил к

делу. А ведь от мастерской до бюро патентов — один шаг. Он пригласил меня побывать у него в мастерской, на что я охотно согласился и всячески постарался подчеркнуть свой интерес. К продаже моего домика мы, к счастью, больше не возвращались.

Наконец он собрался уходить, извиняясь за продолжительный визит. Беседа о своей работе, по его словам, для него редкое удовольствие. Не часто приходится встретить такого образованного слушателя, как я. С профессиональными же учеными он не общается.

— Они так мелочны,— жаловался он,— такие интриганы! В особенности когда возникает новая интересная идея — плодотворная идея... Я не хочу быть несправедливым, но...

Я человек импульсивный и сделал, может быть, необдуманное предложение. Но вспомните, что я уже две недели сидел в одиночестве в Лимпне над пьесой и чувствовал себя виноватым в том, что нарушил его прогулки.

— А почему бы,— предложил я,— вместо старой привычки, которую я нарушил, вам не завести новую и не бывать у меня? По крайней мере до тех пор, пока мы не решим вопрос о продаже дома. Вам нужно обдумывать вашу работу. Вы делали это всегда во время послеобеденной прогулки. К сожалению, прогулки эти расстроились безвозвратно. Так почему бы вам не приходить ко мне поговорить о вашей работе, пользуясь мною как стеной, в которую вы можете, словно мячик, бросать свои мысли и ловить их? Я, безусловно, не настолько сведущ, чтобы похитить вашу идею, и у меня нет знакомых ученых.

Я умолк, и он задумался. Очевидно, мое предложение понравилось ему.

— Но я боюсь наскучить вам,— сказал он.

— Вы думаете, что я настолько туп?

— О нет, но технические подробности...

— Вы очень заинтересовали меня сегодня.

— Конечно, это было бы полезно для меня. Ничто так не выясняет идей, как изложение их другим. До сих пор...

— Ни слова больше, сэр...

— Но можете ли вы уделять мне время?

— Лучший отдых — это перемена занятий,— убежденно проговорил я.

Он согласился. На ступеньках веранды он обернулся и сказал:

— Я вам очень благодарен.

— За что?

— Вы излечили меня от смешной привычки жужжать.

Кажется, я ответил, что рад оказать ему хоть такую услугу, и он ушел.

Но, вероятно, поток мыслей, вызванный нашей беседой, вновь увлек его. Он начал размахивать руками, как прежде. Слабый отзвук его жужжания донесся до меня по ветру...

Но какое мне до этого дело?

Он явился на другой день и на третий и, к нашему обоюдному удовольствию, прочел мне две лекции по физике. С видом настоящего ученого он говорил об «эфире», и о «силовых цилиндрах», о «потенциале тяготения» и тому подобных вещах, а я сидел в другом кресле и поощрял его замечаниями «да, да», «продолжайте», «понимаю».

Все это было ужасно трудно, но он, кажется, и не подозревал, что я его совсем не понимаю. Иногда я готов был раскаяться в своей оплошности, но, во всяком случае, я радовался, что оторвался от этой проклятой пьесы. Подчас я начинал что-то смутно понимать, но потом снова терял нить. Порой внимание ослабевало настолько, что я тупо смотрел на него и думал, не стоит ли просто вывести его в виде центральной комической фигуры в своей пьесе и плюнуть на всю эту науку. Но тут я вдруг снова что-то улавливал.

При первом удобном случае я пошел посмотреть его дом, довольно большой, небрежно меблированный, без всякой прислуги, кроме трех помощников. Стол его, так же как и частная жизнь, отличался философской простотой. Он пил воду, ел растительную пищу, вел размеренную жизнь. Но обстановка его дома рассеяла мои сомнения; от подвала до чердака все было подчинено его изобретению — странно было видеть все это в захолустном поселке. Комнаты нижнего этажа заполняли станки и аппараты, в пекарне и в котле прачечной горели настоящие

кузнечные горны, в подвале помещались динамомашины, а в саду висел газометр.

Он показывал мне все это с доверчивостью и рвением человека, долго жившего в одиночестве. Его обычная замкнутость сменилась приступом откровенности, и мне посчастливилось стать зрителем и слушателем.

Три его помощника были, что называется, «мастера на все руки». Добросовестные, хотя и малосведущие, выносливые, обходительные, трудолюбивые. Один, Спаргус, исполнявший обязанности повара и слесаря, был прежде матросом. Второй, Гиббс, был столяр; третий же, бывший садовник, занимал место главного помощника. Все трое были простые рабочие. Всю квалифицированную работу выполнял сам Кейвор. Они были еще более невежественны, чем я.

А теперь несколько слов о самом изобретении. Тут, к несчастью, возникает серьезное затруднение. Я совсем не ученый эксперт и, если бы попробовал излагать цель опытов научным языком самого мистера Кейвора, то, наверно, не только спутал бы читателя, но и сам запутался бы и наделал таких ошибок, что меня поднял бы на смех любой студент — математик или физик. Поэтому лучше передать свои впечатления попросту, без всякой попытки облечься в тогу знания, носить которую я не имею никакого права.

Целью изысканий мистера Кейвора было вещество, которое должно было быть непроницаемо (он-то употреблял другое слово, но я его позабыл, а этот термин верно выражает его мысль) для «всех форм лучистой энергии».

— Лучистая энергия,— объяснял он мне,— подобна свету, или теплоте, или рентгеновским лучам, о которых так много говорили с год тому назад, или электрическим волнам Маркони, или тяготению. Она так же,— говорил он,—излучается из центра и действует на другие тела на расстоянии, отсюда и происходит термин «лучистая энергия». Почти все вещества непроницаемы для той или иной формы лучистой энергии. Стекло, например, проницаемо для света, но менее проницаемо для теплоты, так что его можно употреблять как ширму против огня; квасцы тоже проницаемы для света, но совершенно не пропускают теплоты. Раствор йода в дву-

сернистом углероде не пропускает света, но проницаем для теплоты. Он скрывает для нас огонь, но сообщает всю его теплоту. Металлы непроницаемы не только для света, но и для электромагнитных волн, которые легко проходят через раствор йода и стекло. И так далее.

Все известные нам вещества «проницаемы» для тяготения. Можно употреблять различные экраны для защиты от света или теплоты, от электрической энергии Солнца или от теплоты Земли. можно защитить предметы металлическими листами от электрических волн Маркони, но ничто не может защитить от тяготения Солнца или от притяжения Земли. Почему — это трудно сказать. Кейвор не видел причины, почему не могло быть такого преграждающего влияния притяжения вещества, и я, конечно, ничего не мог ему возразить. Я никогда ранее не думал об этом. Он доказал мне вычислениями на бумаге (которые, без сомнения, уразумели бы лорд Келвин, или профессор Лодж, или профессор Карл Пирсон, или какой-нибудь другой ученый, но в которых я был безнадежным тупицей), что подобное вещество не только возможно, но и должно удовлетворять известным условиям. Это была удивительная цепь логических рассуждений; они поразили меня и многое прояснили, хотя я и не могу их повторить. «Да,— говорил я,— да, продолжайте». Достаточно сказать, что Кейвор полагал возможным сделать вещество, непроницаемое для притяжения, из сложного сплава металлов и какого-то нового элемента, кажется, гелия, присланного ему из Лондона в запечатанных глиняных сосудах. Эта подробность позже вызвала сомнение, но я почти уверен, что в запечатанных сосудах был именно гелий. Это было наверняка нечто газообразное и разреженное — жаль, что я тогда не делал заметок...

Но мог ли я предвидеть, что они понадобятся?

Всякий человек, обладающий хоть малой долей воображения, поймет, как необычайно подобное вещество, и разделит до некоторой степени мое волнение, когда я начал понемногу понимать туманные выражения Кейвора. Вот вам и комический персонаж! Конечно, я не сразу понял и не сразу поверил, что начинаю понимать, так как боялся задавать ему вопросы, чтобы не показать всю глубину своего невежества. Но, вероятно, никто из

читателей не разделит моего волнения, потому что из моего бестолкового рассказа невозможно понять, насколько глубоко я был убежден, что это удивительное вещество будет найдено.

Я не помню, чтобы после моего визита к Кейвору я уделял хотя бы час в день своей пьесе. Мое воображение было теперь занято другим. Казалось, что нет предела удивительным свойствам этого вещества. Какие чудеса, какой переворот во всем! Например, для поднятия тяжести, даже самой громадной, достаточно было бы подложить под нее лист нового вещества, и ее можно было бы поднять соломинкой.

Я, естественно, прежде всего представил себе применение этого вещества в пушках и броненосцах, в военной технике, а затем в судоходстве, на транспорте, в строительном искусстве — словом, в самых различных отраслях промышленности. Случай привел меня к колыбели новой эпохи — а это была, несомненно, эпоха: такой случай выпадает однажды в тысячу лет. Последствия этого открытия были бы бесконечны. Благодаря ему я снова смогу стать дельцом. Мне уже мерещились акционерные компании с филиалами, синдикаты и тресты, патенты и концессии,— они растут, расширяются и, наконец, соединясь в одну огромную компанию, захватывают в свои руки весь мир.

И я участвую во всем этом!

Я решил действовать напрямик, хотя знал, что это рискованно. Остановиться я уже не мог.

— Мы накануне величайшего изобретения, какое когда-либо было сделано,— сказал я и сделал ударение на слове «мы».— Теперь меня можно отогнать только выстрелами. Я завтра же начинаю работать в качестве вашего четвертого помощника.

Мой энтузиазм удивил его, но не возбудил никаких подозрений или враждебного чувства. Очевидно, он недооценивал себя.

Он посмотрел на меня с сомнением.

— Вы это серьезно? — спросил он.— А ваша пьеса! Что будет с пьесой?

— К черту пьесу! — воскликнул я.— Дорогой сэр, разве вы не видите, чего вы достигли? Разве вы не видите, куда ведет ваше изобретение?

Это был лишь риторический оборот речи, но чудак действительно ничего не видел. Сначала я просто не верил своим глазам. Ему ничего и в голову не приходило. Этот удивительный человечек думал лишь о чистой теории! Если он и говорил о своем исследовании как о «важнейшем» из всех, какие только были в мире, то он просто подразумевал под этим, что его изобретение подведет итог множеству теорий и разрешит бесчисленные сомнения. Он думал о практическом применении нового вещества не более, чем машина, отливающая пушки. Такое вещество возможно, и он пытался добыть его!

Только и всего, v'là toute, как говорят французы.

Вне своей работы он был сущий ребенок! Если он добьется своего, то вещество перейдет в потомство под названием кейворита или кейворина, он сделается академиком, и портрет его будет помещен в журнале «Nature» [1]. Вот и все, о чем он мечтал! Если бы не я, он бросил бы в мир бомбу своего открытия, как будто это был новый вид комара. И бомба лежала бы и шипела, такая же ненужная, как и прочие мелкие открытия ученых.

Когда я сообразил все это, настала моя очередь говорить. Кейвору пришлось только слушать и поддакивать. Я вскочил и расхаживал по комнате, жестикулируя, как двадцатилетний юноша. Я пытался объяснить ему его долг и ответственность в этом деле — наш долг и общую ответственность. Я уверял его, что мы приобретаем столько богатств, что сможем произвести целый социальный переворот, сможем владеть и управлять всем миром. Я говорил ему о компаниях, и о патентах, и о сейфе для секретных бумаг; но все это интересовало его столько же, сколько меня его математика. На румяном личике появилось выражение смущения. Он пробормотал что-то о своем равнодушии к богатству, но я горячо стал ему возражать. Он на пути к богатству — и тут не время смущаться. Я дал ему понять, что я за человек, сказал, что обладаю опытом в коммерческих делах. Конечно, я умолчал о том, что обанкротился,— ведь это была временная неудача — и поста-

[1] Nature — природа *(англ.)*.

рался объяснить, почему я при моих средствах веду такой скромный образ жизни. Скоро мы незаметно пришли к заключению о необходимости учредить компанию по монопольной продаже кейворита. Кейвор будет добывать его, а я буду рекламировать.

. Я все время говорил «мы»,— слова «я» и «вы» как бы не существовали.

Кейвор хотел, чтобы вся прибыль шла на дальнейшие изыскания, но об этом мы могли сговориться потом.

— Хорошо, хорошо, — поддакивал я. — Главное — добыть кейворит.

— Ведь это такое вещество,— восклицал я восторженно,— без которого не сможет обойтись ни один дом, ни одна фабрика, ни одна крепость, ни одно судно,— вещество более универсальное, чем патентованные медикаменты! И каждое из десяти тысяч его возможных применений должно нас обогатить, Кейвор, сказочно обогатить!

— Теперь,— подтвердил Кейвор,— я начинаю понимать. Удивительно, как расширяешь горизонт в беседе с другим человеком!

— В особенности когда поговоришь с подходящим человеком!

— Я думаю,— сказал Кейвор,— что никто не питает отвращения к богатству. Однако...— Он запнулся. Я молча ждал.— Возможно, что нам не удастся добыть это вещество. А что, если это возможно только в теории, а на практике окажется абсурдом? Вдруг мы натолкнемся на препятствия...

— Мы преодолеем все препятствия! — решительно сказал я.

ГЛАВА II

ПЕРВОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ КЕЙВОРИТА

Опасения Кейвора не оправдались. 14 октября 1899 года это сказочное вещество было изготовлено!

Забавно, что открытие произошло случайно, совершенно неожиданно для Кейвора. Он сплавил несколько металлов и еще что-то (жаль, что не знаю состава) и намеревался оставить смесь на неделю, чтобы потом

дать ей медленно остынуть. Если он не ошибся в своих вычислениях, то последняя стадия процесса должна была наступить, когда температура приготовленного вещества понизится до шестидесяти градусов по Фаренгейту. Но случайно, без ведома Кейвора, между его помощниками разгорелся спор о том, кому смотреть за печью. Гиббс вздумал свалить эту обязанность на своего сослуживца, бывшего садовника, ссылаясь на то, что каменный уголь — та же земля и, следовательно, не может входить в круг ведения столяра. Бывший садовник возражал, что каменный уголь — металл или руда, не говоря уже о том, что сам он повар. Спаргус тоже настаивал на том, что это дело Гиббса, так как всем известно, что уголь — ископаемое дерево. Гиббс бросил засыпать уголь в печь, и никто другой этого не делал, а Кейвор был слишком погружен в разрешение некоторых интересных проблем о летательной машине из кейворита (пренебрегая сопротивлением воздуха и некоторыми другими условиями) и поэтому не заметил, что в лаборатории не все благополучно. И преждевременные роды его изобретения произошли в тот момент, когда он шел через поле к моему домику, чтобы побеседовать со мной за чаем. Я очень хорошо помню, как это случилось. Вода для чая уже кипела, и все было приготовлено. Услышав характерный звук жужжания Кейвора, я вышел на веранду. Его подвижная маленькая фигурка темным пятном вырисовывалась на фоне заходящего осеннего солнца, а справа, из-за деревьев, окрашенных светом заката, выглядывали белые трубы его дома. Вдали, на горизонте, синели в дымке холмы Уилдена; влево дымилась туманом болотистая равнина. И вдруг...

Печные трубы взлетели на воздух, рассыпавшись щебнем; за ними последовали крыша и разная мебель. Затем вспыхнуло белое пламя. Деревья раскачивались и вырывались из земли; их разносило в щепы, летевшие в огонь. Громовой удар оглушил меня с такой силой, что я на всю жизнь оглох на одно ухо. Все стекла в окнах разлетелись вдребезги.

Я сделал несколько шагов от веранды по направлению к дому Кейвора, и в эту минуту налетел ураган.

Фалды пиджака взлетели мне на голову, и я против воли огромными прыжками помчался вперед. В

тот же самый миг ветер подхватил и изобретателя, закружил его и поднял на воздух. Я видел, как колпак от одной из печных труб слетел на землю в шести ярдах от меня, подпрыгнул и стремительно понесся к центру взрыва. Кейвор, болтая ногами и размахивая руками, упал и кубарем покатился по земле, потом снова взлетел на воздух, со страшной быстротой понесся вперед и исчез среди корчившихся от жара деревьев около своего дома.

Клубы дыма и пепла и полоса какого-то синеватого блестящего вещества взлетели к зениту. Большой обломок забора промелькнул мимо меня, воткнулся в землю и упал плашмя,— самое худшее миновало. Воздушная буря стихла и превратилась в сильный ветер, и я убедился, что у меня целы ноги, и я могу дышать. Я повернулся против ветра, с трудом остановился и попытался прийти в себя и собраться с мыслями.

Вся природа вокруг точно преобразилась. Спокойный отблеск заката потух, небо задернулось черными тучами, подул порывистый, резкий ветер. Я оглянулся, чтобы посмотреть, уцелел ли мой домик, затем неверными шагами направился к деревьям, среди которых исчез Кейвор; сквозь длинные оголившиеся ветви блестело пламя горевшего дома.

Я вошел в заросли, перебегая от ствола к стволу, и долго искал Кейвора; наконец у стены сада, среди кучи бурелома и досок от забора, я заметил что-то копошившееся на земле. Прежде чем я успел подойти ближе, какая-то темная фигура встала, и я увидел грязные ноги и бессильно повисшие окровавленные руки. Ветер шевелил вокруг его пояса лохмотья, бывшие когда-то одеждой.

В первую минуту я не узнал этой земляной глыбы, потом разглядел, что это Кейвор, весь облепленный грязью, в которой он вывалялся. Он наклонился вперед против ветра, протирая глаза и отплевываясь. Потом протянул грязную руку и, пошатываясь, сделал шаг ко мне навстречу. Его возбужденное лицо было перепачкано грязью. Он выглядел таким несчастным и жалким, что я очень удивился его замечанию.

— Поздравьте меня,— пробормотал он,—поздравьте меня.

— Поздравить вас? С чем?

— Я сделал это.

— Конечно! А отчего произошел взрыв?

Порыв ветра отнес его слова. Кажется, он сказал, что никакого взрыва не было. Ветер толкал нас, и мы невольно цеплялись друг за друга.

— Попробуем вернуться ко мне! — крикнул я ему в ухо. Но он, очевидно, не расслышал и пробормотал что-то о трех «мучениках науки» и о том, что «это ужасно».

Он думал, что три его помощника погибли при взрыве. К счастью, он ошибся. Как только он пошел ко мне, они отправились в соседний трактир обсудить за бутылкой спорный вопрос о печи.

Я вторично предложил Кейвору вернуться в мой домик, на этот раз он расслышал. Мы взялись под руку и пошли искать приюта под остатками моей крыши. С трудом добравшись до места, мы опустились в кресла, чтобы отдышаться. Все рамы в окнах вылетели, более легкие предметы из мебели попадали на пол, но большого вреда взрыв все же здесь не причинил. К счастью, кухонная дверь устояла против напора и посуда и утварь уцелели, даже керосинка не потухла, и я снова поставил на нее чайник. Сделав это, я вернулся к Кейвору, чтобы выслушать его объяснения.

— Совершенно верно,— повторял он,— совершенно верно, я сделал это. Все идет отлично.

— Как бы не так,— возразил я,— все идет отлично! Наверное, на двадцать миль кругом не уцелело ни одного стога сена, ни одного забора, ни одной соломенной крыши.

— Все идет отлично. Конечно, я не предвидел этого небольшого бесчинства. Я был поглощен другой проблемой и не обратил внимания на побочные практические результаты. Но все идет отлично.

— Как, дорогой сэр,— воскликнул я,— разве вы не видите, что причинили убытков на тысячу фунтов стерлингов?

— Тут придется понадеяться на вашу скромность. Конечно, я не практик, но не думаете ли вы, что все примут это за циклон?

— Однако взрыв...

— Это был не взрыв. Все объясняется очень просто.

Я не смог предусмотреть всех мелочей. Это вроде моего жужжания, только в более широком масштабе. По недосмотру я готовил это новое вещество, этот кейворит, в виде тонкого большого листа...— Он запнулся.— Вы же знаете, что вещество это не подчиняется силе тяготения и преграждает взаимное притяжение между телами?

— Да, да,— подтвердил я.

— Как только кейворит достигает температуры шестидесяти градусов по Фаренгейту и процесс его образования заканчивается, сейчас же воздух, часть кровли, потолок, пол перестают иметь вес. Вам известно, это каждый знает, что воздух также имеет вес, что он оказывает давление на любой предмет, на поверхность земли, во всех направлениях с силой, равной четырнадцати с половиной английским фунтам на квадратный дюйм.

— Знаю, продолжайте.

— Я это тоже знаю,— заметил он,— однако это доказывает, как бесполезно знание, если не применять его на практике. Итак, над нашим кейворитом (теперь это уже произошло) давление воздуха сверху прекратилось, воздух же по сторонам кейворита продолжал давить с силою четырнадцати с половиной фунтов на каждый квадратный дюйм того воздуха, который вдруг сделался невесомым. Теперь вы понимаете? Воздух, окружающий кейворит, с непреодолимой силой давил на воздух над ним. Воздух над кейворитом, насильно вытесняемый, шел вверх; притекший же ему на смену воздух с боков тоже потерял вес, перестал производить давление, последовал также кверху, пробил потолок и снес крышу... Таким образом, образовался как бы атмосферный фонтан, печная труба в атмосфере. И если бы сам кейворит не был подвижным и не оказался втянутым в эту трубу, то что произошло бы? Как вы думаете?

Я подумал.

— Полагаю, что воздух устремился бы все выше и выше над этим адским листом, уничтожающим силу тяготения.

— Совершенно вѐрно,— подтвердил он,— исполинский фонтан...

— Бьющий в небесное пространство! Бог ты мой! Через него улетучилась бы вся земная атмосфера! Он

лишил бы земной шар воздуха. Все люди погибли бы. И все это наделал бы один кусок этого вещества.

— Не совсем так: атмосфера не рассеялась бы в небесном пространстве,— сказал Кейвор,— но последствия были бы плохие. Воздушная оболочка слетела бы с земли, как кожура с банана. Воздух поднялся бы на тысячи миль. Потом он опустился бы обратно, но все живое задохнулось бы. С нашей точки зрения, это было бы немногим лучше, чем если бы он совсем не вернулся.

Я смотрел на него ошеломленный и разочарованный в своих надеждах.

— Что вы теперь намерены делать? — спросил я.

— Прежде всего надо достать садовый скребок. Я хочу счистить с себя грязь, а потом, если позволите, принять у вас ванну. После этого мы побеседуем на досуге. Мне кажется,— сказал он, положив мне на плечо грязную руку,— не следует ничего говорить об этом посторонним. Я знаю, что причинил много вреда,— вероятно, пострадали все дома в окрестности. Но, с другой стороны, я не в состоянии заплатить за причиненный мной вред, и если причина катастрофы будет оглашена, то это поведет только ко всеобщему озлоблению и помешает моей работе. Нельзя предвидеть всего, а я не могу позволить себе роскошь считаться с практическими результатами моих теоретических работ. Впоследствии при вашем практическом уме, когда кейворит пойдет в ход и осуществятся все наши предположения, мы сможем уладить дело с этими людьми. Но только не теперь, только не теперь! Если не будет никакого другого объяснения, то публика при современном неудовлетворительном состоянии метеорологии припишет все циклону. Быть может, устроят даже подписку, и так как мой дом сгорел, то и я получу приличную сумму, которая очень пригодится для продолжения наших опытов. Но если узнают, что я виновник всего, никакой подписки не будет, нас выгонят вон, и я уже не смогу работать спокойно. Мои три помощника могли погибнуть или остаться в живых. Это не так важно. Если погибли, то потеря не велика. Они были усердные, но малоспособные работники, и авария произошла в значительной мере из-за их небрежности при уходе за печью. Если же они и уцелели, то едва ли смогут объяснить, в чем дело. Они поверят россказням о циклоне.

Хорошо бы на время поселиться в одной из комнат вашего домика, пока мой не пригоден для житья.

Он приостановился и вопросительно посмотрел на меня.

«Человек с такими способностями,— подумал я,— не совсем приятный жилец».

— Может быть, лучше всего сначала найти скребок, — сказал я уклончиво. И повел его к остаткам оранжереи.

Пока он принимал ванну, я раздумывал о происшедшем. Ясно, что дружба с мистером Кейвором имеет свои неудобства, которых я раньше не предвидел. Его рассеянность, которая чуть было не погубила население земного шара, может во всякую минуту привести к какой-нибудь новой беде. С другой стороны, я нуждался в деньгах, был молод и склонен к смелым авантюрам, когда можно надеяться на счастливый конец. Я уже решил, что мне должна достаться, по крайней мере, половина прибыли от изобретения кейворита. К счастью, я снял домик на три года без ремонта, а вся мебель была куплена в долг и застрахована. В конце концов я решил не покидать Кейвора и посмотреть, чем это все кончится.

Конечно, теперь положение сильно изменилось. Я не сомневался более в чудесных свойствах нового вещества, но у меня начало закрадываться сомнение насчет пригодности его для артиллерии и для патентованных сапог.

Мы дружно принялись за восстановление лаборатории, чтобы скорей приступить к продолжению опытов. Кейвор теперь больше применялся к уровню моих знаний при разговорах о том, как должно изготовляться новое вещество.

— Разумеется, мы должны изготовить его снова,— заявил он весело.— Пусть мы потерпели неудачу, но мои теоретические соображения оказались правильными, и они уже позади. Мы по возможности примем меры, чтобы избегнуть гибели нашей планеты. Но риск неизбежен! Неизбежен. В исследовательской работе без этого не обойтись, и, как практик, вы должны помочь мне. Мне кажется, что вещество лучше всего создать в виде узкой тонкой полоски. Впрочем, я еще не знаю. У меня появилась мысль о другом методе, который я еще затрудняюсь формулировать. Но любопытно, что эта мысль пришла

мне в голову в тот самый момент, когда я катился по грязи по воле ветра и не знал, чем кончится вся эта история.

Нам пришлось довольно много повозиться, пока мы восстановили лабораторию. Дел хватало, хотя мы не сразу решили вопрос о том, как надо ставить вторичный опыт. Трое помощников были очень недовольны тем, что я стал старшим над ними, и даже пытались бастовать. Но это удалось уладить, правда, после двухдневного перерыва в работе.

ГЛАВА III

СООРУЖЕНИЕ ШАРА

Я хорошо помню, как Кейвор развивал мне свою идею о шаре. Мысль об этом мелькала у него и раньше, но вполне ясно осознал он ее как-то внезапно. Мы шли ко мне пить чай, и дорогой Кейвор что-то бормотал про себя. Вдруг он вскрикнул:

— Конечно, так! Это победа! Вроде свертывающейся шторы!

— Какая победа? — спросил я.

— Над любым пространством! Над Луной!

— Что вы этим хотите сказать?

— Что? Это должен быть шар. Вот что я хочу сказать!

Я понял, что толку от него не добиться, и не стал расспрашивать. Я не имел тогда ни малейшего представления о его плане. После чая он сам начал объяснять мне свой проект.

— В прошлый раз,— сказал он,— я вылил вещество, не подверженное силе тяготения, в плоский чан с крышкой, которая придерживала его. Как только вещество охладилось и процесс выплавки закончился, произошла катастрофа,— ничто над ним не имело веса: воздух устремился кверху, дом тоже взлетел, и если бы самое вещество не взлетело также, то неизвестно, чем бы все это кончилось. Но предположите, что вещество это ничем не прикреплено и может совершенно свободно подниматься.

— Оно тотчас улетело бы.

— Верно. И это произвело бы не больше смятения, чем какой-нибудь выстрел из пушки.

— Но какая была бы от этого польза?

— Я полетел бы вместе с ним.

Я отодвинул стакан с чаем и с изумлением посмотрел на моего собеседника.

— Представьте себе шар,— объяснял он мне,— достаточно большой, чтобы вместить двух пассажиров с багажом. Он будет сделан из стали и выложен толстым стеклом; в нем будут содержаться достаточные запасы сгущенного воздуха и концентрированной пищи, аппараты для дистиллирования воды и так далее. Снаружи стальная оболочка будет покрыта слоем...

— Кейворита?

— Да.

— Но как же вы попадете внутрь?

— Так же, как в пудинг.

— А именно?

— Очень просто. Нужен только герметически закрывающийся люк. Это будет, конечно, довольно сложно; придется устроить клапан, чтобы можно было в случае надобности выбрасывать вещи без большой потери воздуха.

— Как у Жюля Верна в «Путешествии на Луну»?

Но Кейвор не читал фантастических романов.

— Начинаю понимать,— сказал я.— И вы могли бы влезть туда и закрыть люк, пока еще кейворит теплый; а как только он остынет, он преодолеет силу тяготения, и вы полетите?

— По касательной.

— Вы полетите по прямой линии.— Я вдруг остановился.— Однако что может помешать вам навсегда улететь по прямой линии, в космическое пространство? — спросил я.— Вы не можете быть уверены, что попадете куда-нибудь, а если и попадете, то как вернуться назад?

— Я только что думал об этом,— сказал Кейвор,— это-то я и подразумевал, когда воскликнул: «Победа!» Внутреннюю стеклянную оболочку шара можно устроить непроницаемой для воздуха и, за исключением люка, сплошной; стальную же оболочку сделать составной из отдельных сегментов, так что каждый сегмент может передвигаться, как у свертывающейся шторы. Ими нетруд-

но будет управлять при помощи пружин и подтягивать их или распускать посредством электричества, пропускаемого через платиновую проволоку в стекло. Все это уже детали. Вы видите, что за исключением пружин и роликов внешняя кейворитная оболочка шара будет состоять из окон или штор,— называйте их как хотите. Вот когда все эти окна или шторы будут закрыты, то никакой свет, никакая теплота, никакое притяжение или лучистая энергия не в состоянии будут проникнуть внутрь шара, и он полетит через пространство по прямой линии, как вы говорите. Но откройте окно, вообразите, что одно из окон открыто! Тогда всякое тяготеющее тело, которое случайно встретится на пути, притянет нас.

Я сидел, стараясь разобраться.

— Вы понимаете? — спросил он.

— Да, понимаю.

— Фактически мы сможем лавировать в пространстве как угодно, поддаваясь притяжению то одного, то другого тела.

— Да. Это совершенно ясно. Только...

— Что?

— Только я не совсем понимаю, зачем нам все это. Это ведь только прыжок с Земли и обратно.

— Конечно. Можно, например, слетать на Луну.

— Но если мы попадем туда, что мы там увидим?

— Посмотрим... По новейшим данным науки...

— Есть ли там воздух?

— Может быть, и есть.

— Отличная идея,— сказал я,— но не чересчур ли смелый замысел? Луна! Я предпочел бы сначала слетать куда-нибудь поближе.

— Но это невозможно: нам помешает воздух.

— Почему бы не применить вашу идею о пружинных заслонках, заслонках из кейворита в крепких стальных ящиках, для поднимания тяжестей?

— Ничего не выйдет,— упорствовал Кейвор.— В конце концов путешествие в космическое пространство не более опасно, чем какая-нибудь полярная экспедиция. Отправляются же люди к полюсу!

— Только не дельцы. Кроме того, им хорошо платят за полярные экспедиции. И если там случится несчастье,

им посылают помощь. А тут!.. Лететь неизвестно куда и неизвестно ради чего...

— Хотя бы ради разведки космоса.

— Да, пожалуй... и потом можно будет написать книгу...

— Я не сомневаюсь, что там есть минералы,— заметил Кейвор.

— Какие же?

— Сера, различные руды, может быть, золото, возможно, даже новые элементы.

— Да, но стоимость перевозки...— возразил я.— Нет, вы непрактичный человек. Ведь до Луны четверть миллиона миль!

— Мне кажется, перевозка любой тяжести обойдется недорого, если запаковать ее в ящик из кейворита.

— Об этом я не подумал.

— Перевозка за счет продавца, не так ли?

— Мы не ограничимся одной Луной.

— Что вы хотите сказать?

— Есть еще Марс: прозрачная атмосфера, новая обстановка, восхитительное чувство легкости. Неплохо бы слетать и туда.

— А воздух на Марсе есть?

— Конечно.

— Вы, кажется, намерены устроить там санаторий. Кстати, какое расстояние до Марса?

— Пока, кажется, двести миллионов миль,— беспечно ответил Кейвор,— и лететь нужно близко к Солнцу.

У меня опять разыгралась фантазия.

— Во всяком случае,— сказал я,— это звучит заманчиво. Все-таки путешествие...

Передо мной открывались невероятные возможности. Я вдруг ясно увидел, как по всей солнечной системе курсируют суда из кейворита и шары «люкс». Патент на изобретение, закрепленный на всех планетах. Я вспомнил старинную испанскую монополию на американское золото. И ведь речь идет не об одной планете, а обо всех сразу! Я пристально посмотрел на румяное лицо Кейвора, и воображение мое точно запрыгало и заплясало. Я встал, зашагал по комнате и дал волю своему языку:

— Я, кажется, начинаю понимать.— Переход от сомнения к энтузиазму совершился в одно мгновение.—

Это восхитительно! Грандиозно! Мне и во сне такое не снилось!

Лед моего благоразумия был сломлен, и теперь фантазия Кейвора не знала удержу. Он тоже вскочил и забегал по комнате, он тоже махал руками и кричал. Мы были точно одержимые. Да мы и были одержимые.

— Мы все устроим,— сказал он в ответ на какое-то мое возражение,— все устроим. Сегодня же вечером начнем вычерчивать литейные формы.

— Мы начнем сейчас же,— возразил я, и мы поспешили в лабораторию, чтобы приняться за работу.

Всю эту ночь я, как ребенок, витал в сказочном мире. Утренняя заря застала нас обоих за работой при электрическом свете: мы забыли его погасить. Эти чертежи стоят у меня перед глазами до сих пор. Я сводил и раскрашивал их, а Кейвор чертил; чертежи были грязные, сделанные наспех, но удивительно точные. Мы сделали в ту ночь чертежи стальных заслонок и рам, план стеклянного шара был изготовлен в неделю. Мы прекратили наши послеобеденные беседы и вообще изменили весь распорядок жизни. Мы работали беспрерывно, а спали и ели только тогда, когда уже валились с ног от голода или усталости. Наш энтузиазм заразил и наших троих помощников, хоть они и не знали, для какой цели предназначался шар. В те дни один из них, Гиббс, словно разучился нормально ходить и бегал повсюду, даже по комнате, какой-то мелкой рысцой.

Шар понемногу рос. Прошел декабрь, январь — один раз снег был такой глубокий, что мне пришлось целый день разметать дорожку от дома до лаборатории; наступил февраль, потом март. В конце марта завершение работы было уже близко. В январе нам доставили на шестерке лошадей огромный ящик,— в нем был шар из массивного стекла, уже готовый, который мы положили около подъемного крана, чтобы потом вставить его в стальную оболочку. Все части этой оболочки — она была не сферическая, а многогранная, со свертывающимися сегментами — прибыли в феврале, и нижняя половина ее была уже склепана. Кейворит был в марте наполовину готов, металлическая паста прошла уже через две стадии процесса, и мы наложили большую часть ее на стальные прутья и заслонки. Мы почти ни в чем не от-

ступали от первоначального плана Кейвора, и это было поистине удивительно. Когда шар был склепан, Кейвор предложил снять крышу с временной лаборатории, где производились работы, и построить там печь. Таким образом, последняя стадия изготовления кейворита, во время которой паста нагревается докрасна в струе гелия, должна была закончиться тогда, когда мы будем уже внутри шара.

Теперь нам оставалось обсудить и решить, что нужно взять с собой: пищевые концентраты, консервированные эссенции, стальные цилиндры с запасным кислородом, аппараты для удаления углекислоты из воздуха и для восстановления кислорода посредством перекиси натрия, конденсаторы для воды и так далее. Помню, какую внушительную груду образовали в углу все эти жестянки, свертки, ящики — убедительные доказательства нашего будущего путешествия.

В это горячее время некогда было предаваться раздумью. Но однажды, когда сборы уже подходили к концу, странное настроение овладело мною. Все утро я складывал печь и, выбившись из сил, присел отдохнуть. Все показалось мне вдруг сумасбродным и невероятным.

— Послушайте, Кейвор,— сказал я.— Собственно говоря, к чему все это?

Он улыбнулся.

— Теперь уже поздно.

— Луна,— размышлял я вслух,— что вы рассчитываете там увидеть? Я всегда думал, что Луна — мертвый мир.

Он пожал плечами.

— Что вы рассчитываете там увидеть?

— А вот посмотрим.

— Посмотрим ли? — усомнился я и задумался.

— Вы утомлены,— заметил Кейвор,— вам надо прогуляться сегодня после обеда.

— Нет,— сказал я упрямо.— Я закончу кладку печи.

Действительно, я ее кончил и ночью потом мучился от бессонницы.

Никогда еще у меня не было такой бессонницы. Было, правда, несколько скверных ночей перед моим банкротством, но даже самая худшая из них показалась бы

сладкой дремой по сравнению с этой бесконечной головной болью. Я вдруг испугался нашей затеи.

До этой ночи я, кажется, ни разу и не подумал об опасностях нашего путешествия. Теперь они явились, словно полчища привидений, осаждавших некогда Прагу, и окружили меня тесным кольцом. Необычайность того, что мы собирались предпринять, потрясла меня. Я походил на человека, пробудившегося от сладких грез в самой ужасающей действительности. Я лежал с широко раскрытыми глазами, и наш шар казался мне все более хрупким и жалким, Кейвор — все более сумасбродным фантазером, а все предприятие — более и более безумным.

Я встал с кровати и начал ходить по комнате, затем сел у окна и стал тоскливо смотреть в бесконечное космическое пространство. Между звездами такая бездонная пустота, такой мрак! Я старался припомнить отрывочные сведения по астрономии из случайно прочитанных книг, но они были слишком смутны и не давали никакого представления о том, что может нас ожидать. Наконец я лег в постель и ненадолго уснул или, вернее, промучился в кошмарах. Мне снилось, будто я стремглав падаю в бездонную пропасть неба.

За завтраком я очень удивил Кейвора, когда объявил ему решительно:

— Я не намерен лететь с вами.

На все его попытки убедить меня я упорно отвечал:

— Затея ваша безрассудна, и я не желаю в ней участвовать. Затея ваша безумна.

Я не пошел с ним в лабораторию и, походив немного вокруг моего домика, взял шляпу и трость и отправился куда глаза глядят. Утро было великолепное: теплый ветер и синее небо, первая зелень весны, пение птиц. Я позавтракал бифштексом и пивом в трактире около Элхэма и удивил хозяина своим замечанием по поводу погоды:

— Человек, покидающий землю в такую прекрасную погоду,— безумец!

— То же самое сказал и я, как только услышал об этом,— подтвердил хозяин, и тут же выяснилось, что какой-то бедняга покончил самоубийством. Я ушел, но мысли мои приняли несколько иное направление.

После обеда я подремал на солнце и, освеженный, отправился дальше.

Недалеко от Кентербери я зашел в уютный ресторан. Домик был весь увит плющом, и хозяйка, опрятная старушка, мне понравилась. У меня хватило денег, чтобы заплатить за номер, и я решил там переночевать. Хозяйка была особа разговорчивая и, между прочим, сообщила мне, что она никогда не бывала в Лондоне.

— Дальше Кентербери я никуда не ездила,— сказала она.— Я не бродяга какая-нибудь.

— А не хотели бы вы полететь на Луну?—спросил я.

— Мне, знаете, никогда не нравились эти воздушные шары,— ответила она, полагая, очевидно, что это довольно обыкновенная прогулка.— Ни за что не полетела бы на воздушном шаре, нет уж, увольте.

Это прозвучало комично. После ужина я сел на скамейку у двери трактира и поболтал с двумя рабочими о выделке кирпича, об автомобилях, о крикете прошлого года. А на небе новый месяц, голубой и далекий, как альпийская вершина, плыл к западу вслед за солнцем.

На следующий день я вернулся к Кейвору.

— Я лечу,— сказал я.— Я просто был немного не в духе.

Это был единственный раз, когда я всерьез усомнился в нашем предприятии. Нервы! После этого я стал работать не так усердно и ежедневно гулял не менее часа. Наконец все было готово, оставалось только нагреть сплав в печи.

ГЛАВА IV

ВНУТРИ ШАРА

— Спускайтесь! — сказал Кейвор, когда я вскарабкался на край люка и заглянул в темную внутренность шара. Мы были одни. Смеркалось. Солнце только что село, и надо всем царила тишина сумерек.

Я спустил вторую ногу и соскользнул по гладкому стеклу внутрь шара; потом повернулся, чтобы принять от Кейвора жестянки с пищей и другие припасы. Внутри было тепло: термометр показывал восемьдесят градусов по

Фаренгейту; при полете надо беречь тепло, и мы надели костюмы из тонкой фланели. Кроме того, мы захватили узел толстой шерстяной одежды и несколько теплых одеял — на случай холода. По указанию Кейвора я расставлял багаж, цилиндры с кислородом и прочее около своих ног, и вскоре мы уложили все необходимое. Кейвор обошел еще раз нашу лабораторию без крыши, чтобы посмотреть, не забыли ли мы чего-нибудь, потом влез в шар следом за мной.

Я заметил что-то у него в руке.

— Что это у вас? — спросил я.

— Взяли ли вы с собой что-нибудь почитать?

— Бог ты мой! Конечно, нет.

— Я забыл сказать вам. Наше путешествие может продлиться... не одну неделю.

— Но...

— Мы будем лететь в этом шаре, и нам совершенно нечего будет делать.

— Жаль, что я не знал об этом раньше.

Кейвор высунулся из люка.

— Посмотрите, тут что-то есть,— сказал он.

— А времени хватит?

— В нашем распоряжении еще час.

Я выглянул. Это был старый номер газеты «Tit Bits», вероятно, принесенный кем-нибудь из наших помощников. Затем в углу я увидел разорванный журнал «Lloyd's News». Я забрал все это и полез обратно в шар.

— А что у вас? — спросил я его.

Я взял книгу из его рук и прочел: «Собрание сочинений Вильяма Шекспира».

Кейвор слегка покраснел.

— Мое воспитание было чисто научным,— сказал он, как бы извиняясь.

— И вы не читали Шекспира?

— Нет, никогда.

— Он тоже кое-что знал, хотя познания его были несистематичны.

— Да, мне об этом говорили,— сказал Кейвор.

Я помог ему завинтить стеклянную крышку люка, затем он нажал кнопку, чтобы закрыть соответствующий заслон в наружной оболочке. Полоса света, проникавшая в отверстие, исчезла, и мы очутились в темноте.

Некоторое время мы оба молчали. Хотя наш шар и пропускал звуки, кругом было тихо. Я заметил, что при старте ухватиться будет не за что и что нам придется испытывать неудобства из-за отсутствия сидений.

— Отчего вы не взяли стульев? — спросил я.

— Ничего, я все устроил,— сказал Кейвор.— Стулья нам не понадобятся.

— Как так?

— А вот увидите,— сказал он тоном человека, не желающего продолжать разговор.

Я замолчал. Мне вдруг ясно представилась вся глупость моего поступка. Не лучше ли вылезти, пока еще не поздно? Я знал, что мир за пределами шара будет для меня холоден и негостеприимен,—уже несколько недель я жил на средства Кейвора,— но все же мир этот будет не так холоден, как бесконечность, и не так негостеприимен, как пустота. Если бы не боязнь показаться трусом, то думаю, что даже и в эту минуту я еще мог бы заставить Кейвора выпустить меня наружу. Но я колебался, злился на себя и раздражался, а время шло.

Последовал легкий толчок, послышалось щелканье, как будто в соседней комнате откупорили бутылку шампанского, и слабый свист. На мгновение я почувствовал огромное напряжение, мне показалось, что ноги у меня словно налиты свинцом, но все это длилось лишь одно короткое мгновение.

Однако оно придало мне решимости.

— Кейвор,— сказал я в темноту,— мои нервы больше не выдерживают. Я не думаю, чтобы...

Я умолк. Он ничего не ответил.

— Будь проклята вся эта затея! — вскричал я.— Я безумец! Зачем я здесь? Я не полечу, Кейвор! Дело это слишком рискованное, я вылезаю.

— Вы не можете этого сделать,—спокойно ответил он.

— Не могу? А вот увидим.

Несколько секунд он молчал.

— Теперь уже поздно ссориться, Бедфорд. Легкий толчок — это был старт. Мы уже летим, летим так же быстро, как снаряд, пущенный в бесконечное космическое пространство.

— Я...— начал было я и замолчал. В конце концов теперь все это уже не имело значения. Я был ошеломлен

и некоторое время ничего не мог сказать; я будто никогда и не слыхал об этой идее — покинуть нашу Землю; затем я почувствовал удивительную перемену в своих физических ощущениях: необычайную легкость, невесомость, странное головокружение, как при апоплексии, и звон в ушах. Время шло, но ни одно из этих ощущений не ослабевало, и скоро я так привык к ним, что не испытывал ни малейшего неудобства.

Что-то щелкнуло: вспыхнула электрическая лампочка.

Я взглянул на лицо Кейвора, такое же бледное, наверно, как и мое. Мы молча смотрели друг на друга. На фоне прозрачной темной поверхности стекла Кейвор казался как бы летящим в пустоте.

— Итак, мы обречены, отступления нет,— сказал я наконец.

— Да,— подтвердил он,— отступления нет. Не шевелитесь! — воскликнул он, заметив, что я поднял руки.— Пусть ваши мускулы бездействуют, как будто вы лежите в постели. Мы находимся в своем собственном особом мирке. Поглядите на эти вещи.

Он указал на ящики и узлы, которые прежде лежали на дне шара. Я с изумлением заметил, что они плавали теперь в воздухе в футе от сферической стены. Затем я увидел по тени Кейвора, что он не опирается более на поверхность стекла; протянув руку назад, я почувствовал, что и мое тело тоже повисло в воздухе.

Я не вскрикнул, не замахал руками, но почувствовал ужас. Какая-то неведомая сила точно держала нас и увлекала вверх. Легкое прикосновение руки к стеклу приводило меня в быстрое движение. Я понял, что происходит, но это меня не успокоило. Мы были отрезаны от всякого внешнего тяготения, действовало только притяжение предметов, находившихся внутри нашего шара. Вследствие этого всякая вещь, не прикрепленная к стеклу, медленно скользила — медленно потому, что наша масса была невелика,— к центру нашего мирка. Этот центр находился где-то в середине шара, ближе ко мне, чем к Кейвору, так как я был тяжелее его.

— Мы должны повернуться,— сказал Кейвор,— и плавать в воздухе спиной друг к другу, чтобы все вещи оказались между нами.

Странное это ощущение — витать в пространстве: сначала жутко, но потом, когда страх проходит, оно не лишено приятности и очень покойно, похоже на лежание на мягком пуховике. Полная отчужденность от мира и независимость! Я не ожидал ничего подобного. Я ожидал сильного толчка вначале и головокружительной быстроты полета. Вместо всего этого я почувствовал себя как бы бесплотным. Это походило не на путешествие, а на сновидение.

ГЛАВА V

ПУТЕШЕСТВИЕ НА ЛУНУ

Вскоре Кейвор погасил свет, сказав, что у нас не очень большой запас электрической энергии и что нам надо беречь ее для чтения. И некоторое время — я не знаю, как долго это длилось,— мы находились в темноте.

Из пустоты выплыл вопрос.

— Куда мы летим? В каком направлении? — спросил я.

— Мы летим от Земли по касательной, и так как Луна теперь видна уже почти на три четверти, то мы направляемся к ней. Я открою заслонку...

Щелкнула пружина, и одно из окон в наружной оболочке шара раскрылось. Небо за ним было так же черно, как и тьма внутри шара, но в рамке окна блестело множество звезд.

Кто видел звездное небо только с Земли, тот не может представить себе, какой вид оно имеет, когда с него сорвана полупрозрачная вуаль земной атмосферы. Звезды, которые мы видим на Земле,— только рассыпанные по небу призраки, проникающие сквозь нашу туманную атмосферу. Теперь же я видел настоящие звезды!

Много чудесного пришлось нам увидеть позднее, но вид безвоздушного, усеянного звездами неба незабываем.

Маленькое оконце с треском захлопнулось, а другое, соседнее, открылось и через мгновение также захлопнулось, потом третье, и наконец я зажмурил глаза от ослепительного блеска убывающей Луны.

Некоторое время я пристально смотрел на Кейвора и на окружающие предметы, чтобы приучить глаза к свету, прежде чем я смог взглянуть на сверкающее светило.

Четыре окна были открыты для того, чтобы притяжение Луны начало действовать на все предметы в нашем шаре. Теперь я уже не витал в пространстве, мои ноги покоились на стеклянной оболочке, обращенной в сторону Луны. Одеяла и ящики с провизией также медленно скользили по стеклянной стенке и располагались, заслонив часть вида. Мне казалось, что я смотрю «вниз», на Луну. На Земле «вниз» значит к земной поверхности, по направлению падения тела, а «вверх» — в обратном направлении. Теперь же сила тяготения влекла нас к Луне, а Земля висела у нас над головой. Когда же все заслонки из кейворита были закрыты, то «вниз» означало направление к центру нашего шара, а «вверх» — к его наружной стенке.

Любопытно, что, в противоположность нашему земному опыту, свет шел к нам снизу. На Земле свет падает сверху или сбоку; здесь же он исходил из-под наших ног, и, чтобы увидеть свои тени, мы должны были глядеть вверх.

Сначала я испытывал легкое головокружение, стоя на толстом стекле, глядя вниз, на Луну, сквозь сотни тысяч миль пустого пространства; но это болезненное ощущение скоро рассеялось. Зато какое великолепие!

Читатель может представить себе это, если теплой летней ночью ляжет на землю и, подняв ноги кверху, будет смотреть между ними на Луну. Однако по какой-то причине, вероятно, из-за отсутствия воздуха, Луна уже казалась нам значительно ярче и больше, чем на Земле. Малейшие детали ее поверхности были теперь отчетливо видны. И когда мы смотрели на нее не сквозь воздух, контуры ее стали резкими и четкими, без расплывчатого сияния или ореола вокруг; только звездная пыль, покрывавшая небо, обрамляла края планеты и обозначала очертания ее неосвещенной части. Когда я стоял и смотрел на Луну внизу, под ногами, то ощущение невероятности, то и дело появлявшееся у меня со времени нашего старта, опять вернулось с удесятеренной силой.

— Кейвор,— сказал я,— все это очень странно. Эти компании, которые мы собирались организовать, и залежи минералов...

— Ну?

— Я их здесь не вижу.

— Конечно,— ответил Кейвор,— но все это пройдет.

— Я привык смотреть на все практически. Однако... на минуту я почти усомнился, есть ли вообще на свете Земля.

— Этот номер газеты может вам помочь.

Я с недоумением посмотрел на газету, потом поднял ее над головой и обнаружил, что в таком положении удобно читать. Мне бросился в глаза столбец мелких объявлений. «Джентльмен, располагающий некоторыми средствами, дает деньги взаймы»,— прочел я. Я знал этого джентльмена. Какой-то чудак продавал велосипед «новый, стоимостью в пятнадцать фунтов» за пять фунтов стерлингов. Затем какая-то дама, очутившись в бедственном положении, хотела по дешевке продать ножи и вилки для рыбы — свой «свадебный подарок». Без сомнения, какая-нибудь простодушная женщина уже глубокомысленно рассматривает эти ножи и вилки, кто-нибудь с торжеством катит на велосипеде, а третий доверчиво советуется с благодетелем, ссужающим деньги,— и все это в ту самую минуту, когда я пробегал глазами эти объявления. Я рассмеялся и выпустил газету из рук.

— А нас видно с Земли? — спросил я.

— А что?

— Один мой знакомый очень интересуется астрономией, и мне пришло в голову, что... может быть, он как раз теперь смотрит... на нас в телескоп.

— Даже в самый сильный телескоп невозможно заметить нас, хотя бы как точку.

Несколько минут я молча смотрел на Луну.

— Целый мир,— сказал я.— Здесь это чувствуешь гораздо сильнее, чем на Земле... Обитаемый, пожалуй...

— Обитаемый! — воскликнул Кейвор.— Нет, и не думайте об этом. Вообразите себя сверхполярным исследователем космического пространства. Взгляните сюда!

Он показал рукой на бледное сияние внизу.

— Это мертвый мир! Мертвый! Огромные потухшие вулканы, необозримые пространства застывшей лавы,

равнины, покрытые снегом, замерзающей углекислотой или воздухом; и повсюду трещины, ущелья, пропасти. Никакой жизни, никакого движения. Люди систематически наблюдали эту планету в телескопы более двухсот лет, и много ли перемен они заметили? Как вы думаете?

— Никаких.

— Они отметили два бесспорных обвала, одну сомнительную трещину и незначительное периодическое изменение окраски — вот и все.

— Я не знал, что они заметили хотя бы это.

— Да, но никаких следов жизни!

— Кстати,— спросил я,— какой наименьший предмет на Луне могут обнаружить самые сильные телескопы?

— Можно было бы увидеть большую церковь. Разумеется, увидели бы города и строения или что-нибудь подобное. Пожалуй, там есть какие-нибудь насекомые, вроде муравьев, например, которые могут скрываться в глубокие норы от лунной ночи, или какие-нибудь неведомые существа, не имеющие себе подобных на Земле. Это самое вероятное, если там вообще есть жизнь. Подумайте, какая разница в условиях! Жизнь там должна приспособляться к дню, в четырнадцать раз более продолжительному, чем у нас на Земле: непрерывный двухнедельный солнечный свет при безоблачном небе, и затем ночь, такая же длинная, все более и более холодная под студеными яркими звездами. В такую длинную ночь там должен быть страшный холод, доходящий до абсолютного нуля, до — 273° Цельсия ниже земной точки замерзания. Всякой жизни там пришлось бы погружаться в зимнюю спячку на всю эту долгую морозную ночь и снова пробуждаться при наступлении долгого дня.

Кейвор задумался.

— Можно, пожалуй, вообразить себе червеподобные существа, питающиеся твердым воздухом, точно так же, как дождевой червяк питается землей, или каких-нибудь толстокожих чудовищ...

— Кстати,— спросил я,— почему же мы не захватили с собой оружия?

Кейвор ничего не ответил на этот вопрос.

— Нет,— сказал он наконец,— нам надо продолжать наше путешествие. Увидим, когда доберемся туда.

Тут я вспомнил.

— Конечно,— сказал я,— минералы там должны быть при всех условиях.

Вскоре Кейвор сказал мне, что желает переменить курс, отдавшись на минуту действию земного притяжения. Для этого он хочет открыть на тридцать секунд одно из окон, обращенных к Земле. Он предупредил, что у меня может закружиться голова, и советовал прижать руки к окну, чтобы не упасть. Я последовал его совету и уперся ногами в ящики с провизией и цилиндры с воздухом, чтобы не дать им упасть на меня. Окно щелкнуло и раскрылось. Я неуклюже упал на руки и на лицо и сквозь стекло на мгновение увидел между своими растопыренными пальцами нашу Землю — планету внизу небесного свода.

Мы все еще находились сравнительно близко от Земли — по словам Кейвора, всего на расстоянии каких-нибудь восьмисот миль,— и ее громадный диск закрывал почти все небо. Но было уже ясно видно, что наша планета имеет шарообразную форму. Материки вырисовывались смутно, но к западу широкая серая полоса Атлантического океана блестела, как расплавленное серебро в свете закатного солнца. Я, кажется, разглядел тусклые, подернутые дымкой береговые очертания Испании, Франции и Южной Англии, но тут — снова щелчок, окно закрылось, и я в полном смятении медленно заскользил по гладкой поверхности стекла.

Когда наконец голова у меня перестала кружиться, то Луна снова оказалась «внизу», у меня под ногами, а Земля — где-то далеко, на краю горизонта, та самая Земля, которая всегда была внизу и для меня и для всех людей с самого начала начал.

Так мало нам требовалось усилий, так легко все давалось благодаря невесомости, что мы не чувствовали ни малейшей потребности в подкреплении наших сил по крайней мере в течение шести часов (по хронометру Кейвора). Это меня очень удивило, но даже тогда я съел какую-то сущую малость. Кейвор осмотрел аппарат для поглощения углекислоты и воды и нашел его в удовлетворительном состоянии, благодаря, конечно, тому, что мы потребляли ничтожное количество кислорода. Все темы для разговоров исчерпались. Делать нам было больше нечего, и мы почувствовали, что хотим спать. Тогда мы ра-

зостлали наши одеяла на дне шара таким образом, чтобы укрыться как можно надежнее от лунного света, пожелали друг другу спокойной ночи и почти мгновенно заснули.

Так мы проводили время — то в дремоте, то разговаривая, читая и по временам закусывая, хотя и без большого аппетита. Любопытно, что за все время нашего пребывания в шаре мы не чувствовали ни малейшей потребности в пище; сначала мы принуждали себя есть, потом перестали и постились, так что не извели и сотой доли взятой с собой провизии; количество выдыхаемой нами углекислоты также было на редкость ничтожно; почему — не сумею объяснить. Находясь большей частью в состоянии покоя, которое не было ни сном, ни бодрствованием, мы падали сквозь пространство времени, не имевшее ни дня, ни ночи, падали бесшумно, плавно и быстро по направлению к Луне.

ГЛАВА VI

ВЫСАДКА НА ЛУНУ

Помню, как Кейвор вдруг открыл разом шесть окошек и так ослепил меня светом, что я вскрикнул от боли в глазах и закричал на него. Все видимое пространство занимала Луна — исполинский ятаган белой зари с блестящим, иззубренным темнотой лезвием, постепенно вырисовывающийся из отступающего мрака берег, сверкающие в солнечных лучах остроконечные пики и вершины. Думаю, что читатель видел изображение или фотографии Луны, так что мне нет надобности описывать очертания лунного ландшафта, грандиозные кольцеобразные горные цепи, более обширные, чем наши земные горы, и их вершины, ярко освещенные солнцем и отбрасывающие резко очерченные тени; серые беспорядочные равнины, кряжи, холмы, кратеры — все детали лунной поверхности, то залитые ослепительным светом, то погруженные в таинственный полумрак. Мы витали близ этого мира на расстоянии менее сотни миль над его хребтами и остроконечными пиками. Теперь мы могли наблюдать то, чего ни один глаз на Земле никогда не увидит: в ярких лучах Солнца резкие очертания лунных скал и овра-

гов, лощин и дна кратеров заволакивались туманом; белизна их освещенной поверхности раскалывалась на полосы и лоскутья, сжималась и исчезала; только кое-где появлялись и ширились пятна бурого и оливкового цвета.

Недолго, однако, пришлось нам любоваться этим видом. Наступал самый опасный момент путешествия. Нам нужно было спуститься ближе к Луне, над которой мы кружились, замедлять движение и выжидать удобную минуту, если попадется место для посадки.

Кейвор напряженно работал. Я же бездельничал, волновался и все время ему мешал. Он прыгал по шару с проворством, невозможным на Земле. Он то и дело отпирал и запирал кейворитные окна, делая при этом вычисления и посматривая на свой хронометр при свете электрической лампочки. Долгое время окна оставались закрытыми, и мы словно безмолвно висели во мраке, мчась в пространстве с невероятной скоростью.

Наконец Кейвор нащупал кнопки и открыл сразу четыре окна. Я зашатался и прикрыл глаза, ослепленный и сраженный непривычным сиянием Солнца, блиставшего у меня под ногами. Потом ставни снова захлопнулись, и у меня закружилась голова от внезапной темноты. Я вновь поплыл в необъятной черной тиши.

Затем Кейвор зажег электричество и сказал, что надо связать наш багаж и завернуть в одеяло, чтобы избежать сотрясения при спуске шара. Мы делали это при закрытых окнах, чтобы наши вещи сами естественно расположились в центре шара. Это было забавное зрелище: вообразите, если можете, двух человек, которые плавают в сферическом пространстве, упаковывая и увязывая свои пожитки! Малейшее усилие обращалось в самое неожиданное движение. Меня то прижимало к стеклянной стенке — это Кейвор невольно толкнул меня,— то я беспомощно барахтался в пустоте. Звезда электрического света сияла у нас то над головой, то под ногами. Ноги Кейвора чуть ли не задевали меня по лицу, а в следующую секунду мы оказывались перпендикулярно друг к другу. Наконец вещи были связаны в большой мягкий тюк — все, за исключением двух одеял с отверстиями для головы: в них мы собирались закутаться сами.

Теперь Кейвор открыл одно окно со стороны Луны, и мы увидели, что спускаемся к огромному центральному кратеру, окруженному крестообразно несколькими меньшими. Потом Кейвор снова открыл наш шар со стороны слепящего Солнца — вероятно, он хотел воспользоваться притяжением Солнца как тормозом.

— Закройтесь одеялом! — вскричал он, отлетая в сторону.

Я не сразу понял, потом выхватил одеяло из-под ног и закутался в него с головой. Кейвор закрыл заслонку, открыл какое-то другое окно и быстро его захлопнул, потом начал открывать поочередно все окна. Шар наш заколебался, и мы внутри завертелись, ударяясь о стеклянную стенку и о толстый тюк багажа и цепляясь друг за друга, а снаружи какое-то белое вещество обдавало брызгами наш шар, как будто мы катились вниз по снежному склону горы...

Через голову, кувырком, удар, опять кувырком...

Сильный толчок — и я наполовину погребен под тюком багажа... Мгновенье полной тишины. Затем я услышал пыхтение Кейвора и хлопанье стальной заслонки. Я с усилием оттолкнул завернутый в одеяло багаж и выбрался из-под него. За открытыми окнами сияли в темноте звезды.

Мы остались живы и лежали во мраке, в тени, отбрасываемой глубоким кратером, на дно которого скатился наш шар.

Мы сидели, переводя дыхание и ощупывая синяки на теле от ушибов. Ни один из нас, видно, не предвидел такого нелюбезного приема в лунном мире. Я с трудом поднялся на ноги.

— А теперь посмотрим на лунный пейзаж,— сказал я.— Какая темнота, Кейвор!

Стеклянная поверхность шара запотела, и, говоря это, я протирал ее одеялом.

— Остается с полчаса до наступления дня,— сказал Кейвор.— Надо подождать.

В окружающей темноте ничего не было видно, словно шар был не стеклянный, а стальной. Протирание одеялом не помогло, а только загрязнило окно: стекло снова потело от сгустившегося пара и облипало волосками

шерсти. Конечно, одеяло для этого не годилось. Протирая стекло, я нечаянно поскользнулся на влажной поверхности и ударился ногой об один из цилиндров с кислородом.

Нелепое положение! Все это очень раздражало меня. После такого невероятного странствия мы наконец очутились на Луне, среди неведомых чудес, и ничего не могли увидеть, кроме тусклой стенки нашего стеклянного пузыря.

— Проклятие! — разразился я.— Ради этого не стоило улетать с Земли.

И я присел на тюк, дрожа от холода и закутываясь плотнее в одеяло.

Мокрая поверхность стекла вскоре замерзла и покрылась морозными узорами.

— Вы можете дотянуться до электрического обогревателя? — сказал Кейвор.— Да вон та черная кнопка. Иначе мы рискуем замерзнуть.

Я не заставил его повторить просьбу дважды.

— А теперь,— спросил я,— что мы будем делать?

— Ждать,— отвечал он.

— Ждать?

— Конечно. Надо подождать, пока воздух снова согреется, тогда и стекло оттает. До тех пор нам делать нечего. Здесь еще ночь, надо обождать наступления дня. А пока не хотите ли закусить?

Я ответил не сразу и сидел злой и раздраженный. Потом нехотя отвернулся от мутной стеклянной стенки и посмотрел прямо в глаза Кейвору.

— Да,— сказал я наконец,— я проголодался. Я сильно разочарован. Я ожидал... Не знаю, чего ожидал, только уж, конечно, не этого.

Я призвал на помощь всю свою философию: натянув получше одеяло, снова уселся на тюк и приступил к своему первому завтраку на Луне. Не помню, кончил ли я его, как вдруг стеклянная поверхность стала проясняться сначала местами, а потом быстро расширявшимися и сливавшимися полосками, и, наконец, тусклая вуаль, скрывавшая лунный мир от наших взоров, совершенно исчезла.

Мы жадно выглянули наружу.

ГЛАВА VII

ВОСХОД СОЛНЦА НА ЛУНЕ

Нам представилась дикая и мрачная картина. Мы находились среди громадного амфитеатра, в обширной круглой равнине, на дне гигантского кратера. Его обрывистые стены замыкали нас со всех сторон. С западной стороны на них падал свет еще невидимого Солнца, достигая подошвы обрыва и ярко освещая хаотические нагромождения темных и серых скал, перерезанных сугробами и снежными ущельями. Края кратера находились от нас милях в двенадцати, но в разреженной атмосфере блестящие очертания их были видны очень отчетливо. Они вырисовывались ослепительно ярко на фоне звездной темноты, которая нашим земным глазам казалась скорее великолепным, усеянным блестками бархатным занавесом, чем небом.

Восточный край обрыва вначале был просто темной кромкой звездного купола. Ни розового отблеска, ни брезжущего рассвета — никакого признака наступления утра. Только солнечная корона — зодиакальный свет, большое конусообразное светящееся пятно, направленное вершиной к сияющей утренней звезде,— предупреждала нас о близости Солнца.

Слабый свет вокруг нас отражался от западного края кратера и открывал обширную волнообразную равнину, холодную и серую, постепенно темнеющую к востоку и переходящую в глухую черную пропасть обрыва. Бесчисленные круглые серые вершины, призрачные холмы, сугробы из снегоподобного вещества, простирающиеся вдоль множества хребтов в таинственные дали, подчеркивали нам размеры кратера. Холмы напоминали ледяные торосы, покрытые снегом. Но то, что я принял сначала за снег, оказалось замерзшим воздухом.

Так было сначала, а потом вдруг сразу наступил удивительный лунный день.

Солнечный свет скользнул вниз по скалам, коснулся сугробов у их оснований и, точно в сапогах-скороходах, быстро добрался до нас. Отдаленный край кратера словно зашевелился, дрогнул, и при первом проблеске за-

ри со дна стал подниматься серый туман; хлопья и клубы его становились все шире, гуще и плотнее, и вскоре вся западная часть равнины задымилась, как мокрый платок, повешенный перед огнем, и западная сторона кратера озарилась розовым светом.

— Это воздух,— сказал Кейвор,— конечно, это воздух, иначе пар не поднимался бы так при лучах Солнца...

Он пристально посмотрел вверх.

— Смотрите! — воскликнул он.

— Куда? — спросил я.

— На небо. Видите? На черном фоне — голубая полоска. Звезды кажутся больше, а некоторые из них помельче, и все туманности, которые мы видели в небесном пространстве, исчезли!

День наступал быстро и неудержимо. Серые вершины одна за другой вспыхивали и клубились плотным дымящимся паром, и вскоре вся равнина на западе казалась сплошным морем тумана, прибоями и отливами облачной дымки волн. Края кратера отступали все дальше и дальше, тускнели, меняли свои очертания и в конце концов исчезли в тумане.

Все ближе и ближе надвигался клубящийся прилив с быстротой бегущей по Земле тени облака, подгоняемого юга-западным ветром. Вокруг стало сумрачно.

Кейвор схватил меня за руку.

— Что? — спросил я.

— Смотрите! Восход Солнца! Солнце!

Он с силой повернул меня и указал на восточный край кратера, выступавший из окружающего нас тумана и немного просветлевший по сравнению с темным небом. Контуры его теперь обозначились странными красноватыми жилками, пляшущими языками багрового колеблющегося пламени. Я подумал сначала, что это лучи Солнца упали на клубы тумана и образовали огненные языки в небе, но это была солнечная корона, которая на Земле скрыта от наших глаз атмосферой.

И, наконец, Солнце!

Медленно и неотвратимо появилась ослепительная линия — тонкая лучезарная полоска, постепенно принявшая форму радуги, потом дуги, превратилась в пылающий спектр и метнула в нас огненное копье зноя.

Мне показалось, что у меня выкололи глаза! Я громко вскрикнул и отвернулся, почти ослепленный, ощупью отыскивая свое одеяло под узлом.

И вместе с этим жгучим светом раздался резкий звук, первый звук, достигший нашего слуха из вселенной с тех пор, как мы покинули Землю,— свист и шелест, бурный шорох воздушной одежды наступающего дня. С появлением света и звука шар наш накренился, и мы, как слепые щенята, беспомощно повалились друг на друга. Шар снова качнулся, и свист стал громче. Крепко стиснув веки, я делал неуклюжие попытки закрыть голову одеялом, но этот новый толчок свалил меня с ног. Я упал на узел, открыл глаза и увидел на мгновение блеск воздуха снаружи стекла. Воздух был жидкий, он кипел, как снег, в который воткнули раскаленный добела металлический прут. Отвердевший воздух при первом же прикосновении солнечных лучей превратился в какое-то тесто, в грязную кашицу, которая шипела и пузырилась, превращаясь в газ.

Шар снова покачнулся, на этот раз много резче, и мы с Кейвором ухватились друг за друга, но в следующую же секунду уже кувыркались вверх ногами. Потом я оказался на четвереньках. Лунный рассвет играл нами, как мячиком, точно хотел показать нам, ничтожным людям, что может с нами сделать Луна.

На мгновение я вновь увидел, что происходит снаружи,— там клубился пар, текла и капала полужидкая грязь. Мы падали в темноту. Я очутился внизу, колени Кейвора уперлись мне в грудь. Затем его отбросило, и несколько мгновений я лежал на спине, задыхаясь и глядя вверх. Лавина полужидкого кипящего вещества погребла под собою шар. Я видел, как по стеклу прыгали пузырьки. Кейвор слабо вскрикнул.

Теперь огромная масса тающего воздуха подхватила шар, и мы, вскрикивая и бормоча проклятия, покатились под откос к западу, перепрыгивая через расщелины, срываясь с уступов, все быстрей и быстрей, в раскаленную, белую, кипящую бурю лунного дня.

Цепляясь друг за друга, мы катались по шару вместе с тюком багажа. Мы сталкивались, сшибались головами и снова разлетались в разные стороны с фейерверком искр в глазах! На Земле мы давно раздавили бы друг друга, но на Луне, к счастью, наш вес был в шесть раз

меньше — и все обошлось благополучно. Я припоминаю ощущение неудержимой тошноты и сильной боли, будто мозг перевернулся у меня в черепе, а затем...

Что-то шевелилось у меня на лице, словно тонкие щупальца трогали мои уши. Потом я обнаружил, что яркий блеск ослаблен надетыми на меня синими очками. Кейвор наклонился надо мной, я увидел снизу его лицо; глаза его также были защищены синими очками. Дышал он порывисто, и губа у него была рассечена в кровь...

— Ну что, лучше? — спросил он, обтирая кровь рукой.

Все вокруг качалось, но это было просто головокружение. Кейвор закрыл несколько заслонок в оболочке шара, чтобы скрыть меня от прямых лучей солнца. Все вокруг нас было залито ярким светом.

— Бог ты мой,—задыхаясь, выговорил я,—ведь это...

Я повернул голову, чтобы посмотреть наружу. Ослепительный блеск сменил мрачную темноту.

— Долго я лежал без чувств? — спросил я.

— Не знаю, хронометр разбился. Должно быть, недолго, мой дорогой, но я очень испугался...

Я лежал молча, стараясь вдуматься в случившееся. На лице Кейвора еще отражалось пережитое волнение. Я ощупывал рукой свои ушибы и вглядывался в его лицо. Больше всего пострадала у меня правая рука, с которой была содрана кожа; лоб тоже был разбит в кровь. Кейвор подал мне немного подкрепляющего средства, которое он захватил с собой,— я забыл, как оно называется. После этого я почувствовал себя лучше и начал осторожно шевелить руками и ногами. Вскоре я мог уже разговаривать.

— Это никуда не годится,— сказал я, как бы продолжая начатый разговор.

— Вы правы.

Кейвор задумался, опустив руки. Он выглянул наружу через стекло, потом взглянул на меня.

— Господи! — воскликнул он.— Не может быть!

— Что случилось? — спросил я, помолчав.— Мы попали под тропики?

— Случилось то, чего я ожидал. Воздух испарился — если только это воздух. Во всяком случае, вещество это испарилось, и показалась поверхность Луны. Мы лежим на какой-то каменистой скале. Кое-где обнажилась почва, и довольно странная.

Кейвор не стал вдаваться в дальнейшие объяснения. Он помог мне сесть, и я увидел все своими глазами.

ГЛАВА VIII

УТРО НА ЛУНЕ

Резкие контрасты белого и черного в окружающем пейзаже исчезли. Солнечный свет окрасился в светло-янтарный тон; тени на скалистой стене кратера стали пурпурными. На востоке все еще клубился туман, укрываясь от лучей солнца, но на западе небо было голубое и чистое. Долго же я пролежал в обмороке!

Мы больше не находились в пустоте. Вокруг нас поднялась атмосфера. Очертания предметов вырисовывались отчетливей, резче и разнообразней, за исключением разбросанных то там, то сям полос белого вещества, но это был не воздух, а снег: пейзаж уже не походил на арктический. Всюду расстилались ярко освещенные солнцем широкие ржаво-бурые пространства голой, изрытой почвы. Кое-где по краям снежных сугробов блестели лужи и ручьи — единственное, что оживляло мертвый пейзаж. Солнечный свет проникал к нам в два отверстия и превратил климат в жаркое лето, но ноги наши оставались еще в тени, и шар лежал на снежном сугробе.

На скате виднелись какие-то разбросанные сухие ветки; они были такой же бурой окраски, как и скала, но с теневой стороны их покрывал белый иней. Это заинтересовало меня. Ветки! В мертвом мире! Но когда я пригляделся к ним, то заметил, что вся лунная поверхность затянута волокнистым покровом, похожим на ковер из опавшей бурой хвои под стволами сосен.

— Кейвор! — воскликнул я.

— Что?

— Теперь это мертвый мир, но раньше...

Тут мое внимание было привлечено другим: я заметил между опавшими иглами множество маленьких кругляшей, и мне показалось, что один из них шевелится.

— Кейвор,— прошептал я.

— Что?

Я ответил не сразу. Я пристально смотрел, не веря своим глазам. Потом издал нечленораздельный звук и схватил Кейвора за руку.

— Посмотрите,— показал я.— Вон там! И там!

Он посмотрел туда, куда я показывал пальцем.

— Что такое? — спросил он.

Как описать то, что я увидел? Это такой пустяк, и, однако, он показался мне чудесным, почти необычайным. Я уже сказал, что между иглами, устилавшими почву, были рассеяны какие-то круглые или овальные тельца, которые можно было принять за мелкую гальку. Вдруг одно из них, потом другое зашевелились и раскрылись, показывая зеленовато-желтый росток, тянущийся к горячим лучам восходящего Солнца. Через несколько мгновений зашевелилось и лопнуло третье тельце.

— Это семена,— сказал Кейвор и как бы про себя прошептал: — Жизнь!

«Жизнь!» Тотчас у меня промелькнула мысль, что наше далекое путешествие совершено не напрасно, что мы прибыли не в бесплодную пустыню минералов, а в живой, населенный мир. Мы продолжали с интересом наблюдать.

Помню, как тщательно протирал я рукавом запотевшее стекло.

Жизнь мы могли наблюдать, только смотря сквозь центр стекла. Ближе к краям мертвые иглы и семена увеличивались и искажались выпуклостью. И все-таки мы смогли увидеть многое. По всему освещенному Солнцем откосу чудесные бурые тельца лопались, как семена или стручки: они жадно раскрывали уста, чтобы пить тепло и свет восходящего Солнца.

С каждой секундой росло количество лопающихся семян, между тем как их первые застрельщики уже вытягивались из расколовшихся оболочек и переходили во вторую стадию роста. Уверенно и быстро эти удивительные семена пускали в почву корешок и в воздух странный росток в виде узелка. Скоро весь откос покрылся

крохотными растеньицами, впитывавшими яркий солнечный свет.

Но недолго оставались они в этом состоянии. Узелковые ростки надулись и лопнули, высунув кончики крошечных остроконечных бурых листочков, которые росли быстро, на наших глазах. Движение это было медленней, чем у животных, но быстрее, чем у всех виденных мною растений. Как нагляднее передать вам процесс этого произрастания? Листочки вытягивались. Коричневая оболочка семян морщилась и быстро распадалась. Случалось ли вам в холодный день взять термометр в теплую руку и наблюдать, как поднимается в трубке тонкий столбик ртути? Так же быстро росли и эти лунные растения.

Казалось, в несколько минут ростки более развившихся растений вытянулись в стебельки и пустили по второму побегу листьев. Весь откос, еще недавно мертвый, усыпанный иглами, покрылся теперь темным оливково-зеленым ковром колючих листьев и стеблей, поражающих мощью своего роста.

Я повернулся к востоку, и — чудо! Там вдоль всего верхнего края скалы тоже колыхалась бахрома растительности, поднимавшаяся так же быстро, темневшая в блеске солнечных лучей. А за этой бахромой возвышался силуэт массивного растения, узловатого, точно кактус; оно пучилось и надувалось, как пузырь, наполненный воздухом.

На западе я обнаружил еще одно такое же растение, поднимавшееся над мелкой порослью. Но здесь свет падал на него сбоку, и я мог разглядеть, что оно окрашено в ярко-оранжевый цвет. Оно росло на наших глазах. Стоило отвернуться на минуту и снова взглянуть на него, как контуры его уже менялись: оно выпускало из себя толстые, массивные ветки и в короткое время преобразилось в кораллообразное дерево высотой в несколько футов. В сравнении с этим быстрым ростом развитие земного гриба-дождевика, который, говорят, в одну ночь достигает фута в диаметре, показалось бы очень медленным. Но дождевик растет на Земле, где сила тяготения в шесть раз больше, чем на Луне.

Вокруг, из всех оврагов и равнин, которые были скрыты от наших глаз, но не от живительных лучей Солнца, над грядами и рифами сияющих скал вытягива-

лись заросли тучной колючей растительности, спешившей воспользоваться коротким летом, в продолжение которого нужно расцвести, обсемениться и погибнуть. Этот быстрый рост лунной растительности казался чудом. Так было, наверное, на первозданной земле, когда в пустыне разрастались деревья и травы.

Представьте только! Представьте себе рассвет на Луне! Оттаивает мерзлый воздух, оживает и шевелится почва, бесшумно и быстро поднимаются стебли и растут листья. И все это залито ослепительным светом, в сравнении с которым самый яркий солнечный свет на Земле показался бы слабым и тусклым. И среди этих джунглей, в тени — полосы синеватого снега. А для полноты картины не забудьте, что все это мы видели через толстое выпуклое стекло, подобное чечевице, которая лишь в центре дает ясное и верное изображение, а по краям все увеличивает и искажает.

ГЛАВА IX

ПЕРВЫЕ ИЗЫСКАНИЯ

Мы перестали наблюдать и повернулись друг к другу с одной и той же мыслью, с одним и тем же вопросом в глазах. Раз эти растения живут, значит, есть воздух, которым могли бы дышать и мы.

— Открыть люк? — предложил я.

— Да,— согласился Кейвор.— Если только это воздух.

— Растения скоро достигнут человеческого роста,— заметил я. — Но можно ли быть абсолютно уверенным, что там есть воздух? Может быть, это азот или углекислота?

— Это легко проверить,— сказал Кейвор и приступил к опыту.

Он нашел обрывок смятой бумаги, зажег ее и поспешно выбросил через люк. Я наклонился вперед и начал внимательно следить через толстое стекло за бумагой и за огоньком, от которого зависело так много.

Я видел, как бумага медленно опустилась на снег и желтоватое пламя как будто погасло. Но через мгновение на краю показался синевато-огненный язычок, который, дрожа, полз и ширился.

Скоро весь листок, за исключением кусочка, соприкасавшегося со снегом, обуглился и съежился, выпустив вверх легкую струйку дыма. Сомнения больше не было: атмосфера Луны состоит либо из чистого кислорода, либо из воздуха и, следовательно, если только она не находится в слишком разреженном состоянии, способна поддержать нашу жизнь. Значит, мы можем выйти наружу и жить.

Я уселся у люка и собирался уже отвинчивать крышку, но Кейвор остановил меня.

— Необходима маленькая предосторожность.

Он сказал, что хотя это, несомненно, атмосфера, содержащая кислород, но, может быть, она настолько разрежена, что мы ее не вынесем. При этом Кейвор напомнил мне о горной болезни и о кровотечении, которому часто подвергаются воздухоплаватели при слишком быстром подъеме аэростата. Затем он принялся изготовлять какой-то противный на вкус напиток, который мне пришлось выпить вместе с ним. Снадобье несколько расслабило меня и только. После этого Кейвор позволил мне открыть люк.

Как только стеклянная крышка люка немного поддалась, более плотный воздух нашего шара начал быстро вытекать наружу вдоль нарезки винта со свистом, похожим на песенку закипающего чайника.

Кейвор остановил меня. Очевидно, атмосферное давление вне шара значительно меньше, чем давление внутри, но насколько меньше, этого мы не могли определить.

Я сидел, ухватившись обеими руками за крышку люка, готовый снова привинтить ее, если, к несчастью, лунная атмосфера окажется чересчур разреженной. А Кейвор держал в руках цилиндр сжатого кислорода, чтобы регулировать воздушное давление внутри шара. Мы молча смотрели то друг на друга, то на фантастическую растительность, бесшумно выраставшую на наших глазах. Резкий свист не прекращался.

В ушах у меня зазвенело, все движения Кейвора сделались бесшумными. Разрежение воздуха привело к тому, что стало совсем тихо.

По мере того, как наш воздух с шипением вырывался наружу через нарезы винта, содержащаяся в нем влага сгущалась в маленькие клубы пара.

Дыхание стало затрудненным. Эта затрудненность чувствовалась нами постоянно во время пребывания во внешней атмосфере Луны. Потом появилось неприятное ощущение в ушах, под ногтями пальцев и в горле; оно скоро прошло и сменилось головокружением и тошнотой. Я испугался и прикрыл крышку люка. Но Кейвор оказался более храбрым. Голос его звучал очень тихо и доносился словно издалека вследствие разреженности воздуха. Он посоветовал мне выпить рюмку бренди и сам первый подал пример. Я почувствовал себя несколько лучше и отвернул крышку — звон в ушах усилился, между тем как свист вырывающегося из шара воздуха как будто прекратился. Однако я не был уверен, что это так.

— Ничего? — еле слышно спросил Кейвор.

— Ничего, — повторил я.

— Рискнем?

— Это все? — усомнился я.

— Если вы можете выдержать.

Вместо ответа я отвинтил крышку, снял ее и осторожно положил на тюк. Несколько хлопьев снега закружились и исчезли, когда лунный разреженный воздух наполнил наш шар. Я опустился на колени, уселся у края отверстия и выглянул наружу. Внизу, на расстоянии одного ярда от моего лица, лежал чистый, девственный лунный снег.

Мы молча переглянулись.

— Ну как ваши легкие? — спросил Кейвор.

— Ничего, — ответил я, — довольно сносно.

Кейвор протянул руку за одеялом, просунул голову в отверстие посередине и, закутавшись, сел на краю люка. Ноги его находились на расстоянии шести дюймов от снега.

С минуту он колебался, потом спрыгнул и встал на девственную почву Луны.

Фигура его, преломленная краем стекла, показалась мне фантастической. С минуту он стоял, осматриваясь вокруг. Потом собрался с духом и вдруг прыгнул в воздух.

Выпуклое стекло изображало все в искаженном виде, но прыжок Кейвора показался мне чересчур высоким. Он сразу очутился очень далеко, отлетел футов на два-

дцать или на тридцать от меня. Теперь он стоял высоко на скале и махал мне рукой. Может быть, он кричал, но я ничего не слышал. Как он смог сделать такой гигантский прыжок? Это похоже на колдовство!

Ничего не понимая, я тоже спустился через люк. Прямо передо мной снежный сугроб подтаял и образовал яму. Я сделал шаг и тоже прыгнул.

Я поднялся в воздух, с неудержимой силой летел прямо на скалу, на которой стоял Кейвор, и в изумлении обеими руками ухватился за нее. Потом истерически расхохотался. Я был очень смущен. Кейвор наклонился ко мне и пронзительным голосом крикнул, что надо быть осторожным.

Я забыл, что на Луне, масса которой в восемь раз, а диаметр — в четыре раза меньше, чем у Земли, мой вес составлял всего только одну шестую часть земного моего веса. Неожиданный полет напомнил мне об этом.

— Мы ходим здесь без помочей матери Земли,— заметил Кейвор.

Передвигаясь, как ревматик, я осторожно поднялся на вершину скалы и стал рядом с Кейвором под палящими лучами солнца. Шар наш лежал футах в тридцати позади, на рыхлом сугробе снега.

Всюду над хаосом нагроможденных скал, образовавших дно кратера, щетинились заросли, такие же, как и около нас, с торчащими кое-где кактусообразными растениями, которые росли так быстро, точно ползли по камням. Все пространство кратера, вплоть до подножия отвесных стен, казалось сплошной однообразной пустыней.

Растительность покрывала лишь основание голых скал, которые вздымались множеством выступов и площадок; сначала мы не обратили на них внимания. Они тянулись на много миль от нас по всем направлениям; по-видимому, мы находились в центре кратера и видели все сквозь легкую дымку, колыхавшуюся от ветра. В разреженной лунной атмосфере ветер казался резким, хотя и был слаб. Он продувал насквозь, хотя вы и не чувствовали сильного напора. Ветер словно тянул из темного туманного кратера по направлению к жаркой, освещенной стене. Трудно было смотреть на расстилавшийся на востоке туман, приходилось щуриться и при-

крывать рукой глаза из-за ослепительного блеска неподвижного Солнца.

— Пустыня, — сказал Кейвор, — совершенная пустыня.

Я снова осмотрелся, надеясь увидеть хоть какой-нибудь признак человеческого существования: верхушку строения, дом или машину, но всюду хаотически громоздились пики и гребни скал, щетинились заросли и торчали уродливые, раздутые кактусы. Надежды мои казались тщетными.

— Очевидно, здесь живут одни эти растения,— сказал я,— не заметно ни малейшего следа живых существ.

— Ни насекомых, ни птиц! Ничего похожего на животную жизнь. Да если бы здесь и были животные, что им делать в эту бесконечную ночь? Нет, тут, видно, живут одни эти растения.

Я прикрыл глаза рукой.

— Это похоже на фантастический ландшафт какого-нибудь необыкновенного сновидения. Растения так же мало похожи на земные, как подводные водоросли. Посмотрите на это чудовище! Можно подумать, что это ящер, преображенный в растение. И какой ослепительный свет!

— А между тем сейчас только еще прохладное утро,— сказал Кейвор.

Он вздохнул и огляделся.

— Нет, здешний мир непригоден для людей,— промолвил он,— однако в некоторых отношениях... он не лишен интереса.

Он замолчал и, задумавшись, начал привычно жужжать.

Я вздрогнул от какого-то легкого прикосновения: оказалось, что лишайник вполз мне на ботинок, я стряхнул его, он рассыпался, и каждый кусочек его опять начал расти. Кейвор вскрикнул, уколовшись об острый шип колючего кустарника.

Он, видимо, колебался: глаза его искали что-то среди окружающих скал.

На шершавом хребте скалы словно вспыхнул красный огонек. Это оказалась багровая гвоздика удивительной окраски.

— Посмотрите,— сказал я, оборачиваясь, но Кейвор исчез.

В испуге я словно оцепенел, потом поспешно подошел к краю скалы, но, пораженный исчезновением Кейвора, снова забыл, что мы находимся на Луне. Большой шаг, сделанный мною, передвинул бы меня на Земле на один ярд, на Луне он перенес меня ярдов на шесть через край скалы. Это походило на тот кошмарный сон, когда нам кажется, что мы летим вниз. На Земле падающее тело проходит в первую секунду шестнадцать футов, на Луне же — всего два фута, имея при этом вес в шесть раз меньший. Я упал, или, вернее, спрыгнул на тридцать футов. Мне показалось, что прыжок длился довольно долго — пять или шесть секунд. Я полетел по воздуху и опустился, как перышко, увязнув по колени в снежном сугробе на дне оврага, среди синевато-серых скал с белыми прожилками. Я огляделся по сторонам.

— Кейвор! — крикнул я, но Кейвора нигде не было.— Кейвор!— завопил я еще громче, но лишь горное эхо откликнулось на мой призыв.

Отчаянным рывком я вскарабкался на вершину скалы и крикнул:

— Кейвор!

Крик мой напоминал блеяние заблудившегося ягненка.

Шара тоже не было видно, и на минуту меня охватило страшное ощущение одиночества.

И тут я увидел Кейвора. Он смеялся и махал рукой, стараясь привлечь мое внимание. Он стоял на площадке скалы, ярдах в двадцати или тридцати от меня. Я не мог слышать его голоса, но жесты его говорили: «Прыгай». Я колебался: расстояние казалось огромным. Однако я решил, что, наверное, смогу прыгнуть дальше, чем Кейвор.

Я отступил на шаг назад, собрался с духом и прыгнул вверх; я взлетел в воздух и, казалось, не смогу спуститься вниз.

Жуткое и в то же время сладостное ощущение полета! Необыкновенное, как сон! Мой прыжок оказался слишком большим. Я пролетел над головой Кейвора и увидел, что падаю в овраг с колючками. В

испуге я крикнул, протянул вперед руки и расставил ноги.

Я упал на огромный гриб, который лопнул подо мной, развеяв массу оранжевых спор и обдав меня оранжевой пылью. Отплевываясь, я покатился вниз и затрясся от беззвучного смеха.

Из-за колючих кустов выглянуло маленькое круглое лицо Кейвора. Он что-то говорил мне.

— Что?— хотел я спросить, но у меня перехватило дыхание.

Он медленно спускался ко мне между зарослями.

— Нам нужно быть осторожнее, — сказал он. — Эта Луна не признает земных законов. Она разобьет нас вдребезги.— Он помог мне встать на ноги.— Вы чересчур напрягаетесь,— сказал он, смахивая рукой желтую пыль с моей одежды.

Я стоял тихо, тяжело дыша, пока он счищал с моих колен и локтей студенистое вещество и читал мне наставления.

— Мы должны приспособиться к невесомости. Наши мускулы еще недостаточно приучены. Необходимо попрактиковаться, когда у вас восстановится правильное дыхание...

Я вытащил из руки два или три вонзившихся шипа и в изнеможении присел на скалу. Руки и ноги у меня дрожали. Я чувствовал себя неловко, как человек, впервые пробующий ездить на велосипеде.

Кейвору вдруг пришла в голову мысль, что после солнечного зноя холодный воздух на дне оврага может простудить меня, и мы вскарабкались на вершину скалы, озаренную солнцем. Оказалось, что, кроме нескольких ссадин, я не получил никаких серьезных ушибов при падении. Кейвор предложил найти более безопасное и удобное место для следующего прыжка. Мы выбрали наконец площадку на скале на расстоянии около десяти ярдов, отделенную от нас темно-зелеными колосьями.

— Прыгнем сюда,— предложил Кейвор, разыгрывавший роль инструктора, и указал на место футах в четырех от моих ног.

Этот прыжок я совершил без труда и должен признаться, что не без удовольствия заметил, что Кейвор

недопрыгнул на фут или два и свалился в колючие заросли.

— Видите, как надо быть осторожным,— сказал он, вытаскивая шипы, и после этого бросил разыгрывать из себя учителя и стал моим товарищем в школе лунного хождения.

Мы выбрали еще более легкий прыжок и совершили его шутя, затем прыгнули назад, потом снова вперед и повторили это упражнение несколько раз, приучая мускулы к новому режиму. Я никогда не поверил бы, что можно приспособиться так быстро, если бы не узнал на собственном опыте. Очень скоро, после двадцати — двадцати пяти прыжков, мы легко определяли усилие, необходимое для каждого расстояния.

Между тем лунная растительность продолжала развиваться, становилась выше и гуще: мясистые кактусы, колючие стебли, грибы и лишайник лучились и изгибались, поражая необычайными формами. Однако мы были так поглощены нашими упражнениями, что сначала не обращали внимания на буйный рост лунных зарослей.

Странное возбуждение овладело нами. Отчасти, я думаю, это было чувство радости, связанное с освобождением от продолжительного заключения в тесном шаре, но главная причина — мягкость и свежесть лунного воздуха, который, очевидно, содержит гораздо больше кислорода, чем наша земная атмосфера. Несмотря на удивительную, необычную обстановку, мы вели себя, как лондонцы, впервые очутившиеся в горах, на лоне природы. Мы вовсе не испытывали страха перед неведомым будущим.

Нас охватила жажда деятельности. Мы выбрали мшистый пригорок ярдах в пятнадцати от нас и благополучно взобрались на его вершину.

— Отлично! — кричали мы.— Отлично!

Кейвор сделал три шага и прыгнул на снежный скат ярдах в двадцати. Я стоял неподвижно, пораженный уморительным видом его парящей в воздухе фигуры в грязной, измятой спортивной шапочке, с взъерошенными волосами, с коротким круглым туловищем, длинными руками и поджарыми козлиными, тонкими ножками — странной фигуры на фоне лунного простора.

Я громко расхохотался и последовал за ним. Прыжок — и я очутился рядом с Кейвором.

Мы сделали несколько исполинских шагов наподобие Гаргантюа, три-четыре раза прыгнули и уселись в поросшей мхом лощине. Дышать было трудно. Мы запыхались и сидели спокойно, держась за грудь и вопросительно поглядывая друг на друга. Кейвор бормотал что-то об «удивительных ощущениях». Затем я вдруг спросил — в этом не было ничего страшного, это был вполне естественный и уместный вопрос:

— Однако где же наш шар?

Кейвор посмотрел на меня.

— Что?

Я тут понял, что случилось, и меня словно обожгло.

— Кейвор,— закричал я, схватив его за руку,— где же наш шар?

ГЛАВА X

ЗАБЛУДИВШИЕСЯ НА ЛУНЕ

Мой испуг передался и Кейвору. Он встал и начал внимательно осматривать окружавшие нас быстро разраставшиеся заросли. С недоумением поднес руку к губам и заговорил без своей обычной уверенности.

— Мне кажется...— медленно произнес он,— мы оставили его... где-то... там...— Он сделал неопределенный жест.— Не знаю наверное.— В его глазах выразилась растерянность.— Во всяком случае, он где-то недалеко.

Мы оба встали. Выкрикивая что-то невнятное, мы напряженно всматривались в чащу опоясывающих нас джунглей. Повсюду вокруг, на освещенных солнцем скатах, вздымалась лишь колючая щетина, раздутые кактусы, ползучий лишайник да кое-где в тени синели снежные сугробы. На север, на юг, на восток и на запад — во все стороны расстилались однообразные заросли необычайных растительных форм. И где-то, погребенный среди этого хаоса стеблей, лежал наш шар — наш дом, вся наша провизия, наша единственная надежда выбраться из этой фантастической пустыни, покрытой эфемерными растениями.

— Я думаю,— Кейвор показал пальцем на север,— что шар, наверное, там.

— Нет,— возразил я,— мы двигались по кривой. Смотрите, вот отпечаток моих каблуков. Ясно, что шар находится восточнее. Нет, он где-нибудь там.

— Я считаю,— сказал Кейвор,— что солнце все время было справа.

— А мне кажется, что при каждом прыжке моя тень падала вперед.

Мы вопросительно посмотрели друг на друга.

В наших глазах дно кратера сразу приняло громадные размеры, чащи кустарника казались непроходимыми.

— Боже мой! Какое безрассудство!

— Совершенно очевидно, что нам надо во что бы то ни стало найти шар,— сказал Кейвор,— и как можно скорей. Солнце печет все сильнее. Мы давно уже изнемогли бы от жары, если бы воздух не был так сух. К тому же... я проголодался.

Я посмотрел на него с удивлением. Об этом я не подумал, но после его слов сразу почувствовал волчий аппетит.

— Да, и я тоже,— сказал я.

Кейвор решительно встал.

— Необходимо найти шар.

Стараясь держаться спокойно, мы всматривались в бесконечные каменные гряды и в чащу растений на дне кратера, молча, каждый про себя взвешивая шансы найти шар, прежде чем нас обессилят зной и голод.

— Он находится не дальше пятидесяти ярдов отсюда,— несколько нерешительно заметил Кейвор.— Единственный способ — ходить кругами, пока не наткнемся на него.

— Больше нам ничего не остается,— согласился я.— О, если бы эти проклятые колючки росли не так быстро!

— Вполне разделяю ваше пожелание,— сказал Кейвор.— Но ведь шар-то остался в снежном сугробе.

Я огляделся по сторонам, тщетно надеясь узнать какой-нибудь бугор или кактус вблизи нашего шара. Но везде было одно и то же: стремящиеся кверху заросли, раздувающиеся грибы, тающие и постоянно меняющие очертания снежные сугробы. Солнце палило не-

стерпимо; мы слабели от голода, и это еще более увеличивало затруднительность нашего положения. И в тот миг, когда мы стояли так, смущенные и растерянные, мы вдруг впервые услыхали на Луне звук, не похожий ни на шелест растений, ни на свист ветра, ни на наши шаги.

«Бум... Бум... Бум ...»

Звук исходил откуда-то снизу, из-под почвы. Казалось, что мы ощущаем его не только ушами, но и ногами. Он отдавался глухим отдаленным гулом, словно отделенный от нас толстой стеной. Ни один из знакомых звуков не показался бы нам таким неожиданным: все вокруг словно изменилось. Густой, медленный и мерный, он был подобен бою гигантских часов, зарытых глубоко под землей.

«Бум... Бум... Бум...»

Звук, напоминавший о тихих монастырях, о бессонных ночах в многолюдном городе, об ожидании и бодрствовании, о размеренном порядке, таинственно разносился по этой фантастической пустыне. Для глаза ничто не изменилось в окружающем пейзаже: однообразные кусты и кактусы колыхались от ветра до самого горизонта, на темном пустом куполе неба палило солнце. Но над всем этим в воздухе, как предостережение или угроза, плыл загадочный звук.

«Бум... Бум... Бум...»

Мы тихо спрашивали друг друга:

— Как будто часы.

— Похоже на часы.

— Что это такое?

— Что это может быть?

— Считайте,— сказал Кейвор, но опоздал, так как удары прекратились.

Тишина, ритмическая неожиданность тишины, тоже казалась нам странной. Действительно ли мы слышали таинственный звон?

Я почувствовал прикосновение руки Кейвора к моему плечу. Он говорил вполголоса, как бы боясь кого-то разбудить.

— Будем держаться вместе и искать наш шар. Надо вернуться к шару. Мне непонятны эти загадочные звуки.

— Куда же мы пойдем?

Он колебался. Мы остро чувствовали присутствие каких-то неведомых существ. Что это за существа? Где они живут? Не является ли окружающая нас пустыня, то мерзлая, то опаленная, только оболочкой какого-то подлунного мира? А если так, то каков этот мир?

Каких обитателей может он изрыгнуть на нас?

И вдруг, пронизывая болезненную тишину, раздался громовой удар, звон, скрежет, как будто неожиданно распахнулись громадные металлические ворота.

Мы замедлили шаги, потом остановились в изумлении. Кейвор тихо подошел ко мне.

— Не понимаю,— прошептал он мне над самым ухом. Он неопределенно махнул рукой — смутное выражение еще более смутных мыслей.— Надо бы найти, где спрятаться. На случай, если...

Я осмотрелся кругом и кивнул головой в знак согласия.

Мы пустились на поиски шара, двигаясь тихо, с преувеличенной осторожностью, стараясь производить как можно меньше шума. Мы направились к ближайшим зарослям, но раздавшийся снова звон, похожий на удар молота по котлу, заставил нас ускорить шаги.

— Надо пробираться ползком,— прошептал Кейвор.

Нижние листья колючих растений, затененные свежей верхней листвой, начали уже вянуть и свертываться, так что мы сравнительно легко могли пробираться между утолщающимися стеблями. На царапины мы уже не обращали внимания. В середине чащи я остановился и, задыхаясь, тревожно уставился в лицо Кейвора.

— Подземные,— прошептал он,— там, внизу...

— Но они могут выйти наружу.

— Нам надо найти шар.

— Да, но как его найти?

— Надо ползать, пока не наткнемся на него.

— А если не наткнемся?

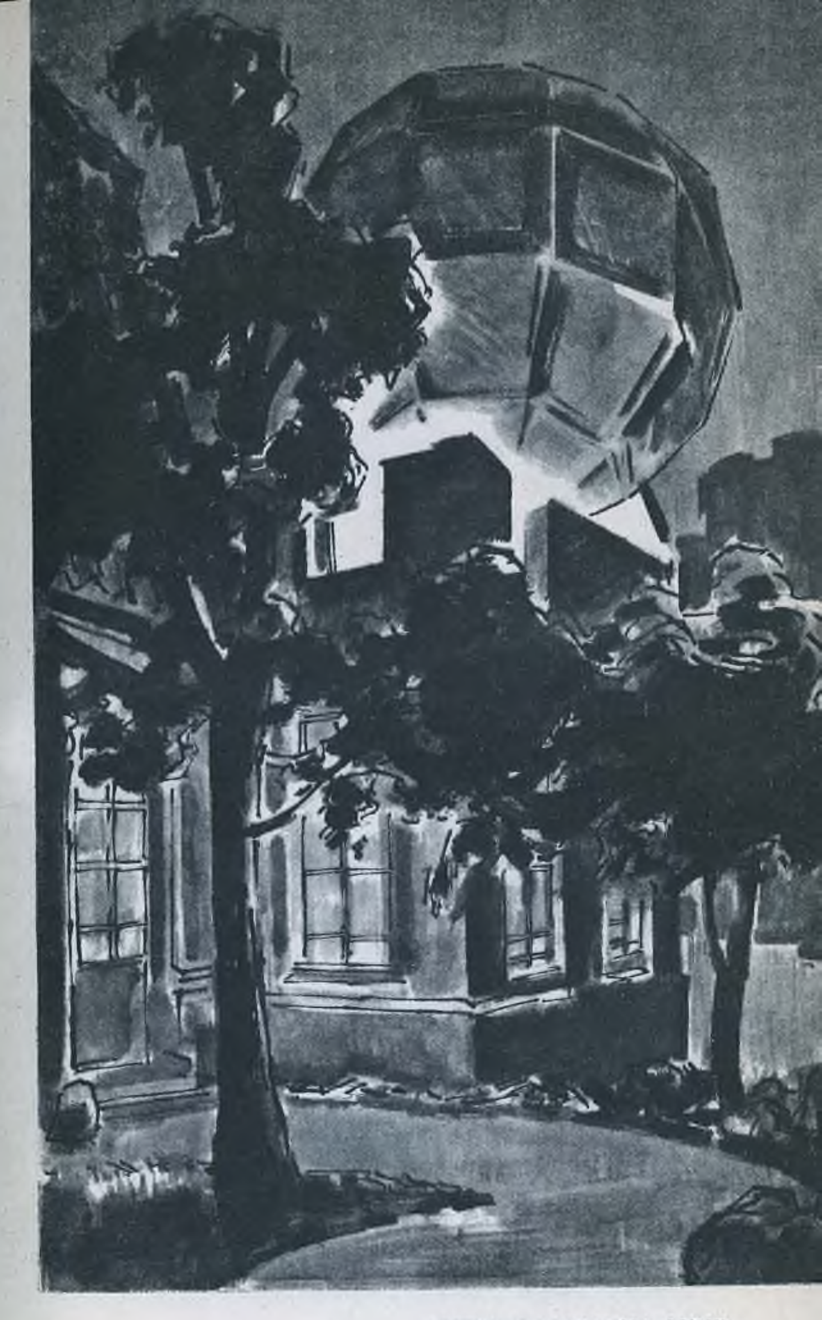
— Будем прятаться. Посмотрим, что это за существа.

— Мы будем держаться вместе,— сказал я.

Кейвор задумался.

— В какую сторону идти?

— Пойдем наудачу.



«ПЕРВЫЕ ЛЮДИ НА ЛУНЕ»



«ПЕРВЫЕ ЛЮДИ НА ЛУНЕ»

Мы осмотрелись и осторожно поползли через заросли, стараясь двигаться по кругу, останавливаясь перед каждым грибом, при каждом звуке, думая только о шаре, который мы так легкомысленно покинули. Иногда из-под почвы под нами слышались удары, звон, странные, необъяснимые механические звуки; дважды нам казалось, что мы слышали в воздухе какой-то слабый треск и гул. Но мы боялись взобраться на возвышение, чтобы взглянуть на кратер. Долгое время мы не замечали существ, о присутствии которых свидетельствовали эти настойчивые частые звуки. Если бы не мучительное чувство голода и жажды, то наше ползание походило бы на яркое сновидение. Все это было так нереально. Единственным намеком на реальность были эти звуки.

Представьте себя в нашем положении! Кругом безмолвный сказочный лес; колючие листья вверху, а под руками и коленями ползучие яркие лишайники, непрерывно движущиеся в процессе быстрого роста, как ковер, надуваемый снизу ветром. Исполинские грибы раздувались под солнцем, как пузыри, и то и дело лопались, обдавая нас пылью своих спор. То и дело появлялись новые, невиданные растительные формы с яркой окраской. Даже клеточки, образующие эти растения, были величиной с мой большой палец и напоминали цветные стеклянные бусы. Все это озарялось ярким блеском Солнца и отчетливо вырисовывалось на черно-синем небе, где, несмотря на солнечный свет, сверкали еще немногие звезды. Странно! Даже камни были необычайны по форме и строению. Все было странно, даже наше самочувствие: каждое движение заканчивалось чем-нибудь неожиданным. Дыхание спиралось в горле, кровь пульсировала в ушах: тук, тук, тук, тук...

И снова и снова доносился откуда-то глухой шум — удары молота, звон, грохот машин и даже мычание огромных зверей.

ГЛАВА XI

ПАСТБИЩА ЛУННЫХ КОРОВ

Так мы, два несчастных земных отщепенца, заблудившиеся в лунных джунглях, ползли в страхе перед доносившимися до нас странными звуками. Ползли мы так

довольно долго, прежде чем увидели селенита и лунную корову, хотя рев и мычание доносились до нас все ясней и ясней. Мы ползли через каменистые овраги, через снежные сугробы, по грибам, которые лопались под нами, как пузыри, выпуская из себя водянистую жидкость,— ползли как бы по мостовой из дождевиков, сквозь колючие заросли. Тщетно мы высматривали покинутый нами шар. Звуки, издаваемые лунными коровами, походили то на мычание, то на яростное завывание, то на животный рев, как будто эти невидимые существа искали корм и ревели.

В первый раз они промелькнули так быстро, что мы не смогли разглядеть их, хотя и испугались. Кейвор полз впереди и первый заметил их приближение. Он замер и подал мне знак не шевелиться.

Треск и шум в чаще становились все громче, и, пока мы сидели на корточках, прислушиваясь и стараясь определить их местонахождение, позади нас раздалось страшное мычание, верхушки зарослей закачались, и мы почувствовали чье-то горячее и влажное дыхание. Обернувшись, мы увидели среди качающихся стеблей лоснящиеся бока лунной коровы и ее огромную выгнутую спину, выделяющуюся на фоне неба.

Конечно, мне трудно сказать, что именно я увидел в ту минуту, так как первые мои впечатления были дополнены потом последующими наблюдениями. Прежде всего меня поразили огромные размеры животного: в окружности его туловище имело не менее восьмидесяти, а в длину — не менее двухсот футов. Бока его поднимались и опадали от тяжелого дыхания. Я заметил, что его исполинское рыхлое тело почти лежало на грунте и что кожа у него была морщинистая, в складках, белая, темная только на спине. Ног его я не заметил. Мне кажется, что мы увидели только профиль почти лишенной мозгов головы, жирную шею, мокрый, всепожирающий рот, маленькие ноздри и закрытые глаза (лунные коровы всегда закрывают глаза от солнечного света). Мы мельком увидели и красную пасть, когда чудовище разинуло рот, чтобы зареветь и замычать; мы почувствовали даже его дыхание. Затем чудовище опрокинулось на бок, как судно, которое волокут по отмели, подобрало складки кожи, проползло мимо нас, пролагая себе

просеку в чаще, и быстро скрылось в зарослях. Скоро показалось другое такое же чудище, за ним третье, и, наконец, появился селенит, очевидно, пастух, гнавший эти громадные туши на пастбище. В испуге я судорожно ухватился за ногу Кейвора. Мы замерли и долго смотрели вслед селениту, когда он уже совсем скрылся из виду.

В сравнении с лунными коровами он казался муравьем, пигмеем не более пяти футов ростом. На нем была одежда из какой-то кожи, так что все тело его было закрыто, но тогда мы об этом еще не знали. Селенит представлял собой крепкое, подвижное существо, напоминавшее насекомое с длинными ремнеобразными щупальцами и чем-то вроде клешни, которая со звоном болталась на блестящем цилиндрическом футляре, покрывавшем туловище. Голова была скрыта под огромным, утыканным остриями шлемом (впоследствии мы узнали, что этими остриями селениты пользовались для наказания упрямых лунных коров), два темных стекловидных наглазника сбоку придавали что-то птичье металлическому аппарату, скрывавшему его лицо. Рук не было видно, и селенит передвигался на коротких ногах, которые, хотя и были обернуты во что-то теплое, показались нам очень жидкими: слишком короткие бедра, длинные голени и маленькие ступни.

Несмотря на тяжелое, по-видимому, одеяние, селенит шел довольно большими шагами и все время работал клешней. По его походке в ту минуту, когда он проходил вдали мимо нас, было заметно, что он торопится и сердится. Вскоре после того, как мы потеряли его из виду, протяжное мычание лунных коров перешло в короткий резкий визг, сопровождаемый возней. Рев, удаляясь, становился тише и наконец совсем смолк: вероятно, чудовища достигли пастбища.

Мы прислушались. В лунном мире вновь царила тишина. Но мы не сразу поползли дальше искать наш пропавший шар.

Во второй раз мы увидели лунных коров на некотором расстоянии, среди скал. Пологие обрывы густо поросли здесь каким-то растением с зелеными мшистыми клубнями: их-то и поедали чудовища. Мы остановились на опушке чащи, наблюдая эти создания и высматривая

кругом, нет ли где селенита. Чудовища лежали на пастбище, как огромные жирные паразиты, и, жадно чавкая и сопя, пожирали корм; неуклюжие и неповоротливые, они, казалось, состояли из одного жира — смитфильдский бык в сравнении с ними показался бы образцом проворства. Их искривленные, жующие пасти, закрытые глаза и смачное чавканье выражали такое животное наслаждение, что мы еще сильней почувствовали пустоту наших желудков.

— Свиньи! — разозлился Кейвор.— Отвратительные свиньи!

Бросив на чудовищ завистливый взгляд, Кейвор пополз через кусты вправо. Убедившись, что растение совершенно непригодно для человеческого питания, я пополз вслед за ним, сжав зубами сорванный стебель.

Но вскоре мы вторично остановились при приближении селенита и на этот раз могли лучше рассмотреть его. Верхний покров его действительно был одеждой, а не скорлупой. Одежда у этого селенита была такая же, как и у первого, с той лишь разницей, что у него на шее висело что-то похожее на вату. Селенит стоял на выступе скалы и поворачивал голову то в одну сторону, то в другую, как бы осматривая кратер. Мы притаились, боясь привлечь его внимание, и вскоре он повернулся и исчез.

Мы наткнулись на другое стадо мычавших лунных коров, поднимавшихся по скату обрыва, а потом проходили там, где из-под ног раздавались звуки, похожие на стук машин, как будто под почвой работала огромная фабрика. Звуки эти еще доносились до нас, когда мы достигли окраины большого открытого пространства, ярдов двести в диаметре и совершенно ровного. Если не считать лишайников, выступавших кое-где по краям, поляна была совершенно голая, покрытая желтоватой пылью. Сначала мы боялись спуститься по этой пыльной равнине, но так как по ней было легко ползти, то мы наконец решились и начали осторожно красться вдоль ее края.

Подземный шум прекратился, и некоторое время слышался только шорох быстрорастущих растений. Затем внезапно шум снова возобновился, более резкий и громкий, чем раньше. Несомненно, он шел откуда-то сни-

зу. Инстинктивно мы плотно прижались к почве, готовые при малейшей опасности прыгнуть в чащу. Каждый удар, казалось, отдавался в нашем теле. Грохот и стук становились все громче и громче, порывистая вибрация усиливалась, словно весь лунный мир мерно содрогался и пульсировал.

— Прячьтесь,— шепнул Кейвор, и я повернулся к кустам.

В это мгновение раздался оглушительный удар, напоминающий орудийный залп, и произошло то, что еще и теперь пугает меня во сне. Я повернул голову, чтобы взглянуть на Кейвора, и протянул руку вперед. Рука моя ткнулась в пустоту! Под ней зияла пропасть!

Моя грудь опиралась на что-то твердое, а подбородок оказался на краю разверзшейся бездны. Моя окаменевшая рука тянулась в пустоту. Вся эта плоская круглая равнина оказалась гигантской крышкой, которая теперь сдвигалась в сторону, в приготовленную для нее выемку, открывая находившуюся внизу яму.

Если бы Кейвор не поспешил ко мне на помощь, я, наверное, так и оцепенел бы на краю пропасти, пока не упал бы вниз. Но Кейвор, к счастью, не растерялся. Когда крышка начала отодвигаться, он находился немного дальше меня от края и, заметив мое опасное положение, схватил меня за ноги и оттащил прочь. Я отполз от края на четвереньках, привстал, шатаясь, и побежал вслед за Кейвором по звонкому, зыбкому металлическому листу. Крышка быстро сдвигалась, и кусты, к которым я бежал, уносились в сторону. Я еле успел. Скоро спина Кейвора исчезла в густой чаще, и пока я карабкался вслед за ним, чудовищная крышка со звоном задвинулась. Долго мы лежали, затаив дыхание, не смея подползти к краю бездны.

Наконец, осторожно мы решились заглянуть вниз с безопасного места. Заросли вокруг трещали и колыхались от ветра, дувшего снизу. Сначала мы не увидели ничего, кроме гладких отвесных скал, уходивших в непроницаемый мрак, но потом разглядели внизу движущиеся во всех направлениях огоньки.

Таинственная пропасть так захватила нас, что мы позабыли даже о своем шаре. Когда глаза наши освоились с темнотой, мы разглядели крохотные призрачные

фигурки, двигавшиеся между тускло светящимися точками. Мы молча смотрели вниз, не находя слов от изумления. Мы не могли понять, что делают эти копавшиеся на дне пропасти создания.

— Что это может быть?— спросил я.— Что это может быть?

— Инженерные работы. Они, очевидно, проводят ночь в этих шахтах, а днем выходят на поверхность.

— Кейвор, может быть, они... вроде людей?

— Нет, это не люди.

— Не будем рисковать.

— Мы не смеем рисковать, пока не найдем шар!

— Да!

Он со вздохом согласился и, осмотревшись, выбрал направление. Мы вновь стали пробираться сквозь чащу. Сначала мы ползли довольно быстро, но скоро энергия наша иссякла. Вскоре среди красноватых зарослей послышались шум и крики. Мы притаились; звуки долго раздавались поблизости, но мы ничего не видели. Я хотел сказать Кейвору, что вряд ли долго продержусь без пищи, но губы мои пересохли, и я не мог даже шептать.

— Кейвор, я больше не могу без еды,— сказал я.

Он обернулся и с ужасом посмотрел на меня.

— Надо потерпеть.

— Не могу,— настаивал я,— посмотрите на мои губы.

— Я тоже давно хочу пить.

— Ах, если бы остался хоть кусочек снега!

— Нет, он растаял весь. Мы перенеслись из арктического пояса в тропический со скоростью одного градуса в минуту...

Я стал сосать свою руку.

— Шар!— сказал Кейвор.— Только в нем наше спасение.

Мы возобновили поиски. Я думал лишь о еде, о пенистых прохладительных напитках, особенно хотелось мне выпить пива. Я все вспоминал о ящике пива, который остался у меня в погребе в Лимпне. Припомнилась мне и кладовая с припасами: холодное мясо, паштет из почек — нежное мясо, почки и жирная густая подливка. Я даже начал зевать от голода. Мы выбрались на равнину, покрытую коралловыми мясистыми растениями, которые с треском разламывались от прикосновения. Я по-

глядел на поверхность излома. Растение походило на съедобное. Мне показалось, что и пахнет оно недурно. Я отломил ветку и обнюхал.

— Кейвор! — прохрипел я.

Он взглянул на меня и поморщился.

— Нельзя,— сказал он.

Я бросил ветку, и мы продолжали пробираться через эти соблазнительные заросли.

— Кейвор,— спросил я,— почему нельзя?

— Яд! — сказал он, не оборачиваясь.

Мы поползли дальше. Наконец я не выдержал.

— Я все-таки попробую.

Он жестом хотел остановить меня, но опоздал. Я уже набил себе полный рот. Он присел, наблюдая за выражением моего лица. Его лицо исказилось гримасой.

— Недурно! — сказал я.

— Боже! — воскликнул он.

Он наблюдал, как я жую, на лице его выражалась борьба между желанием и страхом. Наконец он не выдержал и тоже набил себе рот. Несколько минут мы жадно ели. Растение походило на гриб, но ткань его была гораздо рыхлее и при проглатывании согревала горло. Сначала мы испытывали просто удовлетворение от еды, потом кровь у нас начала двигаться быстрее, и мы ощутили зуд на губах и в пальцах. Фантастические мысли ключом забили в нашем мозгу.

— Как тут хорошо,— сказал я,— адски хорошо! Какая прекрасная колония для нашего избыточного населения! Бедного избыточного населения.

И я сорвал новую порцию.

Я радовался, что на Луне есть такая прекрасная пища. Муки голода сменились теперь беспричинным весельем. Страх и подавленное настроение исчезли. Я смотрел на Луну не как на планету, с которой нужно поскорее убраться, а как на обетованный рай для человечества. Я позабыл о селенитах, о лунных коровах, о проклятой крышке над бездной и о пугавших нас звуках. Так подействовали на меня лунные грибы.

Кейвор ответил одобрительно на мое повторенное в третий раз замечание об «избыточном населении». Я почувствовал головокружение, но приписал это действию пищи после долгого голодания.

— Вы сделали великое открытие, Кейвор,— пробормотал я,— вро... вроде картофеля.

— Что? — удивился Кейвор.— Что, Луна вроде картофеля?

Я посмотрел на него, удивленный хрипотой его голоса и несвязным выговором. Я вдруг понял, что он опьянел от этих грибов. Я понял также, что он заблуждается, полагая, что открыл Луну: он только добрался до нее. Я положил руку на его плечо и пытался разъяснить ему это обстоятельство, но мои объяснения были слишком мудреными для его мозга. Да и мне оказалось трудно высказать ясно свои мысли. После тщетной попытки понять меня (неужели мои глаза такие же рыбьи, как у него?) он пустился разглагольствовать на другую тему.

— Мы,— объявил он торжественно, икая,— продукт нашей пищи и питья.

Он повторил эту фразу, а я стал с жаром оспаривать это положение. Вероятно, я немного уклонился в сторону от предмета спора; но Кейвор все равно не слушал меня. Он кое-как поднялся, опираясь рукой на мою голову — это было очень невежливо с его стороны,— и стоял, озираясь, совсем не боясь лунных обитателей.

Я пытался доказать, что стоять опасно, но сам толком не мог сообразить, почему. Слово «опасно» перепуталось у меня со словом «нескромно» и в конце концов перешло в слово «нахально». Окончательно запутавшись, я обратился с речью к посторонним, более внимательным слушателям: к коралловым растениям. Я чувствовал, что необходимо срочно выяснить различие между Луной и картофелем, и пустился в пространные рассуждения о важности точного определения в спорах. Мое самочувствие было уже не такое приятное, как сначала, но я пытался не обращать на это внимания.

Затем каким-то образом я перескочил обратно к проекту колонизации.

— Мы должны аннексировать эту Луну,— говорил я,— без всяких колебаний. Это — Бремя Белого Человека. Кейвор, мы — сатапы... То есть сатрапы. О такой нимперии не мечтал даже Цезарь! Будет пропечатано во всех газетах. Кейвореция. Бедфордеция. Акционерное обще-

ство Бедфорд и — ик! — компания! Неограниченное количество акций!

Я совсем опьянел.

Я пустился в перечисление всех бесконечных преимуществ, которые наше прибытие может принести Луне. Стал доказывать, что прибытие Колумба было в общем благодетельно для Америки, потом запутался и продолжал бессмысленно повторять: «Подобно Колумбу!»

С этого момента мои воспоминания о действии на нас этого отвратительного гриба становятся туманными. Помню, что мы объявили о своем намерении плевать на проклятых насекомых и решили, что мужчинам не пристало прятаться здесь, на каком-то несчастном спутнике Земли: мы набрали полные пригоршни коралловых грибов — очевидно, для самозащиты — и, не обращая внимания на уколы шипов, вышли на припек.

Почти тотчас же мы встретились с селенитами. Их было шестеро, они шли гуськом по каменистой долине, издавая удивительно жалобные свистящие звуки. Они сразу заметили нас, смолкли и остановились, как животные, повернув головы к нам.

На мгновение я отрезвел.

— Насекомые,— пробормотал Кейвор,— насекомые... И они воображают, что я, высокоорганизованное позвоночное животное, буду перед ними ползать на животе? На животе! — повторил он с негодованием.

Затем вдруг с криком ярости он сделал три больших шага и прыгнул к селенитам. Прыгнул он неудачно: несколько раз перекувырнулся в воздухе, пролетел над ними и с треском исчез среди кактусоподобных растений. Как отнеслись селениты к этому странному и, на мой взгляд, недостойному вторжению непрошеного гостя с другой планеты, не сумею сказать. Кажется, они повернулись и обратились в бегство, но я в этом не уверен. Все последние события перед наступившим потом беспамятством слабо отпечатались в моем мозгу. Помню, что я шагнул вперед, чтобы последовать за Кейвором, но споткнулся и упал между камнями. Мне сделалось

дурно, и я потерял сознание. Смутно вспоминается мне какая-то борьба, потом металлические зажимы.

Мои последующие ясные воспоминания касаются уже нашего плена в невероятной глубине, под лунной поверхностью; мы были в темноте, среди странных беспокойных звуков, все избитые и исцарапанные; в синяках и кровоподтеках, с мучительной головной болью.

ГЛАВА XII

ЛИЦО СЕЛЕНИТА

Я очнулся скрюченным, в гулком мраке. Долго не мог понять, где я и как попал в это ужасное положение. Я вспомнил о чулане, куда меня иногда запирали в детстве, потом о темной и шумной спальне, где я однажды лежал больной. Но эти звуки не походили ни на какие знакомые мне шумы, в воздухе витал легкий запах конюшни. Мне показалось, что мы еще работаем над сооружением шара и что я почему-то попал в погреб Кейвора. Тут я вспомнил, что мы уже сделали наш шар, и подумал, что все еще лечу в нем в межпланетном пространстве.

— Кейвор, нельзя ли зажечь свет? — спросил я.

Ответа не последовало.

— Кейвор! — повторил я.

Вместо ответа послышались стоны.

— Голова! — прошептал он.— Голова!

Я хотел приложить руки к пылавшему лбу, но они оказались связанными. Это меня очень удивило. Я поднес их к губам и почувствовал прикосновение холодного гладкого металла. Руки мои были скованы. Я попробовал раздвинуть ноги, но они тоже оказались скованными; кроме того, я был прикован к полу толстой цепью, обвитой вокруг моего туловища.

Меня охватил такой страх, какого я еще ни разу не испытывал во время наших похождений. Некоторое время я молчал, пытаясь ослабить свои путы.

— Кейвор,— крикнул я потом,— почему я связан? Зачем вы сковали меня по рукам и ногам?..

— Я не сковывал вас,— ответил он,— это селениты.

Селениты! Моя мысль сосредоточилась на этом слове. И тут я все вспомнил: снежная пустыня, таяние мерзлого воздуха, быстрый рост растений, наши странные прыжки и ползание среди скал и растительности кратера. Вспомнил, как отчаянно мы искали шар... Как открылась огромная крышка над шахтой...

Я силился припомнить, что случилось потом и как мы очутились здесь, но мне мешала невыносимая головная боль. Я словно уперся в непреодолимую преграду, в безвыходный тупик.

— Кейвор!

— Что?

— Где мы?

— Не знаю.

— Мы умерли?

— Какая чушь!

— Значит, они нас одолели?

Он ничего не ответил, только сердито заворчал. Продолжавшееся еще действие яда сделало его странно раздражительным.

— Что вы намерены делать?

— Почем я знаю?

— Ну ладно, ладно,— прошептал я и умолк.

Скоро я вышел из своего оцепенения.

— Черт побери!— крикнул я.— Прекратите это жужжание!

Мы снова погрузились в молчание, прислушиваясь к глухому гулу не то многолюдной улицы, не то фабрики. Сначала я не мог разобраться в хаосе звуков, потом начал различать новый, более резкий ритм, выделяющийся из всех остальных. Это был ряд последовательных звуков, легких ударов и шорохов, вроде шуршания ветки плюща об окно или порхания птицы в клетке. Мы прислушивались и напрягали зрение, но темнота окутывала нас темным бархатом. Послышался звук, точно щелкнул хорошо смазанный замок. И передо мной во мраке блеснула тонкая светлая линия.

— Посмотрите! — еле слышно шепнул Кейвор.

— Что это такое?

— Не знаю.

Мы смотрели во все глаза.

Тонкая светлая линия превратилась в широкую полосу и стала бледней, потом приняла вид голубоватых лучей, падающих на белую стену. Края светлой полосы перестали быть параллельными: один из них потемнел. Я обернулся, чтобы указать на это Кейвору, и удивился, увидя его ярко освещенное ухо,— все остальное поглощала темнота. Я повернул голову насколько позволяли оковы.

— Кейвор! Это позади нас!

Ухо его исчезло, уступив место глазу!

Внезапно щель, пропускавшая свет, расширилась и оказалась просветом отворяющейся двери. Снаружи виднелся сапфировый проход, а в дверях показалась странная фигура, силуэт которой уродливо вырисовывался на светлом фоне.

Мы оба сделали судорожную попытку повернуться, но не смогли и сидели, косясь через плечо. Сначала мне показалось, что перед нами стоит неуклюжее четвероногое с опущенной головой; потом я разглядел, что это была тщедушная фигурка селенита на коротких, тонких ножках, с головой, вдавленной между плечами. Он был без шлема и без верхней одежды.

Мы видели перед собой только темную фигуру, но инстинктивно наше воображение наделяло ее человеческими чертами. Я решил, что он несколько сутуловат, что лоб у него высокий, а лицо продолговатое.

Селенит сделал три шага вперед и остановился. Движения его были совершенно бесшумны. Затем он еще немного придвинулся. Ходил он, ставя ноги одну перед другой, по-птичьи. Он вышел из полосы света, проникавшего через дверь, и исчез в тени.

Я тщетно искал его глазами, потом вдруг увидел стоящим уже против нас в полосе света. Однако все человеческие черты, какие я ему приписывал, полностью отсутствовали!

Конечно, этого и следовало ожидать, но я был совершенно потрясен. Казалось, что у него не лицо, а какая-то страшная маска, ужас, бесформенность, не поддающаяся описанию, без носа, с двумя выпуклыми глазами по бокам,— сначала я принял их за уши, которых вообще не было. Позднее я пробовал нарисовать такую

голову, но мне так и не удалось. Рот был искривлен, как у человека в припадке ярости...

Шея, на которой болталась голова, расчленялась на три сустава, напоминающие ногу краба. Суставов конечностей я не мог увидеть, так как они были обмотаны чем-то вроде лент, — вот и все его одеяние.

Таково было существо, стоявшее там и смотревшее на нас!

В то время я весь был поглощен мыслью о том, что такое нелепое животное вообще не может существовать. Полагаю, что и селенит был изумлен не меньше, чем мы, и у него было для этого, пожалуй, еще больше оснований. Но только, будь он проклят, он не показывал этого. Мы по крайней мере знали, чем мы были обязаны встрече с этим созданием. Но вообразите, как были бы, например, поражены почтенные лондонцы, натолкнувшись на пару живых существ ростом с человека, но совершенно не похожих ни на каких земных животных и разгуливающих среди овец в Гайд-парке! Наверное, так же был поражен и селенит.

Представьте себе наш вид! Скованные по рукам и ногам, измученные и грязные, обросшие бородой, с исцарапанными и окровавленными лицами. Не забудьте, что Кейвор в велосипедных брюках (продранных во многих местах шипами колючего кустарника), в егеревской фуфайке и в старой шапочке для крикета, а жесткие волосы его взъерошены и торчат во все стороны. В голубом свете лицо его выглядело не красным, а очень темным: его губы и запекшаяся кровь на моих руках казались совсем черными. Я, вероятно, выглядел еще хуже, чем он, потому что был покрыт желтыми спорами грибовидных растений, в которые я прыгнул. Куртки наши были расстегнуты, ботинки сняты и брошены рядом. Мы сидели спиной к уже упомянутому мною фантастическому голубоватому свету, уставившись глазами в чудовище, какое мог придумать и изобразить разве только Дюрер.

Кейвор первый прервал молчание; он начал что-то говорить, но сразу охрип и стал откашливаться. Снаружи послышалось отчаянное мычание, словно с лунной коровой происходило нечто ужасное. Мычание закончилось пронзительным визгом, и снова наступила мертвая тишина.

Селенит повернулся, скользнул снова в тень, показался на миг у входа, спиной к нам, и закрыл дверь за собой; мы опять очутились в таинственном мраке, наполненном странными звуками.

ГЛАВА XIII

МИСТЕР КЕЙВОР ВЫСКАЗЫВАЕТ ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ

Некоторое время мы оба молчали. Связать воедино все, что с нами произошло, было выше моих умственных способностей.

— Они нас захватили,— проговорил я наконец.

— И все из-за грибов.

— А если бы я не начал их есть, мы бы упали в обморок и умерли от голода.

— Мы могли бы отыскать шар.

Я разозлился на его упрямство и выругался про себя. Несколько минут мы молча, с ненавистью глядели друг на друга. Я барабанил пальцами по полу и позвякивал цепями. Наконец я вынужден был заговорить:

— Все-таки, как вы думаете, что с нами происходит?

— Это разумные существа, они умеют создавать и действовать целенаправленно. Огоньки, что мы с вами видели...

Он запнулся. Ясно, что и он ничего не понимал. Потом заговорил снова:

— Должен признать, что в конце концов они отнеслись к нам лучше, чем мы вправе были ожидать. Я полагаю...

К моему неудовольствию, он снова запнулся.

— Что?

— Во всяком случае, я полагаю, что на всякой планете, где есть разумные существа, они должны иметь черепную коробку, руки и держаться прямо...

Тут он перескочил на другую тему.

— Мы находимся на какой-то глубине, в несколько тысяч футов или даже больше.

— Почему вы так думаете?

— Здесь холоднее. И наши голоса звучат громче. Ощущение усталости совсем исчезло, пропал и шум в ушах и сухость в горле.

Я сначала этого не замечал, но теперь убедился, что он прав.

— Воздух сделался гуще. Мы находимся, вероятно, на большой глубине — пожалуй, в целую милю — от поверхности Луны.

— А нам и в голову не приходило, что внутри Луны существует целый мир.

— Да.

— Да и как могли это предвидеть мы?

— Могли, но наш ум чересчур консервативен.

Кейвор задумался.

— А теперь это кажется таким естественным!

— Внутри Луны, очевидно, много гигантских пещер, заполненных воздухом, в центре же расположено море.

— Известно было, что Луна имеет меньший удельный вес, чем Земля, что на ней мало воздуха и воды. Предполагали также, что эта планета родственна Земле, и было бы естественно для нее иметь то же строение. Отсюда легко было сделать вывод, что она полая внутри. Однако же никто не признавал этого факта. Кеплер, правда...

Голос Кейвора звучал теперь увереннее: он нашел логичное объяснение.

— Да,— продолжал он,— предположение Кеплера о подпочвенных пустотах в конце концов оказалось правильным.

— Хорошо было бы, если бы вы удосужились подумать об этом раньше,— сказал я.

Он ничего не ответил и зажужжал, отдавшись, по-видимому, течению своих мыслей. Я раздражался все больше и больше.

— Что же все-таки, по-вашему, произошло с шаром? — спросил я.

— Потерялся,— равнодушно ответил он, как будто это его совсем не интересовало.

— Среди зарослей?

— Если только они его не нашли.

— Что тогда?

— Почем я знаю!

— Кейвор,— истерически заговорил я,— дела моей компании идут просто блестяще...

Он ничего не ответил.

— Черт возьми! — воскликнул я.—Вспомните, сколько лишений мы перенесли для того, чтобы попасть в эту яму! Зачем мы здесь? И что теперь с нами будет? Что нам была Луна и что были мы для нее? Мы захотели слишком многого, слишком рискнули. Нам следовало бы начать с меньшего. Это вы предложили лететь на Луну! Эти заслонки из кейворита! Я уверен, мы могли бы применить их и на Земле. Совершенно уверен! Вы просто не поняли, чего я хотел... Стальной цилиндр...

— Ерунда! — отрезал Кейвор.

Разговор прервался.

Но скоро Кейвор возобновил свой прерванный монолог без всякого поощрения с моей стороны.

— Если они найдут шар,— начал он,— если найдут... что они с ним сделают? Вот в чем вопрос! И, может быть, основной вопрос. Как бы то ни было, они не поймут, что это такое. Если бы они знали толк в таких вещах, то уж давно прилетели бы к нам на Землю. Полетели бы они? А почему бы и нет? Или послали бы что-нибудь к нам? Они бы не удержались, нет! Но они станут разглядывать шар. Несомненно, это разумные и любознательные существа: они начнут его рассматривать, войдут внутрь, станут дергать заслонки... И шар улетит... То есть мы останемся на Луне до конца наших дней. Странные существа, странные знания...

— Что касается странных знаний...— начал я, и язык отказал мне.

— Послушайте, Бедфорд,— сказал Кейвор,— вы ведь отправились в эту экспедицию по доброй воле.

— Вы убеждали меня и называли это исследованием.

— Всякое научное исследование сопряжено с некоторым риском.

— В особенности, когда его предпринимают, ничем не вооружившись и ничего не предусмотрев.

— Я был всецело занят мыслью о шаре. События вынудили нас...

— Вынудили «меня», хотите вы сказать?

— И меня точно так же. Разве я знал, принимаясь за исследования по молекулярной физике, что судьба забросит меня в такую даль?

— Во всем виновата проклятая наука! — разозлился я.— В ней вся дьявольщина! Средневековые проповедники и инквизиторы были правы, а современные искатели ошибаются. Вы суетесь в дела науки, и она преподносит вам подарочек, который разрывает вас на куски или уносит к черту на кулички самым неожиданным образом. Древние страсти и новейшее оружие — это переворачивает вверх тормашками ваши верования, ваши социальные идеи и ввергает вас в пучину одиночества и горя!

— Ссориться бесполезно. Эти существа, селениты — или называйте их как хотите — поймали нас и сковали по рукам и ногам. В каком бы настроении вы ни были при этом, вам придется это пережить... Нам еще предстоят серьезные испытания, и это потребует от нас максимума хладнокровия.

Кейвор остановился, как бы ожидая от меня поддержки, но я сидел насупившись.

— Черт бы побрал вашу науку! — буркнул я.

— Главная проблема сейчас — найти с ними общий язык, попытаться заговорить. Жесты их, боюсь, совсем не будут похожи на наши. Например, показывание пальцем. Ни одно существо, кроме человека и обезьяны, не показывает пальцем.

Мне это показалось совсем неверным.

— Почти каждое животное указывает глазами или носом,— возразил я.

Кейвор задумался.

— Да,— согласился он наконец,— но мы так не делаем. Тут столько различий, столько различий...

Можно было бы... Но ничего нельзя сказать заранее. У них свой язык, они издают звуки вроде писка или визга. Как мы можем этому обучиться? Да и язык ли это? Но у них могут быть совсем иные чувства, иные средства общения. Несомненно, у селенитов есть разум, и у нас должно найтись хоть что-нибудь общее. Но сможем ли мы понять друг друга?

— Это невозможно,— проговорил я.— Они отличаются от нас больше, чем самые далекие земные животные. Они совсем из другого теста. Об этом и говорить нечего.

Кейвор снова задумался.

— Я этого не нахожу. Раз у них есть разум, то, наверное, найдется что-нибудь общее с нами, хоть разум этот и развился на другой планете. Конечно, если бы мы или они были только животными и обладали одними инстинктами...

— А разве они не животные? Они гораздо более походят на муравьев на задних лапах, чем на человеческие существа, а разве можно сговориться с муравьями?

— А машины и одежда? Нет, я не согласен с вами, Бедфорд. Разница, конечно, велика...

— Непреодолима.

— Но сходство должно найтись. Помню, я читал както статью покойного профессора Голтона о возможности межпланетных сообщений. К сожалению, в то время это меня непосредственно не занимало, и я не отнесся к статье с должным вниманием... Да... Но я постараюсь припомнить...

— По теории Голтона, следовало начать с общеизвестных истин, которые доступны всякому разумному существу и составляют основу мышления. Например, можно начать с общих принципов геометрии. Он предлагал взять какую-нибудь основную теорему Эвклида и показать построением, что она нам известна, доказать, например, что углы равнобедренного треугольника равны, что если начертить равные стороны, то углы будут одинаковы, или что квадрат гипотенузы прямоугольного треугольника равен сумме квадратов катетов. Обнаруживая знание подобных вещей, мы покажем вместе с тем, что обладаем некоторым интеллектом... Теперь предположим, что я... начертил бы геометрическую фигуру мокрым пальцем или обозначил бы ее в воздухе.

Кейвор замолчал. Я сидел, обдумывая его слова. На несколько мгновений его безумная надежда на общение, на взаимное понимание с этими непонятными существами увлекла меня. Но затем отчаяние — следствие усталости и физических недомоганий — взяло верх. Я снова с предельной ясностью увидел чудовищную глупость всех своих поступков.

— Осел! — ворчал я.— Осел, неисправимый осел! Я, кажется, только и делаю в жизни, что попадаю в самые дурацкие истории. Зачем мы вылезли из шара? И зачем стали прыгать? Уж не в надежде ли на патенты и концессии в лунных кратерах? Хоть бы мы догадались прицепить платок на шест у того места, где оставили шар!

И я замолчал, совсем раскипятившись.

— Несомненно,— рассуждал Кейвор,— это существа разумные. Некоторые вещи всегда можно предсказать заранее. Раз они не убили нас сразу, то у них, должно быть, есть понятие о милосердии. Милосердие! Или по крайней мере о сдержанности, быть может, об обмене мыслями. Они могут снова явиться к нам. А эти пещеры и часовой?! Эти кандалы?! Несомненно, они обладают развитым умом...

— Господи, как это я пустился в такое безумное предприятие, не подумав! — воскликнул я. — Сначала одно сумасбродное путешествие, потом другое. Но я доверился вам. И отчего я бросил свою пьесу? Вот мое предназначение, моя сфера! Я бы мог окончить пьесу, я в этом уверен, и это была бы хорошая пьеса. Сценарий был у меня уже почти готов, а тут... Подумать только, полететь на Луну! Да я просто загубил свою жизнь! У той старухи в трактире в Кентербери гораздо больше здравого смысла...

Я взглянул вверх и умолк на полуслове. Мрак снова сменился голубоватым светом. Дверь открылась, и несколько селенитов бесшумно скользнули в помещение. Я замер и во все глаза смотрел на их чудовищные лица.

Вдруг настроение мое резко изменилось. Я заметил, что первый и второй селенит несут чаши. Видимо, хоть в одном, очень важном отношении мы могли понять друг друга. Это были чаши из какого-то металла, казавшиеся, как и наши кандалы, темными в этом голубоватом освещении, и в каждой лежало какое-то белое вещество. Все мое раздражение и отчаяние внезапно перевоплотилось в непереносимое чувство голода. Я волчьими глазами впился в эти чаши, и, хотя потом я часто видел все это во сне, в то время я не придал никакого значения тому, что на конце рук, протягивавших мне одну из этих чаш, находились не целые кисти, а лишь нечто вроде

лопаточки с большим пальцем, похожим на кончик слонового хобота.

Чаша была наполнена студенистой массой беловато-бурого цвета, напоминавшей ломти холодного желе или суфле, и от него исходил легкий запах все тех же злополучных грибов. Очевидно, это было мясо лунных коров, если судить по туше, которую мы после этого видели.

Мои руки были так крепко скованы, что я едва мог дотянуться до чаши; селениты заметили мои усилия, и двое из них ловко ослабили мои наручники. Их щупальца-руки, касавшиеся меня, были мягки и холодны. Я схватил еду и сразу же набил полный рот. Пища была такая же студенистая, как все органические вещества на Луне, и напоминала по вкусу вафлю или пирожное... Я схватил еще две пригоршни.

— Ох, как я голоден,— бормотал я, снова набивая рот.

Некоторое время мы ели, поглощенные одним только процессом еды. Мы утоляли голод, потом пили что-то, как нищие бродяги на кухне у богача. Никогда в жизни — ни раньше, ни после — я не был так голоден, и, кроме того, я убедился в том, чему никогда бы прежде не поверил: за четверть миллиона миль от нашего земного шара в совершенном смятении чувств, находясь под стражей, чувствуя прикосновения невероятных уродливых существ, каких не увидишь даже в страшном сне, я ел с чудовищным аппетитом, забыв обо всем на свете. Селениты стояли вокруг, наблюдая за нами, и временами издавали легкое чириканье, очевидно, заменявшее им речь. Я даже не вздрагивал при их прикосновении. Когда я несколько утолил голод и взглянул на Кейвора, то убедился, что он ест с таким же аппетитом и беззастенчивостью.

ГЛАВА XIV

ПОПЫТКА ОБЪЯСНИТЬСЯ

Когда мы наконец кончили есть, селениты снова крепко сковали нам руки, но ослабили цепи на ногах и закрепили их так, чтобы дать нам возможность двигать-

ся. Затем они сняли цепи, которыми мы были прикованы. Для всего этого им приходилось то и дело касаться нас, иногда они наклонялись близко к моему лицу, и мягкие щупальца дотрагивались до моей головы или шеи. Однако в те минуты я не пугался и не чувствовал отвращения от такой близости. Вероятно, наш неизлечимый антропоморфизм заставлял нас и тут представлять себе человеческие лица под этими масками. Кожа их, как и все остальное, казалась голубоватой, но это, видимо, от освещения; она была жесткая и блестящая, как надкрылья у жуков, отнюдь не мягкая, влажная и волосистая, как у позвоночных животных. Вдоль головы от затылка до лба тянулся ряд белесых игл или шипов; такие же иглы торчали по обеим сторонам над глазами. Развязывавший меня селенит пускал в ход и челюсти, помогая рукам.

— Они, по-видимому, освобождают нас,— сказал Кейвор.— Помните, что вы находитесь на Луне: не делайте резких движений.

— А вы не пустите в ход свою геометрию?

— Попробую, если представится случай. Впрочем, они могут и сами начать.

Мы не двигались. Селениты, кончив возиться с цепями, отступили назад и, казалось, наблюдали за нами. Я сказал «казалось» потому, что глаза у них были сбоку, а не спереди, и направление их взгляда было так же трудно определить, как, например, у курицы или у рыбы. Они разговаривали друг с другом звуками, похожими на шелест тростника,— звук этот невозможно ни воспроизвести, ни точно определить. Дверь позади нас раскрылась шире, и, оглянувшись через плечо, я увидел широкое пустое пространство, где стояла кучка селенитов. Странное это было зрелище!

— Может быть, они хотят, чтобы мы подражали этим звукам? — спросил я Кейвора.

— Не думаю,— возразил он.

— Мне кажется, они пытаются нам что-то растолковать.

— Я не могу понять ни одного из их жестов. Вы заметили, как один из них все время вертит головой, точно человек в узком воротничке?

— Давайте и мы покачаем ему головой.

Мы так и сделали, но это не оказало никакого действия; тогда мы попытались подражать другим движениям селенитов. Это как будто их заинтересовало — во всяком случае, они все принялись повторять одни и те же движения. Но это ни к чему не привело, и мы прекратили свои эксперименты, они — тоже и начали опять пересвистываться друг с другом. Затем один из них, поменьше и потолще остальных, с особенно большим ртом, неожиданно лег около Кейвора, сложил свои конечности так, словно они были скованы, и затем быстро встал.

— Кейвор, — догадался я, — они хотят, чтоб мы встали.

Кейвор уставился на меня, раскрыв от удивления рот.

— Так оно и есть! — сказал он.

С большими усилиями и кряхтеньем, так как руки у нас были скованы, мы попытались встать. Селениты очистили место для наших неуклюжих движений и защебетали еще быстрей. Как только мы поднялись на ноги, тучный селенит подошел к нам, похлопал обоих щупальцами по лицу и двинулся вперед к раскрытой двери. Это было понятно, и мы последовали за ним. Мы заметили, что четверо селенитов, стоявших в дверях, были выше остальных ростом и одеты совершенно так же, как те, которых мы видели в кратере: в игольчатые шлемы и цилиндрические латы. Каждый из них держал копье с острием и древком из того же темного металла, что и чаши. Они окружили нас, как стража, и мы вышли из темного склепа в освещенную пещеру.

Мы не сразу разглядели пещеру: все наше внимание было поглощено движениями и поведением селенитов, окружавших нас, и необходимостью контролировать наши собственные движения, чтобы не вспугнуть и не встревожить их излишней стремительностью. Впереди шел маленький толстый селенит, который объяснил нам, что надо встать. Он жестами как бы приглашал нас следовать за ним. Его лопатообразное лицо то и дело поворачивалось то к одному из нас, то к другому с явно вопросительным видом. Некоторое время, я повторяю, мы интересовались только поведением селенитов.

Наконец мы опомнились и огляделись вокруг. Мы находились на обширной площади и тут поняли, что тот гул, который мы все время слышали с тех пор,

как пришли в себя после отравления грибами, исходит от множества работающих машин. Их взлетающие и вертящиеся части неясно виднелись над головами и между туловищами окружавших нас селенитов. Эти машины не только наполняли воздух волнами звуков, но от них исходил и странный голубой свет, озарявший всю площадь. Нас ничуть не удивило, что подземная пещера освещается искусственным светом. Только потом, когда мы опять вступили в темноту, понял я всю важность этого света. Назначение и устройство гигантского аппарата я не смогу объяснить, ибо нам так и не довелось узнать, для чего он предназначался и как действовал. Огромные металлические цилиндры вылетали один за другим из центра, и их головки описывали, как мне показалось, параболу. Каждый из них, поднявшись до высшей точки взлета, выбрасывал нечто вроде рычага, который погружался в вертикальный цилиндр, заставляя его опуститься вниз. Вокруг машины копошились фигурки селенитов-рабочих, и нам показалось, что они чем-то отличаются от наших спутников. Когда каждый из трех рычагов опускался, раздавался звон, рев, и из головки вертикального цилиндра вытекало какое-то светящееся вещество, которое озаряло всю площадь, переливаясь через край цилиндра, как кипящее молоко из кастрюли, и струилось сверкающим потоком в светящийся резервуар внизу. Холодный голубой свет походил на фосфорический, но блестел гораздо ярче. Из резервуара он растекался по трубам.

«Тук, тук, тук, тук»,— отстукивали поршни этого непонятного аппарата, и светящееся вещество шипело и переливалось. Сначала аппарат не поразил меня своими размерами, но потом я заметил, как малы были рядом с ним селениты, и понял, как колоссальны пещера и машина. Я невольно посмотрел на селенитов с уважением, и мы с Кейвором остановились, чтобы рассмотреть удивительный механизм.

— Поразительно! — воскликнул я.— Что это такое?

Озаренное голубоватым светом лицо Кейвора выражало глубокое почтение.

— Нет, это не сон! Неужели эти существа... Люди не могли бы создать ничего подобного! Взгляните на эти рычаги! Есть ли у них шатуны?

Толстый селенит прошел было вперед, затем вернулся и встал между нами и громадной машиной. Я старался на него не смотреть, ибо понял, что он будет торопить нас идти дальше. Он снова двинулся вперед, потом снова вернулся и похлопал нас щупальцами по лицу, чтобы привлечь наше внимание.

Мы с Кейвором молча переглянулись.

— Нельзя ли как-нибудь показать ему, что нас заинтересовала машина? — проговорил я.

— Что ж,— ответил Кейвор,— попробуем.

Он обернулся к нашему проводнику и улыбнулся, показывая на машину, потом на свою голову и опять на машину. Неизвестно почему, он решил, что ломаный английский язык может дополнить его жесты.

— Мой глядеть на него,— заговорил Кейвор.— Мой думает его очень хорошо; да.

Его поведение на минуту остановило селенитов, жаждущих идти дальше. Они повернулись друг к другу, задвигали своими нелепыми головами и зачирикали. Затем один из них, сухой и длинный, одетый во что-то вроде мантии в придачу к обмоткам, как у всех остальных, обвил талию Кейвора рукой, точно слоновым хоботом, и осторожно потянул его вслед за проводником, который снова двинулся вперед.

Но Кейвор воспротивился.

— Мне кажется, пора попробовать с ними объясниться. Они, быть может, воображают, что мы какая-нибудь новая порода животных, чего доброго, новый сорт лунных коров. Очень важно показать им, что мы разумные существа и интересуемся окружающим.

Кейвор отчаянно замотал головой.

— Нет, нет,— говорил он,— мой не пойдет одна минуту. Мой смотрит на него.

— Нет ли какой-нибудь геометрической теоремы, которую вы могли бы привести по этому поводу? — спросил я Кейвора, когда селениты снова зачирикали.

— Может быть, парабола...— начал он, но вдруг пронзительно вскрикнул и отпрыгнул футов на шесть: один из стражей кольнул его копьем.

Я с угрожающим жестом обернулся к копьеносцу, стоявшему позади меня, и он отступил. Это вместе с неожиданным криком и прыжком Кейвора явно смутило

селенитов. Они поспешно отпрянули, разглядывая нас. В течение нескольких мгновений, которые показались нам вечностью, мы стояли, готовые кинуться в бой на окружавших нас нечеловеческих существ.

— Он уколол меня! — воскликнул Кейвор прерывающимся от волнения голосом.

— Я видел,— отозвался я.

— Черт возьми! — обратился я к селенитам.— Этого мы не потерпим! За кого вы нас принимаете?

Я быстро огляделся по сторонам. Издалека в голубом сумраке пещеры к нам бежала еще группа селенитов. Они были шире и стройней, один с большой головой. Пещера простиралась далеко во все стороны и сливалась с темнотой. Я вспоминаю, что своды как бы прогибались под тяжестью каменных глыб, державших нас взаперти. Никакого выхода из этого подземелья не было, никакого! Вокруг неизвестность, безобразные существа с копьями и щупальцами и два беззащитных человека!

ГЛАВА XV

ГОЛОВОКРУЖИТЕЛЬНЫЙ МОСТ

Это враждебное молчание длилось не более мгновения — и мы и селениты тотчас одумались. Я ясно понял, что бежать нам некуда: нас окружат и убьют. Невероятное легкомыслие нашего появления здесь предстало передо мной в виде огромного мрачного упрека. Зачем пустился я в это безумное нечеловеческое предприятие? Кейвор подошел ко мне и положил руку мне на плечо. Его бледное, перепуганное лицо казалось мертвенным в голубом свете.

— Ничего не поделаешь,— проговорил он.— Мы ошиблись. Они нас не понимают. Придется идти. Идти туда, куда нас ведут.

Я взглянул на него и затем на новых селенитов, подходящих на помощь к своим.

— Если бы у меня руки были свободны...

— Это бесполезно,— вздохнул он.

— Неправда.

— Пойдемте же.

Он повернулся и пошел за толстым селенитом.

Я последовал за ним, стараясь казаться покорным и ощупывая кандалы на руках. Кровь во мне кипела. Я больше ничего не видел в этой пещере, хотя мы долго шли по ней, а если что и видел, то тут же забывал об этом. Мое внимание было сосредоточено на цепях и на селенитах, в особенности на копьеносцах. Сначала они шли параллельно с нами и на почтительном расстоянии, но потом к ним присоединилось еще трое стражей, и они подступили ближе, на расстояние руки от нас. Когда они к нам подступали, я вздрагивал, как лошадь от удара кнута. Маленький толстый селенит шагал справа от меня, но потом снова пошел вперед.

Как отчетливо запечатлелась у меня в мозгу картина этого шествия: затылок понурой головы Кейвора прямо передо мной, его ссутулившиеся, усталые плечи, безобразная, ежеминутно дергающаяся голова проводника, копьеносцы со всех сторон настороже, с разинутыми ртами, и все это в голубом свете. Припоминаю еще одну подробность, помимо чисто личных ощущений,— желоб на дне пещеры, сбоку скалистой дороги, по которой мы шли; желоб этот был наполнен тем же светящимся голубым веществом, которое вытекало из огромной машины. Я шел близко и могу с полной уверенностью заявить, что от него не исходило ни малейшего тепла. Вещество это только ярко светилось, но не было ни теплее, ни холоднее всего окружающего нас в этой пещере.

Кланг, кланг, кланг... Мы прошли прямо под стучавшими рычагами другой огромной машины и наконец очутились в широком тоннеле, где гулко отдавалось шлепанье наших необутых ног. Там было совсем темно, только справа светилась тонкая голубая полоска. Гигантские уродливые тени двигались за нами по неровной стене и сводам тоннеля. Местами в стенах сверкали кристаллы, похожие на драгоценные камни, а сам тоннель то превращался в сталактитовую пещеру, то разветвлялся в узкие ходы, пропадавшие во мраке.

Мы долго шли по этому тоннелю. Тихо журчала светлая голубая струя, и наши шаги отдавались эхом, похожим на плеск. Я неотступно думал о своих цепях. А что, если повернуть цепь вот так, а потом так и попытаться ее сбросить?..

Если я попытаюсь сделать это очень осторожно и постепенно, заметят ли они, что я высвобождаю руку? И если заметят, то что сделают со мной?

— Бедфорд,— сказал Кейвор,— мы спускаемся. Все время спускаемся.

Его замечание отвлекло меня от настойчивой мысли.

— Если бы они хотели убить нас,— продолжал Кейвор, замедляя шаг, чтобы поравняться со мной,— то они давно могли бы это сделать.

— Да,— согласился я,— это верно.

— Они нас не понимают,— проговорил Кейвор.— Они принимают нас за каких-то странных животных, может быть, за дикую породу лунных коров. Но когда они присмотрятся к нам, то признают нас за разумных существ.

— Когда вы начертите им геометрические теоремы? — спросил я.

— Возможно.

Некоторое время мы шли молча.

— Знаете,— начал опять Кейвор,— это, наверно, селениты низшего класса.

— Ужасные болваны! — проговорил я, со злобой посматривая на нелепые лица.

— Если мы будем все терпеть...

— Придется терпеть,— возразил я.

— Здесь могут быть другие, не такие болваны, как эти. Это только внешняя окраина их мира. Наверно, он спускается все ниже и ниже, через пещеры, проходы, тоннели, вглубь на сотни миль, до самого моря.

Его слова заставили меня задуматься о толще пластов, которые уже сейчас нависли над нашими головами. Как будто огромная тяжесть придавила мне плечи.

— Вдали от солнца и воздуха,— сказал я.— В шахтах даже на глубине полумили становится душно.

— Во всяком случае, здесь это не так. Возможно, вентиляция! Воздух устремляется от темной стороны Луны к солнечному свету; углекислота выходит наружу и питает лунные растения. Вверх по этому тоннелю, например, чувствуется почти ветерок. Странный мир! Эти пещеры, машины...

— И это копье! — добавил я.— Не забывайте про копье!

Он некоторое время молча шел впереди.

— Даже и это копье,— отозвался он наконец.

— Что копье?

— В первую минуту я разозлился, но... Возможно, это было необходимо. У них, вероятно, другая кожа и другие нервы. Они могут не понимать нашей чувствительности... Какому-нибудь жителю Марса может так же не понравиться наша земная привычка подталкивать друг друга локтем.

— Ну уж, со мной им придется быть поосторожней.

— И потом насчет геометрии. Они по-своему тоже стараются понять нас, но начинают с основных жизненных элементов, а не с мыслей. Пища, Принуждение, Боль — они начинают с самого существенного

— В этом-то нет никакого сомнения,— проговорил я.

Кейвор принялся рассуждать о громадном и чудесном мире, в который нас ведут. По его тону я постепенно понял, что даже теперь его не очень пугал этот спуск в глубь лунной коры. Я думал о всяких страшных вещах, а он — о машинах и изобретениях гораздо больше, чем об опасностях. И он вовсе не предполагал как-то использовать их практически, он просто хотел все о них знать.

— В конце концов,— говорил он,— нам представляется необыкновенный случай. Эта встреча двух миров! Подумайте, что мы еще увидим? Что там под нами?

— Ну, много мы не увидим в такой темноте,— возразил я.

— Это ведь только внешняя оболочка. Там, внизу, в глубине... Там будет все. Вы заметили, как отличаются селениты друг от друга? Нам будет о чем рассказать потом на Земле!

— Так утешаться могла бы только какая-нибудь редкая порода животных, — возразил я,— пока ее ведут в зоологический сад... Еще неизвестно, покажут ли нам все это.

— Когда они убедятся, что мы разумные существа, то захотят расспросить нас о Земле,— ответил Кейвор.— Даже если у них и нет высоких побуждений, они все же начнут нас учить, чтобы потом самим научиться... А сколько интересного они должны знать! Сколько неожиданного!

Кейвор продолжал рассуждать о том, что они, наверно, знают такое, чего он в жизни не узнал бы на Земле, и фантазировал вовсю, несмотря на рану, нанесенную ему копьем. Многое из того, что он говорил, я уже забыл, так как все мое внимание было поглощено тоннелем, по которому мы двигались, а он становился все шире и шире. Воздух стал свежей, мы как будто выходили на открытое место, но как велико оно было, мы не могли сказать, ибо здесь было совсем темно. Узкий ручеек света извивался прерывистой нитью, исчезая далеко впереди. Вскоре каменные стены по бокам совсем исчезли. В темноте перед нами виднелась только дорога и журчащая полоска фосфорического света. Фигуры Кейвора и идущего впереди селенита двигались впереди меня. Ноги их и головы со стороны ручейка светились голубоватым отблеском, другая же половина сливалась с темнотой тоннеля.

Вскоре я заметил, что мы подходим к уклону, так как голубой ручеек внезапно пропал из виду.

И в ту же минуту мы подошли к краю обрыва. Сверкающий ручеек, точно в нерешительности, свернул в сторону и потом ринулся вниз. Он падал на такую глубину, что звук его падения до нас не доносился. Только глубоко внизу светилось голубоватое туманное пятно. Тьма, из которой вытекал ручеек, стала еще гуще и непрогляднёй, только на краю обрыва торчало что-то вроде доски, конец которой исчезал во мраке. Из пропасти тянуло теплым воздухом

Секунду мы с Кейвором стояли на самом краю обрыва, глядя в голубоватую бездну. Но потом проводник потянул меня за руку.

После этого он повернулся, подошел к доске и ступил на нее, оглядываясь на нас. Заметив, что мы наблюдаем за ним, он повернулся к нам спиной и пошел по доске так же уверенно, как по тоннелю. Скоро он обратился в голубое пятно и исчез во мраке. Я заметил что-то большое, чернеющее в темноте.

Мы молчали.

— Несомненно!.. — пробормотал Кейвор.

Еще один из селенитов прошел по доске вперед и обернулся к нам, как бы выжидая. Остальные приготовились последовать за нами. Снова показался первый

селенит: очевидно, он вернулся узнать, почему мы не двигаемся.

— Что там такое? — спросил я.

— Я не вижу.

— Мы тут не пройдем,— сказал я.

— Я не смогу пройти и трех шагов,— подтвердил Кейвор.— Даже если бы мои руки были свободны...

Мы в ужасе переглянулись.

— Они не знают, что такое головокружение,— продолжал Кейвор.

— Мы не можем пройти по такой доске.

— Очевидно, у них другое зрение. Я наблюдал за ними. Они, верно, не понимают, что мы ничего не видим в такой темноте. Как нам растолковать им это?

— Необходимо дать им понять...

Мы разговаривали в смутной надежде, что селениты как-нибудь нас поймут. Я был совершенно уверен, что нужно только объяснить им это, но, взглянув на них, я убедился, что это невозможно. У нас с ними было больше отличий, чем сходств. Во всяком случае, я по доске не пойду. Я очень быстро высвободил кисть руки из одного, более свободного звена цепи и начал вращать обе кисти в противоположные стороны. Я стоял возле самой доски, и двое селенитов тотчас схватили меня и осторожно потащили на доску. Я отчаянно замотал головой.

— Нет, нет,— заговорил я.— Нельзя. Вы не понимаете.

Третий селенит тоже стал меня подталкивать. Мне пришлось сделать шаг вперед.

— У меня есть идея,— сказал Кейвор, но я уже знал его идеи.

— Послушайте,— закричал я селенитам.— Подождите! Может быть, для вас это пустяки...

Я резко отскочил назад и разразился проклятиями. Один из вооруженных селенитов ткнул меня сзади копьем.

Наконец я высвободил руки из щупальцев селенитов и повернулся к копьеносцу.

— Черт тебя побери! — закричал я.— Я предупреждал тебя! Из чего я, по-твоему, сделан, что ты втыкаешь в меня копье? Если ты еще раз меня тронешь...

Вместо ответа селенит снова кольнул меня.

Я услыхал голос Кейвора, тревожный и умоляющий. Он и тут хотел идти на компромисс с этими тварями.

— Бедфорд! — крикнул он.— Я придумал способ!

Но вторичный укол копьем заставил меня окончательно потерять голову. Цепь на моей руке распалась, вместе с ней распалось и благоразумие, заставлявшее меня быть покорным в лапах этих лунных тварей. В эту секунду я был вне себя и не думал о последствиях. Цепь обмоталась вокруг моего кулака, и этим кулаком я ударил селенита по лицу...

Последствия моего удара оказались такими же неожиданными, как и все в лунном мире.

Мой броненосный кулак прошел прямо сквозь тело селенита, и он лопнул, как мыльный пузырь. Он раскололся, рассыпался, как гриб-дождевик! Его легкое тело отлетело в сторону на несколько ярдов и, мягко шлепнувшись, упало. Я был ошеломлен. Казалось невероятным, что живое существо может быть таким непрочным. Все это походило на сон.

Но вскоре все снова стало реальным и страшным. Кейвор и остальные селениты стояли неподвижно с того момента, как я повернулся, и до того, как мертвый селенит свалился. Они отступили и стояли насторожившись позади нас. Оцепенение длилось не больше секунды, после того как упал селенит. Все растерялись. Я тоже замер с вытянутой рукой, стараясь понять, что случилось. «Что же дальше? — пронеслось в моем мозгу.— Что же дальше?» Потом все сразу пришло в движение.

Я сообразил, что нам надо освободиться от цепей, но сначала необходимо разогнать селенитов. Я поглядел на троих копьеносцев. Неожиданно один из них метнул в меня копье. Оно просвистело у меня над головой и полетело в пропасть позади.

Я набросился на селенита с такой же стремительностью, как копье, пролетевшее надо мной. Он бросился бежать, но я сшиб его, споткнулся о его распростертое тело и упал. Он точно извивался у меня под ногами.

Потом я привстал и в голубоватом свете увидел спины селенитов; они разбегались в разные стороны и исчезали во тьме. Я разогнул цепь на ногах и встал,

держа ее в руке. Второе копье, как дротик, просвистело мимо, и я бросился в темноту, откуда оно вылетело.

Затем вернулся к Кейвору; он все еще стоял около светящегося ручейка у пропасти и возился со своими цепями, судорожно пытаясь освободить руки. Он что-то пробормотал о новом способе общения.

— Пошли! — крикнул я.

— Но мои руки...— ответил он.

Я не решался подойти к нему, боясь не рассчитать шагов и свалиться в пропасть. Кейвор понял, волоча ноги, подошел ко мне и протянул руки. Не теряя времени, я стал размыкать его цепь.

— Где они? — прошептал он, задыхаясь.

— Убежали. Но они вернутся. Это мстительные существа! Куда нам бежать?

— Туда, к свету, в тоннель...

— Хорошо,— согласился я, снимая цепи с его рук.

Я встал на колени и начал освобождать от цепей его ноги. Что-то с плеском упало в ручеек, обдавая нас брызгами. Вдалеке, справа от нас, послышался какой-то свист и писк.

Я сорвал цепь с ног Кейвора и сунул ее ему в руку.

— Бейте вот этим! — проговорил я и, не дожидаясь ответа, большими прыжками побежал обратно по той тропинке, по которой мы шли сюда. У меня было отвратительное чувство, что они бросятся на меня из темноты. Позади с шумом прыгал Кейвор.

Мы бежали семимильными шагами, но наш бег, конечно, не походил на бег по Земле. На Земле после прыжка почти тотчас же снова касаешься почвы; на Луне же благодаря слабому притяжению несколько секунд несешься по воздуху, прежде чем опуститься вниз. Получалась как бы передышка, в течение которой можно было сосчитать до семи или восьми. И это в то время, когда мы летели стрелой. Шаг — и я взлетаю на воздух! В моем мозгу проносятся вопросы: «Где селениты? Что они собираются делать? Доберемся ли мы до тоннеля? Далеко ли позади Кейвор? Уж не отрезали ли они его от меня?» Новый прыжок — и новая передышка.

Вдруг я увидел селенита, бежавшего передо мной. Его ноги передвигались совершенно так же, как у человека, ходящего по Земле. Я увидел, как он оглянулся и с



«ПЕРВЫЕ ЛЮДИ НА ЛУНЕ»



«ПЕРВЫЕ ЛЮДИ НА ЛУНЕ»

пронзительным криком бросился от меня в сторону, в темноту. Мне показалось, что это был наш проводник, однако я не уверен в этом. Еще один прыжок, и появились каменные стены, а через два прыжка я уже находился в тоннеле и стал передвигаться медленней из-за низких сводов. На повороте я остановился и оглянулся. Шлеп, шлеп, шлеп — вдали показался Кейвор, при каждом прыжке разбрасывающий брызги голубоватого света; вот он все ближе и ближе и, наконец, налетел на меня. Так мы и стояли, ухватившись один за другого. Пусть ненадолго, но удалось избавиться от наших тюремщиков.

Мы оба запыхались и говорили отрывисто, короткими фразами.

— Это вы все испортили! — прохрипел Кейвор.

— Ерунда. Все равно нам грозила смерть.

— Что же делать?

— Спрятаться.

— Но как?

— В темноте.

— Где?

— В одной из боковых пещер.

— А потом?

— Там будет видно.

— Хорошо, идемте.

Мы двинулись в путь и вскоре добрались до темной пещеры. Кейвор шел впереди. Он остановился в нерешительности, потом выбрал какую-то темную пасть, обещавшую надежное убежище. Он уже вошел туда, но потом обернулся.

— Совсем темно.

— Ваши ноги будут освещать дорогу. Вы забрызганы светящейся жидкостью.

— Но...

Со стороны главного тоннеля послышался отдаленный гул, похожий на удары гонга. Очевидно, начиналась шумная погоня. Не раздумывая долее, мы кинулись в темную боковую пещеру. Дорогу нам освещал фосфорический блеск ног Кейвора.

— Хорошо, что они сняли с нас ботинки,— пропыхтел я.— Иначе эхо от топота загремело бы на всю пещеру.

Мы неслись мелкими прыжками, стараясь не ударяться о своды. И как будто нам удалось уйти. Звуки гонга делались все глуше, реже и, наконец, совсем замолкли.

Я остановился, оглянулся и услышал шаги Кейвора. Вскоре он уже стоял рядом.

— Бедфорд,— прошептал он,— впереди какой-то свет.

Я взглянул, но сначала ничего не заметил. Затем различил голову и плечи Кейвора, темным пятном выступавшие на более светлом фоне. Этот сумрак не походил на уже знакомый нам голубоватый блеск: его бледный серовато-белый оттенок напомнил дневной свет. Кейвор, видно, тоже заметил это, и у нас обоих появилась зыбкая надежда.

— Бедфорд,— шепнул он, и голос его дрогнул,— этот свет... возможно...

Он не решался высказать свою тайную надежду. Мы молчали. Потом по звуку его шагов я понял, что он пошел вперед, навстречу этому бледному свету. Я последовал за ним с бьющимся сердцем.

ГЛАВА XVI

РАЗЛИЧНЫЕ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

Свет все усиливался. Скоро он стал почти так же ярок, как фосфоресценция на ногах Кейвора. Тоннель расширился в пещеру, и этот новый свет брезжил на дальнем ее конце. Я заметил еще кое-что, и сердце мое запрыгало от радости.

— Кейвор,— сказал я,— этот свет падает сверху. Наверняка сверху!

Кейвор ничего не ответил, но ускорил шаги.

Несомненно, это был сероватый, серебристый свет.

Еще миг — и мы в его лучах. Он сочился сквозь щель в стене пещеры, и когда я взглянул вверх, то — хлоп! — на лицо мне упала капля воды. Я вздрогнул и отступил в сторону; хлоп — другая капля упала на камень.

— Кейвор,— сказал я,— если один из нас приподнимет другого, то можно будет достать трещину рукой.

— Я подниму вас,— согласился Кейвор и легко подхватил меня, как ребенка.

Я сунул руку в щель и сразу нащупал выступ, за который можно было держаться. Отсюда белый свет казался еще ярче. Я подтянулся вверх почти без всякого усилия, держась двумя пальцами,— хотя на Земле весил более восьмидесяти килограммов,— затем ухватился за другой выступ, повыше, и встал ногами на узкий карниз. Потом ощупал скалу. Расщелина расширялась кверху.

— Тут можно вскарабкаться,— сказал я Кейвору,— вы сможете допрыгнуть до моей руки, если я протяну ее вниз?

Я встал в расщелине, опираясь ногой и коленом о выступ, и протянул руку. Кейвора я не мог видеть, но слышал шорох от его движений, когда он нагнулся для прыжка. Раз — и он повис у меня на руке, легкий, как котенок. Я подтянул его кверху, пока он не ухватился рукой за выступ и не выпустил мою руку.

— Черт возьми! — воскликнул я.— Здесь, на Луне, поневоле научишься ползать по скалам.

И стал карабкаться дальше. Через несколько минут я снова взглянул вверх. Расщелина расширялась, и свет становился все ярче. Только...

Это был вовсе не дневной свет!

Скоро я разглядел, что это такое, и с горя готов был разбить себе голову о камни, ибо передо мной открылся склон, поросший целым лесом небольших булавовидных грибов, светившихся мягким серебристым светом. С минуту я смотрел на нежное сияние, затем прыгнул в самую середину грибной рощи. Я сорвал с полдюжины грибов и с досадой расшиб их о камни; потом сел и горько рассмеялся прямо в румяное лицо появившегося Кейвора.

— Опять фосфоресценция,— крикнул я ему,— не стоит торопиться! Присаживайтесь и будьте как дома.

Он пробормотал что-то по поводу постигшей нас неудачи, а я все продолжал сшибать грибные макушки и сбрасывать их в расщелину.

— Я думал, что это дневной свет,— проговорил Кейвор.

— Дневной свет! — воскликнул я. — Утренняя заря, закат Солнца, облака, хмурое небо. Увидим ли мы все это когда-нибудь?

Говоря это, я вдруг представил себе наш земной мир, да так отчетливо и ярко, словно задний план какой-нибудь старой итальянской картины.

— Изменчивые небеса, изменчивое море, зеленые холмы и рощи, солнечные города и деревни! Вспомните, Кейвор, как блестят мокрые крыши при закате. Вспомните, как пламенеют от Солнца окна!

Он не отвечал.

— А мы тут пресмыкаемся в этом диком мире. Что это за мир, с чернильным морем, запрятанным в мрачной бездне, а на поверхности — то дневной зной, то мертвящая тишина ночи! И эти существа, которые гонятся за нами, покрытые чешуей люди-насекомые — порождение кошмара! Впрочем, они правы! Зачем мы явились сюда давить их и разрушать их мир? Теперь, видно, уже вся планета знает о нашем прибытии, и все пустились в погоню. Каждую минуту мы можем услышать их писк или гонг. Что нам делать? Куда скрыться? Я чувствую себя так уютно, как на пороховой бочке.

— Это вы виноваты,— сказал Кейвор.

— Как так? — удивился я.

— Я уже составил план.

— Провались они, ваши планы.

— Если бы вы не сопротивлялись...

— Под их копьями?

— Ну да. Они бы нас перетащили.

— Через мост?

— Да. Перенесли же они нас в глубь планеты.

— Пусть бы лучше муха волокла меня по потолку.

— Господи! Что вы говорите!

Я снова занялся истреблением грибов. И вдруг сделал открытие, которое поразило меня.

— Кейвор, цепи-то наши из золота!

Кейвор сидел задумавшись, обхватив голову руками. Он медленно повернулся и равнодушно поглядел на меня. Потом, когда я повторил свои слова, так же равнодушно посмотрел на цепь, обмотанную вокруг его правой руки.

— Да,— сказал он,— действительно золото.

Но это мало интересовало его, и, отвлекшись на минуту, он снова погрузился в свои размышления. А я тоже

молчал, пораженный, что только теперь заметил это, но потом понял, что при голубоватом свете металл казался совсем бесцветным. Неожиданное открытие дало новое направление моим мыслям, которые унесли меня далеко. Я забыл, что еще недавно упрекал Кейвора за наш полет на Луну. Золото...

Кейвор первый прервал молчание.

— Мне кажется,— сказал он,— у нас есть два выхода.

— Какие?

— Либо попытаться проложить себе дорогу на поверхность, пробиться силой, если понадобится, и продолжать поиски шара до тех пор, пока мы не найдем его, или пока холод нескончаемой ночи не прекратит наше существование, либо...

Он остановился.

— Продолжайте,— подстрекнул я его, хотя знал, что он скажет.

— Или попытаться еще раз установить добрые отношения и взаимопонимание с обитателями Луны.

— Что касается меня, то я предпочитаю первый выход.

— Я не уверен в этом.

— А я уверен.

— Видите ли,— пояснил Кейвор,— по-моему, вообще нельзя судить о селенитах по тем экземплярам, которых нам пришлось увидеть. Центральная часть их мира, цивилизованная часть, находится внизу, в глубинах около моря. Та часть Луны, где мы находимся,— только окраина, район пастбищ. Таково мое мнение. И селениты, которых мы видели, выполняют роль пастухов и машинистов. Они пользуются копьями, очевидно, для погони скота. Недостаток сообразительности — они думали, что мы можем делать то же, что и они,— несомненная грубость,— все это подтверждает мои предположения. Но если бы мы потерпели...

— Ни один из нас не может вынести перехода по шестидюймовой доске через бездонную пропасть.

— Верно,— согласился Кейвор,— но...

— Я не согласен,— отрезал я.

— Предположим,— продолжал убеждать меня Кей-

вор,— что нам удастся забраться в какой-нибудь уголок, где мы в состоянии будем защищаться. Если мы продержимся с неделю или около того, то, наверное, весть о нашем появлении дойдет в более населенную часть Луны, до более образованных селенитов.

— Если таковые есть.

— Несомненно. Иначе откуда взялись бы эти огромные машины?

— Возможно, но нам от этого будет только хуже.

— Мы могли бы начертить надписи на стенах.

— А почему вы думаете, что их глаза способны увидеть эти надписи?

— Тогда мы высечем на стенах буквы.

— Это, конечно, возможно.

Мысли мои направились в другую сторону.

— Во всяком случае,— сказал я,— вы же не думаете, что селениты умней людей?

— Они знают гораздо больше нас или по крайней мере множество неизвестных нам вещей.

— Да, но...— Я на минуту запнулся.— Думаю, вы согласитесь со мной, Кейвор, что вы человек исключительный.

— Как так?

— Вы человек одинокий, то есть были таким... Вы не женаты?

— Никогда и не собирался. Но почему...

— Вы никогда не мечтали разбогатеть?

— Нет, никогда.

— Вы стремились только к знанию?

— Так что же? Вполне понятная любознательность...

— Это вы так думаете. В том-то и дело. Вы считаете, что все люди жаждут только знаний. Помню, когда я спросил, к чему вам все эти исследования, вы отвечали, что хотели бы стать академиком, хотели бы приготовить вещество, называемое «кейворитом», и тому подобное. Вы отлично знаете, что работали вовсе не ради этого. Но мой вопрос захватил вас врасплох, и вы чувствовали, что надо указать какую-нибудь достаточно основательную и вескую причину. На самом же деле вы производили все изыскания, потому что просто не могли не делать этого. Это ваш пунктик...

— Может быть...

— Вряд ли среди миллиона людей найдется хоть один подобный вам. Большинство мечтает, разумеется, и о разных вещах, но очень немногие жаждут знаний ради самого знания. И я не из их числа, уверяю вас. Селениты, по-видимому, подвижные, деятельные существа, но почему вы думаете, что даже самые интеллигентные из них интересуются нами или нашим миром? Они, наверное, и не подозревают о его существовании. Ведь они никогда не выходят по ночам на поверхность,— они замерзли бы, если бы вышли. Они, вероятно, не видали ни одного небесного светила, кроме яркого, жгучего Солнца. Откуда они могут знать, что существует другой мир, да и какое им дело до другого мира? А если им и случалось видеть звезды или серп Земли, то что ж из этого? Зачем им, живущим в недрах планеты, наблюдать за светилами? Ведь и люди не стали бы делать подобных наблюдений, если бы это не понадобилось им для определения времен года или для мореплавания. А зачем это лунным жителям?

Предположим, что среди них найдется несколько философов, подобных вам. Они-то как раз никогда и не узнают о нашем существовании. Ведь если бы какой-нибудь селенит спустился на Землю, в то время как вы проживали в Лимпне, вы бы узнали об этом последним. Вы никогда не читали газет. Итак, видите, все шансы против вас. А ради взвешивания этих шансов мы сидим тут сложа руки и теряем драгоценное время. Положение наше очень скверное. Мы явились сюда безоружными, потеряли наш шар, остались без пищи, показались селенитам и дали им повод считать нас какими-то дикими, диковинными, опасными зверями. Если эти селениты не лишены разума, то они будут гоняться за нами, пока не найдут, и постараются взять нас живьем, а коли им это не удастся, то убьют — только и всего. Поймав, они, вероятно, также убьют нас по какому-нибудь недоразумению. Возможно, что потом они будут спорить о нас, но нам от этого не станет легче.

— Продолжайте.

— С другой стороны, золото здесь валяется под ногами, как у нас на Земле железная руда. Если бы нам удалось захватить часть его с собой, отыскать шар,

прежде чем они на него натолкнутся, и вернуться на Землю, тогда...

— Что тогда?

— Тогда мы могли бы поставить дело на более солидную почву. Могли бы вернуться сюда на более крупном шаре, с оружием и пушками.

— Что вы! — ужаснулся Кейвор.

Я швырнул в трещину еще один светящийся гриб.

— Послушайте, Кейвор,— продолжал я,— как-никак в этом деле мне принадлежит половина решающих голосов, а вопрос этот чисто практический. Из нас двоих практичный человек я, а не вы, и я не намерен больше доверять селенитам или вашим геометрическим кривым... Вот и все. Довольно тайн! Вернемся на Землю, а потом опять на Луну.

Кейвор раздумывал.

— Да, — сказал он, — мне следовало бы лететь на Луну одному.

— Сейчас важно другое: как добраться до шара.

Некоторое время мы оба сидели молча, потирая колени. Потом Кейвор как будто согласился с моими доводами.

— Я думаю,— заговорил он,— что у нас есть кое-какие данные. Ясно, что когда Солнце находится на этой стороне Луны, то воздух должен устремляться через эту губчатую планету с темной стороны на солнечную, должен вытекать из лунных пещер в кратеры... Значит, здесь должна быть тяга.

— Здесь есть тяга.

— Значит, мы не в тупике. Где-нибудь расщелина идет кверху. Течение воздуха направляется снизу вверх, этот же путь следует избрать и нам. Если мы попытаемся найти выход из этой трубы или камина, то из этого лабиринта, где нас ищут...

— А вдруг проход окажется слишком узким?..

— Тогда мы спустимся обратно.

— Тсс,—шепнул я, услышав какой-то шум.—Что это такое? — Мы прислушались. Сначала раздался невнятный гул, затем мы разобрали звон гонга.

— Они нас принимают за лунных коров,— возмутился я, — и хотят напугать этой музыкой.

— Они идут вдоль тоннеля,— проговорил Кейвор.

— Вероятно.

— Но они не обратят внимания на эту трещину и пройдут мимо.

Я прислушался.

— На этот раз они, наверное, захватили оружие.— Вдруг я вскочил.— Боже мой, Кейвор! Они нас найдут! — закричал я.— Они заметят грибы, которые я бросал вниз. Они...

Я не договорил и прыгнул через шляпки грибов к верхнему концу пещеры. Я заметил, что здесь она поворачивает вверх и переходит в темную щель. Я уже собирался туда лезть, как вдруг счастливая мысль осенила меня, и я вернулся назад.

— Что вы делаете? — спросил Кейвор.

— Полезайте вперед,— сказал я и, сорвав два светящихся гриба, сунул один корнем вниз в карман своей фланелевой куртки, так, чтобы он освещал нам путь; другой гриб я отдал Кейвору.

Шум усилился; казалось, что селениты находятся совсем близко, под самой расщелиной. Но, может быть, им трудно взобраться или они не решаются, боясь нашего сопротивления? Во всяком случае, мы убедились теперь, что мы — дети Земли,— мы обладаем мускульным превосходством. Через минуту я с богатырской силой карабкался вслед за сверкающими синеватым светом пятками Кейвора.

ГЛАВА XVII

БИТВА В ПЕЩЕРЕ ЛУННЫХ МЯСНИКОВ

Не помню уже, сколько времени мы карабкались вверх, прежде чем достигли решетки. Может быть, мы поднялись всего на несколько сот футов, но тогда мне казалось, что мы ползли, протискивались, скакали и карабкались по меньшей мере целую милю по отвесному склону. Когда я вспоминаю об этом, то в моих ушах вновь раздается позвякивание золотых цепей, сопровождавшее каждое наше движение. Я содрал кожу на суставах пальцев и на коленях и оцарапал щеку. После первого стремительного броска мы стали двигаться более медленно и осторожно. Преследовавших нас селенитов больше не было слышно. Вероятно, они не полезли по

нашим следам в расщелину, хотя и заметили сорванные грибы. Местами щель так суживалась, что мы с трудом протискивались вверх; иногда она, напротив, расширялась, образуя широкие пустоты, утыканные колючими кристаллами или обросшие светящимися грибовидными бородавками. Проход то извивался, то спускался вниз почти горизонтально. Часто журчала и капала вода. Раз или два что-то шмыгнуло от нас в сторону, но мы так и не разобрали, что это было. Возможно, ядовитые пресмыкающиеся, но они не причинили нам вреда, а мы так торопились, что нам было не до них. Наконец далеко вверху забрезжил знакомый нам синеватый свет, и мы увидели, что он просачивается сквозь решетку, которая преграждала нам путь.

Пошептавшись, мы с удвоенной осторожностью полезли вверх. Когда мы добрались до решетки, я прижался лицом к ее прутьям и стал разглядывать пещеру. Она была обширна и освещалась, без сомнения, ручейком того же синего света, который струился от виденной нами машины. Где-то совсем рядом с моим лицом между прутьями решетки капала вода.

Я хотел было разглядеть дно пещеры, но решетка находилась в углублении, края которого мешали мне видеть. Затем мы обратили внимание на доносившиеся из пещеры звуки, и я заметил неясные тени, скользившие высоко вверху, по тускло освещенному своду.

Несомненно, в пещере находились селениты, может быть, их даже было много: мы слышали голоса и какие-то шорохи, теперь я знал, что это их шаги. Кроме того, до нас доносились тупые мерные удары, словно били ножом или топором по чему-то мягкому. Потом раздавался звон, вроде лязга цепей, свист и стук, словно по мосту грохотал грузовик, и снова удары ножа. Судя по теням на своде, селениты двигались быстро и ритмично, в такт с этим мерным стуком, и останавливались, когда он прекращался.

Мы наклонились друг к другу и начали перешептываться.

— Они чем-то заняты, — прошептал я, — работают.

— Да.

— Они не ищут нас и не собираются ловить.

— Может, они о нас и не слыхали.

— За нами гонятся другие, там, внизу... А что, если мы вдруг покажемся?

Мы переглянулись.

— Удобный случай вступить с ними в переговоры,— заметил Кейвор.

— Ну нет,— ответил я,— только не сейчас.

Мы молчали, занятые своими мыслями.

Снова послышался стук, и тени задвигались.

Я стал внимательно осматривать решетку.

— Она непрочная,— сказал я,— можно отогнуть две полосы и пролезть между ними.

Мы посовещались несколько минут. Затем я ухватился обеими руками за прут, ногами уперся в скалу и потянул. Прут согнулся так быстро, что я чуть было снова не покатился вниз. Взобравшись выше, я согнул другой прут, затем вынул из кармана светящийся гриб и бросил его назад в расщелину.

— Будьте осторожны и не торопитесь,— шепнул мне Кейвор, когда я пролезал через решетку.

Передо мной промелькнули работающие над чем-то фигуры, и я нагнулся, чтобы край впадины, в которой находилась решетка, скрывал меня от них. Лежа, я подал знак Кейвору последовать моему примеру. Мы легли рядом и стали наблюдать за тем, что делалось в пещере.

Пещера была гораздо больше, чем нам сначала показалось. Она шла раструбом, расширяясь наклонно вверх; мы смотрели из самой низкой ее части, но нависшие своды скрывали от нас бóльшую половину. Вдоль пещеры, исчезая где-то вдалеке, тянулись огромные бледные силуэты, над которыми трудились селениты. Сначала мне показалось, что это какие-то большие белые цилиндры непонятного назначения. Затем я заметил ободранные головы без глаз, похожие на бараньи головы в мясной лавке, и понял, что это туши лунных коров, которых селениты разделывали, как команда китобойного судна разделывает убитого кита. Селениты резали мясо полосами, и на некоторых тушах виднелись обнаженные ребра. Удары топориков селенитов и производили тот тупой звук: «Чид, чид». В стороне тянулось нечто вроде канатной дороги, и вагонетки, груженные кусками свежего мяса, уходили вверх, в глубь пещеры. Эта

бесконечная аллея туш, предназначенных для пропитания, свидетельствовала о густоте населения лунного мира и подтверждала наше первое впечатление от огромной шахты.

Сначала мне показалось, что селениты стоят на досках, положенных на козлы, но потом я увидел, что и настил, и подпорки, и топорики были такого же свинцового цвета, какими казались и мои кандалы, пока я не разглядел их при белом свете. Кстати сказать, я не помню, чтобы мне случалось увидеть на Луне какие-нибудь деревянные вещи: двери, столы, вся обстановка, вроде нашей земной мебели, были сделаны из металла, и, кажется, по большей части из чистого золота, которое из всех металлов, конечно, заслуживает предпочтения, при прочих равных условиях, по легкости обработки, по ковкости и по прочности. На дне пещеры кое-где валялись толстые ломы, предназначенные, очевидно, для переворачивания мясных туш, футов шести длиной и с рукояткой — это было очень подходящее для нас оружие. Пещера освещалась тремя ручьями синего света. Мы долго лежали молча и наблюдали.

— Ну что? — спросил наконец Кейвор.

Я сполз ниже и обернулся к нему. Меня осенила блестящая мысль.

— Если только они не спускают сюда туши с помощью кранов,— сказал я,— то мы, очевидно, находимся недалеко от поверхности.

— Почему?

— Потому что лунные коровы не могут прыгать и у них нет крыльев.

Кейвор выглянул из впадины, где мы лежали.

— Меня удивляет только...— начал он.— Впрочем, мы и не спускались особенно глубоко.

Я дернул его за рукав, чтобы он замолчал: снизу, из расщелины, послышался шум.

Мы притаились, обратившись в слух. Скоро у меня не осталось никакого сомнения, что вверх по расщелине кто-то тихо лезет. Не торопясь, я бесшумно сжал в руке обрывок цепи и ждал появления врага.

— Взгляните-ка, как там молодцы с топорами,— сказал я.

— Они заняты своим делом,— ответил Кейвор.

Я выбрал место для удара в отверстии решетки. Теперь отчетливо слышался тихий щебет поднимавшихся селенитов, шорох их рук, цеплявшихся за камни, и падение щебня.

Вот уже можно разобрать, что в темноте за решеткой что-то движется, но что именно, я не знал. Еще миг, что-то словно щелкнуло, и вдруг — раз! Я вскочил и с яростью отбил удар. Это было острие копья. Я понял, что длинное копье не попало в цель только благодаря недостатку места. Копье змеиным жалом вырвалось из-за решетки и, промахнувшись, скрылось, чтобы сразу же сверкнуть снова. Но тут я схватил и вырвал копье, однако в меня полетело второе.

Я вскрикнул от радости, почувствовав, что селенит, пытавшийся удержать копье, выпустил его из рук. Добытым трофеем я наносил удары сквозь решетку, и в темноте послышались крики и пронзительный визг. Кейвору тоже удалось вырвать копье, и он прыгал возле меня, размахивая им, но не мог попасть в цель. Вдруг снизу донесся звон: «Кланг, кланг»,— и по воздуху просвистел топор, ударившийся о скалу вблизи нас и напомнивший мне о мясниках над тушами в пещере.

Я обернулся и увидел, что они, выстроившись в ряд, наступают на нас, размахивая топорами. Толстые, приземистые коротконожки с длинными руками, мясники мало походили на тех селенитов, которых мы видели раньше. Но если они и не слышали о нас, то очень быстро поняли, в чем дело. Держа копье наготове, я смотрел на них.

— Охраняйте решетку, Кейвор! — крикнул я и с ревом, чтобы устрашить их, ринулся навстречу.

Двое метнули свои топоры, но промахнулись, а остальные мгновенно обратились в бегство. Затем и эти двое побежали вверх по пещере, прижав к туловищу руки и наклонив головы. Я никогда не видел, чтобы люди так бегали!

Захваченное мною копье оказалось плохим оружием: оно было слишком тонко и хрупко, слишком длинно и годилось только для метания. Поэтому я преследовал селенитов только до первой туши, потом остановился и поднял один из валявшихся ломов. Это было увесистое, хорошее оружие для разгрома целого отряда селенитов.

Я бросил копье и взял в другую руку второй лом. Вооруженный таким образом, я чувствовал себя куда лучше, чем с копьем. Погрозив ломами кучке селенитов, которые остановились в пещере, я обернулся к Кейвору.

Он прыгал около решетки, грозно размахивая обломком копья. Все обстояло благополучно. Кейвор отражал нападение селенитов, пока во всяком случае. Я снова повернулся к мясникам в пещере. Но что делать дальше?

Мы загнаны в тупик. Но мясники наверху захвачены врасплох; они, видно, перепугались, и у них, кроме топориков, нет никакого оружия. В эту сторону и надо бежать. Их коренастые фигурки (они были ниже ростом и толще, чем селениты-пастухи) рассеялись по всей пещере — это свидетельствовало об их нерешительности. Я их напугал своей яростью и имел сейчас те же преимущества, что бешеный бык перед онемевшей толпой. Но зато их было очень много. Те же, что внизу, несомненно, вооружены чертовски длинными копьями. Возможно, что они приготовили нам и другие сюрпризы. Черт возьми! Если мы нападем на мясников, то селениты с копьями останутся у нас в тылу, если же не атаковать, то этих приземистых скотов соберется еще больше. Кто знает, какие страшные орудия разрушения — пушки, бомбы, торпеды — может выслать для нашего уничтожения этот неведомый мир у нас под ногами, обширный мир, до глубин которого мы еще не добрались. Нам ничего более не оставалось, как самим перейти в наступление. Тем более, что из глубины пещеры вниз по направлению к нам уже спешили новые полчища селенитов.

— Бедфорд! — крикнул Кейвор, и я увидел, что он отскочил от решетки и бежит ко мне.

— Назад! — закричал я ему. — Что вы делаете?..

— Они тащат какую-то пушку!

Сквозь решетку между копьями просунулась угловатая голова и костлявые плечи селенита, который нес какой-то сложный аппарат.

Я знал, что Кейвор не годится для такого боя. Несколько секунд я колебался, потом ринулся вперед, размахивая своими ломами и стараясь ревом испугать целившегося селенита. Он целился как-то чудно, прижав

аппарат к животу. «З-з-з» — раздался свист... Это оказалась не пушка, а что-то вроде самострела. Выпущенный заряд попал в меня как раз во время прыжка.

Я не упал, а только опустился несколько раньше, чем следовало, и по ощущению в плече заключил, что заряд лишь слегка задел и скользнул мимо. Левая рука наткнулась на древко, и я понял, что острие чуть не наполовину вонзилось мне в плечо. Подскочив, я изо всех сил ударил селенита ломом. Он рухнул как подкошенный, и голова его раскололась, словно яйцо.

Я бросил лом, выдернул копье из плеча и начал тыкать им в темноту сквозь прутья решетки. При каждом ударе внизу раздавался жалобный визг и щебет. Наконец я с силой метнул туда копье, схватил лом и кинулся на толпу в пещере.

— Бедфорд! — умолял Кейвор, когда я пролетел мимо него.— Бедфорд!

Кажется, я слышал позади себя его шаги.

Шаг, прыжок, толчок, снова прыжок... Каждый прыжок, казалось, длился вечность. И с каждым прыжком пещера расширялась и число селенитов все росло. Сначала они бегали, как муравьи в разоренном муравейнике, некоторые размахивали топориками мне навстречу, но большинство спасалось бегством вперед или в сторону, вдоль ряда туш. Скоро показались новые отряды селенитов, вооруженных копьями. Потом еще и еще... Это было удивительное зрелище: кругом мелькали руки и ноги. В пещере становилось темней... Что-то просвистело над моей головой. Опять. Подпрыгнув, я увидел, что в одну из туш влево от меня, дрожа, вонзилось копье. Когда я опустился, другое копье ударилось в грунт передо мной, и я услышал отдаленный свист: они стреляли. Целый ливень копий обрушился на нас. Настоящий залп! Я остановился как вкопанный.

Не думаю, чтобы я тогда отчетливо соображал. Но, помнится, в мозгу промелькнула стереотипная фраза: «Огневая завеса, все в укрытие!» Я помню, что бросился между двумя тушами и стоял, тяжело дыша и дрожа от ярости.

Я искал глазами Кейвора, и на миг мне показалось, что он погиб. Но вскоре он появился из темноты между

тушами и скалистой стеной пещеры. Я увидел его маленькое взволнованное лицо, тусклое, синее, покрытое потом.

Он что-то сказал, но я не расслышал. Я понял, что если пробираться вверх по пещере от туши к туше, то можно пробиться наружу. Пробиться наружу — иного выхода нет.

— За мной! — сказал я и пошел вперед.

— Бедфорд! — кричал Кейвор, но тщетно: я его не слышал.

Поднимаясь по узкому проходу между тушами и стеной, я лихорадочно обдумывал план спасения. Пещера закруглялась, и селениты не могли стрелять в нас. Хотя в узком пространстве нельзя было делать прыжков, однако благодаря нашей земной силе мы продвигались быстрее селенитов. Я сообразил, что скоро мы окажемся в самой гуще их. Но тогда они будут для нас не страшнее, чем черные тараканы. Однако сначала надо выдержать их обстрел. Я обдумывал стратегический план и на бегу скинул фланелевую куртку.

— Бедфорд! — задыхался сзади Кейвор.

Я обернулся и спросил, что ему надо.

Он показывал вверх, через туши.

— Белый свет! — сказал он.— Опять белый свет!

Я взглянул вверх: действительно, вдалеке брезжили белые призрачные сумерки. Силы мои сразу удвоились.

— Не отставайте! — крикнул я Кейвору.

Длинный плоский селенит высунулся из мрака, но тотчас же скрылся с жалобным визгом. Я остановился и подал знак Кейвору, чтобы он не двигался. Затем повесил свою куртку на лом, спрятался за ближайшую тушу, положил куртку с ломом и высунулся на секунду. «З-з-зз!» — просвистела стрела. Селениты были совсем рядом; толстые, коренастые, высокие и низенькие, они сбились в кучу около целой батареи своих орудий, повернутых дулами в пещеру. Три или четыре стрелы последовали за первой, затем обстрел прекратился.

Я высунул было голову и оказался на волоске от гибели: просвистела целая дюжина стрел; селениты стреляли, громко крича и щебеча от возбуждения. Я поднял с пола куртку и лом.

— Теперь пора! — воскликнул я и выставил свою куртку.

«З-з-зз!», «Зз-зз!» В одно мгновение она была продырявлена тучей стрел, перелетевших через тушу над нашими головами. Я схватил лом, бросил куртку — она так и валяется там, на Луне,— и ринулся в атаку.

С минуту длилась бойня. Я рассвирепел и не давал им пощады, а селениты, видно, слишком перепугались, чтобы драться. Во всяком случае, они совсем не защищались. А у меня, как говорится, кровь бросилась в голову. Помню, я пробивался между этими тощими, жесткими, как насекомые, существами, точно сквозь высокую траву, кося и направо и налево — раз, два! Брызгала какая-то жидкость, под ногами что-то хрустело и пищало, рассыпаясь на куски. Толпа расступалась и снова смыкалась, как вода. Они сражались в беспорядке. Копья свистели вокруг меня; меня ранили в ухо, в руку и в щеку, но я заметил это потом, когда обнаружил запекшуюся кровь.

Что делал Кейвор, я не знаю. Мне казалось, что этот бой длится целый век и никогда не кончится. И вдруг конец —кругом только скачущие затылки, селениты обратились в бегство... Я почти не пострадал. Пробежал еще несколько шагов, крикнул и оглянулся. Я был изумлен.

Я летел через них громадными скачками; селениты остались позади и бросились врассыпную, ища, где бы спрятаться. Конец боя, в который я кинулся очертя голову, обрадовал меня и несказанно удивил. Я решил, что победил не потому, что селениты оказались неожиданно хрупкими, а потому, что сам я оказался таким силачом. Я самодовольно расхохотался. Ах, эта удивительная Луна!

Посмотрев на искрошенные и корчившиеся тела, разбросанные по пещере, я поспешил к Кейвору.

ГЛАВА XVIII

В СОЛНЕЧНОМ СВЕТЕ

Вскоре мы увидели, что впереди маячит какая-то туманная пустота, и вышли в наклонную галерею; она привела нас в новую обширную круглую пещеру, огромную цилиндрическую шахту, стены которой отвесно поднимались вверх. Вдоль стены извивалась галерея без всякого

парапета или перил и через оборота полтора поворачивала вверх, в скалы. Галерея эта напоминала мне спираль железной дороги через Сен-Готард. Все было грандиозных размеров. Невозможно описать впечатление, производимое этим сооружением; оно просто подавляло. Мы обвели глазами отвесные стены гигантской шахты и далеко вверху заметили круглое отверстие; сквозь него виднелись слабо мерцавшие звезды. Половина кромки этого отверстия сияла под ослепительными лучами белого Солнца. Мы оба невольно вскрикнули от радости.

— Скорей! — торопил я, бросаясь вперед.

— А что там? — спросил Кейвор и осторожно подошел к краю шахты. Я последовал его примеру и заглянул вниз, но мне мешал свет сверху, и я разглядел во мраке лишь цветные полосы малинового и пурпурного цвета. Видеть я не мог, зато мог слышать. Из тьмы доносился гул, похожий на гудение рассерженных пчел — если приложить ухо к улью,— и гул этот поднимался из пропасти глубиной, быть может, мили в четыре...

Я прислушался, потом крепко сжал в руке лом и пошел вперед, вверх по галерее.

— Вероятно, это та самая шахта с крышкой, куда мы смотрели,— заметил Кейвор.

— А внизу те же самые огни!

— Огни! — повторил Кейвор.— Да, огни того мира, которого нам теперь никогда не увидеть.

— Мы еще вернемся,— утешил я его.

Нам так везло, что после бегства я уже начал надеяться, что мы найдем и шар.

Ответа Кейвора я не расслышал.

— Что? — спросил я.

— Ничего,— ответил он, и мы торопливо зашагали вверх по галерее.

Этот наклонный балкон тянулся, вероятно, не менее четырех или пяти миль и поднимался так круто, что идти по нему на Земле было бы совершенно невозможно; но здесь, на Луне, это было очень легко. За все время мы заметили только двух селенитов, которые при нашем приближении обратились в бегство. Очевидно, до них уже дошла весть о нашей силе и жестокости. Подъем оказался неожиданно легким. Спиральная галерея пере-

шла в крутой тоннель с отпечатками следов лунных стад, такой узкий и короткий по сравнению с высокими сводами, что почти весь он был освещен. Сразу стало светлей, и вверху далеко-далеко ослепительным светом засверкал выход; на Солнце четко вырисовывался альпийский склон, увенчанный гребнем высокого колючего кустарника, теперь уже изломанного, высохшего и помертвевшего.

Странно, что мы, люди, которым эта самая растительность казалась недавно такой нелепой и ужасной, испытывали теперь то же самое чувство, что и вернувшийся домой изгнанник при виде родных мест. Мы радовались даже разреженному воздуху, который мучил нас одышкой при быстром движении и превращал наши разговоры в тяжкие усилия. Приходилось сильно напрягать голос. Все шире и шире становился освещенный Солнцем круг; тоннель позади нас погружался в непроницаемый мрак. Видневшийся наверху колючий кустарник уже побурел и засох, на нем не осталось ни единого зеленого листочка; густо переплетавшиеся ветки затеняли узорами нависшие скалы. У самого входа в тоннель расстилалась широкая утоптанная площадка для лунных стад.

Наконец-то мы вышли по ней к ослепительному свету, в невыносимый зной. Мы с трудом пересекли открытое место и, вскарабкавшись по откосу между стволами колючих растений, уселись, запыхавшиеся, под выступом застывшей лавы. Но даже и в тени скала была горяча.

Воздух веял жаром. Физически мы чувствовали себя неважно, но зато мы вырвались из кошмара. Нам казалось, что мы опять вернулись к себе, в мир, где есть звезды. Все страхи и трудности бегства через мрачные пещеры и расщелины теперь миновали. После недавнего боя мы уже не боялись селенитов. Оглядываясь на зияющее отверстие, мы сами не верили, что вышли оттуда. Там, глубоко внизу, в голубоватом свете, который нам вспоминался, как мрак, мы встретились с существами—кошмарной пародией на людей, с шлемообразными головами. Мы боялись их и подчинялись им, пока наконец не подняли бунт. И что же, они растаяли, как воск, рассыпались прахом, разбежались и исчезли, как ночные призраки.

Я протер глаза, сомневаясь, уж не видели ли мы все это во сне под опьяняющим действием съеденных грибов,

но вдруг заметил кровь у себя на лице и убедился, что рубашка крепко прилипла к моему плечу и руке.

— Черт возьми! — проговорил я, ощупывая свои раны, и вход отдаленного тоннеля в ту же секунду вновь стал глазом вражеского лазутчика.— Кейвор, что же они будут делать? И что делать нам?

Он покачал головой, не отрывая глаз от темного входа тоннеля.

— Откуда мы можем знать, что они намерены делать?

— Это зависит от того, что они о нас думают, а этого нам не узнать. Затем это зависит от того, что у них имеется в резерве. Вы правы, Кейвор: мы коснулись лишь окраины лунного мира. У них там, в глубине, еще могут быть неожиданные сюрпризы. Даже своими самострелами они могут причинить нам немало вреда... Но все же,— резюмировал я,— если мы даже и не сразу найдем шар, то все-таки у нас есть надежда на спасение. Мы продержимся. Даже ночью. Мы можем снова сойти вниз и отвоевать себе место.

Потом я начал осматриваться. Характер пейзажа резко изменился, и все это из-за роста и засыхания растительности. Мы сидели высоко над обширной долиной кратера, сплошь покрытой увядшей, сухой растительностью поздней, послеполуденной лунной осени. Один за другим тянулись пологие бугры и побуревшие поля, где пасся лунный скот; вдали целое их стадо, отбрасывая тени, грелось и дремало на солнце, точно овцы. Селенитов нигде не было видно. Убежали ли они при нашем появлении или обычно скрывались после выгона стад на пастбища, этого я не могу сказать. Тогда я предполагал первое.

— Если поджечь этот сушняк, то нам, пожалуй, легче найти шар среди пепла.

Кейвор, по-видимому, не слыхал моих слов: прикрыв глаза рукой, он внимательно смотрел на звезды, которые, несмотря на яркий солнечный свет, были хорошо видны на небе.

— Как вы думаете, сколько времени мы пробыли здесь? — спросил он наконец.

— Где здесь?

— На Луне.

— Два зимних дня, вероятно.

— Нет, около десяти дней. Солнце уже перешло зенит и склоняется к западу. Дня через четыре, а может быть, и раньше наступит ночь.

— Но ведь мы ели только один раз?

— Знаю, но... так выходит по звездам!

— Разве время здесь, на меньшей планете, другое?

— Не знаю, выходит, так.

— Как вы исчисляете время?

— Голод, утомление — все здесь иное. Все по-другому, не так, как на Земле. Мне казалось, что со времени нашего выхода из шара прошло всего несколько часов — длинных часов, но не больше.

— Десять дней, — удивлялся я, — значит, нам остается...— Я взглянул на Солнце.— Оно уже прошло полпути от зенита до запада. Остается всего только четыре дня... Кейвор, нам нельзя сидеть тут и мечтать. С чего же нам начать?

Я встал.

— Надо наметить какой-нибудь отдаленный и издалека видный пункт, можно вывесить флаг, или платок, или что-нибудь еще, наметить участок и искать кругом.

Кейвор поднялся и стал рядом со мной.

— Да,— согласился он,— нам ничего больше не остается, как искать шар. Ничего больше. Может быть, мы и найдем его. Разумеется, найдем. А если нет...

— Мы должны искать.

Он огляделся кругом, посмотрел вверх на небо, вниз в тоннель и удивил меня внезапным нетерпеливым жестом.

— Как глупо! Зачем нас понесло в этот тоннель! Подумайте только, сколько мы успели бы сделать!

— Мы и сейчас можем еще кое-что сделать.

— Никогда нам не сделать того, что упущено. Ведь тут, под нашими ногами, целый мир. Подумайте, какой это, должно быть, мир! Вспомните о машине, которую мы видели, вспомните о шахте и о крышке! Но все это было только начало. И те несчастные создания, с которыми мы сражались,— всего лишь невежественные крестьяне, жители окраин, пастухи и мясники, недалеко ушедшие от животных. Там же, внизу... Огромные подземелья, тоннели, сооружения, пути сообщения... И чем глубже, тем все грандиозней, шире и населенней. Несомненно! Там, в

самом низу, должно находиться Центральное Море, омывающее сердцевину Луны. Подумайте о черных, чернильных водах при мягком освещении — если только их глаза вообще нуждаются в свете! Подумайте о многоводных, бегущих каскадами потоках, питающих это море! Представьте себе его приливы и отливы! Может быть, по этому морю ходят суда, может быть, у них есть большие города и пути сообщения. Быть может, у них есть мудрость и порядок, превосходящие разум человека. А мы погибнем здесь и никогда не увидим разумных существ, создавших все эти сооружения. Мы здесь замерзнем и умрем, и воздух замерзнет на нас и вновь оттает, и тогда... тогда они случайно набредут на наши окоченелые, безмолвные трупы, найдут и шар, который нам не удастся отыскать, и поймут наконец, хотя и слишком поздно, сколько идей и усилий бесплодно погибло здесь.

Голос его, когда он говорил все это, звучал, точно сквозь телефонную трубку, откуда-то издалека.

— Но эта темнота...— возразил я.

— Это можно преодолеть.

— Но как?

— Не знаю. Откуда я могу знать? Можно захватить факел, лампу или фонарь. Те, другие... смогут понять в конце концов.

Он постоял с минуту с опущенными руками и печальным лицом, уныло глядя в пространство, затем безнадежно махнул рукой и начал строить всяческие планы систематических поисков шара.

— Мы ведь можем потом вернуться обратно,— утешал его я.

Он огляделся вокруг.

— Прежде всего нам надо вернуться на Землю.

— Мы можем потом привезти с собой лампы и железные кошки для лазанья и сотни других необходимых вещей.

— Да,— сказал Кейвор.

— Мы можем захватить с собой это золото как залог успеха.

Кейвор посмотрел на мои золотые ломы и долго молчал. Он стоял, заложив руки за спину, отсутствующим взором глядя на кратер. Наконец вздохнул и снова заговорил:

— Да, это я нашел сюда путь, но найти путь не значит еще быть его господином. Если я вновь увезу свою тайну на Землю, то что произойдет? Я не смогу хранить ее долго. Рано или поздно все обнаружится или другие люди вторично откроют кейворит. А тогда... Правительства и державы будут стараться проникнуть сюда, будут воевать из-за лунных территорий между собой и лунными жителями. Это только усилит вооружения и даст лишний повод к войнам. Если только я разглашу мой секрет, вся эта планета, вплоть до глубочайших галерей, очень скоро будет усеяна трупами. Все остальное сомнительно, но в этом не приходится сомневаться... И дело совсем не в том, что Луна нужна людям. Для чего им новая планета? Что сделали они со своей собственной планетой? Поле вечной битвы, арену вечных глупостей. Мир человеческий мал, и жизнь человеческая коротка — еще довольно дел на Земле! Нет, наука и так уж слишком много трудилась над выковыванием оружия для безумцев. Пора с этим покончить! Пусть люди снова откроют эту тайну через тысячу лет.

— Есть много способов сохранить тайну,— возразил я.

Кейвор посмотрел на меня и улыбнулся.

— В конце концов,— продолжал он,— о чем нам беспокоиться? Шар нам, вероятно, не найти, а там, внизу, события нарастают. Только присущее человеку свойство надеяться до последней минуты позволяет нам думать о возвращении на Землю. Наши несчастья только начинаются. Мы проявили по отношению к лунным жителям нашу силу и жестокость, показали им, на что мы способны, и шансы наши на спасение так же велики, как у тигра, который вырвался из клетки и загрыз человека в Гайд-парке. Весть о нас, по всей вероятности, разносится из галереи в галерею все ниже и ниже, до центральных областей... Никакие разумные существа в здравом уме и твердой памяти не позволят нам вернуть шар на Землю после всего, что они видели или слышали о нас.

— Но мы не увеличим наши шансы, если будем сидеть здесь,— сказал я.

Мы оба встали.

— Лучше будет, если мы пойдем в разные стороны,— сказал Кейвор.— Надо вывесить платок на верхушке од-

ного из этих стволов, крепко привязать его и от этого пункта, как от центра, приняться за поиски по всему кратеру. Вы пойдете на запад, двигаясь полукругами, в сторону заходящего Солнца. Вы должны идти сначала так, чтобы ваша тень падала от вас вправо, до тех пор, пока она не пересечет под прямым углом путь от нашей вехи, а затем идите так, чтобы тень ложилась влево. Я буду делать то же самое в восточном направлении. Мы будем заглядывать в каждый овраг, осматривать каждую скалу; мы приложим все усилия, чтобы отыскать шар. Селенитов будем всячески избегать. Для утоления жажды можно глотать снег, для утоления голода надо постараться убить лунную корову,— правда, нам придется есть сырое мясо. Итак, каждый из нас пойдет своей дорогой.

— А если один из двух натолкнется на шар?

— Тот, кто найдет шар, должен вернуться к вывешенному платку и ждать там, подавая сигналы.

— А если никто?..

Кейвор взглянул на Солнце.

— Мы будем искать шар до тех пор, пока нас не застигнет ночь и стужа.

— А вдруг селениты нашли шар и спрятали?

Кейвор пожал плечами.

— Или если они теперь гонятся за нами?

Он ничего не ответил.

— Возьмите на всякий случай один лом,— предложил я.

Он отрицательно покачал головой и задумчиво посмотрел на расстилавшуюся перед ним пустыню.

Но он не сразу тронулся в путь. Он почему-то замялся и смущенно посмотрел на меня.

— До свидания,— сказал он наконец.

Меня точно кольнуло в сердце. Я сразу вспомнил, как мы раздражали друг друга, и особенно как я, должно быть, раздражал его.

«Проклятие,— подумал я,— все могло быть иначе». Я хотел было протянуть ему на прощание руку, но он уже сомкнул ноги и прыгнул прочь от меня к северу. Он несся по воздуху, как сухой лист, плавно спустился и снова прыгнул. Я постоял с минуту, наблюдая за его полетом, потом нехотя повернулся лицом на запад, выбрал место

для прыжка и с чувством человека, собирающегося прыгнуть в ледяную воду, устремился обследовать свою половину лунного мира. Я довольно неуклюже упал между скалами, поднялся на ноги, осмотрелся вокруг, вскарабкался на каменистую площадку и прыгнул снова...

Кейвор уже скрылся из виду, но платок храбро развевался над пригорком, ослепительно белый в лучах яркого солнца.

Я решил не терять из виду платка, что бы ни случилось.

ГЛАВА XIX

МИСТЕР БЕДФОРД ОСТАЛСЯ ОДИН

Скоро мне уже казалось, будто я всегда был один на Луне. Сначала я искал шар довольно усердно, но было еще очень жарко, а разреженность воздуха вызывала такое ощущение, как будто грудь сдавило железным обручем. Я попал в лощину, заросшую по краям щетиной высоких, бурых, засохших кустов, и уселся под ними поостыть и отдохнуть в тени. Я собирался посидеть очень недолго. Положив около себя оба лома, я сидел, подперев голову руками. Я отметил с каким-то вялым интересом, что скалы в этой лощине, кое-где покрытые полосами высохшего мха, блестели золотыми жилами, а местами из-под опавшей листвы сверкали кругляки самородков. Теперь все это уже не имело никакого значения. Меня охватила какая-то расслабленность, я ни на секунду не верил, что мы найдем наш шар в этой сожженной солнцем пустыне. К чему искать! Пусть придут селениты. Затем я вдруг решил напрячь все свои силы, повинуясь тому инстинкту самосохранения, который побуждает человека прежде всего охранять и защищать свою жизнь, хотя, может быть, вскоре ему придется умереть еще более мучительной смертью.

Зачем вообще мы здесь?

Это показалось мне необъяснимой и нелепой загадкой. Какой порыв побуждает человека отказаться от счастья и покоя и стремиться навстречу опасности, нередко даже гибели? Здесь, на Луне, я впервые понял то, что давно должен был бы знать, а именно, что человек создан не только для того, чтобы заботиться о собственном благо-

получии, о хорошей еде, о комфорте и веселом времяпрепровождении. Это чувство знакомо почти каждому человеку, и он делает неразумные поступки вразрез с собственными интересами, вразрез со своим благополучием. Какая-то непонятная сила толкает его на это, и он не может устоять.

Зачем? Почему? Сидя здесь, среди бесполезного лунного золота, в чуждом для меня мире, я стал подводить итог всей своей жизни. Если предположить, что мне суждено погибнуть на Луне, то ради чего я прожил свою жизнь? Мне не удалось уяснить себе это, но, во всяком случае, мне стало яснее, чем когда-либо прежде, что я не ставил себе никаких личных целей, что всю свою жизнь я не добивался ничего лично для себя. Для кого же? Для чего? Я бросил раздумывать о том, зачем мы полетели на Луну, и поставил перед собой вопрос шире: зачем я вообще родился? В конце концов я запутался в отвлеченных рассуждениях...

Постепенно мысли мои стали расплывчатыми и туманными, я никак не мог четко их сформулировать. Я не чувствовал тяжести или разбитости в теле — на Луне этого вообще не бывает,— но, вероятно, я все же устал. Так или иначе, но я заснул.

Сон, или, вернее, дремота, удивительно освежил меня, и все это время Солнце спускалось все ниже и ниже, а жара спадала. Когда наконец я проснулся от какого-то отдаленного крика или шума, то почувствовал себя бодрым и свежим. Я протер глаза и расправил руки. Затем встал — тело мое немного затекло — и решил возобновить поиски. Я взвалил свои золотые дубинки на плечи и вышел из золотоносного ущелья.

Солнце, несомненно, стояло гораздо ниже, чем прежде. Воздух охладился. Очевидно, я проспал долго. Мне показалось, что над западными утесами висит синеватая дымка. Я вспрыгнул на ближайшее возвышение и стал осматриваться. Нигде не было видно ни лунных коров, ни селенитов. Кейвора я также не увидел, но зато разглядел мой платок вдали, на высокой ветке терновника; осмотревшись, я перепрыгнул на следующий удобный для наблюдения возвышенный пункт.

Я продолжал свой путь полукругами, постепенно все расширявшимися,— это было довольно утомительно и со-

вершенно безрезультатно. Воздух действительно стал много прохладней, и я заметил, что под западными утесами тени удлинились. Я часто останавливался и осматривался, но Кейвора нигде не было, селениты тоже куда-то исчезли, и я подумал, что они уже загнали скот внутрь планеты, так как и стад нигде не было видно. Мне все больше и больше хотелось поскорее найти Кейвора. Солнце спустилось теперь уже так низко, что отстояло от горизонта не более чем на диаметр своего диска. Я боялся, что селениты скоро закроют крышки и отдушины и оставят нас в жертву страшной лунной ночи. Мне казалось, что Кейвору давно уже следовало прекратить поиски шара и что пора нам еще раз посоветоваться. Необходимо было срочно решить вопрос, что делать. Мы не нашли шара, и искать его уже поздно, а если отдушины закроют, то мы погибли. Нас поглотит бесконечная ночь — мрак пустоты и смерти. Я чувствовал дрожь при одной мысли об этом. Нам необходимо как-то пробраться в глубь Луны, хотя бы даже с опасностью для жизни. В моем воображении уже рисовалась страшная картина: мы из последних сил стучимся в крышку большой шахты, а леденящий холод охватывает нас все сильнее и сильнее.

Я совсем забыл про шар, я думал только о том, как бы скорей найти Кейвора. Я уже собрался было идти в шахту без него, боясь опоздать; я уже возвращался к платку, как вдруг...

Я увидел шар.

Скорей, не я его, а он нашел меня. Он лежал гораздо дальше к западу, чем я зашел; косые лучи заходящего Солнца вдруг ярко осветили его и пылали на его стеклах. В первую минуту я подумал, что это какое-то новое приспособление селенитов против нас, но потом понял.

Я протянул руки и с диким криком радости бросился к нему. Я неверно рассчитал один из своих прыжков и упал в глубокий овраг, больно ударившись лодыжкой правой ноги. После этого я спотыкался почти при каждом прыжке. Я был в состоянии истерического возбуждения, дрожал как в лихорадке и запыхался, еще не достигнув цели. Раза три мне пришлось останавливаться, чтобы передохнуть, и, несмотря на разреженность и сухость воздуха, пот лил с меня ручьями.

Я думал только о шаре, пока до него не добрался,— забыл даже свое беспокойство о Кейворе. Мой последний прыжок перенес меня прямо к шару, и я прижался к нему руками, задыхаясь и тщетно пытаясь крикнуть: «Кейвор, Кейвор, шар здесь!» Немного отдышавшись, я заглянул сквозь толстое стекло. Все вещи были сбиты в одну кучу. Я прижался теснее, чтобы хорошенько все разглядеть, потом попытался влезть внутрь. Мне пришлось приподнять его немного, чтобы просунуть голову в люк. Теперь я ясно увидел, что все вещи лежали так, как мы их оставили, выпрыгивая из шара на снежный сугроб. Я жадно их разглядывал. Я все еще весь дрожал. Какое счастье было вновь увидеть этот знакомый полумрак! Просто непередаваемое счастье! Потом я влез внутрь и сел прямо на вещи. Взглянул сквозь стекло на лунный мир и содрогнулся. Потом я сунул на тюк золотые ломы, поискал еду и поел немного—не потому, чтобы я чувствовал потребность в еде, но потому, что я знал, что там есть съестное. Но тут я вспомнил, что пора выйти и подать сигнал Кейвору. Но я сделал это не сразу. Что-то удерживало меня в шаре.

В конце концов все идет как надо. У нас еще найдется время набрать того магического камня, который дает власть над людьми. Здесь совсем близко лежит золото, а наш шар, даже наполовину нагруженный этим металлом, может лететь так же легко и свободно, как если бы он был пустой. Теперь мы можем возвращаться на Землю как хозяева нашего мира, а потом...

Наконец я поднялся и с усилием вылез из шара. Тут я снова задрожал — вечерний воздух становился все холоднее. Стоя в углублении, я осмотрелся, тщательно обследовал кусты вокруг, прежде чем прыгнуть на ближайшую скалу, и снова прыгнул, как и в первый свой прыжок на Луне. Но теперь я прыгнул легко, без всякого усилия.

Растительность увяла так же быстро, как выросла, и весь вид окрестных скал изменился, но все-таки можно было узнать тот пригорок, на котором при нашем прибытии начали всходить молодые растения, и то скалистое возвышение, с которого мы впервые увидели кратер. Но колючий кустарник на склоне холма уже побурел, высох, вытянулся футов на тридцать в вышину и отбрасывал

длинные тени, конца которым не было видно, а маленькие семена, висевшие пучками на его верхних ветках, уже почернели, совершенно созрев. Кустарник сделал свое дело и теперь готов был упасть и рассыпаться в прах под разрушительным действием ледяного воздуха длинной лунной ночи. А огромные кактусы, которые раздувались на наших глазах, давно уже полопались и разбросали свои споры на все четыре стороны. Удивительный уголок вселенной — пристань первых людей на Луне!

Когда-нибудь, думал я, я поставлю тут среди кратера памятный столб с надписью. И мне вдруг пришло в голову, что, если бы только лунный мир понимал всю важность этой минуты, какой переполох поднялся бы там, в глубине!

Но пока, по-видимому, они и не подозревают, какое значение имеет наше прибытие — ведь иначе этот кратер стал бы ареной отчаянной борьбы, а не оставался безмолвной пустыней. Я стал высматривать место поудобнее, откуда можно было бы подать сигнал Кейвору, и увидел ту самую скалу, куда он прыгнул с того места, где теперь стоял я,— она осталась такой же голой и бесплодной. С минуту я не решался уйти так далеко от шара. Затем, устыдившись своего малодушия, прыгнул...

С этого возвышенного пункта я снова начал осматривать кратер. Далеко, у самой верхушки отбрасываемой мною огромной тени, белел платок, трепетавший на кустарнике. Он был очень далеко и казался совсем крошечным, но Кейвора не было видно. Мне казалось, что Кейвор должен был бы уже сам искать меня, ведь мы так договорились. Но его не было.

Я стоял, приставив ладони к глазам, выжидая и наблюдая, в надежде каждую секунду увидеть его. Вероятно, я простоял так очень долго. Я пробовал кричать, но мой крик утонул в разреженном воздухе. Я двинулся было назад к шару, но из страха перед селенитами отказался от своего намерения — сигнализировать о моем местонахождении, вывесив на соседнем кустарнике одно из одеял. Я снова стал разглядывать кратер.

Он производил гнетущее впечатление своей пустынностью. И как тихо было вокруг! Смолкли звуки из мира селенитов. Мертвая тишина. Кроме слабого шелеста бли-

жайшего кустарника, ни малейшего звука или хоть намека на звук. Дневная жара уже спала, а ветер становился все более ледяным.

Проклятый Кейвор!

Я набрал побольше воздуха, приложил руки рупором ко рту и крикнул во все горло:

— Кейвор!

Но звук моего голоса походил на отдаленное, слабое эхо.

Я поглядел на сигнальный платок, поглядел на расширявшуюся тень западного утеса, поглядел из-под ладони на Солнце. Мне показалось, что оно опускается по небу заметно для глаз.

Тут я понял, что если хочу спасти Кейвора, то надо действовать, не теряя ни минуты. Я сорвал с себя жилет и повесил его как знак на шипах кустарника, потом пустился напрямик к платку. Расстояние в две мили я пролетел в несколько сот прыжков. Я уже рассказывал, как во время таких прыжков словно паришь в воздухе довольно долго, прежде чем снова встать на ноги. При каждом взлете я искал глазами Кейвора и удивлялся, куда он скрылся. При каждом прыжке я замечал, что Солнце садится все ниже, и каждый раз, касаясь ногами скал, я испытывал искушение вернуться назад.

Последний прыжок — и я очутился в ложбине около платка. Еще один шаг — и я на нашем наблюдательном пункте. Стоя возле платка, я внимательно осмотрел окрестность, уже покрытую тенями. Далеко от меня, у подошвы пологого склона, чернело отверстие тоннеля, через которое мы убежали; моя тень простиралась до него и касалась его, как черный палец ночи.

Кейвора нигде не было, стояла мертвая тишина. Только шелест кустарника и все длиннее тени. Я вдруг затрясся, как в ознобе.

«Кейв...» — пробовал я крикнуть еще раз и снова убедился в беспомощности человеческого голоса в разреженном воздухе.

Молчание. Молчание смерти.

И вдруг я заметил что-то, какой-то клочок ярдах в пятидесяти от меня, у подошвы склона, среди переломленных веток. Что бы это могло быть?.. Я знал, но не хотел верить.

Я подошел ближе — это была шапочка крикетиста, которую носил Кейвор. Я не дотронулся до нее, я стоял и смотрел.

Теперь я понял, что разбросанные вокруг ветки были поломаны и потоптаны. Наконец я шагнул вперед и поднял шапочку.

Я держал ее в руке и всматривался в поломанные и примятые колючие заросли. На некоторых ветках виднелись темные пятна, но я боялся к ним прикоснуться. Невдалеке ветер перекатывал и подгонял ближе ко мне какой-то маленький и очень белый лоскут.

Это был клочок бумаги, сжатый в комок, точно его крепко сжимали в кулаке. Я поднял его: на нем виднелись красные пятна. Я разобрал также бледные следы карандаша. Разгладив бумажку, я увидел на ней прерывистые, неровные каракули букв, оканчивавшиеся кривой полосой.

Я сел на ближайший камень и стал разбирать записку.

Начало было довольно разборчивое: «Я ранен в колено,— кажется, у меня раздроблена коленная чашка, и я не могу ни идти, ни ползти».

Затем менее четко: «Они гнались за мной некоторое время и теперь это вопрос...» По-видимому, сначала было написано «времени», но затем зачеркнуто и заменено каким-то непонятным словом. «...прежде чем они меня захватят. Они преследуют меня».

Затем почерк делался судорожным. «Я уже слышу их»,— догадался я, но дальше было совершенно неразборчиво. Потом несколько слов, довольно четких: «Эти селениты совсем другие — они, по-видимому, командуют...» Снова неразборчиво.

«Черепа у них больше, гораздо больше, тела более стройные и очень короткие ноги. Голоса у них более приятные, движения более обдуманны...»

«Хоть я и ранен и совершенно беспомощен, их появление дает мне надежду». Как это похоже на Кейвора!

«Они не стреляли в меня и не пытались... убить. Я намерен...»

В конце внезапная ломаная линия карандашом через всю бумагу, а на обратной стороне записки и по краям — кровь!

Пока я стоял, потрясенный и растерянный, с этой ошеломляющей запиской в руке, что-то мягкое, холодное и легкое коснулось моей руки и исчезло — белая пушинка. Первая снежинка — предвестница наступающей ночи.

В испуге я взглянул наверх: небо уже почернело и покрылось множеством холодных ярких звезд. Я посмотрел на восток: растительность этого разом увядшего мира стала темно-бронзовой. Взглянул на запад — Солнце, утратившее теперь в сгустившейся белой мгле половину своего жара и блеска, уже коснулось края кратера и скрывалось за горизонтом. Заросли кустарника и зубчатые скалы четко вырисовывались остроконечными черными тенями на освещенном небе. Огромное облако тумана опускалось в необъятное озеро темноты. Холодный ветер пронизывал весь кратер. И вдруг в один миг я был окутан падающим снегом, и все вокруг заволоклось мрачной серой пеленой.

И тут я услышал не громкий, не отчетливый, как в первый раз, а слабый и глухой, подобно замирающему голосу, звон колокола, тот самый, что приветствовал наступление солнечного дня:

«Бум!.. Бум!.. Бум!..»

Эхо прокатилось по кратеру, точно он задрожал, как мерцающие звезды. Кровавый красный диск Солнца опускался все ниже и ниже...

«Бум!.. Бум!.. Бум!..»

Что случилось с Кейвором? Я тупо стоял там и слушал звон, пока он не прекратился.

И вдруг зияющее отверстие тоннеля внизу подо мной закрылось, подобно глазу, и исчезло.

Я очутился в полном одиночестве.

Надо мной и вокруг меня, охватывая меня со всех сторон, подступая все ближе и ближе, раскинулась Вечность, безначальная, бесконечная — необъятная пустота, в которой и свет, и жизнь, и бытие — лишь мимолетный блеск падающей звезды; холод, тишина, безмолвие, бесконечная и неумолимая ночь космического пространства.

Одиночество, казалось, подступало ко мне, я чувствовал его прикосновение.

— Нет! — воскликнул я.— Нет! Не теперь еще! Погоди! Погоди!

Мой голос перешел в визг. Я бросил скомканную бумажку, вскарабкался на гребень, чтобы осмотреться, и, собрав весь остаток воли, запрыгал по направлению к оставленному мною знаку, уже едва заметному в туманной дали.

Прыг, прыг, прыг! Каждый прыжок, казалось, длился столетия.

Бледный серпик Солнца скрывался за горизонтом, удлинявшиеся тени грозили поглотить шар, прежде чем я доберусь до него. Две мили, не менее сотни прыжков, а воздух разрежался, точно выкачиваемый насосом, и холод сковывал мои суставы. Но если умирать, то умирать в движении. Ноги мои скользили в снегу, прыжки становились короче. Один раз я упал в кусты, которые рассыпались в прах подо мной; другой раз я споткнулся и скатился кубарем в овраг, исцарапав до крови лицо и руки и почти потеряв направление.

Но все это было ничто в сравнении с промежутками, с ужасными минутами в воздухе, когда я летел прямо в надвигающийся прилив ночи. Дыхание мое свистело, в легкие мне точно втыкались ножи. Сердце билось так сильно, что отдавалось в голове.

«Доберусь ли, доберусь ли я?»

Я весь дрожал от страха.

«Ложись! — уговаривало меня отчаяние.— Ложись!»

Чем ближе я подходил к цели, тем отдаленнее она мне казалась. Я закоченел, оступался, ушибался, порезался несколько раз, но кровь не выступала.

Наконец я увидел шар.

Я выбился из сил и упал на четвереньки. Легкие мои хрипели.

Я пополз. На губах моих скоплялся иней, ледяные сосульки свисали с усов; я весь покрылся белым замерзшим воздухом.

Оставалось еще ярдов двенадцать. В глазах у меня потемнело.

«Ложись! — кричало отчаяние.— Ложись!»

Я прикоснулся к шару на миг и замер.

«Слишком поздно! — нашептывало отчаяние.— Ложись!»

Я боролся изо всех сил. Я стоял у люка, отупевший, полумертвый. Кругом уже не было ничего, кроме снега.

Я сделал нечеловеческое усилие и влез внутрь. Там было немного теплее.

Снежные хлопья, хлопья замерзшего воздуха ворвались в шар вместе со мной. Я пытался окоченелыми пальцами закрыть и крепко завинтить крышку. Я всхлипнул.

— Я должен! — пробормотал я, стиснув зубы, и дрожащими, словно ломкими, пальцами стал нащупывать кнопки штор.

Пока я возился—раньше мне никогда не приходилось этого делать,— я смутно видел через запотевшее стекло огненные лучи заходящего Солнца, мерцавшие сквозь буран, и темные очертания зарослей кустарника, гнувшихся и ломающихся под тяжестью все падающего снега. Все гуще и гуще кружились хлопья, чернея на светлом фоне Солнца. Что, если я не справлюсь с заслонками?

Наконец что-то щелкнуло под моими руками, и в одно мгновение последнее видение лунного мира исчезло из моих глаз. Я погрузился в тишину и мрак межпланетного пространства.

ГЛАВА XX

МИСТЕР БЕТФОРД В БЕСКОНЕЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Я чувствовал себя так, точно меня убили. В самом деле, я представляю себе, что человек, которого внезапно убивают, должен ощущать то же самое, что я тогда. В первый момент — муки агонии и ужас, затем — тьма и безмолвие; ни света, ни жизни, ни Солнца, ни Луны, ни звезд — пустота бесконечности. Хотя я сам вызвал все это, хотя я уже испытал все это вместе с Кейвором, я был ошеломлен, оглушен, подавлен. Казалось, меня влечет вверх, в бесконечный мрак. Мои пальцы оторвались от кнопок, я повис, утратив вес, и наконец очень мягко натолкнулся на тюк, золотую цепь и золотые дубины, плававшие в середине шара.

Не знаю, как долго продолжалось это парение. Внутри шара чувство земного времени терялось еще больше, чем на Луне. При первом прикосновении к тюку я точно пробудился от тяжелого сна. Я понял, что если я

хочу бодрствовать и жить, то должен зажечь свет или открыть окно, чтобы увидеть хоть что-нибудь. Кроме того, мне было холодно. Я оттолкнулся от тюка, схватился за тонкие тросы на стекле и вскарабкался к краю люка. Теперь я разглядел все кнопки, оттолкнулся, облетел вокруг тюка и испугался, столкнувшись с чем-то тонким и широким, плавающим в воздухе; потом схватился за трос около самых кнопок и подтянулся до них. Прежде всего я зажег лампочку, чтобы посмотреть, на что я налетел, и убедился, что это был старый номер газеты «Ллойдс Ньюс», носившийся в пустоте. Это сразу точно вернуло меня из космоса на Землю. Я рассмеялся и почувствовал, что задыхаюсь,— нужно добавить немного кислорода из цилиндра. Потом я зажег грелку, согрелся, достал провизию и поел. Затем осторожно принялся знакомиться с устройством кейворитных штор, чтобы как-нибудь узнать, куда несется шар.

Я открыл и тотчас же захлопнул первую штору: меня ослепил и опалил солнечный свет. Подумав, я приоткрыл шторы с противоположной стороны и увидел огромный серп Луны, а позади нее — маленький серпик Земли. Я очень удивился, что нахожусь уже так далеко от Луны. Я рассчитывал, что почти не испытаю толчка при подъеме и что по сравнению с земной атмосферой отлет по касательной от Луны будет в двадцать восемь раз легче, чем от Земли. Я думал, что нахожусь над нашим кратером во мраке ночи, но кратер стал теперь всего лишь частью белого серпа, заполнявшего небо. А Кейвор?

Он теперь бесконечно малая величина.

Я пытался представить себе, что с ним могло случиться. Но тогда я был уверен, что он погиб. Мне казалось, что я вижу его, распластанного и раздавленного, у подошвы какого-нибудь нескончаемого голубого водопада. И вокруг него эти тупоумные насекомые...

Прикосновение летающей газеты вдохновило меня и сделало на время практичным. Мне необходимо вернуться на Землю — это ясно, но, по моим наблюдениям, шар уносился все дальше от Земли. Что бы ни случилось с Кейвором, даже если он остался жив,— что мне казалось невероятным после того, как я увидел запятнанный кровью обрывок бумаги,— я бессилен ему помочь. Он остался там, живой или мертвый, за покровом беспро-

светной ночи, и там ему придется пробыть по крайней мере до тех пор, пока я не смогу призвать на помощь людей. Собирался ли я это сделать? Да, я думал об этом: вернуться на Землю, если это возможно, и затем, основательно все обдумав, либо показать и объяснить устройство шара немногим надежным людям и действовать вместе с ними, или же сохранить тайну, продать золото, приобрести оружие, припасы и одного помощника, а затем вернуться на Луну, расправиться с селенитами и освободить Кейвора, если это еще возможно; и уж, во всяком случае, захватить побольше золота, чтобы дальнейшие предприятия построить на более солидном фундаменте. Но все это пока только мечты. Прежде всего надо еще суметь вернуться на Землю.

Я принялся думать, как именно можно осуществить возвращение на Землю. Когда предо мной предстали все трудности этой проблемы, я совсем перестал думать о том, что будет после возвращения туда. В конце концов главное — это вернуться на Землю.

Я решил, что лучше всего полететь обратно к Луне, приблизиться к ней насколько возможно, чтобы потом набрать скорость движения; после этого закрыть окна шара и, облетев Луну, открыть окна в сторону Земли, но достигну ли я Земли или же просто буду вращаться вокруг нее по гиперболической, параболической или какой-нибудь другой кривой — этого я не знал. Позднее я догадался, что нужно делать, и, открыв некоторые из окон к Луне, показавшейся на небе впереди Земли, я взял курс в сторону так, чтобы стать против Земли, так как иначе я пролетел бы мимо нее. Разрешить все эти проблемы было нелегко — ведь я не математик,— и в конце концов я вернулся на Землю вовсе не потому, что все правильно рассчитал, а только благодаря счастливому случаю. Если бы я знал тогда то, что знаю теперь,— что почти все шансы по теории вероятности против меня,— я бы не стал даже делать попыток вернуться на Землю. Решив, что мне нужно делать, я раскрыл все окна на Луну и скорчился на дне. От толчка я подскочил на несколько футов в воздухе, повис в самом нелепом положении и ждал, пока диск Луны увеличится и окажется от меня на нужном расстоянии. Затем я закрою все окна, пролечу мимо Луны со скоростью, приобретенной при

сближении с ней,— если только не упаду на нее,— и направлю полет к Земле.

Так я и сделал.

Наконец я убедился, что летел в сторону Луны достаточно долго, и закрыл окна. Луна скрылась из глаз, но помню, что не почувствовал тогда никакого страха, никакого неприятного ощущения; я просто решил спокойно сидеть в этой маленькой клеточке земного вещества, летящей в беспредельном пространстве, пока не достигну Земли. Нагреватель достаточно отеплил шар, воздух освежен был кислородом, и, за исключением слабого прилива крови к голове, который я постоянно чувствовал с тех пор, как удалился от Земли, я чувствовал себя физически довольно хорошо.

Я решил беречь свет и погасил его. Пришлось сидеть в темноте при свете Земли и мерцании звезд. Кругом была такая тишина и покой, что я чувствовал себя единственным существом во вселенной, однако — странно! — не ощущал ни одиночества, ни страха и словно лежал в своей постели на Земле. Это тем более удивительно, что в последние часы моего пребывания в кратере Луны я испытывал мучительное чувство одиночества...

Вы не поверите, но тот промежуток времени, который я провел в пространстве, совершенно не походил на земное время. Иногда мне казалось, что я восседаю здесь целую вечность, подобно богу на листе лотоса, а порой весь полет с Луны на Землю длился словно одно мгновение. В действительности же прошло несколько земных недель. Но в этот отрезок времени я вложил все свои волнения, чувство голода и страха. Я парил и думал о пережитом, о своей жизни, о побуждениях и сокровенных своих мыслях, и странное ощущение шири и свободы охватывало меня. Мне казалось, что я все расту и расту, что я неподвижен, что я вишу среди звезд, но все время я помнил о ничтожестве Земли и моей жизни на ней.

Я не смогу объяснить всего, что я чувствовал и думал. Без сомнения, все это результат тех необычных физических условий, в которых я находился. Я просто рассказываю о том, что чувствовал, без всяких комментариев. Больше всего меня мучила неуверенность в том, кто я такой. Я, если можно так выразиться, диссоцииро-

вался от Бедфорда. Я смотрел на Бедфорда как на жалкое, случайное существо, с которым я почему-то связан. Во многом Бедфорд казался мне ослом или низшим животным, между тем как раньше я гордился им и считал, что он незаурядная, сильная личность. Теперь он был для меня не просто ослом, но потомком многих поколений ослов. Я вспоминал и исследовал его школьные дни, его юность и первую любовь так же, как исследуют жизнь муравья в песке... Боюсь, что какая-то доля этого презрения сохранилась во мне и по сей день, и сомневаюсь, чтобы я когда-нибудь вернулся к махровому самодовольству прежних лет. Но в то время это меня нисколько не мучило, потому что я был совершенно убежден, что я не Бедфорд и вообще никто, что я только дух, парящий в молчаливом, невозмутимом пространстве. Что мне за дело до какого-то Бедфорда и его пороков? Я не отвечаю за него.

Сначала я боролся с этим забавным заблуждением. Я старался вызвать разные воспоминания, яркие картины, нежные или острые эмоции; я думал, что если снова вспыхнет хоть искра какого-нибудь сильного чувства, то это состояние растущего отчуждения прекратится. Но я не мог ничего поделать. Вот он, Бедфорд, в шляпе, сдвинутой на затылок, с развевающимися фалдами сюртука, он бежит вниз по Ченсери-Лейн на свой публичный экзамен. Я видел, как он толчется в толпе сверстников, шутит, здоровается с товарищами. Неужели это я? Я видел Бедфорда в тот же вечер в гостиной какой-то дамы: испачканная шляпа его лежала на столе, а сам он почему-то плакал. Неужели и это я? Я видел, что он часто бывает с этой дамой, видел их отношения, их чувства, но оба казались мне посторонними... Я видел, как он спешит в Лимпн, чтобы сочинять на досуге пьесу, как он знакомится с Кейвором и, засучив рукава, трудится над шаром; видел, как он уходит в Кентербери из страха перед полетом. Неужели это все я? Я не верил этому.

Я все считал, что это галлюцинация, вызванная одиночеством и тем, что я потерял всякий вес и чувство сопротивления. Я старался вернуть себе это чувство, ударяясь о шар, щипал себя и стискивал руки. Я даже зажег свет, схватил порванный листок газеты «Ллойдс Ньюс»

и снова прочел убедительные подлинные объявления о велосипеде, о джентльмене с частными средствами и о бедствующей леди, продающей фамильные вилки и ножи. «Все они, без сомнения, существуют,— говорил я себе.— Вот твой мир, ты Бедфорд, и возвращаешься, чтобы до конца дней жить среди себе подобных». Но сомнение не исчезало, и какой-то внутренний голос продолжал доказывать: «Это не ты читаешь, это Бедфорд, а ты ведь не Бедфорд, правда? В этом-то и вся ошибка».

— Проклятие! — выругался я.— Если я не Бедфорд, то кто же я?

Но на этот вопрос я не мог найти никакого ответа, хотя в моем мозгу проносились самые фантастические мысли, странные догадки, похожие на отдаленные тени...

Представьте, мне даже казалось, что я нахожусь не только вне нашего мира, но и вне всех миров, вне пространства и времени и что бедный Бедфорд — всего лишь щель, сквозь которую я гляжу на жизнь.

Бедфорд! Как я ни отрекался от него, все же я был с ним связан и знал, что где бы и кем бы я ни был, я неизменно буду жить его желаниями, его радостями и печалями до конца его жизни. А что будет потом, когда он умрет?

Но довольно об этой замечательной фазе моих переживаний.

Я рассказываю об этом просто для того, чтобы показать, как изолированность и удаление человека от Земли влияют не только на функции и чувствования его физических органов, но и на сознание, порождая странные и неожиданные отклонения. Во время этого межпланетного путешествия я был охвачен подобными странными мыслями и, точно мрачный мегаломаниак, висел, равнодушный и одинокий, среди звезд и планет мировой пустыни. И бесконечно мелким и тривиальным казался мне не только тот мир, к которому я возвращался, но и освещенные голубоватым светом пещеры селенитов, их шлемоподобные головы, их гигантские и чудесные машины и судьба заброшенного на Луну беспомощного Кейвора.

И все это продолжалось до тех пор, пока я не почувствовал на себе силу притяжения Земли, снова вовлекав-

шего меня в ту жизнь, которая остается единственно реальной для людей. Тут я все яснее и яснее стал ощущать, что я не кто иной, как Бедфорд, и после удивительных приключений возвращаюсь в наш мир, к жизни, с которой чуть было не расстался на пути назад. Я стал думать о том, как спуститься на Землю.

ГЛАВА XXI

МИСТЕР БЕДФОРД В ЛИТЛСТОУНЕ

Линия моего полета была почти параллельна поверхности Земли, когда я попал в верхние слои атмосферы. Температура в шаре начала подниматься. Я знал, что мне надо скорее спускаться. Глубоко подо мной, в темнеющем сумраке, простиралась обширная гладь океана. Я открыл все окна и падал, переходя из солнечного света в вечер, из вечера в ночь. Все обширнее и обширнее становилась Земля, поглощая звезды, и облачная звездная вуаль постепенно окутывала меня. Наконец Земля уже не казалась шаром, а стала плоскостью и потом — впадиной. Это была уже не планета на небе, а мир человека. Я закрыл все шторы, кроме окна, направленного к Земле, и стал падать с ослабевающей скоростью. Водная ширь приблизилась настолько, что я различал уже темный блеск волн, вздымавшихся мне навстречу. Шар очень нагрелся. Я закрыл последнюю светлую полосу окна и сидел, хмурясь и кусая пальцы, в ожидании столкновения.

Шар с громким плеском ударился о воду — брызги взлетели на десятки футов. После удара я открыл шторы из кейворита. Я спускался все медленнее и медленнее, затем почувствовал, что шар давит мне снизу на ноги, летит вверх, как пузырь. Я, как поплавок, качался на волнах, и мое путешествие в мировом пространстве окончилось.

Ночь была темная и мрачная. Две огненные булавочные головки вдали указывали, что идет судно; ближе то вспыхивало, то гасло красное пламя. Если бы в моей лампе не истощился запас электричества, я бы зажег свет. Несмотря на страшную усталость, я был лихорадочно возбужден, полон надежд и радовался окончанию полета.

Потом несколько успокоился и сел, положив руки на колени и глядя на отдаленный огонь. Он все качался вверх и вниз, вверх и вниз. Мое возбуждение прошло. Я понял, что по крайней мере еще одну ночь придется провести в шаре. Я чувствовал себя разбитым и усталым. Наконец я уснул.

Меня разбудил изменившийся ритм движения. Я взглянул в стекло и увидел, что шар сел на мель на большой песчаной косе. Вдали виднелись дома и деревья, а над морем, между небом и водой, висел туманный изогнутый силуэт судна.

Я встал и пошатнулся. Главное, поскорее выбраться из шара. Люк находился наверху, и я стал отвинчивать крышку. Наконец мне удалось открыть люк. Воздух со свистом ворвался внутрь, как некогда он вырвался наружу. Но на этот раз я уже не стал ждать, пока уравняется давление. Еще мгновение — и руки ощутили тяжесть отвинченной крышки, и надо мной широко-широко раскинулось родимое земное небо.

Воздух с такой силой ударил в грудь, что у меня перехватило дыхание. Я выпустил из рук винт от стеклянной крышки, вскрикнул, схватился за грудь руками и присел. Сначала было больно. Потом одышка прошла, и я стал глубоко вдыхать воздух. Наконец я снова поднялся и начал двигаться.

Я попытался высунуть голову в люк, но шар накренился набок. Голову вниз словно потянуло, и я быстро откинулся назад, чтобы не упасть лицом в воду. Пыхтя и извиваясь, я наконец вылез через люк на песок, на который набегали волны.

Я не пытался встать. Мне казалось, что все тело внезапно налилось свинцом. С прекращением действия кейворита мать Земля наложила на меня свою руку. Я сидел, не обращая внимания на воду, заливавшую мне ноги.

В сером, сумрачном рассвете тускло блестели длинные зеленоватые полосы. Невдалеке стояло на якоре судно — бледный силуэт с желтым огоньком. В песок мерно ударяли мелкие, длинные волны. Направо берег изгибался — там высился каменистый риф с лачугами, маяк, бакен и мыс. За рифом тянулся пляж, поблескивавший лужами и приблизительно на расстоянии ми-

ли заканчивающийся низким берегом, поросшим кустарником. На северо-востоке виднелся какой-то уединенный морской курорт: высокие жилые дома грязными пятнами выделялись на горизонте, рядом с ними все кругом казалось совсем плоским. Я не мог понять, каким чудакам могло прийти в голову воздвигнуть эти вытянутые кубики на таком голом месте.

Они напоминали Брайтон, перенесенный в пустыню. Я долго сидел, позевывая и растирая лицо. Я попытался встать. Я словно поднимал тяжесть. Наконец встал.

Посмотрел на дома вдали. В первый раз после нашей голодовки в кратере я подумал о земной пище. «Копченая свинина,— пробормотал я,— яйца! Хороший поджаренный хлеб и хороший кофе!.. Каким образом, черт побери, я доставлю все это в Лимпн?» Интересно, где я нахожусь. Во всяком случае, это какой-то восточный берег, когда я падал, мне померещились очертания Европы.

Я услышал шаги по отмели. Какой-то маленький, круглолицый, добродушный человек в фланелевом костюме с простыней на плече и купальным костюмом в руках появился на пляже. Значит, я нахожусь в Англии. Он очень внимательно посмотрел на шар и на меня, затем подошел ближе. Ведь я походил на дикаря — весь грязный, заросший волосами. Но в тот момент я не думал об этом. Он остановился шагах в двадцати от меня.

— Здорово, земляк! — неуверенно окликнул он меня.

— Здравствуйте! — ответил я.

Ободренный моим ответом, он подошел еще ближе.

— Что это за штука? — спросил он.

— Не можете ли вы мне сказать, где я нахожусь? — спросил я.

— Это Литлстоун,— ответил он, указывая на дома. — А это Дандженес! Вы только что высадились? Что это за штука? Машина?

— Да.

— Вы приплыли к берегу? Наверное, потерпели кораблекрушение? В чем дело?

Я быстро соображал, стараясь определить на вид, что это за человек.

— Господи! — воскликнул он.— Ну и досталось вам! Я-то думал... Ну... Куда вас отнесло? Это что, вроде спасательной шлюпки?

Я решил придерживаться этой версии и, ничего не отрицая, сделал несколько неопределенных замечаний.

— Я нуждаюсь в помощи, — сказал я хрипло. — Мне необходимо доставить на берег некоторые вещи, которые я не могу оставить здесь.

Я заметил трех других добродушных молодых людей с полотенцами, в спортивных костюмах и соломенных шляпах. По-видимому, это были первые утренние купальщики из Литлстоуна.

— Помощи? — сказал молодой человек. — Охотно!

Он приготовился действовать.

— Что вы хотите?

Он обернулся и замахал руками. Трое молодых людей ускорили шаги. Через минуту они были около меня и стали забрасывать меня вопросами, на которые я не особенно охотно отвечал.

— После, после! — говорил я.— Я смертельно устал. Я весь в лохмотьях.

— Поднимитесь в отель,— сказал маленький человек.— Мы присмотрим за этой штукой.

— Не могу, — сказал я. — В этом шаре находятся два толстых бруска золота.

Они недоверчиво переглянулись и посмотрели на меня с любопытством. Я подошел к шару, наклонился, влез внутрь, и вскоре у них в руках очутились ломы селенитов и сломанная золотая цепь... Если бы не усталость, я бы расхохотался, глядя на них. Они походили на котят около жука. Они не знали, что с этим делать. Маленький толстяк наклонился, поднял за конец один лом и со вздохом опустил. Все сделали то же самое.

— Это либо свинец, либо золото! — предположил один из них.

— Скорей золото! — сказал другой.

— Несомненно, золото,— подтвердил третий.

Все посмотрели на меня, а потом на судно, стоявшее на якоре.

— Несомненно! — воскликнул маленький человек. — Но где вы его достали?

Я был слишком утомлен, чтобы лгать.

— Я достал его на Луне.

Они переглянулись с изумлением.

— Послушайте!—сказал я.— Я не стану теперь ничего доказывать. Помогите мне перетащить эти слитки в отель. С передышками двое из вас смогут перенести один лом, а я поволоку цепь. Когда я немного поем, я все расскажу.

— А как же быть с этой штукой?

— Она не испортится и здесь,— сказал я.— Ничего, черт побери! Пусть лежит тут. Когда начнется прилив, она поплывет.

Потрясенные молодые люди послушно подняли мои сокровища на плечи, и я, чувствуя свинцовую тяжесть в ногах, повел всю процессию по направлению к видневшемуся вдали приморскому бульвару. На полпути на помощь подбежали две маленькие девочки с лопатами и худощавый, громко сопевший мальчик. Кажется, он вез велосипед и сопровождал нас справа на расстоянии двухсот ярдов или около того; вскоре это ему надоело, он сел на свой велосипед и покатил по гладкому песку по направлению к шару.

Я оглянулся ему вслед.

— Он не тронет шар,— сказал коренастый молодой человек, успокаивая меня, и я охотно дал себя успокоить.

Утро было хмурое, и сначала на душе тоже было пасмурно; но скоро Солнце прорезало серые облака горизонта и залило блеском свинцовое море. Я почувствовал себя бодрей. Вместе со светом Солнца появилось сознание огромной важности всего, что я сделал и что мне еще предстоит сделать. Я громко рассмеялся, когда передовой зашатался под тяжестью моего золота. Вот изумится весь мир, когда я займу в нем подобающее место!

Если бы я не был так утомлен, то меня очень позабавил бы хозяин литлстоунского отеля: он стал метаться, не зная, как согласить золото и почтенных носильщиков с моей оборванной и грязной одеждой. Но в конце концов я очутился в настоящей земной ванной комнате с теплой водой для умывания, в новой одежде, правда, очень тесной, но, во всяком случае, чистой, одол-

женной мне маленьким толстяком. Он дал мне, кроме того, бритву, но я не решался коснуться своей густой и щетинистой бороды.

Я сел за английский завтрак и ел не торопясь, с аппетитом — хроническим многонедельным аппетитом. Затем я собрался отвечать на вопросы моих четырех молодых людей и рассказал им всю правду.

— Хорошо,— сказал я,— так как вы настаиваете, то я скажу вам, что добыл это золото на Луне.

— На Луне?

— Да, на Луне, там, в небесах.

— Что вы хотите этим сказать?

— То, что вы слышите, черт побери!

— Что вы только что вернулись с Луны?

— Вот именно! Через космическое пространство — в этом шаре.

При этих словах я сунул в рот добрый кусок яичницы.

И тут же решил при втором полете на Луну захватить с собой ящик яиц.

Я ясно видел, что они не верили ни одному моему слову, но, очевидно, считали меня чрезвычайно респектабельным лжецом. Они переглянулись, а потом уставились мне в рот. Они, видно, надеялись раскусить меня, глядя, как я солю яйца, и придавали особое значение тому, что я ем яйца с перцем. Золотые слитки странной формы, под тяжестью которых у них сгибались колени, гипнотизировали их. Они лежали предо мною, эти слитки, стоившие много тысяч фунтов, и их так же невозможно было украсть, как дом или участок земли. Когда я взглянул на полные ожидания лица, склонившиеся над моей чашкой кофе, я понял, сколько подробных объяснений я должен дать, чтобы мне поверили.

— Вы, конечно, не серьезно...— начал было самый молодой таким тоном, точно он обращался к упрямому ребенку.

— Будьте любезны, передайте мне гренки,— перебил я и заставил его замолчать.

— Но послушайте! — подхватил другой.— Мы не можем поверить вам.

— Ну так что же! — сказал я, пожав плечами.

— Он не хочет рассказывать,— сказал младший в

сторону и с подчеркнутой непринужденностью спросил: — Вы ничего не имеете против, если я закурю?

Я любезно кивнул головой и продолжал завтракать. Двое из них отошли от стола и стали у дальнего окна, тихо переговариваясь. Вдруг я вспомнил.

— Прилив кончается? — спросил я.

Наступила пауза. Они колебались, кому из них ответить на мой вопрос.

— Скоро отлив,— сказал толстяк.

— Ладно,— сказал я,— он не уплывет далеко.

Я начал третью порцию яичницы и обратился к ним с маленькой речью.

— Послушайте! — сказал я.— Прошу вас. Не воображайте, пожалуйста, что я сумасшедший и рассказываю вам всякие небылицы. Я принужден быть очень кратким и сдержанным. Я отлично понимаю, что это может показаться очень странным и невероятным. Могу вас уверить, что вы живете в замечательное время. Но я не могу пока объяснить вам все: это невозможно. Даю честное слово, что я явился с Луны, и это все, что я могу открыть вам... И все же я чрезвычайно обязан вам, чрезвычайно! Надеюсь, что мое обхождение не показалось вам оскорбительным.

— Нисколько! — сказал приветливо самый молодой.— Мы отлично понимаем...

И, глядя на меня в упор, он откинул назад свое кресло с такой силой, что оно чуть не опрокинулось.

— Вовсе нет, — подтвердил толстый молодой человек.— Пожалуйста, не подумайте!

Все встали, закурили, начали прогуливаться взад и вперед и всячески старались подчеркнуть свое дружелюбие, доверие и полное отсутствие назойливого любопытства.

— Я пойду все-таки посмотрю на судно,— сказал вполголоса один из них.

Если бы не любопытство, то они все ушли бы и оставили меня одного. Я продолжал спокойно есть яичницу.

— Погода замечательная, не правда ли? — заметил толстяк.— Не помню такого лета...

Его прервал оглушительный треск. Словно взлетела огромная ракета!

Где-то зазвенело разбитое стекло.

— Что такое? — спросил я.

— Неужели?..— вскрикнул толстячок и подбежал к угловому окну.

Все кинулись к окнам. Я один сидел и смотрел на них.

Потом вскочил, отшвырнул яичницу и тоже подбежал к окну.

Я начал догадываться.

— Ничего не видно! — воскликнул толстяк, бросаясь к двери.

— Это все тот мальчишка! — крикнул я хриплым от бешенства голосом.— Проклятый мальчишка!

Повернувшись, я оттолкнул официанта (он в этот момент нес мне какое-то новое блюдо), стремительно бросился из комнаты вниз и выскочил на эспланаду перед отелем.

Спокойное море покрылось зыбью, и на том месте, где раньше лежал шар, вода клокотала, как в кильватере судна. Вверху клубилось что-то вроде облачка дыма, и трое или четверо зевак на набережной с недоумением глядели вверх по направлению неожиданного взрыва. И больше ничего! Чистильщики сапог, швейцар и четверо молодых людей в своих фланелевых костюмах выбежали вслед за мной. Из окон и дверей раздавались крики, и отовсюду, разинув рот, стали сбегаться встревоженные люди.

Я был слишком взволнован этим новым событием, чтобы обращать внимание на публику.

Сначала я был так ошеломлен, что даже не понял, что произошло непоправимое несчастье,— ошеломлен, как человек, оглушенный внезапным ударом. Только потом начинает он испытывать боль от раны...

Какое несчастье!

У меня было ощущение, точно меня обдали кипятком. Колени подкосились. Я понял весь ужас того, что случилось. Этот проклятый мальчишка улетел в небеса. А я навсегда остался здесь. Золото в столовой — единственное мое богатство на Земле. Сколько это будет денег? Какое огромное, непоправимое несчастье!..

— Ну...— раздался сзади голос маленького толстяка.— Ну, уж знаете...

Вокруг собралось около двадцати или тридцати чело-

век, самозванных судей, которые буквально осадили меня и бомбардировали нелепыми вопросами. Я вертелся волчком, но все смотрели на меня подозрительно. Я не мог выдержать их презрительные взгляды.

— Не могу! — простонал я.— Говорю вам, что не могу. Я и сам не знаю! Думайте, что хотите, и черт с вами.

Я судорожно размахивал руками. Они отступили на шаг, как будто я угрожал им. Я стрелой промчался сквозь толпу, ворвался в столовую отеля и стал отчаянно звонить. Потом набросился на прибежавшего официанта.

— Послушайте, вы! — крикнул я. — Найдите помощника и немедленно перетащите эти брусья в мою комнату.

Он не понял меня, и я в бешенстве стал на него кричать. Тут появились какой-то перепуганный старичок в зеленом переднике и двое молодых людей в фланелевых костюмах. Я бросился к ним и заставил помочь мне. Как только золото перенесли в мою комнату, я почувствовал себя хозяином положения.

— А теперь убирайтесь вон! — крикнул я.— Вон, если не хотите видеть перед собой человека, сошедшего с ума!

Официант замешкался в дверях, я схватил его за плечи и вытолкал из комнаты. А затем запер дверь, сорвал с себя платье маленького толстяка, побросал его куда попало и кинулся на постель. Долго я лежал, задыхаясь от злобы, дрожа от холода и проклиная все на свете.

Наконец я несколько успокоился, встал и позвонил пучеглазому коридорному. Когда он явился, я потребовал фланелевую ночную рубашку, сода-виски и хороших сигар. И несколько раз в нетерпении хватался за звонок, прежде чем мне подали то, что я просил. После этого я снова запер дверь на замок и стал обдумывать свое положение.

Итак, наш великий эксперимент закончился крахом. Мы потерпели поражение, и теперь я один остался в живых. Крушение было полное, произошло непоправимое несчастье. Мне ничего больше не оставалось, как спасаться самому, насколько это возможно при такой катастрофе. От одного удара вдребезги разлетелись все планы возвращения на Луну и восстановления секрета кейворита. Мое решение вернуться, наполнить шар золотом, произвести затем анализ кейворита и заново открыть ве-

ликую тайну,— а может быть, и отыскать тело Кейвора — было теперь неосуществимо.

Я один остался в живых, и это было все.

Отдых в постели чудесно помог мне в моем критическом положении — это была блестящая мысль. В противном случае я либо повредился бы в уме, либо совершил какой-нибудь роковой, необдуманный поступок. Здесь же, в запертой комнате, наедине со своими мыслями я мог все обдумать и спокойно принять решение.

Мне было совершенно ясно, что случилось с мальчиком. Он, конечно, влез в шар, стал трогать кнопки, закрыл нечаянно кейворитные заслонки и улетел. Он, безусловно, не смог завинтить крышку люка, но если даже и сделал это, то за его возвращение был всего один шанс из тысячи. Очевидно, он вместе с тюками будет притянут к центру шара и останется там; тем самым он выйдет из сферы влияния земного мира, хотя, может быть, им заинтересуются обитатели какой-нибудь отдаленной части мирового пространства. В этом я был убежден. Что же касается моей ответственности в этом деле, то чем более я размышлял, тем яснее мне становилось, что, пока я буду молчать, мне нечего тревожиться. Если бы ко мне явились опечаленные родители с требованием возвратить им погибшего сына, я бы потребовал от них обратно мой шар или же с недоумением спросил, что они имеют в виду. Сначала мне все виделись плачущие родители, полицейские и прочие осложнения, но потом я понял, что надо только держать язык за зубами — и ничего не будет. И действительно, чем дольше я лежал, курил и думал, тем очевиднее становилась для меня мудрость политики молчания и непроницаемости.

Каждый британский гражданин имеет право — если только он не причиняет никому вреда и ведет себя пристойно — появляться без предупреждения где ему угодно в рваном и грязном платье и иметь при себе любой запас золота в слитках. Никто не смеет препятствовать ему или брать под стражу. Я наконец сформулировал это самому себе и повторял эту формулу как какую-то личную великую хартию, обеспечивающую мою свободу.

Придя к такому заключению, я принялся в этом свете рассматривать обстоятельства, о которых раньше и думать не смел, а именно — свое прежнее банкротство.

Теперь, спокойно поразмыслив на досуге, я пришел к выводу, что если временно скрыться под чужим именем и сохранить отросшую за два месяца бороду, то вряд ли я рискую подвергнуться атаке назойливого кредитора, о котором я уже упоминал. А затем начнем действовать разумно и планомерно. Все это, без сомнения, не очень-то красиво и даже мелко, но что мне оставалось делать?

Как бы то ни было, я решил действовать быстро и энергично и держать нос по ветру.

Я приказал принести письменные принадлежности и написал письмо в Нью-Ромнейский банк, самый ближайший, по указанию коридорного, в котором сообщал директору, что я хочу открыть у него текущий счет, и просил прислать двух доверенных лиц, снабженных соответствующими документами и каретой с хорошей лошадью, чтобы перевезти несколько сот фунтов золота. Я подписал письмо фамилией Блейк, которая показалась мне весьма почтенной. Затем я достал фолькстонскую адресную книгу, выписал оттуда адрес портного и попросил его послать ко мне закройщика снять мерку на суконный костюм; затем заказал чемодан, несессер, желтые ботинки, рубашки, шляпы и так далее; от часового мастера я выписал себе часы. Отослав письма, я заказал самый лучший завтрак, какой только можно было получить в гостинице. После завтрака я закурил сигару, сохраняя полное хладнокровие и спокойствие, и мирно отдыхал, пока, согласно моему распоряжению, из банка не явились два клерка, которые взвесили и забрали мое золото, после чего я, накрывшись одеялом с головой, улегся спать.

Улегся спать. Без сомнения, это слишком прозаическое занятие для первого человека, только что побывавшего на Луне, и, вероятно, молодой впечатлительный читатель найдет мое поведение предосудительным. Но я страшно устал и переволновался, и, черт побери, что мне оставалось делать? Все равно никто не поверил бы мне, если бы я вздумал рассказывать свою историю: это только привело бы к новым неприятностям. Я улегся спать. И, выспавшись, готов был смело встретить любые невзгоды, как делал всегда, с юных лет. Я отправился в Италию и здесь пишу эту историю. Если свет откажется поверить в ее правдивость, пусть считает, что это вымысел. Что мне за дело!

А теперь, когда я рассказал вам все, я спрашиваю себя: неужели наше приключение окончено и навсегда забыто? Все думают, что Кейвор был неудачливый и не весьма блестящий изобретатель, который во время своих опытов в Лимпне взорвал дом и себя самого; удар же от моего спуска в Литлстоуне считают результатом опытов с взрывчатыми веществами в одном правительственном учреждении в Лидде, в двух милях от курорта. Должен сознаться, что я не признал своего участия в исчезновении мастера Томми Симонса — так звался мальчишка. Это могло поставить меня в затруднительное положение. Мое появление на набережной Литлстоуна в изодранном костюме, с двумя брусками несомненного золота объясняют по-разному, но меня это мало интересует. Говорят, что я нарочно все так запутал, чтобы избежать расспросов о том, откуда я добыл золото. Хотел бы я видеть человека, который способен был бы изобрести рассказ более связный, чем мой. Они принимают это за вымысел — ну и пусть!

Я рассказал свою историю и думаю, что мне пора вернуться к земным делам. Даже тому, кто побывал на Луне, все же нужно добывать средства к существованию. Поэтому-то здесь, в Амальфи, я снова взялся за сценарий той самой драмы, которую писал до моей встречи с Кейвором, и пытаюсь ввести свою жизнь в прежнее русло. Должен признаться, что, когда в комнату падает лунный свет, мне трудно сосредоточиться на моей пьесе. Сейчас полнолуние, и прошлой ночью я долго стоял на балконе и глядел на сияющую бездну, в которой скрыто столько тайн. Представьте только! Столы и стулья, рамы и брусья из чистого золота! Черт побери! Если бы только снова наткнуться на этот кейворит! Но такое не случается в жизни дважды. Здесь мне живется немного лучше, чем в Лимпне,— только и всего. А Кейвор совершил самоубийство таким утонченным способом, к какому не прибегал еще ни один человек. Так кончается эта история, похожая на сон. Она плохо вяжется с нашей жизнью, с обычными представлениями — взять хотя бы эти прыжки, еду, дыхание, невесомость,— и действительно бывают минуты, когда, несмотря на золото с Луны, я готов поверить, что все это было только сном...

ГЛАВА XXII

НЕВЕРОЯТНОЕ СООБЩЕНИЕ МИСТЕРА ЮЛИУСА ВЕНДИДЖИ

Когда я кончил свой рассказ о возвращении на Землю, в Литлстоуне, я написал: «Конец», подвел черту и отложил перо, вполне уверенный, что вся история о первых людях на Луне закончена. На этом я не остановился, но передал свою рукопись в руки литературного агента, позволил ему продать ее, видел, как большая часть ее появилась в «Стренд мэгэзин», и сел за работу над начатой в Лимпне пьесой, как вдруг оказалось, что это еще не конец. Следуя за мной из Амальфи в Алжир, меня догнало (с тех пор прошло уже почти шесть месяцев) одно из самых невероятных сообщений, какие я когда-либо получал. Меня известили, что мистер Юлиус Вендиджи, голландский электрик, который в надежде открыть способ сообщения с Марсом производил опыты при помощи аппарата, вроде употребляемого мистером Тесла в Америке, день за днем получал странные отрывочные послания на английском языке, бесспорно, исходившие от мистера Кейвора на Луне.

Сначала я принял это за шутку какого-нибудь досужего читателя моей рукописи. Я написал мистеру Вендиджи в шутливом тоне, но он ответил так, что все мои подозрения рассеялись, и я, взволнованный, поспешил из Алжира в маленькую обсерваторию в Сент-Готарде, где он работал. После его рассказа и его опытов и в особенности после того, как он при мне получил послание мистера Кейвора, я уже не сомневался более. Я сразу решил принять его предложение остаться при обсерватории, чтобы помочь ему в приеме ежедневных сообщений с Луны и постараться вместе с ним послать наш ответ на Луну. Оказалось, Кейвор был не только жив, но и находился на свободе в поразительном государстве этих людей-муравьев, в голубоватом сумраке лунных пещер. Он стал немного прихрамывать, но, в общем, был совершенно здоров, более здоров, по его словам, чем раньше, на Земле. Он перенес лихорадку, но она не оставила никаких последствий. Любопыт-

но, что он был убежден, что я либо замерз в лунном кратере, либо погиб в межпланетном пространстве.

Мистер Вендиджи стал получать сигналы Кейвора в то время, когда был занят совершенно другими исследованиями. Читатель, конечно, помнит, какой интерес в начале нового столетия вызвало заявление мистера Никола Тесла, знаменитого американского электрика, о том, что он получил послание с Марса. Его заявление обратило внимание на давно известный всему ученому миру факт, что из какого-то неизвестного источника в мировом пространстве до Земли постоянно доходят электромагнитные волны, подобные волнам, употребляемым синьором Маркони в беспроволочном телеграфе. Кроме мистера Тесла, значительное число других изобретателей занялось усовершенствованием аппарата для приема и записи этих колебаний, хотя очень немногие зашли так далеко, чтобы признать их сигналами, идущими от передатчика, находящегося вне Земли. Однако к этим немногим мы должны причислить и мистера Вендиджи. С 1898 года он почти всецело посвятил себя этому предмету и, располагая большими средствами, построил на склонах Монте-Розы обсерваторию, приспособленную во всех отношениях для таких наблюдений.

Должен признаться, мои научные познания невелики, но, насколько они дают мне право судить, придуманные мистером Вендиджи способы приема и передачи электромагнитных возмущений в мировом пространстве очень оригинальны и остроумны. Благодаря счастливому стечению обстоятельств аппарат этот был пущен в ход месяца за два до того, как Кейвор сделал первую попытку связаться с Землей. Таким образом, мы с самого начала получили целый ряд его сообщений. К несчастью, однако, это только обрывки, а самые важные открытия, которые он мог бы сообщить человечеству,— инструкции относительно изготовления кейворита, если только он сообщил об этом,— пропали в мировом пространстве. Нам так и не удалось ответить Кейвору. Поэтому он не знает, что мы приняли из его сообщений, не знает вообще, что нам известно о его усилиях войти в сношения с Землей. А его настойчивость — он отправил восемнадцать подробных описаний лунной жизни, но, к сожалению, мы их целиком не получили — свиде-

тельствует, что он не утратил интереса к родной планете и после двухгодичного пребывания на Луне.

Можете представить, как удивился мистер Вендиджи, когда его приемный аппарат для электромагнитных волн отметил английскую речь Кейвора. Мистер Вендиджи ничего не знал о нашем безумном путешествии на Луну — и вдруг сообщение на английском языке из межпланетного пространства!

Читатель хорошо поймет, при каких условиях отправлялись эти послания. Где-нибудь на Луне Кейвору удалось, очевидно, получить доступ к электрической аппаратуре, и он секретно установил передатчик типа Маркони. Он имел возможность использовать свой прибор через неравные промежутки времени, иногда в течение получаса или около того, иногда же в течение трех или четырех часов в один прием. Он передавал свои послания на Землю, не принимая во внимание тот факт, что относительное положение Луны и земной поверхности постоянно изменяется. Вследствие этого обстоятельства, а также несовершенства наших приемников сообщения получались очень отрывочными, иногда вовсе неразборчивыми; они неожиданно затухали, и мы с досадой часто тщетно ломали над ними голову. К тому же Кейвор не был специалистом в этом деле: то ли он позабыл, то ли не знал общеупотребительного кода и поэтому, в особенности когда утомлялся, путал слова и ошибался самым курьезным образом.

В общем, мы, по всей вероятности, потеряли добрую половину его сообщений, а многие дошли до нас в отрывочном, искаженном виде. Поэтому в кратком рассказе, который следует за этой главой, читатель встретит пробелы и недомолвки. Мы с мистером Вендиджи работаем сейчас над полным комментированным изданием отчета Кейвора, который надеемся опубликовать вместе с подробным описанием аппаратуры; первый том издания выйдет в январе следующего года. Это будет полный научный отчет, настоящий же мой рассказ — только популярное изложение. Но в этом изложении дается необходимое дополнение к рассказанной мной истории и в общих чертах изображается устройство другого мира, столь близкого и родственного нам и, однако, столь непохожего на нашу Землю.

ГЛАВА XXIII

КРАТКИЙ ОБЗОР ШЕСТИ ПЕРВЫХ СООБЩЕНИЙ МИСТЕРА КЕЙВОРА

Первые два сообщения мистера Кейвора лучше оставить для большего тома. В них просто излагаются очень кратко, с некоторыми спорными второстепенными подробностями факты постройки шара и нашего отлета с Земли. Кейвор всюду говорит обо мне, как об умершем, но характер рассказа меняется, как только речь заходит о нашем прибытии на Луну. Он называет меня «бедным Бедфордом», «этим бедным молодым человеком» и порицает себя за то, что привлек к делу молодого человека, совсем не приспособленного к такому путешествию, и побудил его покинуть планету, «где его, несомненно, ожидал успех», ради такого рискованного предприятия. На мой взгляд, он недооценивает ту роль, которую благодаря своей энергии и практическим способностям я сыграл в реализации идеи его шара. «Мы прибыли»,— говорит он, не вдаваясь в описание нашего перелета через межпланетное пространство, точно речь идет о самом обычном путешествии по железной дороге.

А затем он становится очень пристрастен ко мне, даже несправедлив. Настолько несправедлив, что этого я просто не ожидал от человека, которого учили доискиваться истины. Перелистывая мои собственные записки о наших приключениях, я убедился, что проявил большую беспристрастность к Кейвору. Я ничего не скрывал и редко что-либо подчеркивал.

А вот что сообщил Кейвор:

«Вскоре обнаружилось, что чрезвычайная странность окружающей обстановки и явлений: большое уменьшение веса, насыщенность воздуха кислородом и его разреженность, происходивший от этого огромный эффект наших мускульных усилий, быстрое и волшебное развитие растительности из незаметных зародышей, темный цвет неба — весьма нервировала моего спутника. На Луне его характер испортился. Он стал импульсивным, вспыльчивым и строптивым. Скоро он объелся гигантскими пузырчатыми растениями, и последовавшее за этим опьянение привело к тому, что мы попали в плен к селе-

нитам, не успев ознакомиться с их жизнью...» (Как вы видите, он ничего не говорит о том, что сам тоже объелся этими «пузырчатыми растениями»).

Дальше он рассказывает, что «между нами и селенитами произошло столкновение и Бедфорд, не поняв некоторых их жестов,— вот так жесты! — в панике прибегнул к насилию. Он с бешенством набросился на них и убил троих; после этого мне пришлось бежать вместе с ним. В результате мы выдержали сражение с большой толпой селенитов, пытавшихся преградить нам путь, и при этом убили еще семерых или восьмерых. О терпимости этих существ более чем достаточно свидетельствует тот факт, что они не убили меня, взяв вторично в плен. Мы пробились на поверхность Луны и разошлись в разные стороны в том же кратере, где высадились, чтобы скорее найти шар. Но тут я наткнулся на отряд селенитов, предводительствуемый двумя; по внешности они совершенно не походили на тех, которых мы видели до сих пор; у них были большие головы и маленькие тела, и одеты они были более тщательно, чем остальные. В течение некоторого времени мне удавалось избегать встречи с ними, потом я упал в расщелину, разбил голову, повредил коленную чашку и, почувствовав, что я не могу ползти, решил, если возможно, сдаться. Они, заметив мое беспомощное положение, потащили меня с собой внутрь Луны. О Бедфорде я ничего больше не слышал и никаких следов его не обнаружил; кажется, не видели его и селениты. Одно из двух: либо его застигла ночь в кратере, либо — что более вероятно — он нашел шар и, желая опередить меня, улетел в нем. Боюсь, что, не умея управлять шаром, он погиб медленной смертью в межпланетном пространстве».

Больше Кейвор обо мне не упоминает и переходит к более интересным темам. Мне не хотелось бы, чтобы подумали, будто я пользуюсь своим положением издателя для того, чтобы выставить себя в благоприятном свете, но я не могу не протестовать против неправильного освещения событий Кейвором. Он ничего не говорит о своем отчаянном послании на запачканной кровью бумаге, в котором сообщал совершенно другую историю. Добровольная сдача — это совершенно новая версия, которая, несомненно, пришла ему в голову потом, когда он

почувствовал себя в безопасности среди лунных обитателей. Что же касается моего намерения «опередить» его, то я предоставляю читателю решить вопрос, кто из нас прав. Я знаю, что я не идеальный человек, и не претендую на это. Но разве я таков, каким он меня изобразил?

Таковы мои возражения. Дальше я могу излагать сообщения Кейвора без всяких комментариев, так как он нигде больше не упоминает обо мне.

По-видимому, настигнувшие его селениты утащили его в глубь «большой шахты» при помощи приспособления, которое он называет «разновидностью воздушного шара». По его чрезвычайно путаному рассказу и многим случайным намекам и указаниям в последующих сообщениях можно догадаться, что «большая шахта» является частью колоссальной системы искусственных шахт, которые, начинаясь с так называемых лунных «кратеров», спускаются на глубину ста миль и более по направлению к центру Луны. Эти шахты сообщаются посредством поперечных тоннелей. Они разветвляются, образуя глубокие впадины, и расширяются в большие шарообразные пещеры. На сотни миль вглубь Луна похожа на скалистую губку. Такое губчатое строение естественно, говорит Кейвор, но в значительной степени это результат работы поколений селенитов. Огромные круглые насыпи из обломков породы образуют вокруг тоннелей большие кольца; их-то и принимают за вулканы земные астрономы, введенные в заблуждение ложной аналогией.

В такую шахту селениты спустили Кейвора при помощи своего «воздушного шара», и он погрузился сначала в чернильный мрак, а затем в полосу все усиливающегося свечения. Послания Кейвора свидетельствуют о том, что для ученого он был удивительно невнимателен к подробностям, но мы догадываемся, что этот свет обязан своим происхождением потокам и каскадам воды, «без сомнения, содержащей в себе фосфоресцирующие организмы». Вода стекала к Центральному Морю. Когда же спустились вниз, то, как говорит он, «селениты также начали светиться»... И, наконец, далеко внизу он увидел нечто вроде озера из холодного огня — воды Центрального Моря, сиявшего и клокотавшего, «подобно закипающему светящемуся голубому молоку».

«Это лунное море,— говорит Кейвор в одном из последних сообщений,— не находится в покое: солнечное притяжение непрерывным потоком гонит его вокруг лунной оси; над ним проносятся странные бури, и тогда воды его кипят и бурлят, а по временам веют холодные ветры и слышны раскаты грома, которые отдаются вверху, в тоннелях огромного муравейника. Только тогда, когда вода находится в движении, она излучает свет, в редкие же периоды покоя вода темная. Если смотреть на море, то его воды подымаются и падают маслянистой зыбью и на гребнях тяжелых, слабо светящихся волн качаются хлопья и большие полосы сияющей пузырчатой пены. Селениты плавают по пещерным тоннелям и лагунам на маленьких плоскодонных лодках, похожих на выдолбленные челноки; и еще до путешествия к галереям вокруг обиталища Великого Лунария, властителя Луны, мне позволено было совершить небольшую экскурсию по водам моря.

Пещеры и галереи очень извилисты. Значительная часть этих путей известна только опытным морякам среди рыбаков, и нередко селениты теряют дорогу в лабиринтах и погибают. Там водятся, как мне рассказывали, странные существа, хищные и опасные твари, которых не в силах была уничтожить наука Луны. Особенно страшна рафа, спутанная масса хватательных щупалец,— они вновь отрастают и множатся при отсечении,— а также тзи — колючее животное; его невозможно увидеть: так тихо и внезапно оно нападает...»

Кейвор дает и кое-какие описания:

«Эта экскурсия напомнила мне о Мамонтовых пещерах, о которых я читал когда-то; если бы у меня был желтый факел, а не голубой свет и вместо надежного лодочника с веслом на корме у машины не стоял бы селенит с лицом каракатицы, я мог подумать, что внезапно вернулся на Землю. Окружавшие нас скалы были очень разнообразны: порой черные, порой бледно-голубые, они были изрезаны прожилками, а однажды заблестели и засверкали так, будто мы вошли в сапфировый грот. Бледные фосфоресцирующие рыбы поблескивали и исчезали в такой же светящейся глубине. Затем показалась длинная ультрамариновая аллея, идущая вдоль одного из внутренних каналов, и пристань. Иногда мелька-

ла гигантская, кишащая селенитами шахта какого-нибудь вертикального ствола.

В одной обширной пещере, изобиловавшей сверкавшими сталактитами, множество людей было занято рыбной ловлей. Мы проплыли мимо одной лодки и видели длинноруких рыбаков-селенитов, вытягивавших сети. Это были низкорослые, горбатые насекомые с очень сильными руками, короткими кривыми ногами и морщинистыми масками вместо лиц. Когда я глядел, как они тянули сеть, она показалась мне самым тяжелым предметом на Луне. К ней привязаны были грузила — без сомнения, из золота,— и вытягивали ее очень долго, так как в этих водах прячутся в глубине самые крупные съедобные рыбы. Рыба в сетях блестела голубым полумесяцем, голубой светящейся струей.

Среди добычи попалось какое-то хищное верткое черное животное, с многочисленными щупальцами и злыми глазами; появление его вызвало страшный визг и писк. Селениты торопливо разрубили его на части своими маленькими топориками, но отрубленные щупальца продолжали омерзительно извиваться и прыгать. Впоследствии в лихорадке я все бредил этим яростным чудовищем, с такой силой и стремительностью вырвавшимся из глубин неведомого моря. Это было самое деятельное и злое из всех живых существ, которых мне пришлось встретить внутри Луны...

Поверхность этого моря была миль на двести ниже поверхности Луны. Все города Луны расположены, как я узнал, над этим Центральным Морем в пещерах и искусственных галереях и сообщаются с внешним миром гигантскими вертикальными шахтами, выходы которых образуют «кратеры», как их называют земные астрономы. Крышку, покрывающую подобное отверстие, я видел во время скитаний по поверхности Луны еще до моего плена.

О других частях Луны я до сих пор знаю мало. Там имеется колоссальная система пещер, где в течение ночи находят убежище лунные стада; там же расположены бойни и тому подобное. В одной из этих пещер мы с Бедфордом выдержали сражение с селенитами-мясниками; и мне не раз потом приходилось видеть нагруженные мясом воздушные шары, спускавшиеся из мра-

ка. Но обо всем этом я до сих пор знаю не больше, чем очутившийся в Лондоне зулус — о британских запасах хлеба. Однако ясно, что эти вертикальные шахты и растительность на лунной поверхности должны играть существенную роль в вентилировании и обновлении лунной атмосферы. Однажды после моего освобождения в шахте сверху вниз начал дуть холодный ветер, затем такой же ветер, но только теплый, вроде сирокко, подул снизу вверх и, очевидно, вызвал у меня лихорадку. Ибо недели через три я заболел какой-то лихорадкой, и, несмотря на сон и хинные таблетки, которые я, к счастью, захватил с собой, болезнь тянулась долго, и меня бил озноб почти до того времени, когда меня повезли к Великому Лунарию, властителю Луны.

Не стану распространяться о моем горестном положении в дни болезни,— прибавляет он. И тут же подробно сообщает разные мелочи, которые я опускаю. «В течение долгого времени,— говорит он в заключение,— у меня была чрезвычайно высокая температура и полная потеря аппетита. Длинные промежутки бодрствования сменялись сном с мучительными кошмарами. Однажды я так ослаб и так тосковал по Земле, что был просто в истерике. Я жаждал ярких красок, чтобы забыть проклятый вездесущий голубой свет...»

Затем он снова рассказывает о лунной атмосфере. Астрономы и физики говорили мне, что сообщения Кейвора точно соответствуют тому, что нам известно о Луне. «Если бы у земных астрономов хватило мужества и воображения сделать смелый вывод,— говорил мистер Вендиджи,— то они предсказали бы почти все, что узнал Кейвор о структуре Луны. Почти наверняка известно, что Луна скорее сестра, чем спутник Земли, и состоит, в сущности, из той же материи. И так как плотность Луны составляет лишь три пятых плотности Земли, то вполне вероятно, что Луна изрыта сложной системой ходов». «Не было никакой необходимости,— сказал также сэр Джебес Флэп, наиболее талантливый популяризатор звездных миров,— отправляться на Луну для того, чтобы открыть то, что давно всем известно». Кейвор шутливо намекает на грюйерский сыр, но, конечно, ему следовало бы раньше объявить, что Луна — полое тело. И если Луна полая, то в таком случае

кажущееся отсутствие воздуха и воды легко объяснимо. Море расположено внутри, на дне кратеров, а воздух просачивается сквозь огромную губку галерей согласно простым физическим законам. В кратерах большая тяга. Солнце, обходя Луну, нагревает воздух во внешних галереях, его давление увеличивается, некоторая часть воздуха вытекает наружу и смешивается с испаряющимся воздухом кратеров (причем растения удаляют из него углекислоту); между тем как большая часть воздуха просачивается внутрь галерей, заменяя воздух, замерзающий на охладившейся части. Поэтому на Луне существует постоянное воздушное течение с запада на восток в наружных галереях и течение снизу вверх в шахтах во время лунного дня, чрезвычайно усложненное, конечно, неодинаковыми формами галерей и остроумными изобретениями селенитов...

ГЛАВА XXIV

ЕСТЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ СЕЛЕНИТОВ

Послания Кейвора, начиная с шестого и кончая шестнадцатым, большей частью так отрывисты и так переполнены повторениями, что из них трудно составить последовательный рассказ. Конечно, они будут целиком даны в научном отчете, а здесь можно ограничиться извлечениями и ссылками так же, как и в предыдущей главе. Мы подвергли каждое слово самой строгой критике, и мои собственные краткие воспоминания и впечатления помогли разобраться в том, что в противном случае осталось бы совершенно непонятным. Естественно, что нас, людей, интересовало больше странное общество лунных насекомых, среди которых жил, хотя бы и в качестве почетного гостя, человек, чем физические условия их мира.

Я уже, кажется, говорил, что селениты, которых я видел, похожи были на человека положением тела и четырьмя конечностями, но строение головы и этих конечностей напоминало насекомых. Я, кроме того, упомянул, что вследствие сравнительно небольшой силы тяготения на Луне тела их хрупки и мягки. Все это подтверждает и Кейвор. Он называет их «животными», хотя, конеч-

но, они не подходят ни под одно подразделение в классификации земных существ, и указывает, что «насекомые на Земле, к счастью для человека, никогда не бывают большими». Самые крупные земные насекомые, живые или вымершие, не достигают и шести дюймов в длину, «но здесь, на Луне, при меньшей силе тяготения существа, средние между насекомыми и позвоночными, могли, по-видимому, достигнуть человеческих и сверхчеловеческих размеров».

Кейвор не упоминает о муравьях, но при всех его описаниях я все время вижу перед собой муравья, неутомимо деятельного, одаренного умственными способностями и социальными инстинктами; кроме двух полов, мужского и женского, как почти у всех других существ, у муравьев есть бесполые — рабочие, солдаты, отличающиеся друг от друга структурой, сложением, силой и назначением, и тем не менее все это представители одного и того же вида. Селениты также отличаются большим разнообразием форм. Конечно, они не только значительно превосходят муравьев ростом, но даже, по мнению Кейвора, по своему уму, нравственности и социальной мудрости стоят гораздо выше людей. У муравьев четыре или пять разных форм, у селенитов же их очень много. Я говорил уже об этом. Селениты, которых я видел, сильно отличались друг от друга; но различия у них в росте и пропорциях тела были не больше, чем среди человеческих рас. Однако то, что наблюдал я, не идет ни в какое сравнение с тем множеством форм и разновидностей, о которых говорит Кейвор. По-видимому, селениты далеких окраин, те, кого я видел, почти одних профессий — это пастухи, мясники и так далее Но внутри Луны, чего я тогда не знал, есть другой тип селенитов, отличающийся от первых ростом, соотношением частей тела, силой и наружностью; тем не менее они все принадлежат к одному виду и, несмотря на различия, сходны по родовым признакам. Луна является как бы огромным муравейником, но, вместо четырех или пяти типов муравьев, там имеется несколько сот разновидностей селенитов с промежуточными, переходными формами.

Кажется, Кейвор заметил это очень скоро. Из его рассказов я заключаю, что он был пойман пастухами

лунных стад по приказу других селенитов, тех, у которых «более широкие головы и более короткие ноги». Поняв, что он откажется последовать за ними даже под копьями, они перенесли его по узкому, как доска, мостику, вроде того, на который я отказался ступить, и спустили его вниз, в область мрака, на чем-то, что сначала показалось ему похожим на лифт. Но это оказался воздушный шар, который, конечно, был невидим в темноте. Очевидно, то, что я принял за перекидной мостик в пустоту, в действительности было переходом к шару. Кейвор спустился вниз, в более освещенные пещеры. Сначала спускались в тишине, если не считать писка селенитов, а потом среди гама и гула.

Освоившись с чернильной темнотой, Кейвор стал понемногу различать окружающие предметы.

«Представьте себе огромное цилиндрическое пространство,— говорит Кейвор в своем седьмом послании,— с четверть мили в диаметре, сначала очень тускло освещенное, а потом все ярче и ярче; по обеим сторонам спиралью уходили вниз, в голубую, светящуюся пустоту, две большие платформы. Представьте себе колодец с самой огромной винтовой лестницей или самую глубокую шахту лифта, в которую вам когда-либо приходилось заглянуть, и все это увеличенное в сто раз, рассматриваемое в сумерках сквозь голубое стекло. Представьте себе, что вы смотрите вниз, чувствуете необычайную легкость в теле и не испытываете головокружения, как на Земле,— и вы поймете мое первое впечатление. Вообразите вокруг шахты широкую спиральную галерею, такую крутую, что подъем по ней на Земле был бы невозможен, с низенькими перилами на краю бездны, исчезающими где-то вдали, на расстоянии нескольких миль от начала.

Когда я взглянул вверх, то увидел почти то же самое, точно я глядел в высокий конус. Сверху в шахту дул ветер. С поверхности Луны все слабее и слабее доносилось мычание лунных коров, которых загоняли с их дневных пастбищ. А вверху и внизу по винтовым галереям рассеяны были многочисленные лунные обитатели — бледные, светящиеся существа; одни разглядывали нас, другие были заняты какими-то делами.

Либо мне пригрезилось, либо на самом деле вместе

с ледяным ветром упала снежинка. А затем, подобно такой же снежинке, промелькнула к центральным частям Луны какая-то фигурка — маленькое человекообразное насекомое на парашюте.

Сидевший возле меня большеголовый селенит, видя, что я двигаю головой, точно вижу что-то, протянул вперед свою руку-клешню и указал на видневшийся далеко внизу выступ — небольшую площадку, висевшую в пустоте. Она скользила вверх к нам, скорость спуска быстро уменьшилась, через несколько мгновений мы поравнялись с ней и остановились. Брошенный с шара канат был подхвачен и закреплен, и я очутился внизу, на площадке, среди большой толпы селенитов, проталкивавшихся вперед, чтобы увидеть меня.

Это была неописуемая толпа. Я поразился, как разнообразны типы обитателей Луны!

Казалось, что в этой суетящейся толпе нельзя найти двух сходных меж собой существ. Они различались по форме, по размерам и представляли самые устрашающие вариации общего типа селенитов. Некоторые были как громадные пузыри, другие сновали под ногами у своих братьев. Все они казались каким-то гротеском, уродливой карикатурой на людей. У каждого что-нибудь было гипертрофировано до уродства: у одного—большая передняя конечность, похожая на огромную муравьиную лапу; у другого ноги, точно ходули; у третьего — вытянутый хоботом нос, что делало его до отвращения похожим на человека, если бы не зияющая дыра на месте рта. Форма головы пастухов лунных стад, насекомоподобная (хотя без челюстей и усиков), тоже была очень различна: то широкая и низкая, то узкая и высокая, то на кожистом лбу выдавались рога или другие странные придатки, то раздвоенная, с какими-то бакенбардами, с человеческим профилем. В особенности бросалось в глаза уродливое строение черепов. У некоторых черепа были огромные, напоминающие волдыри, с крошечным подобием лица. Попадались изумительные экземпляры с микроскопическими головками и пузырчатыми телами; фантастические комки студенистой массы, из которой тянулись трубообразные расширяющиеся отростки, похожие на шеи без головы. Мне показалось очень странным, что двое или трое из этих фантастических обитателей под-

земного мира — мира, защищенного огромными горными пластами от действия Солнца или дождя, держали в своих щупальцах-руках зонтики — настоящие, почти земные зонтики. Потом я вспомнил парашютиста, которого видел в шахте.

«Эти лунные жители вели себя так же, как человеческая толпа: они толкались и лезли вперед, даже карабкались друг на друга, чтобы взглянуть на меня. С каждой минутой число их увеличивалось, и они все энергичней напирали на диски моих стражей (Кейвор не объясняет, что он подразумевает под словом «диски»); новые и новые чудовищные призраки то и дело выплывали из мрака. Вскоре меня посадили на носилки, и сильные носильщики на плечах понесли меня в полумраке сквозь толпу, к отведенным мне на Луне апартаментам. Вокруг мелькали глаза, лица, маски, слышалось шуршание кожи, похожее на шелест крыльев жука, блеяние и напоминавшее треск кузнечиков щебетание селенитов...»

По-видимому, Кейвора заперли «в шестиугольной пещере», где он оставался в течение некоторого времени. Впоследствии ему предоставили большую свободу — почти такую же, какой пользуются люди в цивилизованном городе на Земле. Наверное, таинственный правитель и властелин Луны назначил двух селенитов «с широкими головами» для того, чтобы охранять и изучать Кейвора и попытаться заговорить с ним. Невероятно, но эти фантастические насекомые, эти существа другого мира вскоре стали сообщаться с Кейвором при помощи человеческой речи.

Кейвор называет их именами Фи-у и Тзи-пафф. Фи-у был около пяти футов ростом, с маленькими, тонкими ножками в восемнадцать дюймов длиной и небольшими ступнями, как у всех селенитов. На этих ножках покоилось маленькое тело, трепетавшее при каждом ударе сердца. У него были длинные, мягкие, многосуставные руки, со щупальцами на концах, а шея состояла, как и у всех селенитов, из нескольких суставов, но была очень короткая и толстая.

«Его голова, — говорит Кейвор, очевидно, намекая на какое-то предыдущее описание, не дошедшее до нас, затерявшееся в космосе, — обычного лунного типа, но странно видоизмененная. Зияющий рот необыкновенно

мал и расположен чрезвычайно низко, лицевая маска состоит почти из одного широкого плоского носа-пятачка. С каждой стороны по маленькому глазу.

Голова в целом представляет собой огромный шар, но вместо шероховатого кожистого покрова, как у пастухов лунных стад, на голове его тонкая мембрана, через которую можно наблюдать все движения пульсирующего мозга. Это — существо с уродливо гипертрофированным мозгом на теле карлика».

В другом месте Кейвор находит, что сзади Фи-у напоминает Атланта, поддерживающего мир.

Тзи-пафф, по-видимому, очень походил на Фи-у, но у него было длинное «лицо», а гипертрофированный мозг придал голове не круглую, а грушеобразную форму, узким концом вниз. К услугам Кейвора были и носильщики — кривобокие существа с огромными плечами, паукообразные привратники и скрюченный прислужник.

Метод, которым Фи-у и Тзи-пафф приступили к разрешению проблемы языка, был очень прост. Они вошли в «шестиугольную клетку» к Кейвору и начали подражать каждому его звуку, даже кашлю. Он, по-видимому, очень быстро понял, чего они хотят, и начал повторять слова, называя предметы и указывая на них рукой. Вероятно, процедура была довольно однообразна. Фи-у слушал, а потом, в свою очередь, указывал на предмет и повторял слышанное слово.

Первое слово, которым он овладел, было слово «мен» — человек, второе «муни» — лунянин, которое Кейвор употребил вместо слова «селенит» для обозначения лунной расы. Уловив нужное слово, Фи-у повторял его Тзи-пафф, который запоминал без ошибки. В первый же урок они заучили сотню английских имен существительных.

Затем они, по-видимому, привели с собой художника, и тот помогал им рисунками и диаграммами, ибо рисунки Кейвора казались весьма несовершенными. «Это было,— говорит Кейвор,— существо с очень подвижной рукой и строгим взглядом, и рисовал он с невероятной быстротой».

Из одиннадцатого сообщения мы явно уловили только отрывок. После нескольких обрывков фраз, разо-

брать которые не представлялось возможным, шло следующее:

«Но подробное изложение наших бесед заинтересовало бы только лингвистов и заняло бы слишком много времени. Кроме того, мне наверняка не удалось бы описать все те способы и ухищрения, к которым мы прибегали, чтобы понять друг друга. Вскоре мы перешли к глаголам — по крайней мере к тем, которые я мог выразить рисунками; некоторые прилагательные тоже оказались легкими для понимания, но зато когда мы дошли до абстрактных имен существительных, предлогов и тех обычных оборотов речи, при помощи которых столь многое выражается на Земле, я почувствовал себя так, точно пытался нырять в пробковом костюме. Эти трудности казались непреодолимыми, пока наконец на шестой урок не явился четвертый помощник — существо с огромной, похожей на футбольный мяч головой, мозг которого явно был приспособлен распутывать сложные аналогии. Он вошел с видом рассеянного человека и споткнулся о стул. В случае затруднения Фи-у и Тзи-пафф прибегали к самым странным приемам, чтобы привлечь внимание этого эксперта: они кричали, били его, кололи, пока наконец вопрос не доходил до его сознания. Но зато потом он соображал удивительно быстро. Когда являлась необходимость в мышлении, превосходящем недюжинный разум Фи-у, селениты прибегали к помощи своего длинноголового собрата, а тот неизменно передавал свое заключение Тзи-пафф с тем, чтобы последний сохранил его в своей памяти, которая казалась необъятным складом всяческих фактов. Так мы подвигались вперед.

Мне казалось, что прошло много времени, на самом же деле всего несколько дней, пока я начал объясняться с этими лунными насекомыми. Конечно, вначале это было невероятно скучное и надоедливое собеседование, но мало-помалу мы стали понимать друг друга. Я научился быть терпеливым. Беседу всегда ведет Фи-у. В разговоре он часто издает звук вроде «гм-гм» и пересыпает свою речь фразами вроде «так сказать» и «разумеется».

Вот вам образчик его беседы. Представьте, что он характеризует четвертого помощника — художника:

— Гм-гм! Он, так сказать, рисовать. Пить мало, есть мало — рисовать. Любить рисовать. Больше ничего. Ненавидеть всех, кто не рисовать. Сердиться. Ненавидеть всех, кто рисовать лучше. Ненавидеть всех. Ненавидеть тех, кто не думать, весь мир для рисовать... Сердиться. Гм. Все ничего не значит... только рисовать... Ты нравится ему, разумеется. Новая вещь рисовать. Урод — странно. Да?

— Он,— в сторону Тэи-пафф,— любить запоминать слова. Запоминать очень больше других. Думать нет, рисовать нет,— запоминать. Сказать... (Тут он обратился к помощи своего талантливого помощника, не находя нужного слова.) Истории, все. Раз слышать — всегда сказать.

Все это превосходило мои самые дерзкие мечты: слышать, как в ночном мраке необычайные существа — к их нечеловеческому образу невозможно привыкнуть даже при постоянном общении с ними — беспрестанно насвистывают какое-то подобие человеческой речи, задают мне вопросы, отвечают. Я точно попадаю в свое далекое детство, в басню, где муравей и кузнечик разговаривают между собой, а пчела их судит».

По мере успеха этих лингвистических упражнений положение Кейвора, видимо, улучшилось.

«Первые страхи и недоверие, вызванные нашей злосчастной дракой,— рассказывает он,— постепенно проходят, они стали считать меня разумным существом... Теперь я могу уходить и приходить, когда мне угодно, меня ограничивают, лишь желая мне добра. Таким образом, мне удалось получить доступ к этому аппарату, а потом благодаря одной счастливой находке в колоссальной пещере-складе послать на Землю свои сообщения. До сих пор не было сделано ни малейшей попытки помешать мне в этом, хотя я сказал Фи-у, что сигнализирую Земле.

— Ты говорить другим? — спросил он, наблюдая за моими действиями.

— Да, другим,— подтвердил я.

— Другим,— повторил он.— О да. Людям?

И я продолжал посылать свои сообщения».

Кейвор беспрерывно дополнял свои прежние рассказы о селенитах, как только прибавлялись новые факты, исправлявшие его прежние выводы, и потому нижеследующие цитаты даны с известной осторожностью. Они извлечены из девятого, тринадцатого и шестнадцатого посланий и, несмотря на неопределенность и отрывистость, дают настолько полную картину социальной жизни этих странных существ, что вряд ли человечество может надеяться получить более точные сведения в течение еще многих поколений.

«На Луне,— сообщает Кейвор,— каждый гражданин знает свое место. Он рожден для этого места и благодаря искусной тренировке, воспитанию и соответствующим операциям в конце концов так хорошо приспосабливается к нему, что у него нет ни мыслей, ни органов для чего-либо другого. «Для чего ему другое?»—спросил бы Фи-у. Если, например, селенит предназначен стать математиком, то его с рождения ведут к этой цели. В нем подавляют всякую зарождающуюся склонность к другим наукам и развивают математические способности его мозга с необыкновенным искусством и умением; его мозг развивается только и исключительно в этом направлении, все же остальное культивируется лишь постольку, поскольку это необходимо для главного. В результате, если не считать отдыха и еды, вся его жизнь и радость состоят в применении и развитии своей исключительной способности. Он интересуется только ее практическим использованием, его единственное общество— товарищи по специальности. Его мозг непрерывно растет — по крайней мере те его части, которые нужны для математики; они все больше и больше набухают и как бы высасывают все жизненные соки и силу из остальных частей организма. Члены такого селенита съеживаются, его сердце и пищеварительные органы уменьшаются, его насекомообразное лицо скрывается под набухшим мозгом. Его голос выкрикивает одни математические формулы, он глух ко всему, кроме математических задач. Способность смеяться, за исключением случаев внезапного открытия какого-нибудь математического парадокса, им совершенно утеряна. Самые глубокие эмоции, на какие он способен, может вызвать в нем

лишь новая математическая комбинация. И так он достигает своей цели.

Другой пример: селенит, предназначенный для деятельности пастуха, с самых ранних лет приучается жить лишь мыслями о лунных коровах, находить радость в уходе за ними, посвящать им всю свою жизнь. Его тренируют таким образом, чтобы сделать его ловким и подвижным; его глаза способны видеть лишь шкуру да неуклюжие очертания животных; это и делает его идеальным пастухом. Его совершенно не интересует то, что происходит в глубине Луны; он смотрит на всех других селенитов, не занятых, подобно ему, лунными коровами, с равнодушием, насмешкой или враждебностью. Его мысль сосредоточена на отыскании пастбищ для лунных коров, а весь язык состоит из пастушеских терминов. Он любит свою работу и с радостью выполняет свое назначение. Так же и во всем остальном у селенитов: каждый из них как бы является совершенной единицей в лунном механизме...

Большеголовые существа, занятые умственной работой, образуют как бы аристократию в этом странном обществе, и выше всех, на самом верху лунной иерархии, словно гигантский мозг планеты, стоит Великий Лунарий, которому я в конце концов должен представиться. Неограниченное развитие ума у селенитов интеллигентного класса достигается отсутствием в их строении костного черепа, черепной коробки, которая ограничивает человеческий мозг, не позволяя ему развиваться больше определенного размера. Умственная аристократия распадается на три главных класса, резко отличающихся друг от друга по влиянию и почету: администраторы, к числу которых принадлежит Фи-у, селениты, с большой инициативой и гибкостью ума,— каждый из них наблюдает за определенным кубическим участком Луны; эксперты, вроде моего мыслителя, с головой, как футбольный мяч, приученные к выполнению некоторых специальных заданий, и ученые, которые являются хранителями любых знаний. К этому последнему классу принадлежит Тзи-пафф, первый лунный профессор земных языков. Что касается последнего класса, то любопытно отметить одну маленькую особенность: неограниченный рост лунного мозга сделал

излишним изобретение всех тех механических вспомогательных средств для умственной работы, к которым прибегает человек. Здесь нет ни книг, ни отчетов, ни библиотек, ни надписей. Все знание хранится в мозгу, подобно тому как медоносные муравьи Техаса складывают мед в своих обширных желудках.

Роль Соммерсетского и Британского музеев играют коллекции живого мозга...

Отмечу, что администраторы, менее специализированные, большей частью проявляют ко мне при встречах очень живой интерес. Они уступают мне дорогу, смотрят на меня и задают вопросы, на которые отвечает Фи-у. Они передвигаются с целой свитой носильщиков, помощников, глашатаев, парашютоносцев и так далее — очень странная процессия. Эксперты же по большей части не обращают на меня никакого внимания, как и на всех других, или же замечают меня для того только, чтобы продемонстрировать свое удивительное искусство. Ученые погружены в какое-то непроницаемое, неподвижное состояние самосозерцания, от которого их способно пробудить лишь отрицание их учености. Обыкновенно ученых водят провожатые, часто в их свите встречаются маленькие деятельные создания, очевидно, самки,— я склонен думать, что это их жены. Но некоторые ученые слишком величественны, чтобы ходить пешком, и их переносят на носилках, похожих на кадки,— эти колыхающиеся, студенистые сокровищницы знания вызывают во мне чувство почтительного удивления. Только что я встретил одного такого ученого на пути туда, где мне позволено забавляться сигнализацией,— передо мной на носилках промелькнула огромная, голая, трясущаяся голова, покрытая тонкой кожей. Спереди и сзади шли носильщики и какие-то странные, с трубообразными лицами глашатаи, выкрикивающие все заслуги ученого.

Я уже упоминал о свитах, которые сопровождают большую часть людей интеллигентного класса: это телохранители, носильщики, слуги—сгустки щупалец и мускулов, заменяющих совершенно отсутствующую физическую силу этих гипертрофированных умов. Носильщики почти всегда сопровождают их. Среди них попадаются необычайно быстроногие курьеры с паукообразны-

ми ногами, парашютоносцы и глашатаи, способные разбудить своим криком мертвого. Вне влияния контролирующего ума их ученых хозяев эти подчиненные столь же пассивны и беспомощны, как зонтики в углу прихожей. Они живут только приказами, которым должны повиноваться, и обязанностями, которые должны выполнять.

Однако большинство насекомых, снующих по спиральным путям, наполняющих подъемные шары и опускающихся на легких парашютах, принадлежит, по-видимому, к классу ремесленников. Это в прямом смысле «машинные руки», и некоторые из них постоянно в действии. Единственная клешня пастуха приспособлена для схватывания, поднимания и подачи, между тем как остальные части — только вспомогательные придатки. Иные, которым, очевидно, приходится звонить в колокол, обладают невероятно развитыми слуховыми органами; другие, работающие над тончайшими химическими процессами, снабжены огромными органами обоняния; третьи отличаются плоскими ногами с неподвижными суставами для работы на педалях и подножках; четвертые же, которые, как мне сообщили, принадлежат к цеху выдувальщиков стекла, кажутся просто легочными мехами. Каждый из этих рабочих-селенитов отлично приспособлен к тому делу, которое он предназначен выполнять. Тонкая работа исполняется ловкими мастерами, удивительно крошечными и опрятными. Некоторые из них умещались у меня на ладони. Есть даже такие особые селениты, которые вертят колеса и рычаги и поставляют двигательную силу для разных мелких работ. А для управления всеми работами, для поддержания порядка и усмирения разрушительной тенденции, проявляющейся иногда у каких-либо уклоняющихся от нормы натур, приставлены самые сильные селениты, каких я только видел на Луне,— нечто вроде лунной полиции; их, должно быть, с ранних лет тренировали для того, чтобы оказывать гипертрофированному мозгу должное уважение и повиновение.

Создание всех этих селенитов-ремесленников представляет, вероятно, удивительный и интересный процесс. Я до сих пор знаю об этом очень мало, но недавно я увидел несколько молодых селенитов, запечатан-

ных в бочки, из которых высовывались только их передние конечности. Оказалось, что их нарочно подвергают сжатию, чтобы они сделались потом машинистами. При этой высокоразвитой системе технического воспитания длинная «рука», например, отрастает благодаря особым прививкам, между тем как ненужные части тела умерщвляются. Фи-у, если только я правильно понял его, объяснил мне, что на ранних стадиях развития в скрюченном положении селениты иногда проявляют признаки страдания, но вскоре легко смиряются со своей участью. Чтобы убедить меня в этом, он привел меня на место, где несколько будущих посыльных подвергались как бы прокатке при помощи механических приборов. На меня такие воспитательные методы производят очень неприятное впечатление, хоть я и сам знаю, что это глупо. Возможно, все это пройдет, и мне удастся увидеть еще кое-что из их удивительного общественного устройства. Эта жалкая, высунувшаяся из бочки щупальце-рука показалась мне мольбой, протестом против искусственного уродства. Она преследует меня до сих пор, хотя, может быть, в конечном счете это более гуманно, чем наш земной метод: мы позволяем детям стать людьми, чтобы обратить их потом в придатки машин.

Недавно — кажется, это было во время моей одиннадцатой или двенадцатой прогулки к этому аппарату — я подметил любопытную деталь в жизни рабочих-селенитов. Меня подвели к аппарату не обычным путем — вниз по спиралям и набережным Центрального Моря,— а через более короткий проход. Из лабиринта длинной темной галереи мы вступили в обширную низкую пещеру, пахнущую землей и сравнительно ярко освещенную. Свет исходил из колыхавшейся массы синевато-багровых грибовидных растений, напоминавших наши грибы, но величиной больше человеческого роста.

— Луняне едят их? — спросил я Фи-у.

— Да, пища.

— А это что? — вскрикнул я, увидев большого и неуклюжего селенита, неподвижно лежащего ничком среди грибов. Мы остановились.

— Мертвый? — спросил я. (До сих пор я еще не видел мертвых на Луне и очень заинтересовался.)

— Нет,— ответил Фи-у.— Он рабочий, сейчас нет работы. Лучше немного выпить,— спать, пока не надо. Зачем будить? Незачем болтаться.

— А вот другой! — вскрикнул я.

И действительно, весь огромный грибной лес был усеян спящими под действием снотворного селенитами. Они спят до тех пор, пока не понадобятся для работы. Их было множество разных видов, и я мог перевернуть некоторых из них и хорошенько рассмотреть. Когда я их переворачивал, они начинали громко дышать, но не пробуждались. Одного я запомнил очень ясно, так как фигура его при этом странном освещении походила на вытянувшегося человека. Передние конечности у него состояли из длинных тонких щупалец, приспособленных, очевидно, для какой-то сложной работы, и поза, в которой он заснул, выражала покорное страдание. Без сомнения, с моей стороны было ошибкой таким образом объяснять его выражение, но я это сделал. И, когда Фи-у переворачивал его обратно в сумрак багровых мясистых растений, я снова испытал неприятное чувство жалости, хотя в это время он уже опять походил на насекомое.

Все это свидетельствует лишь о неразумности наших привычных чувств. Напоить снотворным рабочего, в котором не нуждаешься, и отбросить его в сторону, наверное, гораздо лучше, чем выгонять его с фабрики для того, чтобы он умирал с голоду на улице. В каждом сложном общественном организме время от времени неизбежно возникает безработица, а таким способом эта проблема совершенно устраняется. Однако, как это ни смешно, я не люблю вспоминать об этих телах, распростертых под спокойными светящимися арками мясистых растений, и избегаю короткого прохода к аппарату, несмотря на то, что более длинный очень шумен и неудобен.

Другой путь ведет меня кругом, через огромную сумрачную пещеру, переполненную и шумную. Здесь я могу наблюдать матерей-селенитов, напоминающих маток пчелиного улья. Я вижу, как они выглядывают из шестиугольных отверстий стены, похожей на соты, или гуляют по широкой площади за стеной и перебирают в руках драгоценности и амулеты, изготовленные для их удовольствия ювелирами с тонкими щупальцами, рабо-

тающими в подвальных конурах. Они выглядят довольно благородно, фантастически, иногда очень красиво разукрашены, держатся очень гордо, и головки у них крошечные, несмотря на большие рты.

Об условиях жизни различных полов на Луне, о женитьбе и замужестве, о рождении селенитов я до сих пор узнал очень мало. Но ввиду быстрых успехов Фи-у в изучении английского языка я, без сомнения, все это скоро узнаю. Думаю, что, как у муравьев и пчел, огромное число членов селенитской общины — среднего пола. Конечно, и на Земле есть закоренелые холостяки, которые не живут семейной жизнью. На Луне же, как и у муравьев, это явление сделалось обычным, и необходимое замещение выбывающих членов падает на особый и далеко не многочисленный класс матрон, матерей лунного населения — крупных и статных существ, прекрасно приспособленных к вынашиванию личинок. Если я правильно понял объяснение Фи-у, они не способны ухаживать за молодыми особями, которых производят на свет: периоды наивной привязанности чередуются у них со стремлением к детоубийству, поэтому при первой возможности нежные, мягкие и бледно окрашенные создания передаются на попечение холостых самок, женщин-работниц, которые иногда обладают мозгом почти такого размера, как и у самцов».

К несчастью, здесь сообщение Кейвора прерывается. Отрывистое, вызывающее мучительное чувство неудовлетворенного любопытства изложение этой главы дает нам, однако, представление об этом странном и изумительном мире — мире, с которым, быть может, нам очень скоро предстоит столкнуться. Перемежающееся появление посланий из межпланетного мира, шуршание иглы приемного аппарата среди молчания горных склонов — это только первое предостережение человечеству о том, как неожиданно может измениться весь его мир. На спутнике Земли мы находим новые элементы, новые приемы, новые традиции, ошеломляющую лавину новых идей, странную расу, с которой мы неизбежно должны будем бороться за господство и золото в таком же изобилии, как у нас, на Земле, железо или дерево...

ГЛАВА XXV

ВЕЛИКИЙ ЛУНАРИЙ

Предпоследнее сообщение описывает, иногда очень подробно, встречу Кейвора с Великим Лунарием, правителем и властителем Луны. Кейвор передал большую часть сообщения, по-видимому, без перерыва, но конец почему-то оборван. Второе же сообщение отправлено после недельного промежутка.

Первое послание начинается так:

«Наконец я могу снова...»

Затем следует неразборчивое место, а потом дальнейший рассказ, начинающийся с середины фразы.

Недостающее слово следующего предложения, по всей вероятности, «толпа». Дальнейшее же совершенно ясно:

«...становилась все гуще и гуще, по мере того как мы продвигались ближе к дворцу Великого Лунария, если можно назвать дворцом ряд пещер. На меня отовсюду смотрели селениты — мелькали блестящие рябые маски, глаза над уродливо развитым органом обоняния, глаза под огромными нависающими лбами; толпа низкорослых, маленьких существ вертелась вокруг меня, визжала над плечами и под мышками передних насекомых, ко мне вытягивались шлемоподобные лица на извилистых, длинносуставных шеях. По счастью, никто не мог подойти близко: меня окружала охрана из тупоумных, корзиноголовых стражей, которые присоединились к нам после того, как мы вышли из лодки, проплыв вдоль каналов Центрального Моря. К нам присоединился также быстроглазый художник с маленьким мозгом, и целая толпа сухопарых носильщиков качалась и сгибалась под тяжестью всевозможных предметов, которые считались необходимыми мне. Последний отрезок пути меня несли на носилках, сделанных из какого-то гибкого металла, черного и сетчатого, со стержнями из более бледного металла. По мере того, как я подвигался вперед, окружавшая толпа увеличивалась, и постепенно образовалась огромная процессия.

Во главе ее, наподобие герольдов, выступали четыре глашатая с трубообразными лицами, производившие отчаянный шум, впереди и позади моих носилок сле-

довали коренастые решительные стражники, по бокам — блестящее собрание ученых голов, своего рода живая энциклопедия, которые, как объяснил Фи-у, должны были предстать перед Великим Лунарием для переговоров со мной. (Нет такого предмета в лунной науке, нет такой точки зрения или метода мышления, которых не носили бы в своей голове эти удивительные существа!) Затем следовали воины и носильщики, а за ними — дрожащий мозг Фи-у, тоже на носилках. Затем двигался Тзи-пафф на менее парадных носилках и, наконец, я — на самых роскошных носилках, окруженный слугами, несущими еду и питье для меня. Потом шли еще трубачи, оглашавшие воздух резкими выкриками, а затем, так сказать, большие умы, специальные корреспонденты, или историографы, на которых возложена была задача наблюдать и запоминать каждую подробность этого выдающегося события. Целый ряд слуг, несших и волочивших знамена, пахучие грибовидные растения и разные символические изображения, терялся сзади во мраке. По пути с обеих сторон стояли шеренгами распорядители и стражи в латах, блестевших, как сталь, а за ними — колыхавшееся море голов.

Признаюсь, я до сих пор не могу привыкнуть к наружности селенитов и, очутившись как бы в муравейнике возбужденных насекомых, чувствовал себя довольно неприятно, словно человек, попавший в царство ужасов. Это чувство уже владело мною однажды в лунных пещерах, когда я оказался безоружным и беспомощным посреди толпы враждебных селенитов, но тогда это ощущение было не так сильно. Это, конечно, неразумное ощущение, и я надеюсь постепенно победить его. Но когда я двигался вперед в огромном муравейнике селенитов, я с большим трудом подавил в себе желание крикнуть или как-нибудь иначе выразить свое чувство и только изо всех сил вцепился в носилки. Это продолжалось не больше трех минут, потом я вновь овладел собою.

Сначала мы поднялись по отвесной спиральной дороге, затем прошли через анфиладу огромных, тщательно декорированных зал с куполообразными сводами. Приближение к резиденции Великого Лунария обставлено было, без сомнения, необычайно величественно. Каждая новая пещера, в которую мы вступали, каза-

лась больше предшествовавшей и с более высокими сводами. Это впечатление усиливалось облаками слабо фосфоресцирующего голубого фимиама, который постепенно сгущался и окутывал туманом даже наиболее близкие ко мне фигуры. Мне казалось, что я непрерывно приближаюсь к чему-то огромному, туманному и все менее материальному.

Должен сознаться, что эта процессия заставила меня чувствовать себя очень жалким, даже ничтожным. Я был не брит и не причесан: я не захватил с собой на Луну бритвы, и подбородок мой оброс густой жесткой бородой. На Земле я никогда не обращал внимания на свою наружность и следил только за чистотой, но в этих исключительных условиях, когда я, так сказать, являлся как бы представителем целой планеты и всех земных людей и когда отношение ко мне зависело в значительной мере от того, насколько привлекательна моя наружность, я многое дал бы за более изящный и достойный внешний вид. Я так глубоко верил, что Луна необитаема, что не принял для этого решительно никаких мер. На мне была фланелевая куртка, бриджи и чулки-гольфы до колен, перепачканные лунной грязью, на ногах были туфли с оторванным левым каблуком, а тело прикрыто одеялом (точно так я одет и до сих пор). Острые колючки не способствовали украшению моей наружности, а на одном колене бриджей зияла большая дыра, особенно заметная теперь; когда я колыхался на носилках, правый чулок все время спадал. Мне было очень досадно, что я так недостойно представляю все человечество, и я был бы счастлив, если бы мог изобрести что-нибудь необычное и приукрасить себя, но я ничего не мог придумать. Я сделал все, что можно было сделать из одеяла, то есть набросил его на плечи, как тогу, а затем старался только держаться как можно величественнее на носилках.

Вообразите себе самый огромный зал, какой вам когда-либо приходилось видеть, смутно освещенный голубоватым светом и затененный серо-голубым туманом, кишащий волнующейся массой уродливых разнообразных существ металлического или ярко-серого цвета. Вообразите, что зал заканчивается сводчатым ходом, за которым открывается еще более обширный

зал, за этим — третий и так далее. В конце же этой анфилады залов смутно виднеется подымающаяся вверх лестница, напоминающая ступени Ara Coeli в Риме. Ступени этой лестницы при приближении, казалось, уходили все выше и выше. Наконец я очутился под огромным сводом и, подняв глаза к вершине ступеней, увидел Великого Лунария, восседающего на престоле.

Он сидел на чем-то, похожем на сверкание голубого пламени. При этом сиянии и окружающей тьме казалось, что Лунарий парит в голубовато-черной пустоте. Сначала он показался мне маленьким светящимся облачком, опустившимся на темный трон. Его мозг имел в диаметре несколько десятков ярдов. Не знаю, как это достигалось, но из-за трона исходили голубые лучи, смыкавшиеся над головой Лунария ярким ореолом. Вокруг него стояли, поддерживая его, многочисленные слуги и телохранители, крошечные и тусклые в этом сиянии, а ниже в тени огромным полукругом стояли его интеллектуальные советники, его напоминатели, вычислители, исследователи, слуги и другие знатные насекомые лунного двора. Еще ниже стояли привратники и посыльные, затем — стража; у самого же основания лестницы колыхалась огромная, разнообразная, смутная, теряющаяся вдали в полном мраке масса селенитов. Их ноги непрерывно скребли по скалистому полу, а все движения сопровождались каким-то шелестом.

Когда я вошел в предпоследний зал, раздались торжественные звуки музыки; они все ширились, и крики глашатаев постепенно замирали...

Я вошел в последний, самый большой зал...

Моя процессия развернулась веером. Стражи и хранители отошли вправо и влево, и только трое носилок, на которых восседал я, Фи-у и Тзи-пафф, двинулись через сияющий мрак зала по направлению к гигантским ступеням. Теперь к музыке примешалось какое-то пульсирующее жужжание. Оба селенита сошли с носилок, но мне велели сидеть,— полагаю, в виде особой почести. Музыка затихла, но жужжание продолжалось, и, точно единым движением, десятки тысяч почтительно повернувшихся голов приковали мое внимание к окруженному ореолом высшему разуму, парившему надо мной.

Сначала, когда я стал всматриваться в лучистое сияние, этот лунный мозг показался мне похожим на опаловый расплывчатый пузырь с неясными, пульсирующими, призрачными прожилками внутри. Затем я вдруг заметил под этим колоссальным мозгом над краем трона среди сияния крошечные глазки. Никакого лица не было видно — только глаза, точно пустые отверстия. Сначала я не замечал ничего другого, кроме этих пристальных глаз, но потом различил внизу маленькое карликовое тело с белесыми скорченными, суставчатыми, как у насекомых, членами. Глаза глядели на меня сверху вниз со странным напряжением, и нижняя часть вздутого шара сморщилась. Слабенькие ручки-щупальца поддерживали на троне эту фигуру...

Это было величественно и в то же время вызывало жалость. Я забыл зал и толпу.

Мои носильщики поднялись по лестнице. Мне казалось, что светящаяся голова распростерлась надо мной, и чем ближе я к ней подходил, тем более она концентрировала на себе все мое внимание. Сгруппировавшиеся вокруг своего властителя толпы слуг и помощников, казалось, растворились во мраке. Я видел, как темные слуги опрыскивали охлаждающей жидкостью этот гигантский мозг, поглаживали и поддерживали его. Я сидел, ухватившись за свои колыхающиеся носилки, и не мог оторвать взгляд от Великого Лунария. Наконец, когда я достиг маленькой площадки шагах в десяти от престола, гул музыки достиг своего апогея и оборвался. Я был как бы распластан перед испытующим взглядом Великого Лунария.

Он разглядывал первого человека, которого увидел...

Я перевел наконец глаза с этого воплощенного величия на толпившиеся вокруг него в голубом тумане бледные фигурки, а потом на собравшихся у подножия лестницы селенитов, стоявших в молчаливом ожидании. И снова мною овладел невыразимый ужас... Но только на мгновение.

После паузы наступил момент приветствия. Мне помогли слезть с носилок, и я неуклюже стоял, в то время как два изящных сановника торжественно проделывали передо мной целый ряд любопытных и, без сомнения, глубоко символических жестов. Энциклопедиче-

ский синклит ученых, сопровождавших меня до входа в последний зал, появился двумя ступенями выше, слева и справа от меня, готовый к услугам Великого Лунария, а Фи-у, с его бледной головой, поместился на полпути от меня к трону, чтобы служить посредником между нами, и так, чтобы не поворачиваться спиной ни к Великому Лунарию, ни ко мне. Тзи-пафф поместился позади Фи-у. Шеренги придворных боком подвигались ко мне, с лицами, обращенными к Властителю. Я сел по-турецки, а Фи-у и Тзи-пафф, в свою очередь, стали на колени. Снова наступила пауза. Ближайшие придворные смотрели то на меня, то на Великого Лунария, а среди толпы слышался тихий свист и писк нетерпеливого ожидания.

Вдруг жужжание замерло.

В первый и последний раз за все мое пребывание на Луне установилась полнейшая тишина.

Вслед за тем я услышал какой-то слабый звук. Великий Лунарий обращался ко мне — точно кто-то скреб пальцем по оконному стеклу.

Я внимательно следил за ним некоторое время, а затем взглянул на насторожившегося Фи-у. Среди этих тощих существ я казался себе невероятно толстым, мясистым и плотным, особенно моя голова с громадными челюстями и черными волосами. Я снова уставился на Великого Лунария. Он умолк. Его слуги засуетились, и сияющая поверхность его головы оросилась и засверкала охлаждающей жидкостью.

Фи-у на некоторое время погрузился в размышление. Он посоветовался с Тзи-паффом. Затем начал пищать по-английски, он, видимо, волновался, и его нелегко было понять:

— Гм... Великий Лунарий... хочет сказать, хочет сказать... он догадывается, что ты... гм... люди, что ты человек с планеты Земля. Он хочет сказать, что приветствует тебя, приветствует тебя... и хочет, так сказать, познакомиться с устройством вашего мира и причиной, почему ты прибыл в наш мир.

Он умолк. Я уже готов был ответить, но он снова заговорил. Он сделал несколько неразборчивых замечаний, очевидно, какие-то приятные слова по моему адресу. Он сказал, что Земля для Луны — то же, что Солнце

для Земли, и что селениты очень хотят узнать про Землю и людей. Он сообщил мне также — без сомнения, тоже из любезности — и разницу в объемах и диаметрах Земли и Луны и выразил удивление и желание поразмыслить, которые всегда вызывала в селенитах наша планета. Я стоял, потупив глаза, и, подумав, решил ответить, что и люди, со своей стороны, интересуются Луной, но считают, что она мертва, и никак не ожидают, что здесь есть такое великолепие. Великий Лунарий в знак того, что понял меня, стал поворачивать, как прожектор, свои длинные голубые лучи, и весь огромный зал огласился писком, шепотом и шуршанием в ответ на мой рассказ. Затем Лунарий задал Фи-у целый ряд вопросов, на которые было гораздо легче ответить.

Он понимает, сказал Властитель, что мы живем на поверхности Земли, что наш воздух и море находятся снаружи шара,— все это он знает уже давно от своих астрономов. Но он желает иметь более подробные сведения об этом, как он выразился, необыкновенном явлении, так как твердость Земли всегда склоняла их к мысли, что она необитаема. Он хотел прежде всего узнать, какие крайние температуры существуют на Земле, и очень заинтересовался моим рассказом о тучах и дожде, сопоставив его с тем, что лунная атмосфера во внешних галереях нередко очень туманна. Он удивился, что солнечный свет не слепит наших глаз, и заинтересовался моей попыткой объяснить ему, что голубая окраска неба происходит от преломления света в воздухе, хотя я сомневаюсь, чтобы он это понял. Я объяснил, каким образом радужная оболочка человеческого глаза способна вызывать сокращение зрачка и охранять нежную внутреннюю ткань от избытка солнечного света, и мне позволили приблизиться и остановиться на расстоянии нескольких футов от Властителя, чтобы он мог рассмотреть устройство моего глаза. Это привело нас к сравнению лунного и земного глаза. Первый не только необыкновенно чувствителен к такому свету, какой свободно выносят люди, но может видеть теплоту, и малейшая разница в температуре на Луне делает предметы видимыми для него.

Радужная оболочка оказалась органом, совершенно неизвестным Великому Лунарию. Некоторое время он за-

бавлялся тем, что устремлял свои лучи на мое лицо и наблюдал, как сокращаются мои зрачки. Эти опыты на некоторое время ослепили меня...

Но, несмотря на эти неудобства, я почувствовал себя спокойнее: эти вопросы и ответы были как-то привычны, обычны. Я мог закрыть глаза, обдумать свой ответ и почти забывал, что Великий Лунарий безлик...

Когда я снова спустился по ступеням на отведенное мне место, Великий Лунарий спросил, как мы защищаемся от жары и бурь, и я объяснил ему постройку и оборудование наших зданий. Здесь мы натолкнулись на недоразумения и непонимание, возникавшие, как я полагаю, из-за неточности моих выражений. Долгое время я никак не мог объяснить ему, что такое дом. Ему и его приближенным, без сомнения, показалось очень странным, что люди строят дома, вместо того, чтобы просто спускаться в кратеры. Новое недоумение было вызвано моей попыткой объяснить, что первоначально люди жили в пещерах и что теперь они проводят железные дороги и переносят многие службы под землю. Я думаю, что чересчур увлекся в своем стремлении к научной полноте. Такое же недоумение вызвала моя попытка объяснить устройство рудников. Оставив наконец эту тему, так ничего и не поняв, Великий Лунарий спросил, что мы делаем с внутренностью нашего шара.

По всему собранию до самых отдаленных углов прокатился писк, когда выяснилось, что люди почти ничего не знают о недрах того мира, на поверхности которого росли и развивались бессчетные поколения наших предков. Мне пришлось три раза повторить, что из четырех тысяч миль между поверхностью Земли и ее центром людям известна только одна четырехтысячная часть, что они знают Землю до глубины одной мили, да и то в самых общих чертах. Великий Лунарий спросил было, что побудило меня явиться на Луну, если мы не изучили еще и нашей собственной планеты, но его больше интересовали подробности относительно условий жизни на Земле, перевертывающие все его обычные представления, и он не просил ответа на свой первый вопрос.

Он занялся вопросами о погоде, и я попытался описать ему непрерывное изменение неба, снег, мороз, циклоны.

— Но ночью разве не холодно? — спросил он.

Я ответил, что ночью холоднее, чем днем.

— А разве ваша атмосфера не замерзает?

Я ответил, что нет, что холод у нас незначительный и ночи коротки.

— И воздух не делается жидким?

Я уже готов был дать отрицательный ответ, но вспомнил, что по крайней мере часть нашей атмосферы — водяные пары — превращается в жидкость и образует росу, а иногда замерзает и образует иней — процесс, совершенно аналогичный замерзанию внешней атмосферы Луны во время ее долгой ночи. Я изложил все это, и Великий Лунарий принялся расспрашивать меня о сне. Потребность в сне, являющаяся регулярно каждые двадцать четыре часа у всех земных существ, составляет, по его мнению, явление земной наследственности. На Луне селениты отдыхают редко, после исключительных физических усилий. Затем я пытался описать ему блеск летней ночи на Земле и перешел к описанию тех животных, которые ночью бродят, а днем спят. Я стал рассказывать ему о львах и тиграх, но он, по-видимому, совершенно ничего не понял. Дело в том, что если не считать чудовищ Центрального Моря, то на Луне нет таких животных, которые не были бы приручены и одомашнены селенитами, и так было с незапамятных времен. У них имеются разные морские чудовища, но нет хищных зверей, и им непонятна мысль о каком-то большом и сильном звере, подстерегающем их во мраке ночи...

(Далее следует пробел слов в двадцать, которые невозможно разобрать.)

Он заговорил со своими приближенными, как мне показалось, о странном легкомыслии и неразумии человека, живущего исключительно на поверхности Земли, подверженного всем переменам погоды, не сумевшего даже покорить себе зверей, которые кормятся его собратьями, и, однако же, дерзнувшего перелететь на чужую планету. Во время этой беседы я сидел в стороне, погруженный в размышления. После этого я, по его желанию, рассказал ему о различных породах людей.

Он засыпал меня вопросами.

— И для всех видов работы у вас существует одна порода людей? Но кто же мыслит? Кто управляет?

Я коротко описал ему наше общественное устройство.

Он приказал спрыснуть свою голову охлаждающей жидкостью, а затем потребовал, чтобы я повторил свое объяснение, ибо он чего-то не понял.

— Разве они не заняты каждый своим делом? — спросил Фи-у.

— Некоторые из них,— ответил я,— мыслители, другие — служащие, одни — охотники, другие — механики, третьи — артисты, четвертые — ремесленники. Но все принимают участие в управлении.

— Но разве они не различно устроены для различных занятий?

— Особой разницы, кроме одежды, нет,— сказал я.— Их мозг, может быть, и отличается немного один от другого,— прибавил я, поразмыслив.

— Их умы должны сильно отличаться,— заметил Великий Лунарий,— иначе они все захотят делать одно и то же.

Для того, чтобы как можно лучше приспособиться к его представлениям, я заметил, что его предпосылка совершенно правильна.

— Все различия скрыты в мозгу,— сказал я.— Но это незаметно снаружи. Быть может, если б можно было увидеть умы людей, они оказались бы столь же различными и неравными, как и у селенитов. Оказалось бы тогда, что есть более и менее способные люди, люди, видящие далеко вперед, и люди, бегущие очень быстро, люди, ум которых напоминает трубу, и люди, которые могут вспоминать не думая...

(Три следующих слова неразборчивы.)

Он прервал меня, чтобы напомнить мне о моем прежнем заявлении.

— Но ты сказал, что все люди управляют? — настаивал он.

— До известной степени,— ответил я и, как мне кажется, еще более запутал вопрос.

Он попытался нащупать что-либо конкретное.

— Ты хочешь сказать,— спросил он,— что на Земле нет Великого Властителя?

В моем уме промелькнули различные имена, но в конце концов я подтвердил, что такого нет. Я объяснил ему, что все диктаторы и короли обычно кончали тем, что пре-

давались пьянству и разврату или становились убийцами и что, во всяком случае, большая и влиятельная часть населения Земли, к которой принадлежу и я,— англичане — не собираются вновь устанавливать у себя такой порядок. Это еще более изумило Великого Лунария.

— Но каким образом вам удается сохранить хотя бы ту мудрость, которая у вас есть? — спросил он.

И я объяснил ему, как мы стараемся прийти на помощь ограниченности нашего... (тут не хватает одного слова, вероятно, «ума»), применяя книги и библиотеки. Я объяснил ему, как развивается наша наука благодаря соединенным усилиям бесчисленного количества маленьких людей. На это он ничего не возразил, заметив только, что мы вопреки нашей социальной дикости, очевидно, многого достигли, иначе мы не могли бы попасть на Луну. Однако контраст слишком велик. Селениты вместе с накоплением знаний росли и изменялись; люди же накопили знания и остались животными, снабженными знаниями. Он сказал это... (далее неразборчиво).

Затем он заставил меня рассказать, как мы путешествуем вокруг Земли, и я описал ему наши железные дороги и пароходы. Некоторое время он не мог поверить, что мы познакомились с употреблением пара всего лишь около ста лет назад. Но когда он в этом убедился, то очень был изумлен. (Здесь, кстати, следует упомянуть очень интересный факт: у селенитов единица измерения времени, так же как и у нас,— год, но я не понимаю их системы счисления. Впрочем, это не играет никакой роли, так как Фи-у усвоил нашу систему.) Потом я рассказал, что люди впервые стали селиться в городах только девять или десять тысяч лет назад и что мы до сих пор не соединены в одно общество и живем в государствах с различными формами правления; когда это было объяснено Великому Лунарию, он очень удивился. Сначала он подумал, что у нас имеются просто административные деления.

— Наши государства и империи — только грубые очертания будущего общества,— сказал я и рассказал ему... (Здесь следует тридцать или сорок неразборчивых слов.)

Великий Лунарий удивился, что люди стремятся сохранить разные языки.

— Они хотят в одно и то же время и сообщаться друг с другом и не сообщаться,— заметил он и потом долго расспрашивал меня о войнах.

Сначала он был потрясен и не поверил мне.

— Ты хочешь сказать,— спросил он, как бы недоумевая,— что вы рыскаете по поверхности вашего мира — того мира, богатства которого вы едва затронули, убивая друг друга, как убивают звери для еды?

Я должен был признаться, что это так.

Он стал расспрашивать меня о подробностях.

— Но разве не наносится при этом ущерб вашим судам и вашим несчастным маленьким городам? — спросил он.

И я заметил, что порча имущества и судов во время войны производит на него почти такое же впечатление, как убийства.

— Расскажи мне подробней,— сказал Великий Лунарий.— Покажи мне это ясней. Я не могу ничего понять.

И тут я, хоть и не очень охотно, стал рассказывать ему историю земных войн.

Я рассказал ему о началах и церемониях войны, о предупреждениях и ультиматумах, о маршировке и боевых походах. Я дал ему представление о маневрах, позициях и боях. Я рассказал ему об осадах и атаках, о голоде и тяжких страданиях в траншеях, о часовых, замерзающих в снегу. Рассказал о поражениях и нападении врасплох, о безнадежных сопротивлениях и безжалостном преследовании бегущих, о трупах на полях сражения. Я рассказал, кроме того, о прошедших временах, о нашествиях и избиениях, о гуннах и татарах, о войнах Магомета и калифов и о крестовых походах. По мере того как я рассказывал, а Фи-у переводил, селенитов охватывало все большее волнение, и они пищали все громче.

Я рассказал ему про орудия, которые стреляют, выпускают снаряды в тонну весом и на расстоянии двенадцати миль способны пробить железную броню толщиной в двадцать футов, и про подводные торпеды. Я описал ему действие пулеметов и все, что я мог вспомнить о битве при Коленсо. Великий Лунарий едва верил всему этому и часто прерывал перевод моих слов, чтобы услышать от меня подтверждение правильности этого перевода. Особенно сомнительным показалось ему

мое описание людей, пирующих и веселящихся перед... (битвой?).

— Но, конечно, они не любят войны? — перевел мне Фи-у.

Я заверил их, что многие люди смотрят на войну как на самое славное призвание в жизни, и это поразило всех селенитов.

— Но какая польза от этих войн? — настаивал Великий Лунарий.

— Какая польза? — ответил я.— Война уменьшает население!

— Но зачем это нужно?

Наступила пауза. Его голову обрызгали охлаждающей жидкостью, и он снова заговорил...»

Уже с того момента, когда в рассказе упоминается об абсолютной тишине перед началом речи Великого Лунария, в приемник стали попадать какие-то другие волны, которые очень мешали восприятию сигналов Кейвора, а на этом месте они вообще все заглушили. Эти волны, очевидно, результат радиации из какого-то лунного источника, но их настойчивое чередование с сигналами Кейвора указывает на оператора, умышленно старающегося перебить сообщение Кейвора и сделать его неразборчивым. Сначала эти волны были короткие и правильные, так что при некотором напряжении, с потерей немногих слов мы все же могли расшифровать сообщение Кейвора; потом они стали длиннее и более неправильными, как будто намеренно проводили нечто вроде черты поперек письма. Долгое время ничего нельзя было поделать с этими нелепыми зигзагообразными знаками, потом неожиданно путаница прекратилась, оставив несколько слов ясными, а затем опять возобновилась и продолжалась на протяжении всего сообщения, совершенно заглушив все, что Кейвор пытался передать. Если это действительно было умышленное вмешательство, то почему селенитам понадобилось предоставить Кейвору, который понятия не имел о помехах, возможность продолжать свою передачу? Почему селениты предпочли этот способ, а не приостановили сигнализации Кейвора —ведь это было бы проще и вполне зависело от них,— на этот

вопрос я ответить не могу. Но случилось именно так, и это все, что я могу сказать. Последняя часть описания аудиенции у Великого Лунария начинается с середины фразы:

«...настойчиво расспрашивали меня о моей тайне. Скоро мы с ними поняли друг друга, и я наконец узнал то, что очень меня изумляло: почему при такой необычайно развитой науке они не додумались до кейворита? Я убедился, что они знакомы с ним теоретически, но считали изготовление его практически невозможным, потому что на Луне нет гелия, а гелий...»

Поперек последних букв слова «гелий» снова легла черта. Заметьте слово «тайна», так как на этом слове, и на нем одном, я основываю свое толкование нижеследующего послания — последнего послания, которое, по нашему мнению, отправил Кейвор, и последнее, что нам суждено от него услышать.

ГЛАВА XXVI

ПОСЛЕДНЕЕ СООБЩЕНИЕ КЕЙВОРА НА ЗЕМЛЮ

Так неудачно обрывается предпоследнее сообщение Кейвора. Кажется, будто видишь, как он суетится в голубом мраке у своего аппарата и до последней минуты подает сигналы на Землю, совершенно не подозревая, какая разделяет нас завеса путаницы, не подозревая о последних, уже подстерегающих его опасностях. Полнейшее отсутствие элементарной жизненной хитрости погубило его. Он говорил о войнах, он рассказывал о силе людей и их неразумном стремлении к власти, об их неутолимой жажде завоеваний и неумении жить мирно и спокойно. Он сделал человечество предметом ужаса и отвращения для всего лунного мира, и, наконец, я убежден, у него вырвалось самое роковое признание, а именно, что только от него одного зависит — по крайней мере на долгое время — возможность появления на Луне других людей. Мне ясно, как на это неминуемо должен был реагировать холодный нечеловеческий разум лунного мира, и, вероятно, какое-то подозрение закралось и в его душу. Я представляю, с каким тяжелым предчувствием бродил Кейвор по Луне, все больше и боль-

не осознавая, что он наделал. Великий Лунарий, вероятно, некоторое время обдумывал создавшееся положение, и Кейвор расхаживал по Луне так же свободно, как и раньше. Но, очевидно, что-то помешало ему добраться до электромагнитного аппарата после того, как он отправил только что изложенное сообщение. Несколько дней мы от него ничего не получали. Может быть, состоялись новые аудиенции, где он пытался исправить и смягчить созданное им впечатление? Кто знает!

И вдруг совершенно как предсмертный крик в тиши глубокой ночи слетело с неба последнее сообщение, самое короткое из всех: обрывки двух фраз.

Первая:

«Я поступил безумно, рассказав Великому Лунарию...»

Затем пауза, наверно, с минуту,— видно, что-то помешало. Представляю себе: он отошел от машины, стоит в нерешительности среди неясной громады аппарата, в сумрачной, освещенной голубым светом пещере... внезапно с отчаянием бросается назад к аппарату, но слишком поздно.... Затем торопливо переданные слова:

«Кейворит делается так: возьмите...»

И еще одно слово, совершенно лишенное смысла: «лезно».

И это все.

Быть может, в последний роковой момент он хотел сказать, что все «бесполезно». Мы не знаем, что произошло там, возле этого аппарата. Но что бы там ни случилось, ясно одно: мы не получим больше сообщений с Луны. Что касается меня, то я вижу эту картину так же ясно, как если бы я тоже был там: облитый голубоватым светом, похожий на призрак, всклокоченный Кейвор отчаянно вырывается из щупальцев отвратительных насекомых, борется из последних сил, а они напирают на него, пищат, чирикают, быть может, бьют его; шаг за шагом он отступает все дальше от последней возможности обратиться к своим земным сородичам и погружается в Неизвестность, во мрак, в молчание, которому нет конца...

1901



Пища богов

КНИГА I

РОЖДЕНИЕ ПИЩИ

ГЛАВА I

ОТКРЫТИЕ ПИЩИ

I

В середине девятнадцатого века в нашем странном мире стало невиданно расти и множиться число людей той особой категории, по большей части немолодых, которых называют учеными — и очень правильно называют, хоть им это совсем не нравится. Настолько не нравится, что со страниц «Природы» — органа, который с самого начала служит им вечным и неизменным рупором,— слово это тщательно изгоняют как некую непристойность. Но госпожа публика и ее пресса другого мнения, она-то их именует только так, а не иначе, и если кто-либо из них привлечет к себе хоть капельку внимания, мы величаем его «выдающийся ученый», «маститый ученый», «прославленный ученый», а то и еще пышнее.

Безусловно, и мистер Бенсингтон и профессор Редвуд вполне заслужили все эти титулы задолго до своего поразительного открытия, о котором расскажет эта книга. Мистер Бенсингтон был членом Королевского общества, а в прошлом также и президентом Химического общества, профессор же Редвуд читал курс физиологии на Бонд-стрит, в колледже Лондонского университета, и не раз подвергался яростным нападкам антививисекционистов. Оба они с юных лет всецело посвятили себя науке.

Разумеется, как и все истинные ученые, с виду оба они были ничем не примечательны. В осанке и манерах любого самого скромного актера куда больше достоинства, чем у всех членов Королевского общества, вместе взятых. Мистер Бенсингтон был невысок, сутуловат и чрезвычайно лыс, носил очки в золотой оправе и суконные башмаки, разрезанные во многих местах из-за бес-

численных мозолей. Наружность профессора Редвуда также была самая заурядная. Пока им не довелось открыть Пищу богов (на этом названии я вынужден настаивать), их жизнь протекала в достойных и безвестных ученых занятиях, и рассказать о ней читателю решительно нечего.

Мистер Бенсингтон завоевал рыцарские шпоры (если можно сказать так о джентльмене, обутом в суконные башмаки с разрезами) своими блестящими исследованиями по части наиболее ядовитых алкалоидов, а профессор Редвуд обессмертил себя... право, не помню, чем именно. Знаю только, что чем-то он себя обессмертил. А слава обычно чем дальше, тем громче. Кажется, славу ему принес обширный труд о мышечных рефлексах, оснащенный множеством таблиц и сфигмографических кривых (если я путаю, пусть меня поправят) и новой превосходной терминологией.

Широкая публика имела об этих джентльменах довольно смутное представление. Изредка в Королевском обществе, в Обществе содействия ремеслам и тому подобных учреждениях ей представлялся случай поглядеть на мистера Бенсингтона, или по крайней мере на его румяную лысину, краешек воротничка или сюртука и послушать обрывки лекции или статьи, которую, как ему казалось, он читал вполне внятно; помню, однажды, целую вечность тому назад, когда Британская ассоциация заседала в Дувре, я забрел в какую-то из ее секций — то ли В, то ли С,— расположившуюся в трактире; из чистого любопытства я вслед за двумя серьезными дамами с бумажными свертками под мышкой прошел в дверь с надписью «Бильярдная» и очутился в совершенно неприличной темноте, разрываемой лишь лучом волшебного фонаря, при помощи которого Редвуд показывал свои таблицы.

Я смотрел диапозитив за диапозитивом и слушал голос, принадлежавший, по всей вероятности, профессору Редвуду — уж не помню, о чем он говорил; кроме того, в темноте слышалось жужжание волшебного фонаря и еще какие-то странные звуки — я никак не мог понять, что это такое, и любопытство не давало мне уйти. А потом неожиданно вспыхнул свет, и тут я понял, что непонятные звуки исходили от жующих ртов, ибо члены

научного общества собрались здесь, у волшебного фонаря, чтобы под покровом тьмы жевать сдобные булочки, сандвичи и прочую снедь.

Помню, все время, пока горел свет, Редвуд продолжал что-то говорить и тыкать указкой в то место на экране, где полагалось быть таблице и где мы вновь ее увидели, когда наконец опять стало темно. Помню, он показался мне тогда самой заурядной личностью: смуглая кожа, немного беспокойные движения, вид такой, словно он поглощен какими-то своими мыслями, а доклад сейчас читает просто из чувства долга.

Слышал я однажды в те давно прошедшие времена и Бенсингтона; было это в Блумсбери на конференции учителей. Как большинство выдающихся химиков и ботаников, мистер Бенсингтон весьма авторитетно высказывался по вопросам преподавания, хотя я уверен, что самый обыкновенный класс любой закрытой школы в первые же полчаса запугал бы его до полусмерти; насколько помню, он предлагал усовершенствовать эвристический метод профессора Армстронга, посредством коего, пользуясь приборами и инструментами ценою в триста, а то и четыреста фунтов, совершенно забросив все прочие науки, при безраздельном внимании и помощи на редкость одаренного преподавателя средний ученик за десять — двенадцать лет более или менее основательно усвоил бы почти столько же знаний по химии, сколько можно было почерпнуть из очень распространенных в ту пору достойных презрения учебников, которым красная цена — шиллинг.

Как видите, во всем, что не касается науки, и Редвуд и Бенсингтон были людьми самыми заурядными. Вот только, пожалуй, сверх меры непрактичными. Но ведь таковы все ученые на свете. Тем, что в них есть подлинно великого, они лишь колют глаза ученым собратьям, для широкой публики оно остается книгой за семью печатями; зато слабости их замечает каждый.

Слабости ученых бесспорны, как ничьи другие, не заметить их невозможно. Живут эти люди замкнуто, в своем узком мирке; научные изыскания требуют от них крайней сосредоточенности и чуть ли не монашеского уединения, а больше их почти ни на что не хватает. Поглядишь, как иной седеющий неуклюжий чудак, маленький чело-

вечек, совершивший великие открытия и курам на смех украшенный широченной орденской лентой, робея и важничая, принимает поздравления своих собратьев; почитаешь в «Природе» сетования по поводу «пренебрежения к науке», когда какого-нибудь члена Королевского общества в день юбилея обойдут наградой; послушаешь, как иной неутомимый исследователь мхов и лишайников разбирает по косточкам солидный труд своего столь же неутомимого коллеги,— и поневоле поймешь, до чего мелки и ничтожны люди.

А между тем двое скромных маленьких ученых создали и продолжают создавать нечто изумительное, необычайное, что сулит человечеству в грядущем невообразимое величие и мощь! Они как будто и сами не знают цены тому, что делают. Давным-давно, когда мистер Бенсингтон, выбирая профессию, решил посвятить свою жизнь алкалоидам и тому подобным веществам, наверно, и перед его внутренним взором мелькнуло видение, и его хоть на миг озарило. Ведь если бы не предчувствие, не надежда на славу и положение, каких удостаиваются одни лишь ученые, едва ли хоть кто-нибудь с юности посвятил бы всю свою жизнь подобной работе. Нет, их, конечно, озарило предчувствие славы — и видение это, наверно, оказалось столь ярким, что ослепило их. Блеск ослепил их, на их счастье, чтоб до конца жизни они могли спокойно держать светоч знания для нас!

Быть может, кое-какие странности Редвуда, который был как бы не от мира сего, объясняются тем, что он (в этом теперь уже нет сомнений) несколько отличался от своих собратьев, он был иным, потому что перед глазами его еще не угасло то давнее ослепительное видение.

II

«Пища богов» — так называю я субстанцию, которую создали мистер Бенсингтон и профессор Редвуд; и, принимая во внимание плоды, которые она уже принесла и, безусловно, принесет в будущем, название это вполне заслуженно. А потому я и впредь буду так ее называть. Но мистер Бенсингтон в здравом уме и твердой памяти не способен был на столь громкие слова,— это было бы все равно, что выйти из дома на Слоун-стрит

облаченным в царственный пурпур и с лавровым венком на челе. Слова эти вырвались у него в первую минуту просто от изумления. Он называл свое детище Пищей богов, обуреваемый восторгом, и длилось это не более часа. А потом он решил, что ведет себя нелепо. Вначале, думая об их общем открытии, он словно воочию увидел необъятные возможности, поистине необъятные, зрелище это изумило и ослепило его, но, как подобает добросовестному ученому, он тотчас зажмурился, чтобы не видеть. После этого название «Пища богов» уже казалось ему крикливым, почти неприличным. Он сам себе удивлялся: как это у него сорвалось с языка подобное выражение! И, однако, это мимолетное прозрение не прошло бесследно, а вновь и вновь напоминало о себе.

— Право же,— говорил он, потирая руки и нервически посмеиваясь,— это представляет не только теоретический интерес. К примеру,— он доверительно наклонился к профессору Редвуду и понизил голос,— если умело за это взяться, вероятно, ее можно будет даже продавать... продавать именно как продукт питания,— продолжал он, отходя в другой конец комнаты.— Или по крайней мере как элемент питания. При условии, разумеется, что она будет съедобна. А этого мы не знаем, пока не изготовили ее.

Бенсингтон вернулся к камину и остановился на коврике, старательно разглядывая аккуратные разрезы на своих суконных башмаках.

— Как ее назвать? — переспросил он и поднял голову.— Я лично предпочел бы что-нибудь классическое, со значением. Это... это больше подходит научному открытию. Придает, знаете, такое старомодное достоинство. И мне подумалось... Не знаю, может быть, вам это покажется смешно и нелепо... Но ведь иной раз и пофантазировать не грех... Не назвать ли ее Гераклеофорбия? Пища будущих геркулесов? Быть может, и в самом деле... Конечно, если, по-вашему, это не так...

Редвуд задумчиво глядел в огонь и молчал.

— По-вашему, такое название годится?

Редвуд важно кивнул.

— Можно еще назвать Титанофорбия. Пища титанов... Или так вам больше нравится?

— А вы уверены, что это не чересчур...

— Уверен.

— Ну вот и прекрасно.

Итак, во время дальнейших исследований они называли свое открытие Гераклеофорбией, так оно именовалось и в их докладе — в докладе, который не был опубликован из-за непредвиденных событий, перевернувших все их планы. Были изготовлены три варианта пищи, и только на четвертый раз удалось создать в точности то, что предсказывали теоретические расчеты; соответственно Бенсингтон и Редвуд говорили о Гераклеофорбии номер один, номер два и номер три. А Пищей богов я буду называть в этой книге Гераклеофорбию номер четыре, ибо решительно настаиваю на том названии, которое сначала дал ей Бенсингтон.

III

Идея Пищи принадлежала мистеру Бенсингтону. Но подсказала ему эту идею одна из статей профессора Редвуда в «Философских трудах», а потому, прежде чем развивать ее дальше, он посоветовался с автором статьи — и правильно сделал. Притом предстоящие исследования относились не только к химии, но в такой же степени и к физиологии.

Профессор Редвуд принадлежал к числу тех ученых мужей, что жить не могут без кривых и диаграмм. Если вы — читатель того сорта, какой мне по душе, вам, конечно, знакомы научные статьи того сорта, о которых я говорю. Когда их читаешь, ничего понять нельзя, а в конце приложены штук шесть огромных диаграмм; развернешь их — и перед тобою какие-то удивительные зигзаги невиданных молний или непостижимые извивы так называемых «кривых», вырастающих из абсцисс и стремящихся к ординатам, и прочее в том же роде. Подолгу ломаешь себе голову, тщетно пытаясь понять, что же все это означает, а потом начинаешь подозревать, что этого не понимает и сам автор. Но в действительности многие ученые прекрасно понимают смысл своих писаний, да только не умеют выразить свои мысли языком, понятным и для нас, простых смертных.

Мне кажется, профессор Редвуд мыслил именно диаграммами и кривыми. Закончив монументальный труд о

мышечных рефлексах (пусть читатель, далекий от науки, потерпит еще немного — и все станет ясно как день), Редвуд принялся выводить кривые и сфигмограммы, относящиеся к росту, и как раз одна из его статей о росте натолкнула мистера Бенсингтона на его идею.

Редвуд измерял все, что растет: котят, щенят, подсолнухи, грибы, фасоль, и горох, и (пока жена не воспротивилась) собственного сынишку,— и доказал, что рост совершается не равномерно и непрерывно (он это изобразил

вот такой линией)

а скачками, то есть примерно так:

Ничто не растет постоянно и равномерно, и, насколько он мог установить, постоянный и равномерный рост вообще невозможен: по-видимому, для того, чтобы расти, все живое должно сперва накопить силы; потом оно растет буйно, но недолго, а затем снова наступает перерыв. Туманным, пересыпанным специальными терминами, поистине «научным» языком Редвуд осторожно высказывался в том смысле, что для роста, вероятно, требуется довольно много некоего вещества в крови, а образуется оно очень медленно — и, когда запас его в процессе роста истощается, организм вынужден ждать, чтобы он возобновился. Редвуд сравнил это неизвестное вещество со смазкой в машине. Растущее животное, по его словам, подобно локомотиву, который, пройдя некоторое расстояние, уже не может двигаться дальше без смазки. («Но почему бы не смазать машину извне?» — заметил, прочитав это рассуждение, мистер Бенсингтон.) Весьма вероятно, прибавлял Редвуд с восхитительной непоследовательностью, свойственной всем его беспокойным собратьям, что все это поможет нам пролить свет на не разгаданное доныне значение некоторых желез внутренней секреции. А при чем тут, спрашивается, эти железы?

В следующем своем докладе Редвуд пошел еще дальше. Он устроил целую огромную выставку диаграмм, сильно смахивающих на траекторию летящей ракеты; смысл их — если таковой существовал — сводился к то-

му, что кровь щенят и котят, а также сок грибов и растений в так называемые «периоды интенсивного роста» и в периоды роста замедленного различна по своему составу.

Повертев диаграммы и так; и сяк, и даже вверх ногами, мистер Бенсингтон углядел, наконец, в чем заключается эта разница, и изумился. Оказалось, понимаете ли, что *разница эта, по всей вероятности, обусловлена* присутствием того самого вещества, которое он в последнее время пытался выделить, исследуя алкалоиды, особенно благотворно воздействующие на нервную систему. Тут мистер Бенсингтон положил брошюру Редвуда на пюпитр, пристроенный самым неудобным образом к его креслу, снял очки в золотой оправе, подышал на стекла и старательно их протер.

— Вот так штука! — сказал он.

Потом вновь надел очки и повернулся к пюпитру, но едва коснулся его локтем, как тот кокетливо взвизгнул, наклонился — и брошюра со всеми диаграммами полетела на пол.

— Вот так штука! — повторил мистер Бенсингтон, с усилием перегнулся через ручку кресла (он уже привык терпеливо сносить капризы этого новомодного приспособления), убедился, что до рассыпанных диаграмм ему все равно не дотянуться — и, опустившись на четвереньки, принялся их подбирать. Вот тут-то, на полу, его и осенила мысль назвать свое детище Пищей богов...

Ведь если и он и Редвуд правы, то, впрыскивая или подбавляя в пищу открытое им вещество, можно покончить с перерывами и передышками, и вместо того, чтобы совершаться так:

процесс роста (надеюсь, вы улавливаете мою мысль)

пойдет вот так:

IV

В ночь после разговора с Редвудом мистер Бенсингтон никак не мог уснуть. Лишь раз он ненадолго задремал, и тут ему привиделось, будто он выкопал в земле глубокую яму и тонну за тонной сыплет туда Пищу бо-

гов — и шар земной разбухает, раздувается, границы государств лопаются, и все члены Королевского географического общества, точно труженики огромной портновской мастерской, поспешно распарывают экватор...

Сон, конечно, нелепый, но он куда яснее, чем все слова и поступки мистера Бенсингтона в трезвые часы бодрствования, показывает, сколь взволнован был сей джентльмен и какое значение придавал он своему открытию. Иначе я не стал бы об этом упоминать, ведь, как правило, чужие сны никого не интересуют.

По странному совпадению в ту ночь Редвуду тоже приснился сон. Ему привиделась диаграмма, начертанная огнем на бесконечном свитке вселенских просторов. А он, Редвуд, стоит на некоей планете, перед каким-то черным помостом, и читает лекцию о новых, открывающихся ныне возможностях роста, и слушает его Сверхкоролевское общество изначальных сил — тех самых, под воздействием которых до сих пор рост всего сущего (вплоть до народов, империй, небесных тел и планетных систем) шел так:

а в иных случаях даже и так:

И он, Редвуд, наглядно и убедительно объясняет им, что эти медлительные способы роста, подчас приводящие даже к спаду и угасанию, очень скоро выйдут из моды по милости его открытия.

Сон, конечно, нелепый! Но и он также показывает...

Я вовсе не хочу сказать, будто эти сны следует считать в какой-либо мере пророческими или приписывать им какое-то значение, помимо того, о котором я уже упомянул и на котором решительно настаиваю.

ГЛАВА II

ОПЫТНАЯ ФЕРМА

I

Сначала мистер Бенсингтон предложил, как только удастся изготовить первую порцию Пищи, испробовать ее на головастиках. Научные опыты всегда проделыва-

ются над головастиками, ведь головастики для того и существуют на свете. Уговорились, что опыты будет проводить именно Бенсингтон, так как лабораторию Редвуда загромождали в то время баллистический аппарат и подопытные телята, на которых Редвуд изучал частоту бодательных движений теленка и ее суточные колебания; результаты исследований выражались в самых фантастических и неожиданных кривых; пока не закончился этот опыт, присутствие в лаборатории хрупких стеклянных сосудов с головастиками было бы крайне нежелательно.

Но когда мистер Бенсингтон частично посвятил в свои планы кузину Джейн, она тотчас наложила на них вето, заявив, что не позволит плодить в доме головастиков и прочую подопытную тварь. Она не против, пусть он в дальней каморке занимается своей химией (хоть это — занятие пустое и никчемное), лишь бы там ничего не взрывалось; она даже позволила ему поставить там газовую печь, раковину и герметически закрывающийся шкаф — убежище от бурь еженедельной уборки, которую она отменять не собиралась. Пусть уж он старается отличиться в своих ученых делах, ведь есть на свете грехи куда более тяжкие: к примеру, мало ли мужчин, одержимых страстью к выпивке! Но чтобы он развел тут всякую ползучую живность или резал ее и портил воздух — нет, этого она не допустит. Это вредно для здоровья, а он, как известно, здоровьем слаб, и пускай не спорит, она эти глупости и слушать не станет. Бенсингтон пытался объяснить ей, сколь огромно его открытие и какую пользу оно может принести, но безуспешно. Все это прекрасно, отвечала кузина Джейн, но нечего устраивать в доме грязь и беспорядок — ведь без этого не обойдется, а тогда он сам же первый будет недоволен.

Позабыв о своих мозолях, мистер Бенсингтон шагал из угла в угол и решительно, даже гневно внушал кузине Джейн, что она неправа, но все было напрасно. Ничто не должно становиться на пути Науки, говорил он, а кузина Джейн отвечала, что наука наукой, а головастикам в доме не место. В Германии, говорил он, человеку, сделавшему такое открытие, тотчас предоставили бы просторную, на двадцать тысяч кубических фу-

тов, идеально оборудованную лабораторию. А она отвечала: «Я, слава тебе господи, не немка». Эти опыты принесут ему неувядаемую славу, говорил он, а она отвечала, что если их и без того тесная квартирка будет полна головастиков, так он последнее свое здоровье погубит. «В конце концов я хозяин в своем доме»,— заявил Бенсингтон, а она отвечала, что лучше пойдет экономкой в какой-нибудь школьный пансионат, но с головастиками нянчиться не станет; потом он попробовал воззвать к благоразумию кузины, а она попросила его самого быть благоразумным и отказаться от дурацкой затеи с головастиками; должна же она уважать его идеи, сказал Бенсингтон, но она возразила, что не станет уважать идеи, от которых пойдет вонь по всему дому; тут Бенсингтон не стерпел и (наперекор известным высказываниям Хаксли по этому поводу) выбранился. Не то чтобы уж очень грубо, но все же выбранился.

Разумеется, кузина Джейн была чрезвычайно оскорблена, и ему пришлось извиняться, и всякая надежда испробовать открытие на головастиках — по крайней мере у себя дома — развеялась, как дым.

Итак, надо было искать другой выход, ведь как только удастся изготовить Пищу, нужно будет кого-то ею кормить, чтобы продемонстрировать ее действие. Несколько дней Бенсингтон раздумывал, не отдать ли головастиков на попечение какому-нибудь надежному человеку, а потом случайная заметка в газете навела его на мысль об опытной ферме.

И о цыплятах. С первой же минуты он решил разводить на ферме цыплят. Ему вдруг представились цыплята, вырастающие до сказочных размеров. Мысленно он уже видел курятники и загоны — огромные курятники и птичьи дворы, которые день ото дня становятся все больше. Цыплята так доступны, их куда легче кормить и наблюдать, с ними легче управляться при измерениях и исследованиях, они сухие, не надо мочить руки... по сравнению с ними головастики — существа дикие и неподатливые, совсем не подходящие для его опытов! Непостижимо, как это он с самого начала не подумал о цыплятах! Помимо всего прочего, тогда не пришлось бы ссориться с кузиной Джейн. Он поделился своими соображениями с Редвудом, и тот вполне с ним согласился.

Очень неправильно поступают физиологи, проделывая свои опыты над слишком мелкими животными, сказал Редвуд. Это все равно, что ставить химические опыты с недостаточным количеством вещества: получается непомерно много ошибок, неточностей и просчетов. Сейчас ученым весьма важно отстоять свое право проводить опыты на крупном материале. Вот почему и он у себя в колледже ставит опыты на телятах, невзирая на то, что они порой ведут себя легкомысленно и при встрече в коридорах несколько стесняют студентов и преподавателей других предметов. Зато кривые получаются необычайно интересные, и, когда они будут опубликованы, все убедятся, что его выбор правилен. Нет, если бы не скудость средств, ассигнуемых в Англии на нужды науки, он, Редвуд, не стал бы размениваться на мелочи и пользовался бы для своих исследований одними китами. Но, к сожалению, в настоящее время, по крайней мере у нас в Англии, нет настолько крупных общественных вивариев, чтобы получить необходимый материал, это несбыточная мечта. Вот в Германии — другое дело... и так далее в том же духе.

Поскольку телята требовали от Редвуда неусыпного внимания, заботы о выборе и устройстве опытной фермы легли на Бенсингтона. Условились, что и все расходы он возьмет на себя — по крайней мере до тех пор, пока не удастся получить государственную субсидию. И вот, урывая время от трудов в своей домашней лаборатории, он разъезжает по южным пригородам Лондона в поисках подходящей фермы, и его внимательные глаза за стеклами очков, простодушная лысина и изрезанные башмаки пробуждают напрасные надежды в многочисленных владельцах дрянных и запущенных ферм. Кроме того, он поместил в «Природе» и нескольких ежедневных газетах объявление о том, что требуется достойная доверия супружеская чета, добросовестная и энергичная, для управления опытной фермой размером в три акра.

Место, показавшееся ему подходящим, нашлось в Хиклибрау (графство Кент), неподалеку от Аршота. Это был странный глухой уголок в лощине, которую со всех сторон обступали старые ели, мрачные и неприветливые в вечерних сумерках. Горбатый холм отгораживал ло-

щину с запада, заслоняя солнечный свет; жилой домишко казался еще меньше оттого, что рядом торчал несуразный колодец под покосившимся навесом. Домишко был гол, не принаряжен хотя бы веточкой плюща или жимолости; половина окон выбита; в сарае средь бела дня было темно, хоть глаз выколи. Стояла ферма на отшибе, в полутора милях от деревни Хиклибрау, и тишину здесь нарушало разве только многоголосое эхо, но от этого лишь острее чувствовалось запустение и одиночество.

Бенсингтон вообразил, что все это необыкновенно легко и удобно приспособить для научных изысканий. Он обошел участок, взмахами руки намечая, где именно разместятся курятники и где загоны, а кухня, по его мнению, почти без переделки могла вместить достаточно инкубаторов и брудеров. И он тут же купил участок; на обратном пути он заехал в Дантон Грин, договорился с подходящей четой, отозвавшейся на его объявление, и в тот же вечер ему удалось изготовить такую порцию Гераклеофорбии, что она вполне оправдывала все его решительные действия.

Подходящая чета, которой суждено было под руководством мистера Бенсингтона впервые на земле кормить алчущих Пищей богов, оказалась не только весьма пожилой, но и на редкость неряшливой. Этого последнего обстоятельства мистер Бенсингтон не заметил, ибо ничто не сказывается так пагубно на житейской наблюдательности, как жизнь, посвященная научным опытам. Фамилия избранной четы была Скилетт; Бенсингтон посетил мистера и миссис Скилетт в их тесной комнатушке, где окна были закупорены наглухо, над камином висело пятнистое зеркало, а на подоконниках торчали горшки с чахлой кальцеолярией.

Миссис Скилетт оказалась крохотной высохшей старушенцией; чепца она не носила, седые, давным-давно не мытые волосы скручивала узелком на затылке; самой выдающейся частью ее лица всегда был нос, теперь же, когда зубы у нее выпали, рот ввалился, а щеки увяли и сморщились, от всего лица только один нос и остался. На ней было темно-серое платье (если вообще можно определить цвет этого платья), на котором выделялась заплата из красной фланели. Миссис Скилетт впустила го-

стя в дом и сказала, что мистер Скилетт сейчас выйдет, только приведет себя в порядок; на вопросы она отвечала односложно, опасливо косясь на Бенсингтона маленькими глазками из-за огромного носа. Единственный уцелевший зуб не слишком способствовал внятности ее речей; она беспокойно сжимала на коленях длинные морщинистые руки. Она сказала мистеру Бенсингтону, что долгие годы ходила за домашней птицей и отлично разбирается в инкубаторах; у них с мужем одно время была даже своя ферма, только под конец им не повезло, потому что мало оставалось молодняка. «Выгода-то вся от молодняка»,— пояснила она.

Потом появился и мистер Скилетт; он сильно шамкал и косил так, что один его глаз устремлялся куда-то поверх головы собеседника; домашние туфли его были разрезаны во многих местах, что сразу вызвало сочувствие мистера Бенсингтона, а одежде явно не хватало пуговиц. Рубаха и куртка разъезжались на груди, и мистер Скилетт придерживал их одной рукой, а указательным пальцем другой обводил золотые узоры на черной вышитой скатерти, глаз же, не занятый скатертью, печально и отрешенно следил за неким дамокловым мечом над головою мистера Бенсингтона.

— Штало быть, ферма вам нужна не для выгоды, шэр. Так, так, шэр. Это нам вше едино. Опыты? Понимаю, шэр.

Он сказал, что переехать они с женой могут немедленно. В Дантон Грине он ничем особенно не занят, так, портняжит помаленьку.

— Я-то думал, тут можно заработать, шэр, а это шамое наштоящее захолуштье. Так что, ежели вам угодно, мы шразу и переберемшя...

Через неделю мистер и миссис Скилетт уже расположились на новой ферме, и плотник, нанятый в Хикллибрау, мастерил курятники и разгораживал участки под загоны, а попутно перемывались косточки мистера Бенсингтона.

— Я покуда мало имел ш ним дела,— говорил мистер Скилетт,— а только, шдаетшя мне, он дурак набитый.

— А по-моему, просто у него не все дома,— возразил плотник.

— Воображает шебя куриным знатоком,— сказал мистер Скилетт.— Его пошлушать, так выходит, кроме него, никто в птице ничего не шмышлит.

— Он сам на курицу смахивает,— сказал плотник.— Как поглядит сбоку через очки — ну чистая курица.

Мистер Скилетт придвинулся поближе, печальным оком своим он уставился вдаль, на деревню Хиклибрау, а в другом глазу зажегся недобрый огонек.

— Велит каждый божий день их измерять,— таинственно шепнул он плотнику.— Каждый день измерять каждого цыпленка — где это шлыхано? Надо, говорит, шледить, как они раштут. Каждый божий день измерять — шлыхали вы такое?

Мистер Скилетт деликатно прикрыл рот ладонью и захохотал, так и согнулся в три погибели от смеха, только одно его скорбное око не участвовало в этом приступе веселья. Потом, не вполне уверенный, что плотник до конца понял, в чем тут соль, повторил свистящим шепотом:

— Из-ме-рять!

— Да, этот, видно, еще почуднее нашего прежнего хозяина,— сказал плотник из Хиклибрау.— Вот лопни мои глаза.

II

Научные опыты — самое скучное и утомительное занятие на свете (если не считать отчетов о них в «Философских трудах»), и мистеру Бенсингтону казалось, что прошла целая вечность, пока его первые мечты о грандиозных открывающихся возможностях сменились первыми крупицами осязаемых достижений. Опытную ферму он завел в октябре, но проблески успеха стали заметны только в мае. Сначала были испробованы Гераклеофорбия номер один, номер два и номер три — и все неудачно. На опытной ферме приходилось постоянно воевать с крысами, воевать приходилось и со Скилеттами. Был только один способ добиться, чтоб Скилетт делал то, что ему велено: уволить его. Услыхав, что ему дают расчет, Скилетт тер ладонью небритый подбородок (странным образом, хоть он вечно был небрит, у него никак не отрастала настоящая борода) и, уставясь одним глазом на мистера Бенсингтона, а другим поверх его головы, изрекал:

— Шлушаю, шэр. Конечно, раз вы это шерьезно...

Но наконец забрезжил успех. Вестником его явилось письмо от Скилетта — листок, исписанный дрожащими кривыми буквами.

«Есть новый выводок,— писал Скилетт.— Что-то вид этих цыплят мне не нравится. Больно они долговязые, совсем не как прежние, которые были до ваших последних распоряжений. Те были ладные, упитанные, покуда их кошка не сожрала, а эти растут, что твой бурьян. Сроду таких не видал. И шибко клюются, достают выше башмаков, толком не даются измерять, как вы велели. Настоящие великаны, и едят бог знает сколько. Никакого зерна не хватает, уж больно они прожорливые. Они уже покрупнее взрослых бентамов. Если дальше так пойдет, можно их и на выставку посылать, хоть они и долговязые. Плимутроков в них не узнать. Вчера ночью я напугался, думал, на них напала кошка: поглядел в окно — и вот лопни мои глаза, она нырнула к ним под проволоку. Выхожу, а цыплята все проснулись и что-то клюют, да так жадно, а кошки никакой не видать. Подбросил им зерна и запер покрепче. Какие будут ваши распоряжения, надо ли корм давать прежним манером? Который вы тогда смешали, уже почитай весь вышел, а самому мне смешивать неохота, потому как тогда получилась неприятность с пудингом. Мы с женой желаем вам доброго здоровья и надеемся на вашу неизменную милость.

С уважением — Эльфред Ньютон Скилетт».

В заключительных строках Скилетт намекал на происшествие с молочным пудингом, в который попало немного Гераклеофорбии номер два, что весьма болезненно отозвалось на Скилеттах и едва не привело к самым роковым последствиям.

Но мистер Бенсингтон, читая между строк, понял по описанию необыкновенного роста цыплят, что заветная цель близка. На другое же утро он сошел с поезда на станции Аршот, неся в саквояже, в трех запечатанных жестянках, запас Пищи богов, которого хватило бы на всех цыплят графства Кент.

Стоял конец мая, утро было ясное, солнечное, даже

мозоли почти не давали себя знать — и мистер Бенсингтон решил пройтись пешком через Хиклибрау. Всего до фермы было три с половиной мили — парком, потом деревней, а потом зелеными просеками Хиклибрауского заповедника. Поздняя весна сплошь осыпала деревья зелеными блестками, весело цвели кусты живых изгородей и целые чащи голубых гиацинтов и лиловых орхидей; и ни на минуту не смолкал разноголосый птичий гомон: заливались черные и певчие дрозды, малиновки, зяблики и всякие другие птахи, а в одном уголке парка, на пригреве, уже разворачивал свои завитки папоротник и весело прыгали лани.

От всего этого в душе мистера Бенсингтона встрепенулось давно позабытое ощущение — радость бытия; будущее его великолепного открытия представало в самом радужном свете, и вообще казалось, что настал счастливейший день его жизни. А потом он увидел залитую солнцем полянку возле песчаной насыпи, осененной тенистыми елями, увидел цыплят, вскормленных приготовленной им смесью,— огромных, нескладных, ростом уже перегнавших любую почтенную семейную курицу и, однако, все еще растущих, еще покрытых младенческим желтым пухом (только на спине виднелись первые коричневые перышки),— и понял, что этот его счастливейший день и вправду настал.

Мистер Скилетт затащил его в загон, но цыплята тут же больно клюнули его раза два сквозь разрезы в башмаках, и он поспешно отступил и стал разглядывать чудо-птенцов сквозь проволочную сетку. Он близоруко припал к ней лицом и смотрел за каждым их движением так, словно отродясь не видывал живого цыпленка.

— Ума не приложу, какие же они выраштут,— сказал мистер Скилетт.

— С лошадь,— сказал мистер Бенсингтон.

— Да, видно, вроде того,— отозвался мистер Скилетт.

— Одним крылышком смогут пообедать несколько человек,— сказал мистер Бенсингтон.— Их придется рубить на части, как говядину.

— Ну, они же шкоро перештанут рашти,— сказал мистер Скилетт.

— Разве?

— Яшно,— сказал мистер Скилетт.— Знаю я эту породу. Шперва тянутшя, как дурная трава, а потом перештают. Яшное дело.

Оба помолчали.

— Вот что значит хороший уход,— скромно заметил мистер Скилетт.

Мистер Бенсингтон сверкнул на него очками.

— Мы ш моей хозяйкой и раньше таких выращивали,— продолжал мистер Скилетт, несколько увлекшись, и, словно призывая небеса в свидетели, закатил здоровый глаз.— Разве, может, шамую капельку поменьше.

Мистер Бенсингтон, по обыкновению, обошел всю ферму, но нигде не задерживался и поспешил вернуться к новому выводку. По правде говоря, он и надеяться не смел на подобный успех. Наука развивается так медленно, и пути ее так извилисты; вот выношена блестящая идея, но, пока она воплотится в жизнь, почти всегда тратишь долгие годы труда и изобретательности, а тут... тут не ушло и года на испытания — и вот она создана, настоящая Пища богов! Замечательно, даже не верится! Ему больше не надо питаться одними лишь смутными надеждами — неизменной опорой ученого воображения! По крайней мере так казалось Бенсингтону в тот час. Он вернулся к проволочной сетке и снова и снова во все глаза глядел на свое поразительное создание — на цыплят-великанов.

— Дайте-ка сообразить,— сказал он.— Им десять дней. А ведь они, если не ошибаюсь, раз в шесть-семь больше обыкновенных цыплят...

— Шамое время нам прошить прибавки,— сказал жене мистер Скилетт.— Видишь, он рад до шмерти! Больно мы ему угодили тем выводком, что в дальнем загоне.

Он наклонился к самому уху миссис Скилетт, заслоняя рот ладонью.

— Думает, это они от его дурацкого порошка так вырошли.

И мистер Скилетт хмыкнул, подавляя смешок.

Поистине, в этот день мистер Бенсингтон чувствовал себя именинником. И ему вовсе не хотелось придираться к мелочам. Правда, при свете этого солнечного дня, как никогда, бросалось в глаза, что Скилетты — неряхи и хозяйничают спустя рукава. Но он ни разу не повысил

голос. В изгородях загонов кое-где оказались дыры и прорехи, но он удовольствовался объяснением Скилетта, что тут виноваты «лиша или шобака, а может, еще какой зверь». Потом мистер Бенсингтон заметил, что инкубатор давно не чищен.

— Ваша правда, сэр,— со смиренной улыбочкой скрестив руки на груди, ответила миссис Скилетт.— Только когда же нам их чистить? Поверите, за все время минутки свободной не было...

Скилетт жаловался, что их одолевают крысы, надо ставить капканы, и мистер Бенсингтон поднялся на чердак; норы и впрямь оказались громадные, и вокруг — грязь и мерзость запустения, а ведь здесь хранили и смешивали с мукой и отрубями Пищу богов! Скилетты принадлежали к той породе людей, что никак не могут расстаться с битой посудой, со старыми пустыми коробками, банками и склянками,— весь чердак был завален этим хламом. В углу медленно гнила сваленная Скилеттом на хранение куча яблок; с гвоздя, вбитого в скошенный потолок, свисало несколько кроличьих шкурок, на которых Скилетт собирался испробовать свои скорняжные таланты («по чашти мехов я первый знаток»,— сообщил он).

Глядя на этот хаос, мистер Бенсингтон неодобрительно морщился, но шум поднимать не стал и даже при виде осы, которая лакомилась из аптечной фарфоровой баночки Гераклеофорбией номер четыре, только заметил кротко, что не следует держать этот порошок открытым, не то он отсыреет.

А потом, забыв обо всех этих досадных мелочах, он сказал Скилетту то, что все время было у него на уме:

— Знаете, Скилетт... надо бы зарезать одного из тех цыплят... как образец. Давайте сегодня же и зарежем, и я его захвачу с собой в Лондон.

Он притворился, будто разглядывает что-то в другой аптечной баночке, потом снял очки и тщательно протер.

— Мне бы хотелось,— продолжал он,— очень бы хотелось сохранить что-нибудь на память... такой, знаете, сувенир о сегодняшнем дне... и об этом именно выводке... А кстати, вы не давали этим цыплятам мяса?— спросил он вдруг.

— Что вы, шэр! — обиделся Скилетт.— Не первый день за птицей ходим, видали кур вшякой породы, ш чегс бы это нам делать такие глупошти.

— А остатки от своего обеда вы им не бросали? Мне, знаете, показалось, что там в дальнем углу валяются кости кролика...

Они пошли посмотреть и увидели дочиста обглоданный скелет, но не кролика, а кошки.

III

— Никакой это не цыпленок,— сказала мистеру Бенсингтону кузина Джейн.— Что же, по-вашему, я никогда в жизни цыплят не видела? — Кузина Джейн начинала горячиться.— Во-первых, он слишком большой, а во-вторых, сразу видно, что это не цыпленок. Это больше похоже на дрофу.

— Что до меня,— нехотя сказал Редвуд, поняв по лицу Бенсингтона, что отмолчаться не удастся,— судя по всем данным, я, признаться...

— Ну, конечно...— сказала кузина Джейн.— Умные люди верят собственным глазам, а вы тут с какими-то данными...

— Но позвольте, мисс Бенсингтон!..

— А, да что вас слушать!—сказала кузина Джейн.— Все вы, мужчины, одинаковы.

— Судя по всем данным, эту птицу, безусловно, следует отнести к разряду... без сомнения, она ненормально гипертрофирована, однако же... тем более, что она вывелась из обыкновенного куриного яйца... Да, мисс Бенсингтон, я вынужден признать, что... что иначе, как цыпленком, эту птицу не назовешь.

— Так что же, по-вашему, это цыпленок?

— Думаю, что да,— сказал мистер Редвуд.

— Какая чепуха! — воскликнула кузина Джейн и смерила его гневным взглядом.— Всякое терпение с вами лопается!

Она круто повернулась и вышла из комнаты, хлопнув дверью.

— И, должен сказать, для меня большое облегчение, что он остался просто цыпленком, хоть и очень боль-

шим,— сказал Редвуд, когда смолкло эхо захлопнувшейся двери

Не дожидаясь приглашения мистера Бенсингтона, он уселся в низкое кресло перед камином и признался в поступке весьма опрометчивом даже для человека, далекого от науки.

— Вы, конечно, упрекнете меня в легкомысленной поспешности, Бенсингтон,— сказал он,— но... но неделю тому назад я положил немного Гераклеофорбии... совсем немножко, правда... в бутылочку моему малышу.

— Как! — воскликнул мистер Бенсингтон.— А вдруг бы...

— Да, я знаю,— сказал Редвуд и покосился на огромного цыпленка на столе.— Слава богу, все обошлось,— прибавил он и полез в карман за папиросами. Потом отрывисто стал рассказывать подробности.— Бедный малыш совсем не прибавлялся в весе... я так беспокоился... Уинклс не врач, а жулик... бывший мой ученик, но такой проныра... Моя жена верит в него, как в господа бога. Бывают, знаете, такие... величественные... важности хоть отбавляй... Ну, а мне в доме никакой веры... И ведь это я его учил... меня даже в детскую не пускают... Не могу же я сидеть сложа руки... Прошмыгнул туда, пока няня завтракала... и подсыпал в бутылочку.

— Но теперь он будет расти,— сказал Бенсингтон.

— Уже растет. За неделю прибавил двадцать семь унций... Вы бы послушали Уинклса! Хвастает, что это все от хорошего ухода.

— Ну, еще бы! Совсем как Скилетт!

Редвуд опять покосился на цыпленка.

— Теперь задача, как его дальше подкармливать. Меня одного в детскую не пускают... помните, еще с тех пор, как я пытался вывести кривую роста Джорджины Филис... Уж не знаю, как я ему дам вторую порцию...

— А надо ли?

— Он уже два дня криком кричит... Ему теперь не хватает обычной еды. Нужно добавлять Пищи.

— А вы скажите Уинклсу.

— К черту Уинклса! — сказал Редвуд.

— Столкуйтесь с ним, и пусть даст ребенку порошок...

— Да, видно, придется,— сказал Редвуд и, подперев кулаком подбородок, уставился на огонь.

Бенсингтон стоял у стола, поглаживая пушок на боку цыпленка-великана.

— Огромные вырастут птицы,— сказал он.

— Да,— отозвался Редвуд, не сводя глаз с пламени.

— Наверно, с лошадь,— продолжал Бенсингтон.

— Больше,— сказал Редвуд.— В том-то и загвоздка.

Бенсингтон повернулся к нему.

— Редвуд,— сказал он,— а ведь эти птицы поразят весь мир.

Редвуд кивнул, по-прежнему глядя в огонь.

— И ваш мальчик тоже! Вот честное слово!— выпалил Бенсингтон, блеснув очками, и шагнул к Редвуду.

— Об этом я и думаю,— сказал Редвуд.

Он со вздохом выпрямился в кресле, швырнул недокуренную папиросу в камин и глубоко засунул руки в карманы.

— Именно об этом я сейчас и думал. Надо будет обращаться с Гераклеофорбией поосторожнее. Этот цыпленок, видно, рос уж с такой быстротой...

— Если мальчик станет расти в таком темпе...— медленно произнес мистер Бенсингтон и уставился на цыпленка.— Да, знаете ли! Это будет настоящий великан!

— Я буду постепенно уменьшать дозы,— сказал Редвуд.— Придется действовать через Уинклса.

— Смелый эксперимент, что и говорить.

— Да.

— Но, знаете, уж если быть откровенным... Рано или поздно ведь пришлось бы испробовать это хоть на одном ребенке.

— Ну, на одном-то ребенке мы это, безусловно, испробуем.

— Вот именно,— сказал Бенсингтон, подошел к камину и, сняв очки, снова принялся их протирать.

— Мне кажется, Редвуд, пока я не увидал этих цыплят, я даже отдаленно не представлял себе, что́ мы, в сущности, делаем... какие тут открываются возможности. Только сейчас передо мною начинают вырисовываться... возможные последствия...

А между тем поверьте, даже и в этот час мистер Бенсингтон имел весьма смутное понятие о том, какую бочку с порохом взорвет брошенная им искра.

IV

Было это в начале июня. Потом несколько недель Бенсингтону мешал съездить на опытную ферму воображаемый жестокий бронхит, и вместо него пришлось там побывать Редвуду. Возвратился он еще больше прежнего озабоченный судьбою сына. Растут, непрерывно растут... уже целых семь недель...

А затем на сцене появились осы.

Первая гигантская оса была убита в конце июля, примерно за неделю до того, как куры сбежали из Хиклибрау. Сообщение об этом промелькнуло в нескольких газетах, но я не уверен, что оно попалось на глаза мистеру Бенсингтону, и уж наверно он не подумал, что появление огромного насекомого как-то связано с неряшеством, царившим на его опытной ферме.

Теперь уже не приходится сомневаться, что, пока Скилетт потчевал цыплят мистера Бенсингтона Пищей богов, множество ос так же усердно, а может быть, и еще усерднее таскали ту же снедь своему потомству, выведенному в начале лета среди песчаных холмов, за хвойным лесом, окружавшим ферму. И, бесспорно, на таком питании осиное потомство росло и процветало ничуть не хуже Бенсингтоновых кур. В соответствии со своей природой осы становятся вполне взрослыми быстрее, чем домашняя птица,— и вот из всех живых тварей, которые по милости неряхи Скилетта и его достойной супруги воспользовались благами, предназначенными для кур, осы первыми вошли в историю.

По дошедшим до нас сведениям, первым, кто повстречался с чудовищной осой и кому удалось ее убить, был некто Годфри, лесничий в поместье подполковника Руперта Хика, близ Мейдстона. По колено в зарослях папоротника он переходил полянку в буковой роще — одном из живописных уголков в лесах подполковника Хика; у него было с собой ружье—по счастью, двустволка. И вдруг впереди показалось неведомое чудище — Годфри не мог толком его разглядеть, так как оно летело против солнца, но гудело оно «что твой мотор». По собственному признанию, Годфри порядком струхнул. Чудище было величиной с сову, а то и побольше, но опытный глаз лесничего тотчас заметил, что летит оно

как-то странно, не по-птичьи быстро машет крыльями, так что их и не разглядишь. Движимый, как я подозреваю, в равной мере инстинктом самозащиты и давней привычкой, Годфри мигом сорвал с плеча двустволку и выстрелил.

Вероятно, оттого, что мишень была уж очень необычная, он промахнулся: лишь небольшая часть заряда попала в цель; чудище упало было с яростным жужжанием, по которому безошибочно узнаешь осу, но сразу опять взлетело, желтые и черные полосы заблестели в солнечных лучах. И сейчас же оса бросилась на Годфри. С двадцати ярдов он выстрелил из второго ствола, отшвырнул ружье, пробежал несколько шагов и нырнул в густой папоротник, стараясь увернуться от врага.

Оса пролетела в каком-нибудь ярде над ним, ударилась оземь, снова взлетела и, снова упав уже ярдах в тридцати от него, стала корчиться в агонии, извиваясь и пронзая воздух своим жалом. Годфри подобрал ружье, всадил в издыхающую осу еще два заряда и только после этого решился подойти ближе.

Потом он измерил мертвую осу: размах крыльев достигал двадцати семи с половиной дюймов, длина жала — трех дюймов. Дробь изуродовала туловище и разорвала брюшко, но Годфри прикинул, что от головы до жала было восемнадцать дюймов, и почти не ошибся. Глаз осы оказался величиной с монетку в один пенни.

Таковы первые достоверные сведения о появлении гигантских ос. На следующий день велосипедист, который без педалей катил с холма между Семью дубами и Танбриджем, едва не наехал на другую осу-великана; она переползала дорогу. Шорох шин, видно, встревожил ее, и она взлетела, гудя, точно механическая пила. Руль в руках перепуганного седока дрогнул, велосипед вильнул и съехал на обочину, а когда седок, осмелев, оглянулся, оса летела над лесом в сторону Уэстерхема.

Велосипедист еще немного проехал, с трудом удерживаясь в седле, потом затормозил, спешился (его так била дрожь, что, слезая, он упал вместе со своей машиной) и сел на обочине, чтобы хоть немного опомниться. Ехал он в Эшфорд, но в тот день добрался только до Танбриджа...

Как ни странно, после этого целых три дня о громадных осах не было ни слуху, ни духу. Может быть, потому, что, как я обнаружил, сверяясь с метеорологическими сводками, в те дни погода стояла пасмурная и холодная, а кое-где шел проливной дождь. А на четвертый день прояснилось, засверкало солнце, и с этим совпало невиданное нашествие ос-великанов.

Сколько их появилось в тот день, невозможно подсчитать. Сообщалось по меньшей мере о пятидесяти случаях. Была даже одна человеческая жертва: некий владелец бакалейной лавки застиг гигантскую осу в бочонке с сахаром и, когда она взлетела, сгоряча кинулся на нее с лопатой. Первым ударом он свалил ее на пол, а вторым рассек пополам, но она успела ужалить его через башмак — и из них двоих он умер первым...

Больше всего поразило публику появление осы-великана в Британском музее: средь бела дня она ринулась на одного из бесчисленных голубей, которые постоянно кормятся во дворе музея, взлетела с ним на карниз и там без помехи сожрала свою жертву. Затем она некоторое время ползала по крыше, через открытое окно забралась внутрь, жужжа, закружилась под стеклянным куполом читального зала (перепуганные читатели толпами кинулись к выходу) и наконец вылетела в другое окно и скрылась из глаз, причем после ее гудения наступившая тишина показалась людям оглушительной.

Почти всех остальных ос видели издали, на лету, большого вреда они не причинили. Одна обратила в бегство компанию гуляющих, которая расположилась закусить на Олдингтонском бугре, и уплела все сласти и варенье; другая, неподалеку от Уитстейбла, убила и растерзала щенка на глазах перепуганной хозяйки.

В тот вечер на улицах газетчики надрывались от крика, всюду бросались в глаза заголовки, набранные самым крупным шрифтом: «Гигантские осы в графстве Кент!». В редакциях люди бегали по винтовым лестницам, выкликая все новые вести о крылатых чудищах. В пять часов вечера профессор Редвуд вышел из своего колледжа на Бонд-стрит, разгоряченный бурной схваткой, которую ему пришлось выдержать с коллегами из-за

чересчур больших расходов на телят, и купил газету; развернув ее, он побледнел, мгновенно забыл и о телятах и о коллегах, вскочил в первый попавшийся наемный экипаж и поспешил к Бенсингтону.

V

С порога его оглушил голос Скилетта: тот вопил на всю квартиру и размахивал руками так, что, кроме него, уже ничего не было видно и слышно. Скилетт то жалобно взвизгивал, то чуть не рычал от злости.

— Мы больше не можем там оштаватьшя, шэр! Мы уж и так терпели, думали, штанет легче, а штановитшя чаш от чашу хуже. Там не одни ошы, шэр, там еще и уховертки завелишь — во-он такие (он вытянул жирную, грязную руку и отмерил на ней длину уховертки — чуть не до локтя). Мишшиш Шкилетт как увидела, чуть в обморок не упала. А крапива у загонов, шэр, штрах как жжетшя, и вше раштет и раштет! И наштурция тоже — заползла в окно и чуть не шпутала мишшиш Шкилетт ноги. А вше ваш порошок виноват, шэр. Где капельку прошыплешь, там вше раштет и раштет, шроду я такого не видал. Не можем мы оштатьшя до конца мешяца, шэр. Нам пока еще жизнь не надоела. А там коли ошы не заедят, так наштурция задушит. Вы и не поверите, шэр, пока швоими глазами не увидите...

Он устремил здоровый глаз куда-то в потолок над головой Редвуда.

— Почем знать, может, крышы тоже добралишь до этого порошка! Вот чего я боюшь, шэр. Пока что больших крыш не видать, но кто его знает. Уховерток-то мы видели и напугалишь до шмерти — их было две, шэр, каждая ш хорошего омара... да еще эта наштурция... уж больно быштро она выросла. А как я ушлыхал ош, шэр, как ушлыхал, так шразу и понял, что к чему. Шразу шхватилшя — и к вам, только и задержалшя пуговицу пришить, пуговица у меня отлетела. У меня и шейчаш душа не на меште, шэр. Штрах берет за мишшиш Шкилетт. Там эта наштурция вешь дом заплела... вот провалитьшя, мне, шэр, надо глядеть в оба, а то шхватит и удавит, как змея... и уховертки раштут, как на дрожжах,

и ошы... Вдруг ш нею что шлучитшя, шэр, а у нее и завещание не шоштавлено.

— А цыплята? — спросил мистер Бенсингтон.— Как цыплята?

— До вчерашнего дня мы их кормили, шэр, вот чтоб мне провалитьшя. А нынче утром побоялишь. Там ошы так жужжат, прошто штрах. Налетели тучей, да большущие такие. Ш курицу. Я ей и говорю, пришей, говорю, мне парочку пуговиц, не могу же я в таком виде в Лондон ехать. Вот поеду к миштеру Беншингтону и рашшкажу ему вше, как ешть. А ты, говорю, шиди дома и не выходи, пока я не вернушь, да шмотри, окна не открывай.

— Если бы не ваша возмутительная неаккуратность...

— Ох, не говорите так, шэр,— возразил Скилетт.— У меня и без того душа болит за мишшиш Шкилетт. Я даже шлушать этого не могу, шэр, вот провалитьшя, не могу. У меня, шэр, одни крышы на уме... я вот ш вами тут разговариваю, а вдруг они уже шъели мою штаруху?

— Там должны быть такие поразительные кривые роста, а вы не сделали ни единого измерения! — сказал Редвуд.

— До того ли было, шэр! Знали бы вы, какого мы ш женой штраху натерпелишь за этот мешяц! Ума приложить не могли, что же это такое делаетшя. Цыплята раштут, как шумашшедшие, и уховертки, и наштурция. Не припомню, шэр, говорил я вам про наштурцию?..

— Да, да, говорили,— сказал Редвуд.— Что нам делать, Бенсингтон, как, по-вашему?

— А нам-то что делать? — взмолился Скилетт.

— Вы возвращайтесь на ферму,— сказал Редвуд.— Нельзя оставлять миссис Скилетт одну на всю ночь.

— Ну нет, шэр, один я туда не поеду. Будь там хоть дешять мишшиш Шкилетт. Вот ешли миштер Беншингтон...

— Чепуха! — оборвал его Редвуд.— Осы ночью спят. А уховертки вас не тронут...

— Да, а крышы-то?

— Никаких там крыс нет,— сказал Редвуд.

VI

Мистер Скилетт напрасно тревожился за свою супругу. Миссис Скилетт не теряла времени зря.

Настурция, которая все утро, неслышно цепляясь усиками, карабкалась выше и выше по стене, к одиннадцати часам заслонила окно; в комнате становилось все темнее и темнее, и миссис Скилетт все яснее понимала, что положение скоро сделается невыносимым. Казалось, с отъезда мужа прошла целая вечность. Некоторое время она пыталась сквозь темное окно, сквозь завесу шевелящихся зеленых плетей и усиков рассмотреть, что делается снаружи, потом тихонько отошла, осторожно приотворила дверь спальни и прислушалась...

Ничто не нарушало тишины — и вот, высоко подобрав юбки, миссис Скилетт бросилась в спальню, заглянула для верности под кровать, потом заперлась и быстро и споро, как женщина привычная, стала собираться в путь-дорогу. Постель с утра оставалась не застелена, на полу валялись куски настурции,— Скилетт с вечера пришлось обрубить побеги топором, чтобы закрыть окно,— но миссис Скилетт не замечала беспорядка. Она достала более или менее приличную простыню и увязала в нее самое необходимое: все свои платья, белье, вельветовую куртку, которую Скилетт надевал в торжественных случаях, неначатую банку маринада. Все это было вполне законно, но заодно она прихватила и две наглухо закупоренные банки с Гераклеофорбией номер четыре, из тех, что привез в последний раз мистер Бенсингтон. (Миссис Скилетт была женщина честная, но она была еще и бабушка, и у нее сердце разрывалось оттого, что такой отличный продукт приходилось скармливать каким-то паршивым цыплятам.)

Связав все свои пожитки в узел, она надела чепец, сняла фартук, новым шнурком для ботинок перевязала зонтик, постояла, прислушиваясь, у окна, потом у двери — и наконец отворила ее и вышла в мир, полный неведомых опасностей. Зонтик она держала под мышкой, а узловатыми руками упрямо сжимала свои драгоценные пожитки. Чепец она надела самый лучший, с лентами, расшитый бисером, а среди всего этого великолепия вздымались и кивали два искусственных мака,

словно исполненные того же трепетного мужества, что и их хозяйка.

Над переносьем у нее прорезалась решительная складка. Хватит с нее! Не станет она торчать тут одна! Скилетт, если угодно, пускай возвращается, а она сыта по горло.

Она вышла через парадную дверь, глядевшую на Хиклибрау,— надо ей было в противоположную сторону, в Чизинг Айбрайт, где жила ее замужняя дочь, но дверь черного хода уже невозможно было отворить — так разрослась тут взбесившаяся настурция с того дня, как миссис Скилетт просыпала возле нее порошок. Минуту-другую она прислушивалась, потом с величайшей осторожностью закрыла за собою дверь.

Прежде чем обойти дом, она опасливо выглянула из-за угла и осмотрелась...

Широкая расселина, точно шрам, пересекала песчаный холм за ельником,— там-то и гнездились гигантские осы, и миссис Скилетт испытующе посмотрела туда. Налетавшиеся с утра осы сейчас угомонились, их не было видно, и вокруг стояла тишина, доносилось лишь глухое гудение, как будто работала паровая лесопилка. Не видать было и уховерток. Правда, на огороде, среди грядок с капустой, что-то шевелилось, но, может быть, это просто кошка подкрадывалась к какой-нибудь пичуге. Несколько минут миссис Скилетт не сводила глаз с этого места.

Потом она завернула за угол, но через несколько шагов, при виде загона с цыплятами-великанами, снова остановилась. Поглядела на них и со вздохом покачала головой. Цыплята были уже ростом со страуса эму, но куда толще и массивнее. Их оставалось пять, и все курочки; было еще два петушка, но они, подравшись, забили друг друга до смерти. Курочки бродили понурые, и миссис Скилетт задумалась.

— Бедненькие,— сказала она и опустила свой узел наземь.— Со вчерашнего дня не поены, не кормлены! При эдаких-то аппетитах!

И тут эта вечно грязная, неряшливая старушонка совершила, на мой взгляд, истинный подвиг милосердия. Оставив узел и зонтик на вымощенной кирпичом дорожке, она пошла к колодцу, налила в пустое ко-

рыто целых три ведра воды и, пока цыплята жадно пили, потихоньку отперла калитку загона. После этого она с удивительным проворством подобрала свои пожитки, перелезла через живую изгородь на краю огорода и зашагала прямиком через некошеный луг, обходя стороною осиные гнезда, и дальше извилистой тропкой к Чизинг Айбрайту.

Поднимаясь в гору с тяжелой ношей, она совсем запыхалась, часто останавливалась передохнуть и всякий раз оглядывалась на оставшийся позади, за елями, опустевший домик. Наконец, почти уже с вершины холма, она увидела вдали трех огромных ос: медленно, тяжело они поодиночке летели на запад, и это зрелище сразу заставило ее прибавить шагу.

Скоро она вышла на открытое место, дальше тропинка шла по насыпи (здесь миссис Скилетт почувствовала себя почти в безопасности), а там показалась и долина, ведущая к холмам Хиклибрау. У подножия холма, укрывшись в тени большого дерева, миссис Скилетт посидела немного, переводя дух.

И опять решительно зашагала своей дорогой...

Видели бы вы ее — маленькую, черную, точно вставший на задние лапки муравей, с белым узлом в руке,— как она торопливо семенила по белеющей под жарким полуденным солнцем тропинке, пересекавшей отлогие склоны холмов! Казалось, это решительный, неутомимый нос ведет ее все вперед и вперед; маки, украшавшие чепец, без устали дрожали и раскачивались, башмаки на резинках все гуще покрывала белая дорожная пыль. В знойной тишине только и слышались ее шаги — шлеп да шлеп, зажатый под мышкой зонтик упрямо соскальзывал вниз и чуть не падал. Сморщенные, увядшие губы под огромным нависшим носом были поджаты с выражением непреклонной решимости, и старуха все снова вздергивала зонтик повыше — да не падай ты, прах тебя побери! — или мстительно встряхивала накрепко стиснутый в руке узел. И порою бормотала что-то себе под нос в предвкушении какого-то спора со Скилеттом.

А впереди, в дымке голубого неба, постепенно вырисовывалась колокольня, и все яснее виднелся Чизинг Айбрайт — тихий уголок, такой далекий от суеты

нашего буйного мира; там никто и не помышлял о Гераклеофорбии, что неотвратимо приближалась к этой обители тишины и спокойствия, притаившись в белом узле.

VII

Насколько я понимаю, куры-великанши нагрянули в Хиклибрау около трех часов пополудни. Должно быть, они ни минуты не теряли даром, хотя очевидцев не оказалось: на улице в ту пору никого не было. О том, что стряслось неладное, первым возвестил отчаянный вопль маленького Скелмерсдейла. Мисс Дарген, почтмейстерша, по обыкновению от нечего делать глядевшая в окно, вдруг увидела огромную курицу,— та неслась по улице с несчастным ребенком в клюве, а за нею по пятам — еще две такие же громадины. Вы и сами, конечно, знаете, с какой невероятной быстротой враскачку бегут к кормушке выпущенные из курятника крепкие, сильные куры недавно выведенных пород. И знаете, что от голодной курицы никак не отвяжешься, она настойчиво требует своего. Как мне говорили, среди предков Бенсингтоновых цыплят были плимутроки, а они и без Гераклеофорбии долговязы и бегуны первоклассные.

Быть может, мисс Дарген была не так уж изумлена. Как ни просил мистер Бенсингтон Скилеттов держать язык за зубами, а слухи об огромных цыплятах, выведенных на его ферме, ходили по деревне уже не первую неделю.

— Боже милостивый! — воскликнула мисс Дарген.— Так я и знала, что этим кончится!

Однако же она не растерялась. Мигом схватила опечатанный пакет с почтой, приготовленной для отправки в Аршот, и выбежала вон. И сейчас же в другом конце улицы показался мистер Скелмерсдейл, он бежал бледный, как полотно, размахивая лейкой, которую держал за носик. А еще через минуту, конечно, уже все жители деревушки выглядывали из дверей и окон.

Завидев мисс Дарген, которая бежала к ней через дорогу, размахивая всей дневной корреспонденцией всего Хиклибрау, похитительница юного Скелмерсдейла остановилась. Помешкала секунду—и через открытые настежь ворота вбежала во двор к Фалчеру. Эта секунда

промедления оказалась роковой. Подскочила вторая курица, нацелившись клювом, выхватила у нее добычу и через ограду перемахнула в сад к приходскому священнику.

В курицу, бежавшую позади, попала лейка, пущенная меткой рукой мистера Скелмерсдейла, и она с отчаянным кудахтаньем перелетела над домиком миссис Глю во двор к доктору, а остальные громадные птицы тем временем мчались по лужайке вдогонку за той, которая тащила ребенка.

— Господи боже! — вскричал священник (некоторые уверяют, что он выразился более мужественно) и, грозно размахивая крокетным молотком, бросился наперерез.

— Стой, негодяйка! —кричал он, словно гоняться за гигантскими курами было ему не впервой.

А затем, видя, что не успеет перехватить воровку, изо всей мочи запустил в нее молотком — и тот, описав изящную кривую в каком-нибудь футе от головы Скелмерсдейла-младшего, угодил в стеклянную стенку теплицы. Дзинь, трах! Новенькая теплица! Так любовно и так недавно отстроенная женой священника!

Звон разбитого стекла напугал курицу — тут бы всякий напугался,— и она уронила свою добычу в куст португальского лавра. Младенца вскоре оттуда извлекли, встрепанного, но целого и невредимого, пострадала только его одежка. Она оказалась не столь прочной, как ее хозяин. Курица подскочила, захлопала крыльями — и очутилась на крыше Фалчеровой конюшни, но неплотно лежавшая в этом месте черепица не выдержала, и беглянка, так сказать, с неба свалилась в закуток, где в тихом уединении пребывал мистер Бампс, паралитик; сейчас уже неопровержимо доказано, что в эту критическую минуту своей жизни мистер Бампс впервые без чьей-либо помощи вскочил, пересек сад,— и только когда он захлопнул за собою дверь и задвинул засов, к нему разом вернулось христианское смирение и беспомощность опекаемого женою инвалида...

Остальным курам преградили дорогу другие игроки в крокет, и они кинулись через огород священника во двор к доктору; туда же явилась наконец и пятая их товарка, горестно кудахтая после неудачной попытки про-

гуляться по рамам с парниковыми огурцами мистера Уизерспуна.

Куры постояли немного, копаясь в земле и раздумчиво кудахтая, потом одна долго и упорно клевала и долбила клювом улей, стараясь добраться до докторовых пчел, а затем все пять, неуклюже переваливаясь, подскакивая, топорща перья и то ускоряя, то замедляя шаг, двинулись полями к Аршоту, и больше их в Хиклибрау не видели. Неподалеку от Аршота они набрели на подходящую для себя еду — огромное поле брюквы — и принялись жадно клевать. Но скоро они стали жертвами своей славы.

Поразительное вторжение в жизнь человеческую птиц-великанов пробудило в людях буйную, неодолимую жажду вопить, бегать и швырять чем попало,— и очень быстро все мужское население Хиклибрау и даже несколько особ женского пола, вооружась самыми разнообразными предметами, которыми можно размахивать, колотить или кидать в цель, устроили облаву на гигантских кур. Их загнали в Аршот, где как раз было в разгаре гулянье, и жители Аршота встретили их как достойное завершение праздника. Кур преследовали до Финдон Бичс, тут кто-то начал в них стрелять из мелкокалиберного ружья. Но, конечно, в птицу такого размера можно сколько угодно палить дробью—она ничего и не почувствует. Где-то близ Семи дубов куры бросились врассыпную, и одну из них чуть погодя видели у Танбриджа. С громким кудахтаньем она суматошливо бежала по берегу, все время держась немного впереди быстроходного катера и несказанно изумляя пассажиров.

В тот же день около половины шестого двух из этих кур ловко поймал владелец танбриджского цирка: разбросав по полу куски хлеба и пирога, он заманил их в клетку, которая пустовала после смерти овдовевшей верблюдицы...

VIII

Когда злосчастный Скилетт сошел в тот вечер с поезда на станции Аршот, уже смеркалось. Поезд опоздал — правда, ненамного,— и мистер Скилетт поставил это на вид начальнику станции. Быть может, ему почудилось, что начальник станции как-то особенно на него посмо-

трел, и, помедлив секунду в нерешимости, Скилетт прикрыл рот ладонью и вполголоса осведомился, не случилось ли «чего-нибудь этакого».

— Какого еще «этакого»? — переспросил начальник станции, голос у него был громкий и резкий.

— Ну, может, ошы или еще что...

— Тут было не до «ош»,— сказал начальник станции.— Нам и с вашими окаянными курами хлопот хватало.

И он обрушил на Скилетта рассказ о похождениях его цыплят, точно град камней в окно политического противника.

— А как мишшиш Шкилетт, не шлыхали? — все же спросил Скилетт, оглушенный этими новостями и нелестными комментариями.

— Еще чего! — отрезал начальник станции, ясно показывая, что судьба этой дамы его ничуть не занимает.

— Надо мне узнать, как и что,— сказал Скилетт и поспешно ретировался, а вдогонку ему летели не слишком лестные замечания о дураках, которые перекармливают кур и обязаны за это ответить...

Когда Скилетт проходил через Аршот, его окликнул работник из Хэнки и спросил, уж не ищет ли он своих кур.

— А как там мишшиш Шкилетт, не шлыхали?— снова осведомился незадачливый супруг.

Собеседник выразился в том смысле, что его куда больше интересуют куры, но подлинные слова его повторять не стоит.

Было уже совсем темно, во всяком случае, настолько, насколько может быть темно в Англии в безоблачную июньскую ночь, когда мистер Скилетт заглянул в дверь кабачка «Веселые возчики» (вернее, заглянула одна только его голова).

— Эй, друзья! — сказала голова.— Не шлыхали, что там за шказки рашшказывают про моих кур?

— Как не слыхать! — отозвался мистер Фалчер.— Одна сказка проломила крышу моего сарая, а другая вдребезги расколотила парники... то бишь, как их... оранживеи у жены священника...

Тут Скилетт вылез из-за двери.

— Мне бы подкрепитьшя,— сказал он.— Горячего бы джину ш водой в шамый раз.

И тогда все наперебой стали ему рассказывать, что натворили его цыплята, а он слушал и только повторял:

— Боже милоштивый!

Потом, улучив минуту, когда все умолкли, спросил:

— А как там мишшиш Шкилетт, вы не шлыхали?

— Не слыхали,— сказал мистер Уизерспун.— Не до нее нам тут было. Да и не до вас тоже.

— А вы разве нынче дома не были? — спросил Фалчер, поднимая голову от пивной кружки.

— Если какая-нибудь из этих подлых кур ее клюнула разок-другой...

Мистер Уизерспун не договорил, он предоставил слушателям вообразить себе ужасную картину.

В эту минуту все охотно пошли бы со Скилеттом поглядеть, не случилось ли и впрямь чего-нибудь с его супругой,— это ли не развлечение на закуску, достойное столь богатого событиями дня! Неожиданности следуют одна за другой, было бы жаль что-нибудь упустить... Но тут Скилетт (он в это время, устремив один глаз на буфет, а другой в вечность, тянул у стойки свой джин) сам же расхолодил компанию.

— Надо думать, эти большие ошы нынче никого не тревожили? — спросил он с нарочитой небрежностью.

— Нам было не до них, мы с вашими курами возились,— отозвался Фалчер.

— Надо думать, они уже куда-нибудь улетели,— сказал Скилетт.

— Кто, куры?

— Да нет, я больше про ош,— пояснил Скилетт.

А затем, тщательно выбирая слова и делая чуть ли не на каждом многозначительное ударение, он спросил с напускной небрежностью, которая заставила бы насторожиться и грудного младенца:

— Надо *думать,* про *других* каких-нибудь *больших* животных у наш ничего *не шлыхать,* а? Про *шобак,* или, шкажем, *кошек,* или *вроде* того? Раз уж появляютшя такие большущие куры и ошы...

И он захохотал: мол, сами понимаете, это я так болтаю, для потехи.

Но почтенные жители Хиклибрау разом помрачнели. Фалчер первым высказал вслух общую мысль:

— Ежели кошка да под стать этим курам...

— Н-да-а,— сказал и Уизерспун.— Этакая кошка...

— Это уж будет не кошка, а тигр,— сказал Фалчер.

— А то и побольше...— сказал Уизерспун.

И вот наконец Скилетт зашагал одинокой полевой тропинкой, что вела от Хиклибрау в гору, а потом ныряла в осененную хмурыми елями ложбину, где в безмолвии и мраке мертвой хваткой сдавили опытную ферму Бенсингтона плети гигантской настурции... Но шагал он в одиночестве.

Его проводили до подножия холма — на большее сочувствия и любопытства не хватило,— видели, как он поднялся на вершину, как мелькнул его четкий силуэт на бледно-золотом фоне согретых закатом небес и снова канул в сумрак, откуда, казалось, ему уже нет возврата. Он ушел в неизвестность. И по сей день никто не знает, что случилось с ним после того, как он скрылся за холмом. Немного погодя у обоих Фалчеров и Уизерспуна разыгралось воображение, и они тоже поднялись на вершину и поглядели на север, куда ушел Скилетт, но тьма уже поглотила его.

Трое провожатых придвинулись ближе друг к другу и молча стояли и смотрели.

— Вроде там все в порядке,— сказал наконец Фалчер-младший.

— Что-то ни одного огонька не видать,— сказал Уизерспун.

— А отсюда их и не увидишь.

— Да еще туман нынче,— сказал Фалчер-старший,

Они еще постояли в раздумье.

— Было бы что неладно, так он бы воротился,— сказал Фалчер-младший.

Это прозвучало вполне убедительно, и еще немного погодя старик Фалчер сказал:

— Ладно, пошли.

И все трое отправились домой спать — правда, на обратном пути все они были какие-то притихшие и задумчивые.

В ту ночь пастух, который остановился со своими овцами неподалеку от фермы Хакстера, слышал громкий

визг и решил, что это лисицы, а наутро недосчитался барашка — и отыскал его наполовину обглоданные кости на дороге в Хиклибрау...

Самое непонятное, что никаких останков, по которым можно было бы опознать Скилетта, так и не нашли!

Месяца через полтора среди обугленных развалин опытной фермы, в разных концах ее, найдены были кости, похожие, пожалуй, и на человеческие — лопатка и еще одна, длинная, быть может, берцовая, тоже изглоданная до неузнаваемости. А у ограды со стороны Айбрайта, возле перелаза, нашли стеклянный глаз, и тут-то многим стало ясно, что именно этому сокровищу Скилетт был в немалой мере обязан своим обаянием. Стеклянный глаз смотрел на белый свет с тем же отрешенным, суровым и скорбным выражением, которое когда-то придавало значительность весьма заурядной физиономии мистера Скилетта.

После тщательных розысков среди развалин обнаружили металлические ободки двух полотняных пуговиц, еще три такие же пуговицы сплющенные, но уцелевшие, и одну металлическую, из тех, которым в нашем туалете отнюдь не полагается быть на виду. Авторитетные лица сочли эти находки неопровержимым доказательством того, что Скилетт был убит и растерзан в куски, но меня это не убеждает. Признаться, памятуя о явном его отвращении ко всяческим застежкам, я предпочел бы для верности найти меньше пуговиц, но больше костей.

Правда, стеклянный глаз — как будто доказательство бесспорное, но, если он и в самом деле принадлежал Скилетту (а даже миссис Скилетт и та не знала наверняка, был ли неподвижный глаз мужа стеклянным), то цвет его странным образом изменился и из светло-карего стал небесно-голубым. А лопатка — свидетельство совершенно ненадежное; прежде чем признать этот огрызок частью человеческого скелета, я хотел бы сравнить его для наглядности с изгрызанными лопатками каких-нибудь овец или телят.

А кстати, куда девались башмаки мистера Скилетта? Может быть, у крыс очень странный, даже извращенный вкус, но неужели они, которые бросили недоеденно-

го барашка, пожрали бы Скилетта целиком, не оставив ни волос, ни костей, ни зубов, ни башмаков?

Я тщательно расспросил всех, кто сколько-нибудь близко знал Скилетта, и все в один голос твердили, что не родился еще на свет такой зверь, который бы сожрал Скилетта. Некий отставной моряк, арендатор одного из коттеджей мистера У. У. Джейкобса в Дантон Грин, с загадочным и глубокомысленным видом, обычным для здешних жителей, высказал мнение, что прикончить мистера Скилетта зверь, пожалуй, мог, но съесть — никак: даже у самого лютого отшибло бы аппетит. Окажись Скилетт на плоту посреди океана в числе потерпевших кораблекрушение, уж ему-то не грозила бы смерть от руки изголодавшихся спутников. «Неохота мне про него худо говорить,—прибавил отставной моряк,—но что правда, то правда». А уж надеть сшитый Скилеттом костюм он, моряк, нипочем бы не согласился — для этого надо окончательно рехнуться. Судя по всем этим разговорам, навряд ли какое-нибудь живое существо могло счесть Скилетта лакомым блюдом.

Скажу вам, читатель, прямо и откровенно: не верится мне, чтобы Скилетт возвратился на ферму. Скорее всего он долго бродил в нерешимости по окрестным полям и лугам, а когда поднялся непонятный визг, разбудивший пастуха, избрал простейший выход из затруднительного положения: канул в неизвестность.

Так, в неизвестности — в нашем, а быть может, в каком-то ином, неведомом нам мире — он, вне всякого сомнения, упорно остается и поныне.

ГЛАВА III

ГИГАНТСКИЕ КРЫСЫ

I

На третью ночь после исчезновения мистера Скилетта доктор из Подбурна ехал в своей двуколке по дороге к Хэнки. Долгие часы провел он в хлопотах, помогая еще одному ничем пока не примечательному гражданину войти в наш странный мир,— и теперь, усталый и сонный, возвращался восвояси. Было уже около двух часов

пополуночи, всходил тонкий серп убывающей луны. В эту пору и летом становится прохладно, и вокруг стлался белесый туман, скрадывая очертания предметов. Доктор ехал один, без кучера,— тот накануне слег; вокруг ничего не видно и не слышно, лишь бегут навстречу в желтом свете фонарей двуколки таинственно-темные живые изгороди, да дробно стучат лошадиные копыта и колеса, и им вторит эхо среди кустов. Лошадь дорогу знает, на нее можно положиться, как на самого себя,—не удивительно, что доктор задремал...

Вам, конечно, знакомо это состояние: сидишь и клюешь носом, покачиваясь в лад мерному стуку колес, голова совсем опускается на грудь — и вдруг вздрогнешь и встрепенешься...

Цок, цок, цок... — стучат копыта, стучат колеса.

Но что это?

Совсем близко кто-то пронзительно взвизгнул — или это только почудилось? Доктор совсем было проснулся. Выбранил лошадь, которая вовсе этого не заслужила, и огляделся по сторонам. И постарался сам себя успокоить: наверно, это взвизгнула лисица или, может быть, крольчонок, попавший в зубы хорьку.

Цок, цок, цок...— стучат копыта, шуршат кусты живой изгороди.

Что такое?

Опять ему что-то почудилось. Он встряхнулся и прикрикнул на лошадь. Прислушался, но ничего не услышал.

Ничего? Так ли?

Что за странность, кажется, его кто-то подстерегает — над изгородью мелькнула странная голова какого-то животного. Большая, с круглыми ушами! Доктор напряг зрение, но ничего не разглядел.

— Вздор,— сказал он и выпрямился.

Наверно, это привиделось во сне. Доктор легонько тронул лошадь кнутом, велел ей поторапливаться и опять поглядел на кусты. В неверном свете фонарей, в пелене тумана все очертания казались смутными и зыбкими. Но нет, там, за кустами, не может таиться опасность, иначе лошадь почуяла бы и шарахнулась... И все же доктору стало тревожно.

А потом он явственно расслышал шлепанье мягких лап: кто-то вскачь догонял его.

Доктор не поверил своим ушам. Оглянулся, но ничего не увидел за крутым поворотом дороги. Хлестнул по лошади и опять покосился через плечо. И тут луч фонаря попал на такое место изгороди, где кусты были пониже,— и за ними мелькнула изогнутая спина... спина какого-то большого животного, доктор не понял какого; быстрыми, резкими скачками оно нагоняло двуколку.

Тут ему вспомнились старые сказки о колдовстве, рассказывал после доктор,—уж слишком не похож был неведомый зверь на всех известных ему животных; он испугался, что испугается лошадь и понесет, и крепче сжал вожжи. И хоть он человек образованный, но в ту минуту, по собственному признанию, подумал: а вдруг это — привидение, вот оно и явилось ему одному, а лошадь ничего не видит?

Впереди, уже недалеко, черным силуэтом в лучах встающей луны маячила деревушка Хэнки; хоть в окнах не было ни огонька, вид ее успокоил доктора, он щелкнул кнутом и снова крикнул, погоняя лошадь,— и тут крысы кинулись на него!

Мимо мелькнули ворота, и в этот миг передняя крыса одним прыжком перемахнула через изгородь. Прежде она скрывалась в темноте, а теперь вся оказалась на виду: острая, жадная морда, закругленные уши, длинное туловище — вытянутое в прыжке, оно показалось доктору еще огромнее; особенно поразили его розовые передние лапы зверя. И, может быть, самое страшное — что зверь был неведомый, ни на что не похожий. Крысу доктор в этом чудище не признал, сбитый с толку его размерами. Лошадь в испуге шарахнулась от метнувшегося к ней большого темного тела. На узкой дорожке меж двух живых изгородей поднялся шум, доктор закричал, захлопал кнутом. Все словно понеслось с головокружительной быстротой.

Цокот копыт, шлепанье мягких лап, шуршанье кустов...

Доктор вскочил, что-то крикнул и что было силы стегнул крысу кнутом. Она вздрогнула и вильнула в сторону — при свете фонаря видна была даже вмятина на шкуре от удара кнута,— и доктор без памяти хлестал снова и снова, не замечая, что еще одна крыса догоняет его

с другой стороны. Потом оглянулся и выронил вожжи: третья крыса мчалась за ним по пятам...

Лошадь рванулась вперед. Двуколка подскочила на рытвине. Одно безумное мгновенье доктору казалось, что все вокруг скачет и мчится...

А потом лошадь упала,— по счастью, это случилось, когда доктор уже въехал в деревню, но не успел ее миновать.

Споткнулась ли лошадь, или ее свалила вторая крыса, рванув с налету острыми зубами и повиснув на ней всей своей тяжестью, никто не знает; доктор даже не заметил, что и сам ранен, он обнаружил это только после, в домике каменщика, и никак не мог вспомнить, когда же это случилось, хотя укус был болезненный — две глубокие борозды на левом плече, словно прорезанные взмахом двойного томагавка.

Только что он стоял в двуколке — и вдруг очутился на земле, нога вывихнута, но он этого еще не замечает; третья крыса наскакивает на него, и он отчаянно отбивается кнутом. Должно быть, он выпрыгнул из падавшей двуколки, но в пылу битвы все смешалось у него в голове, и он ничего толком не мог вспомнить. Я думаю, когда крыса впилась в горло лошади, та взвилась на дыбы и рухнула на бок; двуколка опрокинулась, и доктор инстинктивно соскочил на землю. Фонарь при падении разбился, керосин вспыхнул, и яркий свет озарил жестокую схватку.

Ее-то и увидел каменщик.

Он еще раньше услыхал цокот копыт, стук колес и отчаянные крики доктора, хотя сам доктор не помнил, что кричал. Каменщик соскочил с постели, начал поднимать штору, и тут раздался страшный треск и за окном вспыхнул ослепительный свет. По словам каменщика, сделалось светло, как днем. Он замер, стиснув в руке шнур, и уставился на дорогу — там все вдруг стало неузнаваемо и страшно, как в кошмарном сне. В свете пламени дергался черный силуэт доктора и плясал кнут в его руке. Едва различимая за слепящим костром, била в воздухе копытами лошадь, в горло ее вгрызалась крыса. Поодаль, у церковной ограды, зловеще сверкали из темноты глаза другой хищницы, и можно было угадать третью — виднелись только налитые кровью глаза да розовые ла-

пы, цеплявшиеся за ограду: должно быть, она прыгнула туда, испугавшись огня, когда разбился фонарь.

Вам, конечно, хорошо знакомы крысиные морды, длинные передние зубы и свирепые глаза. И все это предстало перед каменщиком, увеличенное примерно в шесть раз, да еще внезапно, среди ночи, в неверном свете пляшущего пламени, да еще спросонок мысли его путались... Жутко ему стало...

Тут доктор воспользовался мгновенной передышкой — пламя все же отпугнуло крыс,— кинулся к дому и отчаянно застучал в дверь рукояткой кнута.

Но хозяин впустил его только после того, как зажег лампу.

Потом многие осуждали его за это; не решаюсь к ним присоединиться: как знать, возможно, на его месте я оказался бы не храбрее...

Доктор кричал во все горло и колотил в дверь.

Каменщик утверждает, что, когда дверь наконец отворилась, бедняга просто плакал от страха.

— Запри! — крикнул доктор.— Запри!

Больше он не мог вымолвить ни слова. Хотел было помочь, но руки не слушались. Каменщик запер дверь на засов, а доктор рухнул на стул и долго не мог подняться...

— Не знаю, что это было,— твердил он.— Не знаю, что это было.— Голос его срывался.

Каменщик хотел принести ему виски, но доктор ни за что не соглашался остаться один при тусклой мигающей лампе. Прошло немало времени, пока хозяин уговорил его подняться наверх и лечь...

Когда огонь за окном погас, гигантские крысы вернулись к убитой лошади, уволокли ее через кладбище к кирпичному заводу и глодали до самого рассвета; никто не осмелился им помешать...

II

На следующее утро часов в одиннадцать Редвуд отправился к Бенсингтону; в руках у него были три вечерние газеты.

Бенсингтон оторвался от унылых размышлений над забытыми страницами самого «увлекательного» романа,

какой только сумели для него подобрать в библиотеке на Бромптон-роуд.

— Есть новости? — спросил он.

— Возле Чартема осы ужалили еще двоих.

— Сами виноваты. Почему они не дали нам окурить гнездо?

— Конечно, сами виноваты,— согласился Редвуд.

— А как с покупкой фермы? Ничего нового?

— Наш агент — настоящая дубина да еще и пустомеля,— сказал Редвуд.— Делает вид, что эту ферму хочет купить кто-то еще — вы же знаете, так всегда бывает,— и не желает понять, что мы спешим. Я пытался ему втолковать, что дело идет о жизни и смерти, а он этак скромно потупился и спрашивает: «Так почему же вы торгуетесь из-за каких-то двухсот фунтов?» Нет уж, я скорее соглашусь всю жизнь жить среди гигантских ос, но не уступлю этому наглому болвану. Я...

И он умолк, не желая портить впечатление от своих слов.

— Хорошо бы, какая-нибудь оса догадалась его...— Бенсингтон не договорил.

— В служении обществу осы смыслят ровно столько же, сколько... агенты по продаже недвижимого имущества,— возразил Редвуд.

Он еще немного поворчал насчет агентов, стряпчих и прочей публики, и суждения его были неразумны и несправедливы,— почему-то очень многие отзываются так о представителях этих достойных профессий.

— Ведь это же нелепо: в нашем нелепом мире мы от врача или солдата всегда ждем честности, мужества и деловитости, а вот стряпчий или агент по продаже недвижимости почему-то может быть жадным жуликом, подлецом и тупицей, и это в порядке вещей.

Наконец Редвуд отвел душу, подошел к окну и стал смотреть на улицу.

Бенсингтон отложил «увлекательный» роман на маленький столик, где стояла электрическая лампа. Затем аккуратно соединил кончики пальцев обеих рук и внимательно посмотрел на них.

— Редвуд,— начал он,— много ли о нас говорят?

— Не так много, как я ожидал.

— И ни в чем нас не обвиняют?

— Ни в чем. Но, с другой стороны, и не принимают никаких мер, а я ведь ясно указал, что нужно делать. Понимаете, я написал в «Таймс» и все объяснил...

— Мы читаем «Дейли Кроникл»,— заметил Бенсингтон.

— И в «Таймсе» на эту тему появилась большая передовица, отлично написанная, первоклассная передовица, украшенная тремя перлами газетной латыни — вроде статус-кво,— и звучит она, как бесплотный глас некоего значительного лица, которое страдает от простуды и головной боли и вещает словно сквозь толстый слой ваты, хотя этот компресс и не приносит ему ни малейшего облегчения. Впрочем, между строк можно прочитать, что газета предлагает называть вещи своими именами и действовать немедленно (а как — неизвестно). В противном случае можно ожидать самых нежелательных последствий,— в переводе с газетного языка на общечеловеческий появятся новые гигантские осы и уховертки. Вот уж поистине статья, достойная государственного мужа!

— А пока гиганты множатся самым отвратительным образом.

— Вот именно.

— А вдруг Скилетт был прав, и уже есть гигантские крысы...

— Ну что вы! Это было бы уж чересчур,— содрогнулся Редвуд.

Он отошел от окна и остановился у кресла, где сидел Бенсингтон.

— Кстати,— начал он, понизив голос,— а как она...

Он указал на закрытую дверь.

— Кузина Джейн? Да она ничего не знает. Она не читает газет и не подозревает, что все эти слухи и разговоры как-то связаны с нами. «Вот еще глупости,— говорит она.— Гигантских ос выдумали! Просто терпенья нет с этими газетами!»

— Нам повезло,— заметил Редвуд.

— Я полагаю, что... миссис Редвуд...?

— Ей сейчас не до газет,— прервал Редвуд.— Она в страшной тревоге за сына. Ведь он все растет.

— Растет?

— Да. За десять дней прибавил почти два с поло-

виной фунта и весит теперь без малого шестьдесят. А ведь ему всего шесть месяцев! Как тут не тревожиться.

— А он здоров?

— На удивление. Нянька просит расчет — уж слишком он больно дерется. И мигом вырастает из всякой одежды, не успеваем шить новую. У коляски сломалось колесо — он для нее слишком тяжел,— и пришлось везти ребенка домой на тележке молочника. Представляете? Собралась толпа зевак... И пришлось отдать ему кровать Джорджины Филис, а она спит в его кроватке. Понятно, мать очень волнуется. Сначала она гордилась таким великаном-сыном и превозносила Уинкласа. Ну, а теперь, видно, чувствует, что тут что-то неладно. Вы-то знаете, в чем дело.

— Мне казалось, вы хотели постепенно уменьшать дозу.

— Пытался.

— Не удалось?

— Поднимает рев. Все дети плачут так, что хоть уши затыкай, говорят, это им даже полезно, а уж тут... ведь он все время получает Гераклеофорбию...

— Да-а.— Бенсингтон повесил голову и еще пристальнее начал разглядывать свои пальцы.

— Все равно нам это не скрыть. Люди прослышат о ребенке-великане, припомнят наших кур и прочих гигантов, и это в конце концов неизбежно дойдет до жены... Что с ней тогда будет, я и вообразить не могу.

— Да, поистине, всего заранее не предусмотришь,— сказал Бенсингтон, снял очки и тщательно их протер.— И ведь это вечная история,— продолжал он.— Мы, ученые,— если мне дозволено претендовать на это звание — всегда трудимся ради результата теоретического, чисто теоретического. Но при этом подчас, сами того не желая, вызываем к жизни новые силы. Мы не вправе их подавлять, а никто другой этого сделать не может. Собственно говоря, Редвуд, все это теперь уже и не в нашей власти. Мы можем только изготовлять Гераклеофорбию...

— А они,— докончил Редвуд, вновь поворачиваясь к окну,— на опыте узнают, что из этого получается.

— Что до событий в Кенте, я больше не намерен из-за них беспокоиться.

— Если только они сами нас не побеспокоят.

— Вот именно. Эта публика до тех пор будет путаться со стряпчими и крючкотворами, ссылаться на законы и важно изрекать благоглупости, пока у них под самым носом не расплодятся новые гигантские паразиты... В нашем мире испокон веков царит великая путаница.

Редвуд чертил в воздухе какую-то сложную кривую.

— Для нас теперь главное — ваш мальчик, Редвуд.

Редвуд повернулся, подошел к своему коллеге и с тревогой заглянул ему в глаза.

— Что вы о нем думаете, Бенсингтон? Вам легче смотреть на все это более трезво. Что мне с ним делать?

— Продолжайте кормить его.

— Гераклеофорбией?

— Да.

— Он будет расти...

— Если судить по цыплятам и осам, он вырастет примерно футов до тридцати пяти... и развиваться будет гармонично.

— Но как он будет жить?

— Вот это и есть самое интересное,— ответил Бенсингтон.

— Черт возьми! С одной одеждой хлопот не оберешься! И потом, когда он вырастет, он окажется единственным Гулливером в мире пигмеев.

Глаза Бенсингтона за золотой оправой очков многозначительно блеснули.

— Почему единственным? — произнес он и повторил еще внушительнее: — Почему же единственным?

— Уж не собираетесь ли вы...

— Я спрашиваю,— перебил мистер Бенсингтон с упорством человека, который наконец-то нашел нужные слова,— почему единственным?

— Вы хотите сказать, что можно и других детей...

— Я ничего не хочу сказать, я только спрашиваю.

Редвуд зашагал из угла в угол.

— Да, конечно,— сказал он,— можно было бы... Но ведь... К чему это приведет?

Бенсингтон, видно, наслаждался своими теоретическими построениями.

— Рассуждая логически, можно предположить, что

и мозг его будет футов на тридцать выше обычного уровня, и это — самое интересное... Что с вами?

Редвуд, стоя у окна, взволнованно провожал глазами тарахтевшую тележку, обклеенную афишками,— каковы последние новости?

— Что с вами? — повторил Бенсингтон, вставая с кресла.

Редвуд вскрикнул.

— Да что такое? — спросил Бенсингтон.

— Бегу за газетой! — бросил Редвуд и шагнул к двери.

— За чем?

— За газетой. Что-то там... Я не совсем понял... гигантские крысы...

— Крысы?

— Да, крысы. Все-таки Скилетт был прав.

— Что́ вы хотите сказать?

— Черт его знает, надо сперва достать газету. Огромные крысы... Господи! Неужели они его съели!

Он поискал глазами шляпу и с непокрытой головой бросился вон из комнаты.

Он сбежал вниз, перескакивая через две ступеньки, а с улицы неслись вопли — мальчишки-газетчики выкрикивали последнюю сенсацию:

«Жуткая драма в Кенте! Жуткая драма в Кенте! Врача съели крысы! Жуткая драма, жуткая драма!.. Крысы! Громадные крысы! Жуткая драма, все подробности!»

III

Коссар, известный инженер-строитель, наткнулся на них в просторном подъезде дома, где жил Бенсингтон: Редвуд читал экстренный выпуск газеты, далеко отставив от себя еще сырой розовый листок, а Бенсингтон, поднявшись на цыпочки, заглядывал через его плечо. Коссар был долговязый, несуразный, грубые руки и ноги кое-как прилажены к массивному туловищу; лицо точно вырезано из дерева, но не докончено, ибо резчик быстро понял, что из этой затеи толку не выйдет. Нос так и остался четырехугольным, нижняя челюсть далеко выдавалась вперед. Дышал Коссар шумно, с натугой. Никто не назвал бы его красавцем. Прямые, как палки, во-

лосы торчали во все стороны. Он был немногословен, но высокий, скрипучий голос его всегда звучал обиженно и сердито. На нем красовались неизменная серая пиджачная пара и шелковый цилиндр.

Пошарив огромной красной ручищей в бездонном кармане, он расплатился с извозчиком и, пыхтя, двинулся вверх по лестнице; в руке он сжимал листок того же экстренного выпуска, словно Зевс-громовержец разящую молнию.

— Что Скилетт? — не замечая Коссара, спрашивал в эту минуту Бенсингтон.

— О нем ничего не сказано,— ответил Редвуд.— Конечно, его съели. Их обоих съели. Вот ужас!.. А-а, Коссар!

— Ваша работа? — грозно вопросил Коссар, размахивая газетой.— Почему же вы этого не прекратите? То есть как это не можете, черт возьми! Что? Вздумали купить эту ферму? Чушь! Сожгите ее! Так я и знал, где уж вам тут справиться! Что теперь делать? Да то, что я велю. Что? Как? Очень просто — сейчас же бегите к оружейнику. Зачем? Да за ружьями. Тут поблизости только один оружейный магазин. Купите восемь ружей! Винтовок. Нет, не для охоты на слонов, те чересчур велики. И не армейские винтовки: эти слишком малы. Скажете ему, что вам надо убить... убить быка. Скажете, для охоты на буйволов! Понятно? Что? Крысы? Боже упаси! Он ничего не поймет... Почему восемь? Потому что так надо. Да возьмите побольше патронов, не вздумайте купить одни винтовки, без патронов. Нет! Сложите все на извозчика и поезжайте... Где это? В Аршоте? Значит, на Черинг-Кросс. Есть какой-то поезд... в общем, где-то в начале третьего. Ну как, управитесь? Вот и отлично. Разрешение на оружие? Возьмите восемь штук разрешений на ближайшей почте. Не перепутайте — на винтовки, а не на охотничьи ружья. Почему? Да это же крысы, приятель! Как вас, Бенсингтон! Телефон у вас есть? Отлично. Я позвоню пятерым друзьям в Илинг. Почему пятерым? Потому что вместе нас будет восемь. Куда вы, Редвуд? За шляпой? Глупости, наденьте мою. Вам сейчас нужны ружья, а не шляпы. Деньги есть? Хватит? Ладно. Отправляйтесь... Ну, где ваш телефон?

Бенсингтон покорно отвел Коссара к телефону.

Коссар поговорил и положил трубку.

— Так, теперь осы,— сказал он.— Тут нужны сера и селитра, это само собой разумеется. И жженый гипс. Вы ведь химик, скажите, где можно достать тоннами серу в мешках? Зачем? Господи, неужели не понятно? Конечно, затем, чтобы окурить гнезда. Сера подойдет, верно? Вы ведь химик. Сера лучше всего, а?

— Пожалуй, да.

— Может, есть что-нибудь покрепче? Что ж, вам виднее. Ладно. Добудьте побольше серы и селитры, чтобы лучше горело. Куда послать? На Черинг-Кросс. Да поживее! Присмотрите за этим сами и поезжайте вслед. Как будто все?

Он на минуту задумался.

— Жженый гипс... любой гипс... замажем гнездо... все отверстия, понятно? Этим я, пожалуй, займусь сам.

— Сколько?

— Чего сколько?

— Серы.

— Тонну. Понятно?

Дрожащей рукой Бенсингтон решительно поправил очки.

— Ясно,— коротко сказал он.

— Есть у вас наличные? — спросил Коссар.— К черту чеки, вас могут там не знать. Платить надо наличными. Само собой разумеется. Где ваш банк? Зайдите туда по дороге и возьмите сорок фунтов бумажками и золотом.

Еще минута раздумья.

— Если ждать, пока наши власти раскачаются, весь Кент полетит в тартарары,— сказал Коссар.— Что же еще? Кажется, все. Эй!

Он помахал огромной ручищей проезжавшему мимо извозчику, и тот с готовностью рванулся к подъезду.

— Поехали, сэр?

— Разумеется,— ответил Коссар.

Бенсингтон, все еще с непокрытой головой, спустился по ступенькам и подошел к коляске. Взялся было за полость и вдруг испуганно глянул на окна своей квартиры.

— Все-таки... надо бы сказать кузине Джейн...

— Успеете сказать, когда вернетесь,— отрезал Коссар и огромной ручищей подтолкнул Бенсингтона в пролетку.

— Башковитые ребята, а практичности ни на грош,— заметил он про себя, когда извозчик отъехал.— Нашел время думать о кузине Джейн! Знаем мы этих кузин! Надоели! Вся страна ими кишит. Придется мне, видно, всю ночь напролет присматривать за этими мудрецами, иначе толку не будет, хоть они и сами знают, что делать. И отчего это они такие? От учености, от кузин или еще от чего?

Так и не решив эту загадку, Коссар задумчиво поглядел на часы и рассудил, что как раз успеет забежать в ресторан и перекусить, а потом уже разыщет жженый гипс и отвезет на Черинг-Кросс.

Поезд отходил в пять минут четвертого, а он приехал на Черинг-Кросс без четверти три и сразу же увидел Бенсингтона, который горячо спорил с двумя полицейскими и возчиком. Редвуд в багажном отделении тщетно пытался выяснить, как можно провезти ящик патронов. Все служащие делали вид, что ничего не знают и ничего не могут разрешить,— на юго-восточной железной дороге всегда так: чем больше вы спешите, тем неповоротливей становятся чиновники.

— Жаль, что нельзя их всех перестрелять и нанять других,— со вздохом пробормотал Коссар.

Но для таких решительных мер времени оставалось слишком мало, и потому он не стал вступать в мелочные пререкания, а откопал где-то в укромном уголке еще одного чиновника,— может быть, это был даже начальник станции,— провел его по всему вокзалу, отдавая распоряжения от его имени, погрузил на поезд всех и вся и отбыл прежде, чем высокое начальство успело сообразить, что участвовало в серьезном нарушении священнейших правил и порядков.

— Кто он такой? — спросило начальство у носильщика, потирая руку, еще ощущавшую тяжелое пожатие Коссаровой десницы, невольно улыбаясь и хмуря брови.

— Уж не знаю, кто такой, а только заправский джентльмен,— отвечал носильщик.— Вся его компания покатила первым классом.

— Ну, кто бы они там ни были, мы ловко от них избавились,— с удовлетворением отметило начальство, все еще потирая руку.

И, возвращаясь к благородному уединению, в котором скрываются от назойливой черни высшие чиновники Черинг-Кросса, начальство жмурилось от непривычки к свету дня и улыбалось приятным воспоминаниям о своей бурной деятельности. Рука все еще болела, зато как отрадно сознавать, что способен проявить такую энергию! Поглядели бы на него сейчас кабинетные писаки, которые вечно придираются к постановке дела на железных дорогах!

IV

К пяти часам вечера Коссар — удивительный человек! — без всякой видимой спешки вывез из Аршота все, что нужно было для сражения с мятежными гигантами, и находился уже на пути в Хиклибрау. В Аршоте он купил два бочонка керосина и воз сухого хвороста, а из Лондона доставил большие мешки серы, восемь ружей для крупной дичи и патроны к ним, три дробовика для ос, топорик, два секача, кирку, три лопаты, два мотка веревок, несколько бутылок пива, виски с содовой, целую кучу пакетов с крысиным ядом и запас провизии на три дня. Все это Коссар ухитрился переправить в угольной тележке и на возу, только ружья и патроны пришлось засунуть под сиденье фургона, нанятого в трактире «Красный лев»; в фургоне ехали Редвуд и пятеро отборных молодцов, прибывших из Илинга по зову Коссара.

Коссар провел все эти операции с самым спокойным и невозмутимым видом, хотя весь Аршот был в смятении и страхе из-за крыс, и возчики заломили неслыханную цену. Все магазины в городе были закрыты, на улицах ни души, и когда он стучал в дверь, то хозяева боязливо выглядывали из окна. Но Коссар ничуть не смущался, словно деловые переговоры так и полагается вести через окно. В конце концов они с Бенсингтоном в придачу к фургону раздобыли в «Красном льве» двуколку и отправились следом. Невдалеке от перекрестка они обогнали багаж и первыми добрались до Хиклибрау.

Бенсингтон сидел в двуколке подле Коссара, держа ружье между колен, и никак не мог прийти в себя от изумления. Правда, Коссар уверял, что всякий на его месте сделал бы то же самое, ибо это все само собой

разумеется, но — увы! — в Англии так редко делают то, что само собой разумеется... Бенсингтон перевел взгляд с ног своего соседа на его решительные руки, державшие вожжи. Коссару явно никогда прежде не приходилось править лошадью, и он избрал линию наименьшего сопротивления и держался середины дороги,— на его взгляд, это, наверно, само собою разумелось.

«Хорошо, если бы мы все делали то, что само собою разумеется! — думал Бенсингтон.— Как далеко продвинулся бы мир по пути прогресса! Почему, например, я не делаю очень многое, что следует и что я сам хочу сделать? Неужели со всеми так? Или это я один такой?»

И он погрузился в туманные размышления о воле и безволии. Он думал о сложных сплетениях ненужных мелочей, из которых состоит повседневная жизнь, и о делах прекрасных и достойных,— так отрадно было бы посвятить себя им, но мешает какая-то непостижимая сила. Кузина Джейн? Да, кузина Джейн играет здесь какую-то тайную, необъяснимую роль. Почему мы должны есть, пить, спать, не жениться, где-то бывать, а где-то не бывать, и все это из уважения к кузине Джейн? Она превратилась в какой-то символ, оставаясь при этом непостижимой!..

Тут на глаза ему попались изгородь и тропинка через поля, и сразу вспомнился другой ясный день, такой недавний и уже такой далекий, когда он спешил из Аршота на опытную ферму, чтобы посмотреть на гигантских цыплят...

Да, все мы игрушки судьбы.

— Ну, пошевеливайся! — покрикивал на лошадь Коссар.

Был жаркий летний полдень, в воздухе ни ветерка, на дороге клубилась густая пыль. Вокруг было безлюдно, лишь олени за оградой парка безмятежно пощипывали траву. И вдруг путники увидели двух огромных ос, объедавших куст крыжовника у самой деревни; еще одна оса ползала перед дверью бакалейной лавчонки в начале улицы: хотела пробраться внутрь. В глубине, за витриной, смутно виднелся лавочник; сжимая в руке старое охотничье ружье, он не спускал глаз с гигантского насекомого. Кучер фургона остановился у трактира «Веселые возчики» и объявил Редвуду, что дальше не поедет.

Остальные кучера дружно его поддержали. Мало того, они отказались оставить нашим путникам и лошадей.

— Эти треклятые крысы страсть как охочи до конины,— твердил тот, что правил тележкой.

Коссар с минуту послушал и принял решение.

— Разгружайте фургон!—приказал он одному из своих людей — механику, высокому, неопрятному блондину.

Тот повиновался.

— Подайте-ка мне дробовик,— продолжал Коссар.

Затем он подошел к возчикам.

— Обойдемся и без вас,— заявил он.— А вот лошадей не отдадим, они нам нужны — и можете говорить, что хотите.

Возчики было заспорили, но Коссар и слушать не стал.

— А полезете в драку — продырявлю вам ноги, и ничего мне за это не будет, потому что самозащита. Лошади пойдут с нами.

На этом он счел инцидент исчерпанным и продолжал командовать.

— Садись на место кучера в повозку, Флэк,— обратился он к коренастому крепышу.— А ты, Бун, займись тележкой.

Возчики подступили к Редвуду.

— Вы сделали, что могли; перед хозяевами ваша совесть чиста,— успокаивал их Редвуд.— Подождите тут, в деревне, мы скоро вернемся. Никто вас ни в чем не обвинит, раз мы вооружены. Очень не хочется прибегать к насилию, но выхода нет, наше дело спешное. Если с лошадьми что-нибудь случится, я вам хорошо заплачу, не беспокойтесь.

— Вот это правильно,— сказал Коссар; сам он не любил ничего обещать.

Фургон оставили в деревне; те, кому не пришлось править лошадьми, двинулись пешком. У каждого за плечом торчало ружье. Зрелище было совершенно необычное для проселочной дороги в Англии и напоминало скорее поход американцев на запад в добрые старые времена покорения индейцев.

Так они брели по дороге, пока не достигли вершины холма,— отсюда видна была опытная ферма. На холме они застали кучку людей, в том числе обоих Фалчеров;

впереди всех стоял какой-то приезжий из Мейдстоуна и разглядывал ферму в бинокль; у двоих-троих были ружья.

Все они обернулись и уставились на вновь прибывших.

— Что нового? — спросил Коссар.

— Осы всё летают взад-вперед,— ответил Фалчер-старший.— Никак не разберу, тащат они что-нибудь или нет.

— Между сосен появилась настурция,— сказал наблюдатель с биноклем.— Еще утром ее здесь не было. Растет прямо на глазах.

Он вынул носовой платок и сосредоточенно протер стекла.

— Вы, верно, туда? — спросил, набравшись храбрости, Скелмерсдейл.

— Не хотите ли присоединиться? — спросил Коссар.

Скелмерсдейл, казалось, колебался.

— Мы идем на всю ночь.

Скелмерсдейла это не соблазнило.

— А крыс не видали? — спросил Коссар.

— Утром одна бегала под соснами, верно, за кроликами охотилась.

Коссар пустился догонять своих.

Только теперь, вновь увидев ферму, Бенсингтон понял всю чудодейственную силу Пищи. Сперва ему пришло в голову, что дом на самом деле меньше, чем ему помнилось, гораздо меньше; потом он заметил, что вся растительность между домом и лесом достигла необычайных размеров. Навес над колодцем едва маячил в толще высокой, в добрых восемь футов, травы, а настурция обвилась вокруг дымовой трубы, и жесткие усики ее, казалось, рвались прямо в небо. Ярко-желтые пятна цветов отчетливо виднелись даже на таком далеком расстоянии. Толстый зеленый канат тянулся по проволочной сетке загона для гигантских цыплят; он перекинулся на две соседние сосны и обхватил их могучими кольцами стеблей. Весь двор позади сарая зарос крапивой, поднявшейся чуть ли не до половины сосен. По мере того как люди подходили ближе, им начинало казаться, что они — жалкие карлики и идут к кукольному домику, забытому в заброшенном саду великана.

В осином гнезде кипела жизнь. Огромный черный рой висел в воздухе над ржавым холмом за сосновой рощей; осы одна за другой то и дело отрывались от него, молниеносно взмывали вверх, устремляясь к какой-то дальней цели. Их гудение разносилось на полмили от опытной фермы. Одно желто-полосатое чудище остановилось в воздухе над головами наших охотников и с минуту висело так, разглядывая непрошеных гостей огромными выпученными глазами; Коссар выстрелил, но промахнулся, и оса улетела. Справа, в конце поля, несколько ос ползало по обглоданным костям,— это были останки ягненка, которого крысы приволокли с фермы Хакстера. Когда отряд подошел ближе, лошади начали беспокоиться, не слушаясь неопытных возчиков; пришлось приставить к каждой лошади еще по человеку, чтобы понукать ее и вести под уздцы.

Наконец подошли к дому; крыс нигде не было видно, вокруг, казалось, царили покой и тишина; только от осиного гнезда доносилось гудение, то нарастающее, то приглушенное.

Лошадей завели во двор, и один из спутников Коссара вошел в дом; всю середину двери выгрызли острые зубы. Никто вначале не заметил его отсутствия, все были заняты разгрузкой бочек с керосином; но вдруг в доме раздался выстрел, и мимо просвистела пуля. Бум-бум!— грянуло из обоих стволов; первая пуля пробила насквозь бочонок с серой и подняла столб желтой пыли. Какая-то тень метнулась мимо Редвуда, и он выстрелил. Он успел заметить широкий зад, длинный хвост крысы и задние лапы с узкими подошвами — и выстрелил из второго ствола. Животное сбило с ног Бенсингтона и исчезло за углом.

Все схватились за ружья. Минут пять продолжалась беспорядочная пальба, жизнь всех и каждого была в опасности. В пылу битвы Редвуд совсем забыл о Бенсингтоне и бросился в погоню за крысой, но тут чья-то пуля пробила стену, на него посыпались обломки кирпича, штукатурка, гнилые щепки, и он растянулся во всю длину.

Очнулся Редвуд, сидя на земле, лицо и руки у него были в крови. Кругом стояла странная тишина.

Потом в доме послышался глухой голос:

— Ну и ну!

— Эй! — окликнул Редвуд.

— Эй! — отозвался голос и, помедлив, спросил: — Крысу убили?

Тут только Редвуд вспомнил о друге.

— А что с Бенсингтоном? Он ранен?

Но человек в доме, видно, не расслышал.

— Сам не знаю, как в меня не попало,— ответил он.

Редвуд понял, что собственными руками застрелил Бенсингтона. Забыв про свои царапины и раны, он вскочил и кинулся на поиски. Бенсингтон сидел на земле и потирал плечо, он поглядел на Редвуда поверх очков.

— Ну и всыпали мы ей, Редвуд! — сказал он.— Она хотела перескочить через меня и сбила меня с ног. Но я успел послать ей вдогонку заряд из обоих стволов. Ф-фу, как болит плечо!

Из дома вышел еще один охотник.

— Я попал ей в грудь и в бок,— сказал он.

— А где наши пожитки? — спросил Коссар, выходя из зарослей гигантской настурции.

К изумлению Редвуда, убить никого не убило, а перепугавшиеся лошади протащили повозку и угольную тележку ярдов за пятьдесят от дома и, сцепившись колесами, остановились в бывшем огороде Скилетта, где теперь все несусветно разрослось и перепуталось. В этих дебрях они и застряли. На полдороге в облаке желтой пыли валялся разбившийся при падении бочонок серы. Редвуд указал на него Коссару и двинулся к лошадям.

— Кто видел, куда девалась крыса? — крикнул Коссар, идя за ним.— Я попал ей между ребер, а потом она повернулась, хотела кинуться на меня, и я попал еще в морду.

Пока они старались распутать постромки и высвободить колеса, подошли еще двое.

— Это я ее убил,— сказал один из них.

— А ее нашли? — спросил Коссар.

— Джим Бейтс нашел, за изгородью. Я выстрелил в упор, когда она выскочила из-за угла. Прямо под лопатку...

Когда повозки и груз немного привели в порядок, Редвуд пошел взглянуть на крысу. Огромное бесформенное тело лежало на боку, слегка свернувшись. Острые

зубы алчно торчали над нижней челюстью, но было в этом чудище что-то необыкновенно жалкое. Крыса не казалась ни свирепой, ни страшной. Передние лапы напоминали исхудалые руки. На шее виднелись две круглые дырочки с обожженными краями — пуля прошла насквозь,— а больше никаких ран не было. Редвуд постоял, подумал.

— Видно, их было две,— сказал он наконец, отходя к остальным.

— Наверно. И та, в которую все стреляли, должно быть, ушла.

— Уж я-то ручаюсь, что мой выстрел...

Но тут подвижный усик настурции в поисках опоры ласково склонился к говорившему, и тот поспешно отступил.

Из осиного гнезда по-прежнему неслось громкое гуденье.

V

Все случившееся заставило наших охотников насторожиться, но не сломило их решимости.

Они втащили в дом свои припасы — после бегства миссис Скилетт крысы, видно, здесь основательно похозяйничали,— и затем четверо увели лошадей обратно в Хиклибрау. Дохлую крысу перетащили через изгородь в такое место, где ее видно было из окон, и тут в канаве наткнулись на кучу гигантских уховерток. Уховертки кинулись было наутек, но Коссар успел прикончить несколько штук своими ножищами в грубых башмаках и прикладом ружья. Потом за домом срубили пять-шесть стволов настурции — это были настоящие бревна, два фута в поперечнике,— и пока Коссар прибирал в доме, чтобы здесь можно было провести ночь, Бенсингтон, Редвуд и один из их помощников, электротехник, осторожно осматривали все загоны в поисках крысиных нор.

Они далеко обходили заросли гигантской крапивы: ее листья были усеяны ядовитыми шипами длиною не меньше дюйма. Наконец у забора, за изгрызенной и сломанной лестницей, они наткнулись на огромную яму, нечто вроде входа в пещеру, откуда несло ужасающим смрадом. Все трое невольно сгрудились вместе.

— Надеюсь, они оттуда выйдут,— заметил Редвуд, бросая взгляд на заросший травой колодец.

— А если нет?.. — отозвался Бенсингтон.

— Выйдут! — повторил Редвуд.

Постояли, поразмыслили.

— Если мы туда полезем, придется взять с собой фонарь,— сказал наконец Редвуд.

Они двинулись по песчаной тропинке через сосновую рощу и скоро очутились невдалеке от осиных гнезд.

Солнце уже садилось, и осы возвращались на ночлег; в золоте заката их крылья казались трепетным ореолом. Выглядывая из-за толстых сосен — выходить на опушку что-то не хотелось,— три охотника смотрели, как громадные насекомые падали вниз, затем на брюхе медленно вползали в гнездо и исчезали.

— Часа через два они совсем затихнут,— сказал Редвуд.— Будто опять становишься мальчишкой!..

— Отверстия громадные,— сказал Бенсингтон.— Промахнуться невозможно, даже если ночь будет темная. Кстати, насчет освещения...

— Сегодня будет полная луна,— ответил электротехник.— Я нарочно посмотрел.

Они пошли советоваться с Коссаром.

Тот сказал, что серу, селитру и гипс, само собой разумеется, надо пронести через лес засветло; поэтому они вскрыли бочонки, наполнили мешки и потащили. Несколько последних громогласных распоряжений—и больше никто уже не говорил ни слова; и когда замерло гуденье уснувших ос, в мире наступила тишина; ее нарушал только звук шагов да прерывистое дыхание людей, несущих тяжелую ношу, да изредка с глухим стуком падали на землю мешки. Таскали все по очереди, за исключением Бенсингтона,— ясно было, что носильщик из него никакой. С ружьем в руках он стал на вахту в бывшей спальне Скилеттов и не спускал глаз с убитой крысы, а все остальные по очереди отдыхали от тасканья мешков и попарно сторожили крысиные норы у зарослей крапивы. Семенные коробочки гигантского сорняка уже созрели и время от времени лопались с треском, громким, точно пистолетные выстрелы, и тогда семена, как мелкая дробь, осыпали часовых.

Мистер Бенсингтон уселся у окна в жесткое крес-

ло, набитое конским волосом и покрытое грязной салфеточкой, которая долгие годы придавала светский лоск гостиной Скилеттов. Непривычное ружье он прислонил к подоконнику и то косился из-за очков туда, где в сгущающихся сумерках темнела туша убитой крысы, то обводил задумчивым взглядом комнату. Со двора тянуло керосином — один из бочонков дал трещину,—к этому запаху примешивался более приятный аромат срубленной настурции.

А в доме еще попахивало пивом, сыром, гнилыми яблоками, над этими обычными, домашними запахами главенствовал затхлый запах старой обуви, и все это остро напомнило Бенсингтону исчезнувшую чету Скилеттов. Он оглядел тонувшую в полумраке комнату. Мебель сильно пострадала: видно, тут потрудилась какая-то любопытная крыса,— но куртка на крючке, вбитом в дверь, бритва, клочки грязной бумаги и давно высохший, обратившийся в окаменелость кусок мыла настойчиво вызывали в памяти яркую личность Скилетта. И Бенсингтон вдруг живо представил себе, что Скилетта загрызло и съело — или, во всяком случае, в этом участвовало — то самое чудовище, которое теперь бесформенной грудой валяется в темноте у забора.

Подумать только, к чему может привести такое, казалось бы, невинное открытие в химии!

Не где-нибудь, а в своей родной, уютной Англии сидит он с ружьем в темном, полуразрушенном доме, ему грозит смертельная опасность, он бесконечно далек от тепла и уюта и у него адски болит плечо — у этого ружья сильнейшая отдача... Бог ты мой!

Только теперь Бенсингтон понял, как изменился для него извечный порядок мироздания. Очертя голову он кинулся в этот безумный эксперимент и *даже не сказал ни слова кузине Джейн!*

Что-то она теперь о нем думает?

Бенсингтон попытался представить себе это, но не смог. Странное дело, ему начало казаться, будто они расстались навсегда и больше не увидятся. Стоило ему сделать лишь один шаг, и он вступил в новый мир — необъятный и необозримый. Какие еще чудища скрываются в густеющей тьме? Шипы гигантской крапивы грозными копьями чернеют на зеленовато-оранжевом фоне закат-

ного неба. И так тихо вокруг... Поразительно тихо. Почему не слышно людей? Ведь они недалеко, за углом дома. В тени сарая теперь было черным-черно...

. . . .

Грянул выстрел... другой... третий...

Прокатилось эхо, кто-то крикнул.

Долгая тишина.

И опять грохот и замирающее эхо.

И тишина...

Наконец-то! Из немого мрака вышли Редвуд и Коссар.

— Бенсингтон! — кричал Редвуд.— Мы пристукнули еще одну крысу! Коссар уложил еще одну!

VI

К тому времени, как охотники поужинали, настала ночь. Ярко сияли звезды, и небо над Хэнки бледнело, возвещая о появлении луны. У крысьих нор по-прежнему стояли часовые, они только поднялись немного по склону холма: стрелять оттуда было безопаснее и удобнее. Они сидели на мокрой, росистой траве и пытались обсушиться обильными возлияниями виски. Остальные отдыхали в доме, три главных героя держали со своими спутниками совет о предстоящем сражении. К полуночи взошла луна, и, как только она поднялась над холмами, все, кроме часовых, под предводительством Коссара гуськом двинулись к осиным гнездам.

Справиться с гнездами гигантских ос оказалось до смешного легко и просто, ничуть не труднее, чем с обыкновенными осиными гнездами, только это заняло больше времени. Конечно, опасность была смертельная, но она так и не успела высунуть жало. Входы засыпали серой и селитрой, наглухо замуровали гипсом и подожгли фитили. Потом все разом, кроме Коссара, кинулись бежать под укрытие деревьев; но, убедившись, что Коссар не двинулся с места, остановились шагов за сто и сбились в кучку в глубокой лощине. На несколько минут лунная ночь, расчерченная черно-белыми бликами, наполнилась гуденьем, оно все нарастало, перешло в яростный рев, потом оборвалось — и в ночи воцарилась такая тишина, что в нее даже трудно было поверить.

— Ей-богу, все кончено! — прошептал Бенсингтон.

Люди напряженно прислушивались. В лунном свете над черными тенями сосен отчетливо, как днем, вставал холм — казалось, он совсем белый, точно снегом покрыт. Затвердевший гипс, которым были замазаны входы в осиное гнездо, так и сверкал. Перед охотниками замаячила нескладная фигура: к ним шел Коссар.

— Кажется, пока что...

Бум... Трах!

Где-то возле дома грянул выстрел, и затем — тишина.

— Это еще что? — спросил Бенсингтон.

— Наверно, крыса высунулась из норы,— предположил кто-то.

— А наши ружья остались там,— спохватился Редвуд.

— Да, у мешков.

Они опять двинулись к холму.

— Конечно, это крысы,— сказал Бенсингтон.

— Само собой разумеется,— отозвался Коссар, грызя ногти.

Трах!

— Что такое? — встревожился кто-то.

Крик, два выстрела, еще крик — почти вопль, три выстрела один за другим и треск ломающегося дерева. Все эти звуки донеслись издалека — отчетливые и все же ничтожные в безмерной тишине ночи. Опять короткое затишье, какая-то приглушенная возня у крысиных нор и снова отчаянный крик... Все, не помня себя, кинулись за ружьями.

Еще два выстрела.

Когда Бенсингтон опомнился, оказалось, он бежит через лес с ружьем в руке, а среди сосен мелькают спины бегущих впереди. Любопытно, что в эту минуту его занимала только одна мысль — видела бы его сейчас кузина Джейн! Его ноги в шишковатых изрезанных башмаках делали огромные прыжки, лицо скривилось в подобии усмешки — сморщил нос, чтобы не соскользнули очки. Направив дуло ружья вперед, на неведомую цель, мчался он среди лунного света и черных теней.

И вдруг охотники столкнулись с человеком, опрометью бегущим навстречу. Это оказался один из часовых, но ружья у него не было.

— Эй! — крикнул Коссар, хватая его за плечи.— Что случилось?

— Они вылезли все сразу,— ответил тот.

— Крысы?

— Да. Шесть штук.

— А где Флэк?

— Он упал.

— Что он говорит?—задыхаясь, спросил Бенсингтон, подбегая к ним.— Флэк упал?

— Да.

— Они все вылезли одна за другой.

— Как это?

— Выскочили прямо на нас. Я сразу выстрелил из обоих стволов.

— Вы оставили Флэка там?

— Они все кинулись на нас.

— Пойдем,— сказал Коссар.— И ты иди с нами. Покажешь, где Флэк.

Все двинулись дальше. Беглец на ходу рассказывал о недавней схватке. Все теснились вокруг него, один Коссар шагал впереди.

— Где же крысы?

— Наверно, опять ушли в норы. Я удрал, а они кинулись назад в норы.

— Как же это? Вы зашли им в тыл?

— Мы спустились вниз, к норам. Увидели, что они вылезают, и хотели отрезать им путь. Тогда они запрыгали, точь-в-точь как кролики. Мы побежали с холма и давай стрелять. После первого выстрела они разбежались, а потом как кинутся... Прямо на нас.

— Сколько же их было?

— Шесть или семь.

На опушке леса Коссар приостановился.

— Ты думаешь, они сожрали Флэка? — спросил кто-то часового.

— Одна догнала его.

— Что ж ты не стрелял?

— Как же мне было стрелять?

— Ружья у всех заряжены? — крикнул Коссар через плечо.

Ружья были заряжены.

— Как же Флэк...— сказал кто-то.

— Ты думаешь, Флэк...

— Не теряйте времени! — И Коссар бросился вперед.— Флэк! Флэк! — звал он.

Все поспешили за ним к крысиным норам; недавний беглец держался немного позади всех. Они шли сквозь гигантские сорняки; тут валялась вторая убитая крыса, люди обходили ее. Шли, растянувшись извилистой цепочкой, держа ружья на изготовку, и до боли в глазах всматривались в прозрачную лунную ночь, чтобы не пропустить зловещую тень или лежащее на земле тело. Вскоре они нашли ружье, впопыхах брошенное тем, кто сбежал.

— Флэк! — кричал Коссар.— Флэк!

— Он бежал мимо крапивы и там упал,— подсказал беглец.

— Где?

— Где-то там.

— Где он упал?

Беглец нерешительно повел их наперерез длинным черным теням, но вскоре остановился и обернулся, лицо у него было озабоченное.

— Кажется, здесь.

— Но его здесь нет!

— А его ружье...

— Черт возьми! — с сердцем выругался Коссар.— Куда же все подевалось?

Он шагнул по направлению к склону холма, где в густой черной тени скрывались норы, и остановился, вглядываясь. И снова выругался.

— Если они уволокли его в нору...

Некоторое время все стояли, перекидываясь отрывочными словами. Бенсингтон переводил взгляд с одного на другого, очки его сверкали, как алмазы. Лица людей то отчетливо проступали в холодном свете луны, то уходили в тень и таинственно расплывались. Все что-то говорили, но никто не заканчивал свою мысль. Но вот Коссар решился. Несуразно размахивая руками, он отдавал короткие распоряжения. Выяснилось, что ему нужны лампы. Все, кроме него, двинулись к дому.

— Вы полезете в эти норы? — спросил Редвуд.

— Само собой разумеется,— отвечал Коссар.

И повторил: пускай снимут фонари с двуколки и с тележки и принесут ему.

Наконец Бенсингтон понял, что нужно делать, и по дорожке, огибавшей колодец, пошел к дому. Оглянулся и увидел: Коссар — огромный, неподвижный — задумчиво разглядывает крысиные норы. Бенсингтон остановился и чуть было не повернул назад: Коссара оставили одного...

Впрочем, Коссар и без нянек обойдется.

И вдруг Бенсингтон слабо вскрикнул. Из темных зарослей настурции вынырнули три крысы и кинулись к Коссару. Прошла секунда-другая, прежде чем Коссар их заметил, и тут — откуда взялись быстрота и натиск! Он не стрелял — целиться было некогда, некогда и думать об этом. Крыса прыгнула, он пригнулся, увертываясь, и тотчас обрушил на ее голову страшный удар прикладом. Чудовище подскочило в воздух, перевернулось и рухнуло наземь.

Коссар наклонился и исчез в зарослях, но тотчас же появился вновь: он гнался теперь за другой крысой, яростно размахивая ружьем. До Бенсингтона донесся слабый крик, и он увидел, что две оставшиеся в живых крысы со всех ног удирают обратно в нору, а Коссар мчится за ними.

Все это было странно и неправдоподобно, в обманчивом свете луны метались огромные, причудливые тени. Коссар то вырастал до невероятных размеров, то исчезал во мраке. Крысы то делали гигантские прыжки, то пускались бегом, так быстро перебирая ногами, словно катились на колесиках. Вся эта схватка не на жизнь, а на смерть длилась, наверно, полминуты. Бенсингтон был единственным ее свидетелем. Он слышал, как остальные, ничего не подозревая, уходили к дому. Бенсингтон выкрикнул что-то нечленораздельное и побежал к Коссару, но крысы уже исчезли.

Он догнал Коссара у самых нор. В лунном свете лицо инженера было невозмутимо, словно ничего не произошло.

— Ну, что? — спросил Коссар.— Уже вернулись? А где же фонари? Крысы попрятались обратно в норы. Одной я свернул шею, когда она пробегала мимо. Вон там, видите? — И он ткнул длинным пальцем в сторону.

Бенсингтон не мог вымолвить ни слова: он был потрясен.

Фонарей не было целую вечность. Наконец вдали засветился немигающий яркий глаз, перед ним качался желтый сноп света; потом, подмигивая и вновь разгораясь, показались еще два. С ними приближались маленькие фигурки, они негромко перекликались и отбрасывали чудовищные тени. В бескрайней призрачной лунной пустыне словно двигался крошечный пылающий оазис.

— Флэк...— слышалось оттуда.— Флэк...

Потом донеслось объяснение:

— Он заперся на чердаке.

Бенсингтон с возрастающим изумлением смотрел на Коссара. Тот заткнул уши огромными кусками ваты. Зачем, спрашивается? Потом зарядил ружье тройным зарядом — кто еще до этого додумался бы? И, наконец,— чудо из чудес! — полез в самую большую нору, и вот уже видны только огромные подошвы его башмаков.

Коссар полз на четвереньках, вокруг шеи он перекинул веревку, на которой волочились за ним два ружья. Самому надежному из его помощников — маленькому человечку с мрачным смуглым лицом — велено было идти следом, согнувшись в три погибели, и держать над его головой фонарь. Все это выглядело просто, ясно и понятно, будто так и надо,— прямо как сон сумасшедшего! Вата в ушах понадобилась, видимо, чтобы не оглохнуть от грохота выстрелов. Маленький человечек тоже заткнул уши. Само собой разумеется, покуда крысы убегают от Коссара, они не могут причинить ему вреда, а как только они повернутся, он увидит их горящие глаза — и будет бить между глаз. А поскольку нора узкая, как труба, промахнуться невозможно. Коссар уверял, что это самый верный способ, пожалуй, немного утомительный, зато надежный. Когда помощник нагнулся, чтобы войти в нору, Бенсингтон увидел, что к полам его куртки привязан конец веревки, моток которой остался в руках у кого-то из товарищей. Это на случай, если придется вытаскивать из норы убитых крыс.

Тут Бенсингтон заметил, что держит в руках шелковый цилиндр Коссара.

Как он сюда попал?

Что ж, останется на память.

У остальных нор сторожили по два-три человека, внутренность каждой норы освещал поставленный на землю фонарь, и стрелки, стоя на коленях, целились в черную тьму перед собой, готовые выстрелить, как только из этой тьмы вынырнет зверь.

Долгое, томительное ожидание...

И вдруг раздался первый выстрел Коссара, словно взрыв в шахте глубоко под землей...

У всех напряглись нервы и мускулы, и вот опять — бац, бац! Крысы пытались прорваться к выходу, и еще две были убиты. Потом человек, державший в руках моток веревки, объявил, что она дергается.

— Он там убил крысу и хочет ее вытащить,— пояснил Бенсингтон.

Он смотрел, как веревка разматывается и исчезает в норе: казалось, она вдруг ожила и задвигалась сама собой, потому что мотка не было видно в темноте. Наконец она остановилась, и все замерло в ожидании. А потом Бенсингтону померещилось, что из норы выползает какое-то невиданное чудище, но это оказался маленький помощник Коссара, который пятился задом. За ним, прорывая глубокие борозды в земле, вылезли башмачищи Коссара и, наконец, его освещенная фонарем спина...

В живых осталась теперь только одна крыса, несчастное, обреченное существо; она забилась в самый дальний угол норы, и не так-то просто было ее достать. Но Коссар с фонарем полез туда снова и убил ее. А потом этот фокстерьер во образе человеческом облазил все норы и окончательно убедился, что они пусты.

— Мы их уничтожили,— объявил он наконец потрясенным спутникам, смотревшим на него с благоговением.— Эх, безмозглый я осел! Не догадался, надо было раздеться хотя бы до пояса. Разумеется! Пощупайте мои рукава, Бенсингтон! Весь взмок, хоть выжми. Ну, всего не предусмотришь. Надо выпить побольше виски, а то еще схвачу простуду.

VII

В ту удивительную ночь Бенсингтону минутами казалось, что сама природа создала его для жизни, полной

приключений. Эта мысль владела им всего сильнее целый час после того, как он хватил изрядную порцию виски.

— Не вернусь я на Слоун-стрит,— доверительно сообщил он одному из инженеров, высокому неряшливому блондину.

— Вот как?

— И не думайте,— подтвердил Бенсингтон и загадочно покачал головой.

Тащить семь дохлых крыс на погребальный костер, разложенный подле зарослей гигантской крапивы,— нелегкая работа. Бенсингтона прошиб пот, и Коссар объявил, что только виски может спасти его от неминуемой простуды. В старой кирпичной кухне на скорую руку устроили походный ужин, а за окном, у загонов, виднелись под луной разложенные в ряд убитые крысы. Коссар дал своему войску полчаса передышки и вновь повел его на приступ: впереди было еще много работы.

— Само собой разумеется,— сказал он,— здесь нельзя оставить камня на камне. Нет следов, нет и шума. Понятно?

Он уверил их, что ферму надо попросту сровнять с землей. Все, что было в доме деревянного, разбили и раскололи на щепки; все гигантские растения обложили хворостом и щепой; наконец, соорудили гекатомбу из дохлых крыс и щедро полили ее керосином.

Бенсингтон работал, как вол. К двум часам ночи он почувствовал прилив восторженной энергии. В упоении он так размахивал топором, сокрушая все вокруг, что даже самые храбрые из его сотоварищей поспешили убраться подальше. Правда, потом он потерял очки, и это несколько охладило его пыл, но вскоре они нашлись в боковом кармане пиджака.

Вокруг сновали люди, хмурые и энергичные, а Коссар повелевал ими, словно некое божество.

Бенсингтон упивался чувством, что и он частица этого дружного братства,— эту радостную общность знают воины победоносных армий, путешественники в трудных походах, но ее не суждено испытать горожанам, живущим трезвой, размеренной жизнью. Когда Коссар отобрал у него топор и велел носить щепки, Бенсингтон принялся столь же ретиво трудиться на новом поприще, при-

говаривая, что все они «славные ребята». Он долго не замечал усталости, но и потом все равно не сдавался.

Наконец все было готово, и они откупорили бочку керосина. Уже брезжил рассвет, редкие звезды погасли, и высоко в небе светила одинокая луна.

— Жгите все,— приговаривал Коссар, подходя то к одному, то к другому.— Все дотла, подчистую. Понятно?

В бледном свете занимавшегося дня он промелькнул мимо с пылающим факелом в руке, упрямо выпятив подбородок, и тут Бенсингтон заметил, что их бог измучен и страшен.

— Пойдемте отсюда,— сказал кто-то и потянул Бенсингтона за руку.

Предрассветная тишина — ее не нарушало даже щебетание птиц — вдруг сменилась прерывистым треском; быстрое красноватое пламя побежало по основанию гекатомбы, потом голубые языки его лизнули землю и начали карабкаться от листа к листу по стеблю гигантской крапивы. Потом в треск дерева влилась высокая певучая нота...

Охотники похватали свои ружья, стоявшие в углу гостиной Скилеттов, и кинулись бежать. Позади всех тяжело шагал Коссар.

А потом они стояли в отдалении и глядели на опытную ферму. Там все кипело; дым и пламя, словно охваченные ужасом, рвались из всех окон и дверей, из всех многочисленных щелей и трещин в доме и на крыше. Кто-кто, а Коссар умел разводить костер! Огромный столб дыма, разбрасывая во все стороны кроваво-красные языки пламени, устремился к небесам. Казалось, это вдруг поднялся во весь рост невиданный великан, распростер руки и охватил все небо. Казалось, вернулась ночь, клубы дыма совсем затмили свет восходящего солнца. Гигантский столб дыма вскоре заметили все жители Хиклибрау и полуодетые, кто в чем, высыпали на холм, навстречу охотникам.

Дым, словно сказочный гриб, качался и рос, поднимаясь выше, выше, прямо в небо, и все внизу под ним казалось мелким и ничтожным, а на его фоне виновники этого переполоха во главе с Коссаром — восемь крошеч-

ных черных фигурок — устало шагали по лугу, вскинув ружья на плечо.

Бенсингтон на ходу оглянулся, и в его измученном мозгу зазвучали давно знакомые слова... Как бишь там? «Вы зажгли сегодня... зажгли сегодня...»

Потом он вспомнил, что это такое. Латимер[1] сказал когда-то: «Мы зажгли сегодня в Англии такую свечу, которую никто на свете не в силах будет погасить...»

Но что за человек этот Коссар! Бенсингтон с восхищением смотрел на его спину и гордился тем, что подержал его шляпу. Да, гордился, хотя он был выдающимся ученым-исследователем, а Коссар занимался всего лишь прикладными науками!

На Бенсингтона внезапно напала неудержимая зевота, его начало знобить, и он с нежностью подумал о своей квартирке на Слоун-стрит: хорошо бы сейчас очутиться в мягкой постели, под теплым одеялом! (Впрочем, о кузине Джейн лучше и не вспоминать!) Бенсингтон еле волочил ноги, колени его подгибались. Неужели в Хиклибрау никто не угостит их чашкой горячего кофе! Наверно, уже добрых тридцать три года ему не случалось бодрствовать ночь напролет.

VII

Пока восемь отважных охотников сражались с крысами на опытной ферме, в девяти милях оттуда, в деревне Чизинг Айбрайт, носатая старуха при мигающем свете свечи пыталась справиться с иными заботами. Узловатой рукой она сжимала консервный ключ, другой рукой придерживала банку Гераклеофорбии: жива не буду, а банку открою, решила она. И она трудилась, не щадя себя, ворча при каждой новой неудаче, а через тонкую перегородку доносился неумолчный плач маленького Кэддлса.

— Ах, ты мой бедняжка! — приговаривала миссис Скилетт и, решительно прикусив губу своим единственным зубом, с новой яростью набрасывалась на банку.— Ну, открывайся же!

---

[1] Латимер — один из основателей протестантства в Англии, заживо сожженный в Оксфорде в 1555 году.

Наконец крышка с треском отлетела вверх, и новый запас Пищи богов вырвался на свет божий, чтобы распространять в мире новые семена Гигантизма.

ГЛАВА IV

ГИГАНТСКИЕ ДЕТИ

I

Теперь забудем хотя бы на время о событиях на опытной ферме и их последствиях, которые все ширились, как круги по воде, ибо гигантские грибы и поганки, травы и сорняки долго еще росли и распространялись вокруг этого выжженного, но не до конца уничтоженного очага зла. Не станем также рассказывать о том, как две уцелевшие гигантские курицы — злополучные старые девы, которым суждено было удивлять мир,— провели остаток дней своих в безрадостной славе, так и не произведя на свет ни одного цыпленка. Читатели, которые жаждут подробностей, могут обратиться к газетам того времени — обширным, бесстрастным отчетам этого современного Летописца. Мы же последуем за мистером Бенсингтоном в самую гущу событий.

Возвратясь в Лондон, он вдруг обнаружил, что стал невероятно знаменит. За одну ночь весь окружающий мир проникся почтением к нему. Все открыли, что он герой дня. Кузина Джейн, видно, уже все знала, и каждый встречный и поперечный тоже все знал, а газеты знали все и даже больше. Конечно, очень страшно было показаться на глаза кузине Джейн, но потом выяснилось, что бояться нечего. Эта милая особа, видно, убедилась, что факты—вещь упрямая и с ними ничего не поделаешь, и примирилась с Пищей как с неким стихийным бедствием.

Итак, кузина Джейн стала в позу оскорбленной невинности. Она явно не одобряла происходящее, но ничего не запрещала. Бегство Бенсингтона — а именно так она истолковала его исчезновение,— очевидно, потрясло ее, и она ограничилась тем, что ожесточенно, день и ночь, выхаживала его от простуды, которую он так и не под-

хватил, и от усталости, о которой он давно забыл; она купила ему новоизобретенное гигиеническое шерстяное белье, которое очень напоминало высшее общество: оно то и дело выворачивалось наизнанку, и к нему так же трудно было приспособиться, тем более человеку рассеянному. Итак, насколько позволяли вышеуказанные обстоятельства, Бенсингтон еще некоторое время участвовал в совершенствовании Пищи богов — этой новой движущей силы в истории человечества.

Общественное мнение, пути которого неисповедимы, объявило Бенсингтона единственным создателем и производителем этого нового чуда природы. Редвуда оно не признавало и равнодушно предоставило скромному по природе Коссару усиленно заниматься полюбившимся ему делом в тиши и безвестности. А мистер Бенсингтон и оглянуться не успел, как его, что называется, разобрали на части, разложили по полочкам и выставили на самом видном месте для всенародного обозрения. Его лысина, румяные щеки и золотые очки стали всеобщим достоянием. Время от времени к нему заявлялись необыкновенно решительные молодые люди, увешанные большущими и, наверно, очень дорогими фотографическими аппаратами; они хозяйничали в доме недолго, но весьма успешно, ослепляли всех вспышками магния, который надолго заполнял квартиру невыносимым зловонием, и быстро исчезали, чтобы заполнить страницы своих газет и журналов превосходными фотографиями мистера Бенсингтона во весь рост в одном из его лучших пиджаков и в башмаках с разрезами. Нередко на Слоун-стрит заглядывали и другие столь же решительные лица обоего пола и всех возрастов, болтали всякую всячину про Чудопищу — первым ее назвал так журнал «Панч»,— а затем спешили тиснуть интервью, приписывая мистеру Бенсингтону свои же собственные слова. Известный юморист Бродбим просто помешался на новом открытии. Оно оказалось для него одним из тех «проклятых» вопросов, которых он никак не мог понять, и он лез из кожи вон, силясь уничтожить Пищу богов своими злыми остротами. Грузный и неуклюжий, с одутловатым лицом, носившим явные следы ночных кутежей, он появлялся то в одном, то в другом клубе и внушал каждому, кого удавалось ухватить за пуговицу:

— Да поймите же, все эти ученые начисто лишены чувства юмора. В том-то и дело! Эта окаянная наука убивает юмор!

Его насмешки над Бенсингтоном постепенно превратились в злобную клевету.

Предприимчивая контора газетных вырезок прислала Бенсингтону длиннейшую статью о нем из дешевого еженедельника, озаглавленную «Новый ужас», и предложила снабдить его еще сотней таких развлекательных статеек всего за одну гинею. А однажды к нему явились с визитом две совершенно незнакомые, но неотразимо прелестные молодые дамы, к немому возмущению кузины Джейн, остались пить чай, а потом прислали ему свои альбомы с просьбой написать им что-нибудь на память. Вскоре наш ученый муж перестал обращать внимание на то, что пресса связывает его имя со всякими нелепыми выдумками, а в обзорах появляются статьи о Чудопище и о нем самом, написанные в чрезвычайно интимном тоне людьми, о которых он в жизни не слыхал. И если в те давние дни, когда он был безвестен и ничуть не знаменит, он втайне и мечтал о славе и ее радостях, то теперь эти иллюзии рассеялись, как дым.

Впрочем, вначале общественное мнение, если не считать Бродбима, вовсе не было настроено враждебно. Мысль, что Гераклеофорбия снова может вырваться на волю, возникала разве что в шутку. И никому не приходило в голову, что нескольких малюток уже кормят Пищей богов и скоро они перерастут человечество. Широкая публика развлекалась карикатурами на видных общественных деятелей, подкормленных Гераклеофорбией, всякого рода афишками и поучительными зрелищами, вроде выставленных напоказ мертвых ос, избежавших сожжения, и уцелевших кур.

Дальше этого общественное мнение не шло и вперед не заглядывало; и даже когда предприняты были настойчивые попытки заставить его задуматься о дальнейших последствиях удивительного открытия, расшевелить его оказалось нелегко. «Каждый день приносит что-нибудь новенькое,— равнодушно говорила публика, до того пресыщенная новшествами, что никто, наверно, не удивился бы, узнав, что земной шар разрезали пополам, как яблоко.— Поглядим, что будет дальше».

Однако вне широкой публики нашлись два-три человека, которые догадались заглянуть подальше в будущее и испугались того, что увидели. Так, молодой Кейтэрем, родич графа Пьютерстоуна, весьма многообещающий политический деятель, рискуя прослыть чудаком, опубликовал в журнале «Девятнадцатое столетие и грядущие века» большую статью, в которой призывал окончательно и бесповоротно запретить Гераклеофорбию. Надо сказать, что опасения подчас одолевали и самого Бенсингтона.

— По-моему, они не понимают...— говорил он Коссару.

— Конечно, нет.

— А мы? Как подумаю иной раз, к чему это может привести... Бедный сынишка Редвуда!.. И ваши трое... Ведь они, пожалуй, вытянутся футов до сорока... Да полно, надо ли нам продолжать?

— Надо ли продолжать! — воскликнул Коссар, и вся его нелепая фигура выразила крайнюю степень изумления, а голос зазвучал еще пронзительнее, чем всегда.— Конечно, надо! А для чего вы существуете на свете? Неужели только для того, чтобы зевать от завтрака до обеда и от обеда до ужина?

— Серьезные последствия?—взвизгнул он.— Конечно! Еще какие! Само собой разумеется! Само собой! Да поймите же, раз в жизни выпал вам случай вызвать серьезные изменения в мире! И вы хотите его упустить!— Он запнулся, не в силах выразить свое возмущение.— Это просто грешно!— вымолвил он наконец и повторил с яростью: — Грешно!

Но Бенсингтон работал теперь в своей лаборатории без прежнего увлечения. Нрава он был спокойного и не так уж сильно жаждал серьезных изменений в мире. Конечно, Пища—удивительное открытие, просто удивительное, но... Он уже оказался владельцем нескольких акров выжженной, опустошенной земли возле Хиклибрау; она обошлась ему чуть ли не по девяносто фунтов за акр, и временами ему казалось, что это — достаточно серьезное последствие теоретической химии, с такого скромного человека, пожалуй, хватит. Правда, он еще и знаменит — страх как знаменит. Достиг такой славы, что с него вполне довольно, даже с избытком.

Но он был исследователь и слишком привык служить науке... И выдавались такие минуты, редкие, правда,— обычно это бывало в лаборатории,— когда Бенсингтон работал не только в силу привычки или благодаря уговорам Коссара. Этот маленький человечек в очках сидел на высоком стуле, обхватив его ножки ногами в суконных башмаках с разрезами, сжимал в руке пинцет для мелких разновесов — и мгновениями вновь озаряла его мечта юности, и опять верилось, что вечно будут жить и расти идеи, зерно которых зародилось в его мозгу. Где-то в облаках, за уродливыми происшествиями и горестями настоящего, виделся ему грядущий мир гигантов и все великое, что несет с собой будущее,— видение смутное и прекрасное, словно сказочный замок, внезапно сверкнувший на солнце далеко впереди... А потом это сияющее видение исчезало без следа, словно его и не бывало, и опять впереди маячили лишь зловещие тени, пропасти и тьма, и холодные дикие пустыни, населенные ужасными чудовищами.

II

Среди сложных и запутанных происшествий — отзвуков огромного внешнего мира, создавшего мистеру Бенсингтону славу,— понемногу выступила яркая и деятельная фигура, которая стала в глазах мистера Бенсингтона олицетворением всего, что творилось вокруг. Это был доктор Уинклс, самоуверенный молодой врач, уже упоминавшийся в нашем повествовании, тот самый, через которого Редвуд давал Пищу богов своему сынишке. Еще до того, как разразилась сенсация, таинственный порошок очень заинтересовал этого джентльмена, а как только появились сообщения о гигантских осах, он без труда сообразил, что к чему.

Доктор Уинклс был из тех врачей, о которых, судя по их нравственным принципам, методам, поведению и внешности, говорят очень точно и выразительно: «Этот далеко пойдет». Это был крупный, белесый блондин с холодными светло-серыми глазами, настороженными и непроницаемыми, с правильными чертами лица и волевым подбородком. Он был всегда безупречно выбрит, держался прямо; движения энергичные, походка быстрая, пружинистая; он носил длинный сюртук, черный

шелковый галстук и строгие золотые запонки, а его цилиндры — какой-то особенной формы и с особенными полями — были ему очень к лицу и еще прибавляли солидности и внушительности. Возраст его трудно было определить. А когда вокруг Пищи богов поднялся шум, он присосался к Бенсингтону, к Редвуду и к самой Пище; при этом у него был такой уверенный хозяйский вид, что даже Бенсингтону временами начинало казаться, будто Уинклс и есть первооткрыватель и изобретатель, хоть в газетах и пишут совсем другое.

— Всякие досадные случайности ничего не значат,— сказал Уинклс, когда Бенсингтон намекнул ему, что опасается новой утечки Пищи: как бы не было беды.— Это пустяки. Важно открытие. Если с ним правильно обращаться, осторожно применять и разумно контролировать, то... то наша Пища может стать просто феноменальным средством... Но нам нельзя выпускать ее из поля зрения. Мы должны держать ее в руках, но... но не годится, чтобы она пропадала втуне.

Да, оставлять ее втуне Уинклс явно не собирался. Он бывал теперь у Бенсингтона чуть не каждый день. Выглянет Бенсингтон из окна, а элегантный экипаж Уинклса уже катит по Слоун-стрит; кажется, минуты не прошло — и вот Уинклс уже входит в комнату своим быстрым, энергичным шагом и сразу же заполняет ее своей персоной, вытаскивает свежую газету и принимается рассказывать новости, приправляя их собственными комментариями.

— Ну-с,— начинал он, потирая руки,— каковы наши успехи? — И, не дожидаясь ответа, выкладывал подряд все, что о них говорили в городе.

— Знаете ли вы,— сообщал он, например,— что Кейтэрем выступал по поводу нашей Пищи в Обществе ревнителей церкви?

— Бог ты мой!— изумлялся Бенсингтон.— Ведь он как будто родня премьер-министру?

— Да,— отвечал Уинклс.— Способный юноша, очень способный. Правда, он ярый реакционер и необыкновенно упрям, но очень способный. И, видимо, намерен составить себе капиталец на нашем открытии. Весьма горячо взялся за дело. Речь шла о нашем предложении испробовать Пищу в начальных школах.

— Как? Когда мы это предлагали?

— Да я на днях вскользь упомянул об этом на маленьком совещании в Политехническом. Пытался объяснить им, что Пища в самом деле очень полезна и совершенно безопасна, хотя вначале и случались мелкие неприятности... осы и прочее. Но ведь с этим покончено раз и навсегда. А Пища и в самом деле очень полезна... Ну, он и придрался.

— Что еще вы говорили?

— Так, совершенные пустяки. Но, как видите, он-то все принял всерьез. Считает, что это угроза обществу. Уверяет, что на начальные школы и без того попусту тратятся огромные деньги. Повторяет старые анекдоты об уроках музыки и прочую чепуху. Пускай, мол, дети низших сословий получают образование, какое соответствует их положению, никто у них этого не отнимает, а вот дать им такую Пищу — значит вскружить им головы. Ну, и так далее. Разве, мол, это пойдет на благо обществу, если бедняки будут тридцати шести футов ростом! И знаете, он в самом деле уверен, что они дорастут до тридцати шести футов.

— Так оно и будет, если регулярно кормить их нашей Пищей,— подтвердил Бенсингтон.— Но ведь никто ни о чем таком не заикался...

— Я заикался.

— Но, дорогой мой Уинклс...

— Конечно, они будут большие,— прервал Уинклс с таким видом, словно он все это знает наизусть и наивность Бенсингтона ему просто смешна.— Вне всякого сомнения. Но вы послушайте, что он говорит: станут ли они от этого счастливей? Это его главный козырь. Забавно, правда? Станут ли они от этого лучше? Станут ли больше уважать законную власть? Да и справедливо ли так обращаться с детьми? Забавно, что люди вроде Кейтэрема всегда ратуют за справедливость, но только в отдаленном будущем. Даже в наши дни, говорит он, многим родителям не под силу одеть и прокормить детей, а что же будет, если им позволят дорасти до таких размеров! Как вам это нравится?

Понимаете, каждое мое мимоходом брошенное слово он выдает за деловое предложение. И сразу начинает высчитывать, сколько будет стоить пара брюк для маль-

чишки футов двадцати ростом. Будто он и в самом деле верит... И приходит к выводу, что если только-только соблюсти приличия — и то не меньше десяти фунтов стерлингов. Забавный этот Кейтэрем! Такой трезвый ум! И, конечно, говорит, расплачиваться за все придется честному труженику-налогоплательщику. И еще говорит, мы обязаны уважать права родителей. Вот тут все это написано черным по белому. Две колонки. Каждый родитель имеет право требовать, чтобы его дети были такого же роста, как и он сам...

Потом Кейтэрем поднимает вопрос о школьной мебели — сколько, мол, будут стоить огромные классы и парты, а ведь наши школы и без того обходятся государству недешево. И все для чего? Для того, чтобы пролетариат состоял из голодных великанов. А в конце статьи он совершенно серьезно заявляет, что даже если безумное предложение—это мое-то брошенное вскользь замечание, да еще и превратно истолкованное! — даже если это предложение насчет школ и не пройдет, то все равно нужно быть начеку. Пища, мол, эта странная, уж такая странная, чуть ли не греховная. С нею, мол, обращались очень неосторожно, и нет никакой гарантии, что это не повторится. А если вы хоть раз ее отведали, то волей-неволей должны принимать ее и дальше, не то отравитесь.

— Так оно и есть,— вставил Бенсингтон.

— Короче говоря, он предлагает образовать Национальное Общество Охраны Надлежащих Пропорций. Странно звучит, а? Они там сразу ухватились за эту идею.

— Но чем же будет заниматься это Общество?

Уинклс пожал плечами и развел руками.

— Организуется и начнет шуметь,— ответил он.— Они хотят именем закона запретить производство Гераклеофорбии или хотя бы всякие сообщения о ней. Я кое-что написал об этом, доказывал, что Кейтэрем преувеличивает силу воздействия нашей Пищи, просто делает из мухи слона, но это не помогло. Даже удивительно, как все вдруг на нее ополчились! Между прочим, и Национальное Общество Трезвости и Умеренности основало филиал под девизом: Умеренность в росте.

— М-да-а,— протянул Бенсингтон и подергал себя за нос.

— Конечно, после происшествий в Хиклибрау этого следовало ожидать. Непривычных людей Пища просто-напросто пугает.

Уинклс походил по комнате, постоял в нерешительности — и отбыл.

Стало ясно, что есть у него что-то на уме, какая-то задняя мысль, и он только и ждет удобной минуты, чтобы высказаться. Однажды, когда у Бенсингтона был и Редвуд, Уинклс приоткрыл им свои тайные планы.

— Ну-с, как дела? — спросил он, по обыкновению потирая руки.

— Составляем нечто вроде доклада.

— Для Королевского общества?

— Да.

— Гм,— глубокомысленно промычал Уинклс и направился к камину.— Гм... А нужно ли это? Вот в чем вопрос.

— То есть?

— Нужно ли публиковать этот доклад?

— Так ведь у нас не средние века,— возразил Редвуд.

— Это я знаю.

— Как говорит Коссар, обмен идеями — вот истинно научный метод.

— В большинстве случаев — конечно. Но... это случай исключительный.

— Мы представим доклад Королевскому обществу, как и положено,— сказал Редвуд.

Позднее Уинклс опять вернулся к этому разговору.

— Все-таки Пища — во многих отношениях исключительное открытие.

— Это неважно,— ответил Редвуд.

— Оно может породить серьезные злоупотребления... Чревато серьезными опасностями, как выражается Кейтэрем.

Редвуд промолчал.

— И даже простая небрежность тоже чревата... А вот если бы нам образовать комиссию из самых надежных людей для контроля над производством Чудо-пищи... то есть Гераклеофорбии... мы могли бы...

Он умолк, но Редвуд, втайне чувствуя себя неловко,

все же сделал вид, будто не заметил его вопросительной интонации.

Всюду и везде (только не в присутствии Редвуда и Бенсингтона) Уинклс, хоть и знал для этого слишком мало, выступал в роли главного авторитета по Чудо-пище. Он писал письма в ее защиту, сочинял записки и статьи, в которых разъяснял ее возможности, и совершенно не к месту вскакивал на заседаниях научных и медицинских обществ, чтобы высказаться о ней; словом, всячески старался показать, что он и Пища нераздельны. Наконец он напечатал брошюру под названием «Правда о Чудо-пище», где постарался представить в самом безобидном свете все, что произошло в Хиклибрау. Нелепо даже думать, утверждал он, будто Чудо-пища может довести рост человека до тридцати семи футов, это—«явное преувеличение». Конечно, люди станут немного повыше, но и только...

Двум ученым друзьям было ясно одно: Уинклс непременно хочет участвовать в изготовлении Гераклеофорбии; он готов был читать любые корректуры для любых газет и изданий, которые печатали материалы о Чудо-пище,— одним словом, всячески старался проникнуть в тайну ее изготовления. Опять и опять он твердил им обоим, что понимает, какая это огромная сила и какие огромные у нее возможности. Но ее создатели непременно должны как-то себя «обезопасить»... В конце концов он напрямик спросил, как они ее изготовляют.

— Я тут обдумывал ваши слова,— начал Редвуд.

— И что же? — оживился Уинклс.

— Вы говорили, что такое открытие может породить серьезные злоупотребления,— напомнил Редвуд.

— Да. Но я не понимаю, какая связь...

— Самая прямая,— ответил Редвуд.

Несколько дней Уинклс обдумывал этот разговор. Потом пришел к Редвуду и заявил, что чувствует себя не вправе давать его сыну порошок, о котором сам ничего не знает; ведь это означает брать на себя неоправданную ответственность. Тут Редвуд, в свою очередь, призадумался.

Между тем Уинклс заговорил о другом:

— Вы заметили? Общество борьбы с Чудо-пищей заявило, что оно насчитывает уже несколько тысяч членов.

Они внесли законопроект и уговорили молодого Кейтэрема провести его в парламенте; он охотно согласился. Они так и рвутся в бой. Организуют в округах комитеты, чтобы влиять на кандидатов. Хотят добиться, чтобы нельзя было изготовлять и хранить Гераклеофорбию без особого на то разрешения,— это будет караться законом. А если кто-нибудь станет кормить Чудо-пищей (так они ее называют) лицо, не достигшее совершеннолетия, значит, он уголовный преступник и его засадят в тюрьму, и даже нельзя будет отделаться штрафом. Но появились еще и параллельные общества. Состав у них самый пестрый. Говорят, Общество Охраны Исконно Национальных Размеров хочет ввести в правление мистера Фредерика Гаррисона,— он ведь написал этакое изящное эссе, утверждает, что слишком большой рост — это пошло и грубо и в корне противоречит учению Огюста Конта о путях развития человечества. Даже восемнадцатый век — век заблуждений — не докатывался до таких крайностей. Конту мысль о подобной Пище и в голову не приходила, а отсюда ясно, что затея эта дурна и греховна. Ни один человек, говорит Гаррисон, который действительно понимает Конта...

— Но неужели...— прервал Редвуд: он так встревожился, что даже забыл на миг о своем презрении к Уинклсу.

— Ничего этого они не сделают,— ответил Уинклс,— но общественное мнение остается общественным мнением, и голоса избирателей остаются голосами. Все видят, что от вашей выдумки одно беспокойство. А человек — это существо, которое не любит, чтобы его беспокоили. Когда Кейтэрем кричит, что люди будут тридцати семи футов ростом и не смогут войти в церковь, или в молитвенный дом, или в какое-либо общественное здание или учреждение, потому что они там не поместятся, ему вряд ли кто верит, и все-таки всем становится не по себе. Все чувствуют, что тут что-то есть... что это не простое открытие.

— Что-то есть во всяком открытии,— заметил Редвуд.

— Как бы там ни было, люди волнуются. Кейтэрем долбит, как дятел, одно и то же: а вдруг Пища опять вырвется из-под контроля и опять начнутся всякие ужасы. Я не устаю повторять, что этого быть не может и не будет, но... Вы же знаете, каковы люди!

Уинклс еще некоторое время пружинисто шагал по комнате, словно собираясь опять заговорить о секрете изготовления Пищи, но потом вдруг передумал и откланялся.

Ученые переглянулись. Несколько минут говорили только глаза. Наконец Редвуд решился.

— Что ж,— с нарочитым спокойствием сказал он,— на худой конец я буду давать Пищу моему маленькому Тедди собственными руками.

III

Прошло всего несколько дней, и, раскрыв утреннюю газету, Редвуд увидел сообщение о том, что премьер-министр намерен создать Королевскую комиссию по Чудо-пище. С газетой в руке Редвуд помчался к Бенсингтону.

— Я уверен, это все проделки Уинклса. Он играет на руку Кейтэрему. Без конца болтает о Пище и о ее последствиях и только будоражит людей. Если так будет продолжаться, он повредит нашим исследованиям. Ведь даже сейчас... когда у нас такие неприятности с моим малышом...

Бенсингтон согласился, что это очень дурно со стороны Уинклса.

— А вы заметили, что он теперь тоже называет ее только Чудо-пищей?

— Не нравится мне это название,— сказал Бенсингтон, глядя на Редвуда поверх очков.

— Зато для Уинклса в нем вся суть.

— А чего он, собственно, к ней прицепился? Он же тут совершенно ни при чем.

— Понимаете, он старается ради рекламы,— сказал Редвуд.—Я-то плохо понимаю, для чего это. Конечно, он тут ни при чем, но все начинают думать, что он-то ее и выдумал. Разумеется, это не имеет значения...

— Но если они от этой невежественной, нелепой болтовни перейдут к делу...— начал Бенсингтон.

— Мой Тедди уже не может обойтись без Пищи,— сказал Редвуд.— Я тут ничего не могу поделать. На худой конец...

Послышались приглушенные пружинистые шаги, и посреди комнаты, по обыкновению потирая руки, возник Уинклс.

— Почему вы всегда входите без стука? — спросил Бенсингтон, сердито глядя поверх очков.

Уинклс поспешно извинился.

— Я рад, что застал вас здесь,— сказал он Редвуду.— Дело в том...

— Вы читали об этой Королевской комиссии? — прервал его Редвуд.

— Да,— ответил Уинклс, на минуту растерявшись.— Да.

— Что вы об этом думаете?

— Превосходная мысль,—сказал Уинклс.—Комиссия прекратит весь этот крик и шум. Разрешит все сомнения. Заткнет глотку Кейтэрему. Но я пришел не за этим, Редвуд. Дело в том...

— Не нравится мне эта Королевская комиссия.— сказал Бенсингтон.

— Все будет в порядке, уверяю вас. Могу вам сообщить — надеюсь, это не сочтут разглашением тайны,— что я, возможно, тоже войду в состав комиссии.

— Гм-м,— промычал Редвуд, глядя в огонь.

— Я могу все повернуть, как надо. Могу доказать, что, во-первых, эту самую Пищу совсем нетрудно держать под контролем, и, во-вторых, что катастрофа вроде той, какая произошла в Хиклибрау, просто не может повториться, разве только чудом. А такое авторитетное заявление — это именно то, что нужно. Конечно, я мог бы говорить с большей убежденностью, если бы знал... но это так, к слову. А сейчас я хотел бы с вами посоветоваться, тут встает один небольшой вопрос. М-м... Дело в том, что... Собственно... Я оказался в несколько затруднительном положении, и вы могли бы мне помочь.

Редвуд удивленно поднял брови, но в душе обрадовался.

— Дело... м-м... совершенно секретное.

— Говорите, не бойтесь,— подбодрил Редвуд.

— Недавно моим попечениям вверили ребенка... м-м... ребенка одной... м-м... высокопоставленной особы.

Уинклс откашлялся.

— Мы вас слушаем,— сказал Редвуд.

— Признаться, тут немалую роль сыграл ваш порошок... и ведь широко известно, как я вылечил вашего малыша... Что скрывать, многие сейчас настроены

очень враждебно по отношению к Пище... И все же среди наиболее разумных людей... Но действовать нужно осторожно, понимаете? Очень постепенно. И, однако, ее светлость... я хочу сказать, моя новая маленькая пациентка... Собственно, это предложил ее отец... Сам я никогда бы не...

Редвуд с изумлением заметил, что Уинклс смущен.

— А я думал, вы сомневались, следует ли применять этот порошок,— сказал он.

— Это было минутное сомнение.

— И вы не собираетесь прекратить...

— В отношении вашего малыша? Конечно, нет!

— Насколько я понимаю, это было бы убийством.

— Я бы ни за что на это не пошел.

— Вы получите порошок,— сказал Редвуд.

— А не могли бы вы...

— Нет,— сказал Редвуд.— Никаких рецептов не существует. Простите за откровенность, Уинклс, но напрасно вы стараетесь. Я приготовлю порошок сам.

— Что ж, мне все равно,— буркнул Уинклс, метнув злобный взгляд на Редвуда.— Да, все равно.— И, чуть помедлив, прибавил: — Уверяю вас, меня это ничуть не огорчает.

IV

Когда Уинклс ушел, Бенсингтон стал перед камином и посмотрел на Редвуда.

— Ее светлость,— задумчиво сказал он.

— Ее светлость,— откликнулся Редвуд.

— Это принцесса Везер-Дрейбургская!

Ни много, ни мало, троюродная сестра.

— Редвуд,— сказал затем Бенсингтон,— я знаю, это смешно, но... как, по-вашему, Уинклс понимает?

— Что именно?

— Понимает он, что это такое? — Бенсингтон невидящими глазами уставился на дверь и понизил голос.— Понимает он по-настоящему, что в семействе... в семействе его новой пациентки...

— Ну, ну,— поторопил Редвуд.

— В семействе, где все испокон веку были несколько... несколько ниже...

— Ниже среднего роста?

— Да. И вообще в этой семье все всегда были уж так скромны, решительно ничем не выделялись... а он собирается вырастить августейшую особу совершенно выдающуюся... такого... такого роста! Знаете, Редвуд, боюсь, тут есть что-то... это почти государственная измена.

Он перевел глаза на Редвуда.

— Вот, ей-богу, он ничего не понимает!— воскликнул Редвуд и погрозил камину пальцем.— Этот человек вообще ничего не знает и не понимает. Меня это злило, еще когда он был студентом. Ничего не понимает. Он сдавал все экзамены, запоминал все факты, а знаний у него было ровно столько же, сколько у книжной полки, на которой стоит Британская энциклопедия. Он и теперь ничего не знает и не понимает. Такой Уинклс способен воспринять только то, что прямо и непосредственно касается его великолепной персоны. Он начисто лишен воображения, а потому не способен к познанию. Лишь такой безнадежный тупица и может сдать столько экзаменов, так хорошо одеваться и стать таким преуспевающим врачом. То-то и оно! Он все слышал, все видел, мы ему обо всем говорили,— и, однако, он совершенно не понимает, что́ натворил. У него в руках Чудо, на Чудо-пище он уже заработал себе чудо-имя, а теперь кто-то допустил его к августейшему ребенку, и он поистине делает чудо-карьеру! И ему, разумеется, не приходит в голову, что перед семейством Везер-Дрейбургов скоро встанет огромной трудности задача — принцесса ростом в тридцать с лишком футов... но где уж ему до этого додуматься!

— Будет страшный скандал,— заметил Бенсингтон.

— Да, примерно через год.

— Как только увидят, что она все растет и растет.

— Разве что постараются это скрыть... Так всегда делается...

— Такое не спрячешь, это не иголка.

— Да́ уж!..

— Что же они будут делать?

— Они никогда ничего не делают — королевским семействам это не подобает.

— Ну, что-то предпринять все-таки придется.

— Может быть, она сама найдет выход?

— О господи! Вот это да!

— Они ее запрячут подальше. Такие случаи в истории бывали.— И Редвуд вдруг совсем некстати захохотал.— Ее громаднейшая светлость! Резвое дитя в Железной маске! Им придется посадить ее в самую высокую башню родового замка Везер-Дрейбургов, она будет расти все выше и выше,— и они будут пробивать потолки, этаж за этажом... Что ж, я и сам в таком же положении. А Коссар со своими тремя мальчуганами? А... ну и ну.

Но Бенсингтон не смеялся.

— Будет страшный скандал,— повторил он.— Просто ужасный. Хорошо ли вы все это обдумали, Редвуд? Может быть, разумнее предупредить Уинклса? Может быть, постепенно отлучим вашего малыша от Пищи и... и удовольствуемся чисто теоретическими выкладками?

— Посидели бы вы полчасика у нас в детской, когда Пища чуть запаздывает,— по-другому бы заговорили!— с досадой сказал Редвуд.— Предупредить Уинклса — ну нет! Раз уж нас захватило течением — страшно не страшно, а придется плыть.

— Значит, придется,— ответил Бенсингтон, задумчиво уставясь на носки своих башмаков.— Да. Придется плыть. И вашему малышу придется плыть и мальчикам Коссара — он кормит Пищей всех троих. Коссар не признает полумер — все или ничего. И ее светлости придется. И всем вообще. Мы будем и дальше готовить Пищу. И Коссар тоже. Ведь это только самые первые шаги, Редвуд. Нам еще многое предстоит, это ясно. Впереди величайшие события, невероятные... Я себе и представить не могу, Редвуд... Вот только одно...

Он принялся разглядывать свои ногти, потом сквозь очки кротко поглядел на Редвуда.

— А знаете,— сказал он,— в иные минуты я склонен думать, что Кейтэрем прав. Наша Пища опрокинет все соотношения и пропорции в мире. Она изменит... Да она все на свете изменит!

— Что бы она там ни меняла, а мой малыш должен и дальше ее получать,— сказал Редвуд.

На лестнице послышались торопливые тяжелые шаги, и в дверь просунулась голова Коссара.

— Ого! — сказал он, поглядев на их лица, и вошел.— Что у вас тут стряслось?

Они рассказали ему о принцессе.

— Трудная задача? — вскричал он.— Ничего подобного! Она будет расти, только и всего. И ваш мальчик тоже. И все, кому дают Пищу, будут расти. Как на дрожжах. Ну и что же? В чем загвоздка? Так оно и должно быть. Ясно даже младенцу. Что вас смущает?

Друзья попытались объяснить ему.

— Прекратить?! — завопил Коссар.— Да вы что? Даже если бы вы и захотели — шалишь! Вам теперь податься некуда. И Уинклсу податься некуда. Так оно и должно быть. А я-то не мог понять, что надо этому проныре. Теперь ясно. Ну и в чем дело? Нарушит пропорции? Разумеется. Изменит все на свете? Непременно. В конечном счете — перевернет всю жизнь, судьбы человеческие. Ясно, как апельсин. Они попытаются все это остановить, но они уже опоздали. Они всегда опаздывают. А вы гните свое и делайте больше Пищи, как можно больше. Благодарите бога, что не зря живете на земле.

— А столкновение интересов? — возразил Бенсингтон.— А социальные конфликты? Вы, видно, не представляете себе...

— Мямля вы, Бенсингтон,— сказал Коссар, —размазня. Этакий талантище, даже страшно, а воображает, что все его назначение в жизни — пить, есть и спать. Для чего, по-вашему, создан мир — чтобы в нем хозяйничали старые бабы? Ну, да теперь уж ничего не попишешь, придется вам делать свое дело.

— Боюсь, что вы правы,— вздохнул Редвуд.— Понемножку...

— Нет! — оглушительно крикнул Коссар.— Никаких «понемножку»! Давайте побольше Пищи, да поскорее! Засыпьте ею весь мир!

В своем возбуждении он даже сострил — взмахнул рукой, как бы изображая *кривую, вычерченную* некогда Редвудом.

— Помните, Редвуд? Вот так, только так!

V

Как видно, и материнской гордости есть предел; миссис Редвуд достигла его в тот день, когда ее отпрыск, едва ему исполнилось шесть месяцев, проломил свою

дорогую колясочку и с громким ревом прибыл домой на тележке молочника. Весил он в то время пятьдесят девять с половиной фунтов [1], ростом был сорока восьми дюймов и мог поднять шестьдесят фунтов. Наверх в детскую его тащили вдвоем — кухарка и горничная. После этого случая стало ясно, что не сегодня-завтра разоблачения не миновать.

Однажды, вернувшись из лаборатории, Редвуд застал свою несчастную жену за чтением увлекательнейшего журнала «Могущественный атом»; она тотчас отшвырнула журнал, кинулась к мужу и разразилась слезами.

— Скажи, что ты сделал с ребенком! — рыдала она у него на груди.— Что ты с ним сделал?!

Редвуд обнял ее и повел к дивану; надо было как-то оправдываться.

— Не волнуйся, дорогая,— приговаривал он.— Не волнуйся. Ты немного переутомилась. Просто коляска была дрянная. Я уже заказал для него крепкое кресло на колесах, и завтра...

Миссис Редвуд подняла на мужа заплаканные глаза.

— Кресло на колесах? Для такого крошки? — всхлипнула она.

— А почему бы и нет?

— Как будто он калека!

— Не калека, а юный великан, и ты напрасно этого стыдишься.

— Ты что-то сделал с ним, Денди,— сказала она.— Я по твоему лицу вижу.

— Ну, во всяком случае, это не помешало ему расти,— безжалостно ответил Редвуд.

— Так я и знала! — воскликнула миссис Редвуд и скомкала в руке платок. Взгляд ее стал жестким и подозрительным.— Что ты сделал с нашим ребенком?

— А что тебя беспокоит?

— Он такой огромный. Он просто чудовище.

— Чепуха. Складный, крепкий ребенок. Что тебя тревожит?

— Посмотри, какой он громадный.

— Ну и что же? А ты посмотри, сколько кругом

[1] Английский фунт — 453,6 грамма.

жалких недоростков! Прекрасный ребенок, другого такого поискать...

— Слишком прекрасный, — возразила миссис Редвуд.

— Так будет недолго,— успокоил муж.— Это только начало такое бурное.

Но он отлично знал, что так будет еще долго — ребенок будет расти и расти. Так оно и вышло. Когда мальчику исполнился год, ему недоставало только дюйма до пяти футов роста, а весил он сто пятнадцать фунтов. Теперь он был точь-в-точь херувим на соборе святого Петра в Риме, а после того, как он несколько раз играючи ухватил за волосы и за нос любопытных, приходивших на него взглянуть, о его силе заговорил весь Западный Кенсингтон. Поднять его на руки было невозможно, в детскую и обратно его возили на инвалидном кресле, а для прогулок была нанята особая нянька — эта мускулистая, специально обученная девица вывозила его на прогулку в сделанной на заказ моторной коляске мощностью в восемь лошадиных сил, вроде тех, что предназначены для подъема в горы. Хорошо, что Редвуд, в дополнение к своим ученым занятиям, был еще и правительственным техническим экспертом и сохранил кое-какие связи.

Конечно, размеры юного Редвуда в первую минуту поражали,— говорили мне люди, чуть не каждый день смотревшие, как он неторопливо катил в своей коляске по Гайд-парку,— но только опомнишься от удивления — и видишь, что вообще-то он на редкость смышленый и красивый ребенок. Он почти никогда не плакал, и незачем было затыкать ему рот соской. Обычно он сжимал в руках большущую погремушку и время от времени весело и дружелюбно кричал «да-да» и «ба-ба» кучерам проезжавших мимо парка омнибусов и стоявшим на посту полицейским.

— Глядите, вон ребенок-великан, его выкормили Чудо-пищей,— говорили кучера омнибусов пассажирам.

— Видно, парнишка здоровый,— откликался кто-нибудь, сидевший поближе.

— Его кормят из бутылки,— объяснял кучер.— Говорят, в нее влезает целый галлон, на заказ делали.

— Как ни верти, а парнишка, видно, здоровущий,— заключал пассажир.

Когда миссис Редвуд убедилась, что ребенок не перестает расти все так же стремительно,— а по-настоящему она это поняла, увидев новую коляску для прогулок,— неистовое отчаяние охватило ее. Она кричала, что отныне ноги ее не будет в детской, лучше бы ей умереть, раз у нее такой ребенок, и лучше бы ребенку умереть, и пускай все умрут, и зачем только она вышла замуж за Редвуда, и вообще зачем только женщины выходят замуж. Потом она немного притихла, и удалилась к себе, и просидела три дня взаперти, питаясь одним куриным бульоном. Редвуд пытался ее урезонить, но она только рыдала, швыряла на пол подушки и рвала на себе волосы.

— Да ведь с малышом ничего плохого не случилось,— уговаривал Редвуд.— Для него же лучше, что он большой. Неужели ты хочешь, чтобы он был меньше других?

— Я хочу, чтобы он был такой же, как все дети, ни больше, ни меньше. Я хотела, чтобы он был обыкновенным милым и хорошим ребенком, как наша Джорджина Филис, я хотела вырастить хорошего сына, а он вон какой...— Голос несчастной женщины дрогнул.— Уже взрослые ботинки носит... и гулять его возят в этой ужасной ма... машине, и она воняет бе... бензином! Я никогда не смогу его любить,— рыдала она,— никогда! Это уж чересчур! Какая я ему мать!

Наконец ее все-таки уговорили пойти в детскую, где Эдвард Монсон Редвуд (Пантагрюэлем его прозвали позднее) с увлечением раскачивался в специально укрепленном кресле-качалке и весело гукал и улыбался до ушей. Сердце миссис Редвуд не выдержало, она бросилась к сыну, прижала его к себе и заплакала.

— Они что-то сделали с тобой, сыночек,— всхлипывала она,— и ты будешь все расти и расти, но что бы ни говорил твой отец, я все равно постараюсь воспитать тебя как полагается.

И Редвуд (вместе с домочадцами он не без труда привел ее в детскую) вздохнул с облегчением и отправился по своим делам.

Да, вот он, женский характер! Нелегкая это задача — быть мужчиной!

VI

К концу того же года на улицах западной части Лондона появились и еще моторные коляски для детей. Мне говорили, что их было одиннадцать, но достоверные сведения есть только о шести. По-видимому, Гераклеофорбия на различные организмы действовала поразному. Ее не сразу научились вводить путем подкожных впрыскиваний, а между тем оказалось, что очень многие дети совершенно неспособны усваивать ее обычным путем, как всякую другую пищу. Уинклс, например, пробовал давать ее своему младшему сыну, но тот оказался столь же неспособен к бурному росту, как (по уверениям Редвуда) его отец — к познанию. Были случаи, когда Гераклеофорбия вредила детям, и они умирали от каких-то странных болезней,— так по крайней мере утверждало Общество борьбы с Чудо-пищей. А вот сыновья Коссара мгновенно пристрастились к чудесному порошку.

Конечно, такого рода открытие не может войти в жизнь человечества без всяких осложнений; рост, в частности,— процесс очень сложный, и тут при обобщениях не избежать неточностей. Но в целом действие Пищи можно определить так: если организм ее в том или ином виде усваивает, она во всех случаях стимулирует его развитие примерно одинаково. Рост увеличивается раз в шесть-семь, не больше, сколько бы Пищи вы ни вводили. А избыточное введение Гераклеофорбии, как оказалось, вызывает патологические расстройства пищеварения, рак и другие опухоли, окостенение суставов и иные заболевания. Быстро выяснилось, что если бурный рост однажды начался, замедлить его уже нет возможности, необходимо и впредь постоянно вводить Гераклеофорбию в небольших, но достаточных дозах.

Если же молодой, еще растущий организм вдруг лишить этой пищи, то сначала наступает период смутного беспокойства и подавленности, затем непомерная прожорливость, как было в случае с крысами, напавшими на доктора в Хэнки, потом острое малокровие,

слабость и, наконец, смерть. Примерно то же происходит и с растениями. Впрочем, это все относится только к периоду роста. С наступлением зрелости — у растений в эту пору впервые образуются бутоны — потребность в Гераклеофорбии и аппетит уменьшаются, а как только человек, животное или растение достигнет полного развития, Пищи им больше не нужно. Теперь они, так сказать, вполне приспособились к новым масштабам. Например, крапива в Хиклибрау и трава на соседнем холме приспособились настолько, что семена их дали гигантское потомство, и таким образом утвердилась новая порода.

Прошло немного времени, и юный Редвуд, первенец нового племени, раньше всех вкусивший Пищи богов, уже ползал по детской, разбивал в щепки мебель, кусался, как лошадь, щипался, как клещи, и громовым басом призывал няню, маму и виновника всех бед — папу, а тот взирал на дело рук своих в некотором испуге и изумлении.

У ребенка явно были хорошие задатки. «Падда будет хороший»,— приговаривал он, когда вокруг него билось и ломалось все, что только можно было разбить и сломать. Он называл себя «Падда» — сокращение от Пантагрюэля (это прозвище дал ему отец). А тем временем Коссар, презрев исконные права соседних домовладельцев, вовсе не желавших, чтобы от них загородили свет (это вскоре привело к неприятным осложнениям), захватил пустырь, прилегавший к дому Редвуда, и вопреки всем местным правилам принялся строить там для всех четырех мальчиков (сына Редвуда и своих троих) удобное, светлое помещение площадью в шестьдесят квадратных футов и высотой в сорок; это была одновременно комната для игр, классная и детская.

Редвуд строил эту огромную детскую вместе с Коссаром и положительно влюбился в нее; поглощенный насущными интересами сына, он даже знаменитые кривые на время забросил,— никогда бы он не поверил, что способен на это!

— Хорошо оборудованная детская — это очень важно, очень,— говорил он.— Тут и сами стены и каждая мелочь — все должно будет более или менее красноречиво

взывать к созданному нами новому разуму и более или менее успешно учить его тысяче разных вещей.

— Само собой разумеется,— поддакивал Коссар. И поспешно хватался за шляпу.

Они работали очень дружно и согласно, но теорию воспитания развивал главным образом Редвуд.

Стены детской, двери, оконные рамы выкрасили в веселые тона; преобладали очень светлые, теплые оттенки, но тут и там яркая полоса, цветное пятно оживляли и подчеркивали простоту линий.

— Нам нужны чистые цвета,— говорил Редвуд и вдоль одной стены протянул целую связку квадратов; тут были все оттенки алого и лилового, оранжевого и лимонно-желтого, голубого и зеленого. Предполагалось, что дети будут перебирать и тасовать эти квадраты как им вздумается.— Украшения — это потом,— рассуждал Редвуд,— сначала пусть разберутся в сочетаниях цветов. Потом мы повесим что-нибудь другое. Совсем незачем приучать их к какому-либо одному цвету или рисунку.

Здесь все должно быть для них интересно,— говорил далее Редвуд.— Интерес — пища для ребенка, а скука — мучение и голод. Пусть будет побольше картин.

Но картины тут не вешали раз и навсегда: постоянными были только рамы, рисунки можно было заменять, как только интерес к ним ослабнет. Из большого окна открывался вид на улицу, уходящую вдаль, а чтобы детям было еще интереснее, Редвуд на крыше детской соорудил камеру-обскуру, через нее видно было Кенсингтон, Хай-стрит и большую часть парка.

В одном углу детской стояли огромные, в четыре квадратных фута, счеты, очень прочные, на железных стержнях, с закругленными углами,— с помощью этого отменного инструмента юным гигантам предстояло познать искусство расчетов и вычислений. Мягких собачек, кошечек и тому подобных игрушек почти не было; вместо этого Коссар однажды без лишних слов доставил три воза всевозможных игрушек такого размера, что проглотить их не смогли бы даже дети-гиганты; игрушки эти можно было громоздить одну на другую, выстраивать в ряды, катать, кусать; ими можно было трещать, стучать

и хлопать; их можно было бить одну о другую, гладить, таскать за собой, открывать, закрывать, словом, мудрить с ними на все лады сколько душе угодно. Тут было множество кубиков и кирпичиков всех цветов и разной формы: деревянных, из полированного фарфора, из прозрачного стекла, из резины; были пластинки, плитки, цилиндры, были конусы, простые и усеченные; были сплющенные и растянутые сфероиды, всевозможные шары из различных материалов, литые и полые, множество ящиков всевозможных размеров и форм, с привинченными, навинченными и съемными крышками и даже несколько шкатулок со сложными замками; были и обручи резиновые и кожаные и масса грубо обточенных кругляшек, из которых можно было составлять фигурки вроде человеческих.

— Давайте им эти игрушки,— сказал Коссар.— Только не все сразу, а по одной.

Все это Редвуд запер в огромный шкаф, стоявший в углу. На одной стене детской на высоте, удобной для ребенка футов семи ростом, висела классная доска, на ней мальчики могли писать и рисовать белыми и цветными мелками; по соседству помещалось нечто вроде огромного блокнота, с него можно было лист за листом срывать бумагу и рисовать углем; тут же рядом на парте лежали большие плотничьи карандаши различной мягкости и запас бумаги, на которой дети могли, выводя всяческие закорючки, понемногу учиться рисовать. В воображении Редвуд заглянул так далеко вперед, что заказал даже огромные тюбики с акварельными красками и коробки пастели, хотя в них пока еще не было нужды. Поставили в детскую и два-три бочонка пластилина и глины для лепки.

— Сперва мальчишка будет лепить вместе с учителем, а там научится копировать модели, а пожалуй, и лепить животных,— говорил Редвуд.— Да, чуть было не забыл: нужно еще заказать ящик с инструментами.

И книги. Надо приготовить побольше книг, нужен соответствующий размер, крупный шрифт. Теперь вопрос: какие именно книги? Нужно развивать воображение ребенка, в конце концов это и есть цель всякого воспитания. Да, так: воображение — цель, а трезвый ум и ра-

зумное поведение — основа. Отсутствие воображения — это возврат к животному состоянию; испорченное воображение — похоть и трусость; но благородное воображение — это бог, вернувшийся на грешную землю. Ребенку надо и помечтать, побывать в мире сказок, порадоваться всяким забавам и чудесам,— на то и детство. Но главной пищей воображению должна стать сама жизнь во всем ее великолепном разнообразии. Пусть ребенок узнает, как люди путешествовали, открывали новые земли и после многих подвигов и приключений завоевали весь мир; нужны рассказы о животных, умно написанные и отлично изданные книги о зверях, птицах и растениях, о пресмыкающихся и насекомых, о заоблачных высях и о тайнах морских глубин; и еще ребенок должен знать историю и географию всех государств, какие когда-либо существовали; нужно дать ему карты и рисунки, пускай узнает историю всех племен, изучит их нравы и обычаи. И еще дадим ему книги и картины, которые развивают чувство прекрасного; тончайшие японские гравюры заставят его полюбить тончайшую прелесть птицы, ветки, опадающих лепестков, а живописцы Запада научат ценить красоту мужчин и женщин, прелесть натюрморта и ширь пейзажа. Нужны книги о зодчестве, пусть учатся строить дома и дворцы, обставлять комнаты и воздвигать города...

Пожалуй, надо устроить небольшой театр.

Ну и, конечно, музыка!

Редвуд обдумал и это: для начала пускай сын научится играть на ксилофоне с одной только октавой, но с безукоризненно чистым звуком, а потом можно будет прибавить и еще октавы.

— Сначала пускай просто забавляется, поет в тон и называет ноты,— рассуждал Редвуд.— А потом...

Он поглядел на подоконник (для этого ему пришлось задрать голову), измерил взглядом комнату.

— Придется собирать для него фортепьяно прямо здесь,— размышлял он вслух.— Вносить по частям.

Он шагал взад и вперед — крохотная темная фигурка совсем терялась в этой огромной комнате,— обдумывал, прикидывал. Если бы вы увидели его тогда, вам бы показалось, что это гном заблудился среди обычных детских вещей и игрушек. Огромный, в четыреста квад-

ратных футов, турецкий ковер, по которому вскоре предстояло ползать юному Редвуду, доходил до огороженного решеткой электрического радиатора, обогревавшего детскую. Наверху, на лесах, человек, присланный Коссаром, прикреплял громадную раму для будущих сменных картин. У стены прислонен был альбом для гербария величиной с обыкновенную дверь, откуда торчали гигантский стебель, край огромного листа, цветок куроспела,— все это было привезено из Аршота и впоследствии произвело сенсацию среди ботаников...

И вдруг Редвуду показалось, что он грезит.

— Да полно, неужели все это наяву? — спрашивал он себя, глядя на далекий потолок.

Но тут, словно в ответ, издалека донесся громкий крик, напоминавший рев развеселившегося быка.

— Да, это наяву,— сказал себе Редвуд.— Никаких сомнений!

Теперь слышались сокрушительные удары пухлой руки по столу и крики «Гууу!», «Бууу!».

— Пожалуй, я сам буду его учить, это лучше всего,— продолжал Редвуд; мысли его потекли в новом направлении.

Удары по столу сделались настойчивее. Мгновение Редвуду казалось, что это перестук колес, словно какой-то огромный паровоз надвигается на него и влечет за собою цепь неотвратимых событий... Но тут раздался другой стук, легкий и быстрый.

— Войдите!— крикнул Редвуд, сообразив, в чем дело, и огромная, как в соборе, дверь медленно приотворилась. Заскрипели несмазанные петли, и на пороге, сияя ослепительной лысиной, благодушной улыбкой и очками, появился Бенсингтон.

— Вот, позволил себе прийти, посмотреть, как и что,— шепнул он, словно бы извиняясь и робея.

— Входите,— повторил Редвуд.

Бенсингтон вошел и закрыл дверь. Заложив руки за спину, сделал несколько шагов, остановился и, по-птичьи вскинув голову и щурясь, оглядел огромную комнату. Потом задумчиво потер ладонью подбородок.

— Всякий раз, как я сюда вхожу, я просто немею,— благоговейно понизив голос, признался он.— Уж очень все это... большое.

— Да,— подтвердил Редвуд и тоже огляделся, словно хотел увидеть не просто пустую комнату.— Да. Они ведь тоже будут большие, сами знаете.

— Знаю, — ответил Бенсингтон чуть ли не с трепетом.— Очень большие.

Они почти со страхом посмотрели друг на друга.

— Очень, очень большие,— повторил Бенсингтон, поглаживая переносицу и косясь на Редвуда, словно и верил, и не верил, и ждал подтверждения.— Понимаете, они будут... невероятно большие. Я вот смотрю на все это... и все-таки не могу себе представить... какие же они будут?

ГЛАВА V

МИСТЕР БЕНСИНГТОН СТУШЕВЫВАЕТСЯ

I

Как раз в то время, когда Королевская комиссия по Чудо-пище готовила отчет о своей деятельности, Пища всерьез доказала свою способность ускользать из-под контроля. Случилось это слишком быстро и потому весьма некстати, по крайней мере так думал Коссар. Ибо, как показывает сохранившийся и по сей день первоначальный вариант отчета, Комиссия под руководством самого талантливого своего члена — Стивена Уинклса (члена Королевского общества, доктора медицинских наук, члена Королевского терапевтического колледжа, доктора естественных наук, мирового судьи, доктора прав и прочая и прочая) уже установила, что случайная утечка Гераклеофорбии совершенно исключена; Комиссия готова была высказаться в пользу Чудо-пищи при условии, что изготовление оной будет поручено авторитетному комитету (разумеется, во главе с Уинклсом) и этот же комитет получит исключительное право контроля над продажей; по мнению Комиссии, эти меры должны были удовлетворить всех, кто выступал против широкого применения Гераклеофорбии. Будущий комитет получал неограниченные полномочия и исключительное право распоряжаться Чудо-пищей. И, конечно, только злая ирония судьбы повинна в том, что первая и самая страшная вспышка новых бесчинств

Гераклеофорбии произошла совсем рядом с маленьким коттеджем в Кестоне, где проводил лето доктор Уинклс.

Теперь уже нет сомнений, что, когда Редвуд отказался сообщить Уинклсу состав Гераклеофорбии номер четыре, сей почтенный доктор воспылал страстью к аналитической химии. Экспериментатор он был весьма посредственный и, вероятно, поэтому счел нужным заниматься своими опытами не в превосходно оборудованных лабораториях, которые были к его услугам в Лондоне, а в дрянном сарайчике на задворках своего коттеджа в Кестоне; он ни с кем не посоветовался и держал свою работу в секрете. Ни особого усердия, ни таланта он не проявил и, проработав какой-нибудь месяц, да и то с перерывами, по-видимому, совершенно забросил свои изыскания.

Уинклсова, с позволения сказать, лаборатория была оборудована очень примитивно: туда была проведена вода, которая затем вытекала через трубу в тинистый пруд, по берегам заросший камышом; пруд этот приютился под развесистой ольхой в уединенном уголке луга, за живой изгородью сада. Труба изобиловала трещинами, остатки Пищи богов просачивались наружу и скапливались в лужице среди камыша, а между тем наступала весна, и природа пробуждалась.

С весной в этом маленьком забытом уголке все ожило и зашевелилось. На поверхности лужи плавала лягушачья икра, и крошечные головастики уже разрывали свои студенистые оболочки; маленькие водяные улитки выползали на солнышко, под зелеными стеблями камыша из яичек выбирались личинки большого водяного жука. Не знаю, видел ли читатель когда-нибудь личинку водяного жука, который почему-то называется Dytiscus[1]. Эта личинка выглядит довольно странно: членистая, очень сильная, с неожиданно резкими движениями, она плавает вниз головой, выставив из воды один лишь хвост; она достигает двух дюймов длины — примерно с фалангу большого пальца мужчины (разумеется, такого, кто не отведал Пищи богов) и вооружена двумя необычайно острыми и мощными челюстями цилиндрической формы с острыми кончиками: ими она высасывает кровь у своей жертвы...

---

[1] Жук-плавунец *(лат.)*.

Первыми вкусили плавающих на поверхности лужи остатков Пищи богов крошечные водяные улитки да еще шустрые головастики — эти сразу же особенно к ней пристрастились. Но едва успевал головастик немного подрасти и выделиться в своем головастичьем мирке настолько, что пытался расширить привычную вегетарианскую диету за счет меньшого братишки, как — хлоп! — изогнутые челюсти личинки жука-плавунца уже впились в него и сосут вместе с кровью раствор Гераклеофорбии номер четыре. Кроме этих чудовищ, заполучить хоть малую долю Пищи посчастливилось лишь камышу, зеленой студенистой тине на поверхности воды да водорослям в иле на дне. Вскоре в лаборатории устроили генеральную уборку — и новый запас Пищи переполнил лужу, она разлилась, и теперь зловещая борьба за существование продолжалась уже в соседнем пруду, под корнями ольхи.

Первым обнаружил неладное некий мистер Льюки Керрингтон, учитель математики и естественных наук, который в часы досуга занимался изучением жизни пресноводных,— и его открытию не позавидуешь. Он приехал на денек в Кестон, чтобы наполнить прудовой водой несколько пробирок и затем рассмотреть их содержимое под микроскопом; штук десять пробирок, заткнутых пробками, позвякивали у него в кармане, когда он, помахивая шишковатой тросточкой, спускался с песчаного холма к пруду. А в это время помощник садовника, стоя на заднем крыльце дома мистера Уинклса, подстригал живую изгородь и заметил его; в этот глухой уголок никто никогда не заходил, да и вел себя пришелец непонятно,— и мальчишка с любопытством стал наблюдать.

Мистер Керрингтон склонился над прудом и, опершись рукою о ствол старой ольхи, заглянул в воду, но, конечно, садовник не мог понять, отчего такое удивление и удовольствие выразилось на лице мистера Керрингтона, когда тот увидел на дне какие-то большие и совершенно ему незнакомые нити и пузыри крупных водорослей. Головастиков нигде не было — к этому времени их всех уже съели личинки плавунца,— и потому, кроме бурной растительности, мистер Керрингтон не заметил ничего необычного. Он закатал рукав до локтя, наклонился еще ниже и сунул руку в воду, чтобы выта-

щить интересный образчик. И тотчас из укромного уголка под корнями ольхи что-то метнулось...

Миг — и острые клещи впились в руку учителя! Непонятное существо было длиной больше фута, коричневое и членистое, точно скорпион.

Отвратительный вид его и острая, жгучая боль ошеломили мистера Керрингтона. Он потерял равновесие, закричал — и, как подкошенный, ничком повалился в пруд!

Мальчишка-садовник видел, как он вдруг исчез, слышал всплеск воды, потом барахтанье. А потом несчастный вновь появился над водой — без шляпы, весь мокрый — и закричал истошным голосом.

Никогда еще мальчишка не слыхал, чтобы взрослые мужчины так вопили.

Этот удивительный незнакомец, видно, пытался оторвать что-то от своего лица. А по лицу ручьями текла кровь. Он размахивал руками, словно в отчаянии, прыгал и скакал, как сумасшедший, потом пустился бежать, но, не пробежав и десяти шагов, упал и стал кататься по земле. Теперь его не было видно. Мальчишка кубарем скатился с крыльца и прямо через изгородь кинулся на помощь; к счастью. он так и не выпустил из рук садовых ножниц. Продираясь сквозь кусты дрока, он подумал было, не вернуться ли, вдруг этот человек сумасшедший,— но мысль о ножницах придала ему храбрости. «В случае чего я бы выколол ему глаза!» — объяснял он потом. Едва мистер Керрингтон заметил мальчика, он повел себя как человек совершенно нормальный, но доведенный до отчаяния: с трудом поднялся на ноги, пошатнулся, но устоял и пошел ему навстречу.

— Смотри! — вскричал он.— Я не могу их оторвать!

И мальчишка с ужасом увидел, что к щеке мистера Керрингтона, к его обнаженной руке и к бедру присосались три устрашающие огромные личинки, их сильные коричневые тела отвратительно извивались, мощные челюсти глубоко впились в тело, и они жадно пили кровь. У этих чудовищ была бульдожья хватка, и все попытки мистера Керрингтона оторвать их от себя только усиливали боль и углубляли раны; его лицо, шея и пиджак были залиты кровью.

— Держитесь, сэр!— закричал мальчишка.— Сейчас я их отрежу!

И с чисто мальчишеским азартом принялся отстригать кровопийцам головы. «Вот тебе! Вот!» — приговаривал он, морщась от омерзения, всякий раз, как отрезанное извивающееся тело падало на землю. Однако хватка у чудищ была такая свирепая, что головы еще некоторое время продолжали сосать, и кровь текла из перерезанных шей. Но мальчишка снова пустил в ход ножницы, причем нечаянно задел и самого мистера Керрингтона,— и наконец все было кончено.

— Я никак не мог их оторвать! —повторял мистер Керрингтон.

Он постоял минуту, шатаясь, истекая кровью. Ослабевшими руками потрогал свои раны, посмотрел на окровавленные ладони. Потом колени его подогнулись, и он упал в глубоком обмороке к ногам мальчишки, возле своих поверженных врагов, которые все еще шевелились в траве. По счастью, мальчишке не пришло в голову побрызгать его водою из пруда — там, под корнями ольхи, подстерегали другие такие же чудовища; вместо этого он побежал обратно в сад звать кого-нибудь на помощь. Тут ему встретился садовник мистера Уинклса (он же кучер), и мальчик рассказал ему о случившемся.

Когда они вместе подошли к мистеру Керрингтону, тот уже очнулся и, хоть был еще смертельно бледен и очень слаб, тотчас объяснил им, какую опасность таил в себе злополучный пруд.

II

Таким-то образом мир был впервые предупрежден, что Пища вновь просочилась, куда не следовало.

Прошла всего неделя, и Кестонский луг оказался, как выражаются натуралисты, очагом распространения новых гигантских трав и насекомых. На сей раз это были не осы, не крысы, не уховертки и не крапива, но по меньшей мере три вида водяных пауков, несколько личинок стрекозы (вскоре они превратились в гигантских стрекоз, чьи парящие в воздухе сапфировые тела потрясали весь Кент) и отвратительная студенистая тина, переполнившая пруд и скользкой зеленой слизью



«ПИЩА БОГОВ»



«ПИЩА БОГОВ»

доползшая по дорожке почти до самого дома доктора Уинклса. Кроме того, усиленно пошли в рост камыш, хвощ и водяной папоротник; покончить с этим удалось, только когда осушили пруд.

Очень скоро стало ясно, что на этот раз появился не один, а сразу несколько таких очагов. Один был в Илинге — теперь в этом уже нет сомнений, именно отсюда хлынули полчища гигантских мух и красных пауков; из Санбери поползли огромные хищные угри — они вылезали на берег и убивали овец; Блумсбери явил миру новую, устрашающую породу тараканов,— их рассадником стал один старый дом, где водилось множество всякой нечисти. Одним словом, мир опять столкнулся с происшествиями вроде тех, что потрясли однажды Хиклибрау, только вместо цыплят, крыс и ос теперь разрослись до чудовищных размеров другие издавна знакомые твари. Каждый очаг плодил свою собственную живность и растительность...

Теперь мы уже знаем, что все эти очаги возникали только там, где жили пациенты доктора Уинклса, но в то время никто об этом не подозревал. Обвинять самого Уинклса никому и в голову не приходило. Поднялась вполне понятная паника, взрыв негодования, но все это обернулось не против доктора Уинклса, а против Пищи, и даже не столько против самой Пищи, сколько против злосчастного Бенсингтона, ибо общественное мнение с самого начала твердо уверовало, что именно он, и только он один за нее в ответе.

Попытка линчевать ученого была лишь одной из тех вспышек, которые яркими красками рисует история, а на самом деле рядом со многими другими событиями они бледны и незначительны.

Как это случилось, до сих пор остается тайной. Известно, что толпа нагрянула прямо с митинга, устроенного в Гайд-парке крайними противниками Чудо-пищи из лагеря Кейтэрема; но кто первый предложил, хотя бы намеком, пойти громить дом Бенсингтона, установить так и не удалось. Раскрыть непостижимую психологию толпы — задача по плечу разве что господину Гюставу ле Бон[1].

[1] Гюстав ле Бон — французский социолог, 1841—1931.

Как бы то ни было, однажды в воскресенье около трех часов дня огромная, бурлящая толпа разъяренных лондонцев хлынула к дому Бенсингтона с твердым намерением линчевать его, чтобы впредь всяким ученым неповадно было что-то там исследовать и открывать; и она едва не добилась своего,— по крайней мере с тех пор, как давным-давно, в середине царствования королевы Виктории, решетки Гайд-парка были снесены разбушевавшейся толпой, никогда Лондон не видывал ничего подобного. По меньшей мере час жизнь незадачливого ученого висела на волоске.

Бенсингтон ничего не подозревал до тех пор, пока с улицы не докатился гул приближающейся массы народа. Он подошел к окну и выглянул, все еще не догадываясь, что это имеет какое-то отношение к нему. Минуту-другую он смотрел, как толпа, отбросив десяток полицейских, пытавшихся ей помешать, окружала вход в его дом,— и вдруг понял: это пришли за ним! Он-то и нужен этой ревущей, озверелой толпе! Бенсингтон был совсем один в квартире (пожалуй, это оказалось к лучшему), ибо кузина Джейн отправилась в Илинг к какой-то родне своей матушки пить чай. Как надо себя вести в подобных случаях — это бедняга представлял себе, вероятно, не лучше, чем правила поведения на Страшном суде. Он метался по квартире, вопрошал столы и стулья, как быть, запирал и отпирал все замки, кидался то к окнам, то к дверям, то в спальню,— и тут на выручку явился привратник.

— Нельзя терять ни минуты, сэр,— сказал он.— Они уже углядели в прихожей список жильцов, узнали номер вашей квартиры и идут прямо сюда!

Он вытащил Бенсингтона на площадку лестницы — снизу уже доносился шум и крики,— запер дверь покинутой квартиры и своим ключом отпер дверь квартиры напротив.

— Больше надеяться не на что,— шепнул он.

В чужой квартире привратник распахнул окно, выходившее в узкий внутренний двор; стена снаружи была утыкана железными скобами, образовавшими весьма неудобную и опасную лестницу на случай пожара. Привратник вытолкнул мистера Бенсингтона из окна на одну из таких скоб, показал, как на ней удержаться, и за-

ставил карабкаться вверх, постукивая ученого по ногам связкой ключей всякий раз, как тот останавливался, не решаясь двинуться дальше. Бенсингтону казалось,— это навеки, никогда этой ужасной лестнице не будет конца; карниз над головой недостижимо далек, до него еще не меньше мили, а внизу... О том, что ждет его внизу, лучше не думать.

— Осторожно! — вдруг закричал привратник и схватил его за ногу. Это было так страшно, что мистер Бенсингтон изо всех сил вцепился в железную скобу над головой и тихонько взвизгнул от ужаса.

Его провожатый разбил какое-то стекло и, кажется, прыгнул куда-то далеко вбок. Затем послышался скрип, как будто отворилась оконная рама. Привратник что-то кричал,— кажется, ругался.

Мистер Бенсингтон осторожно повернул голову и наконец увидел его.

— Спуститесь на шесть ступенек,— скомандовал тот.

Все это казалось Бенсингтону диким и нелепым, однако же он повиновался и начал осторожно нащупывать ногой нижнюю скобу.

— Не тащите меня! — вскрикнул он, когда привратник, высунувшись из открытого окна, попытался ему помочь.

Добраться до окна с этой страшной лестницы? Да это было бы нелегко и для белки! Не надеясь совершить подобный подвиг, примирившись с мыслью, что это, в сущности, самоубийство, и уже не помышляя о спасении, Бенсингтон шагнул вниз, и тут привратник довольно грубо схватил его и втащил в окно.

— Придется вам побыть здесь,— сказал он.— Этот замок мне не открыть, он американский. У меня таких ключей нет. Я выйду и захлопну за собою дверь и поищу смотрителя с ключом. А вы пока посидите взаперти. Только из окна не выглядывайте. Отродясь не видал этакой кровожадной оравы. Может, они подумают, что вас нет дома, переколотят все в квартире да и успокоятся...

— На моей двери на табличке сказано, что я дома,— вздохнул Бенсингтон.

— Фу ты, черт побери! Ну, мне надо отсюда убраться, а то еще застанут...

Он исчез, хлопнула дверь.

Теперь Бенсингтон мог полагаться только на собственную смекалку.

Она загнала его под кровать.

Здесь-то его немного погодя и нашел Коссар.

К этому времени Бенсингтон был ни жив ни мертв от страха, потому что Коссар выломал дверь плечом, наскакивая на нее с разбегу через всю площадку.

— Вылезайте, Бенсингтон! — крикнул он, вломившись в квартиру.— Все в порядке. Это я. Надо отсюда выбираться. Они собираются подпалить дом. Все дворники уже удирают. Остальной прислуги и след простыл. К счастью, я поймал одного, и он сказал мне, где вы. Вот, глядите.

Выглянув из-под кровати, Бенсингтон увидел в руках Коссара какие-то странные одеяния и среди прочего — огромный черный чепец!

— Они перетряхивают весь дом сверху донизу,— сказал Коссар.— Если не подожгут, так уж непременно нагрянут и сюда. Вызваны войска, но они подоспеют через час, не раньше. В толпе добрая половина — хулиганы, и чем больше квартир они разгромят, тем больше войдут во вкус... Само собой разумеется. Они здесь все перетряхнут. Вот, надевайте-ка юбку и чепец, Бенсингтон, и давайте уносить ноги.

— Вы хотите, чтобы я...— начал Бенсингтон, высовывая из-под кровати голову, точно черепаха.

— Вот именно. Одевайтесь, и пошли! Само собой разумеется!

Разом потеряв терпение, Коссар вытащил Бенсингтона из-под кровати и начал обряжать его старухой из простонародья. Засучил на нем брюки, заставил скинуть шлепанцы; затем стянул с него воротничок и галстук, пиджак и жилет, надел ему через голову черную юбку и красную фланелевую кофту, а поверх всего набросил тальму. И наконец снял с Бенсингтона знакомые всему Лондону очки и нахлобучил ему на голову черный чепец.

— Ну, вы словно родились старухой,— заметил он, завязывая ленты чепца под подбородком ученого.

Пришел черед башмаков на резинках — жестокое испытание для мозолей! Теперь шаль — и старушка готова.

— Повернитесь-ка кругом! — скомандовал Коссар. Бенсингтон покорно повернулся.

— Сойдет! — объявил Коссар.

Так, в нелепом одеянии, путаясь и спотыкаясь в непривычных юбках, вторя крикам разъяренных лондонцев, жаждущих его крови, и визгливым фальцетом накликая проклятия на собственную голову, изобретатель Гераклеофорбии, спустился по лестнице дома в Честерфилде, смешался с беснующейся толпой и навсегда отошел от событий, которым посвящен наш рассказ.

После этого бегства он, совершивший великое открытие, ни разу больше не пожелал вмешаться в дальнейшую удивительную судьбу своего детища — Пищи богов.

III

Итак, маленький человечек, который заварил всю эту кашу, уходит из нашего рассказа, а вскоре и навсегда уйдет из мира видимого и осязаемого. Но ведь кашу-то заварил не кто иной, как он, и потому на прощанье уместно будет посвятить ему еще одну страничку. Можно представить себе ученого в последние годы его жизни таким, каким знали его на водах в Танбридже. Именно здесь, у Танбриджских целебных источников, появился он после того, как некоторое время вынужден был скрываться от ярости толпы, — появился, лишь только понял, что ярость толпы случайна, недолговечна и очень быстро остывает. Пребывал он в Танбридже под крылышком кузины Джейн, усиленно лечился от нервного потрясения, ни о чем больше не думал, и его, видимо, ничуть не трогали страсти, бушевавшие вокруг новых очагов распространения Пищи и вокруг вскормленных ею детей-гигантов.

Он поселился в «Маунт Глори» — отеле с водолечебницей, которая славилась превосходными целебными ваннами, — тут были ванны углекислые и креозотные; гальваническое и иное электрическое лечение; массаж; ванны хвойные, с крахмалом, с болиголовом, а также световые, тепловые и лучевые; ванны из отрубей и сосновых игл; ванны из смолы и мха — словом,

на все вкусы; и Бенсингтон посвятил себя усовершенствованию этой системы лечения, которая, впрочем, осталась несовершенной и после его смерти. Иногда, укутавшись в шубу с котиковым воротником, он отправлялся на прогулку в наемном экипаже, а иногда, если не очень мучили мозоли, ходил пешком к источнику и под наблюдением кузины Джейн осторожно тянул лечебную железистую воду.

Его сутулая спина, румяные щеки и сверкающие очки стали неотъемлемой принадлежностью Танбриджа. Никто здесь не питал к нему вражды, и все в отеле и вокруг гордились таким почетным гостем. Он был знаменит, и теперь уже ничто не могло лишить его этой славы. Он предпочитал не следить по газетам за успехами своего великого открытия; но где бы он ни появлялся — на дороге ли к источнику или в гостиной отеля,— вокруг слышался шепот: «Вот он! Это он и есть!» — и тогда подобие довольной улыбки мелькало в его глазах и смягчало линию рта.

И подумать только, что этот маленький, ничем не примечательный человечек обрушил на мир Пищу богов! Право, даже трудно сказать, что́ больше поражает в ученых и философах — их величие или их ничтожность. Представьте себе изобретателя Пищи богов там, у целебного источника: в шубе с котиковым воротником стоит он перед выложенным фарфоровой плиткой фонтанчиком, где плещет струя, и потягивает из стакана железистую воду; блестящий глаз, суровый и непроницаемый, косится поверх золотой оправы очков на кузину Джейн. «Б-рр»,— произносит он и делает очередной глоток.

Пусть таким он и запечатлеется навсегда в нашей памяти, этот великий изобретатель Пищи богов, а теперь мы покинем его — крошечную песчинку в нашей повести — и перейдем к более важным событиям: к дальнейшей истории созданной им Пищи; мы расскажем, как день ото дня росли и крепли разбросанные по всей Англии дети-гиганты, как они входили в мир, слишком тесный и скудный для них, и как все туже сжимали их сети законов и ограничений, которые плела вокруг них Комиссия по Чудо-пище,— сжимали до тех пор, пока...

КНИГА II

ПИЩА В ДЕРЕВНЕ

ГЛАВА I

ПОЯВЛЕНИЕ ПИЩИ

I

Наша тема, что началась так скромно в кабинете мистера Бенсингтона, уже настолько расширилась и разветвилась, что отныне все наше повествование будет историей о том, как Пища богов разошлась по свету. Ее дальнейшее развитие и движение можно сравнить с тем, как непрестанно растет и ветвится дерево. Прошло совсем немного времени — всего лишь четверть жизни одного поколения — с того часа, как Пища впервые появилась на маленькой ферме возле Хиклибрау, и вот она сама, и слухи о ней, и отзвуки ее силы уже растеклись по всему миру. Очень быстро Пища богов вышла за пределы Англии. Скоро она появилась в Америке, разнеслась по европейскому континенту, потом перекинулась в Японию, в Австралию — словом, распространилась по всему земному шару, стремясь к заветной цели. Двигалась она осторожно, без лишней торопливости, извилистыми путями, и ничто не могло ее остановить. Это было наступление гигантизма. Наперекор предрассудкам, наперекор законам и уставам, наперекор упрямому консерватизму, что лежит в основе всех человеческих установлений, Пища богов, раз появившись на свет, осторожно, но неотвратимо шла своей дорогой.

Дети, вскормленные Пищей, росли и мужали — вот самое главное, самое важное событие того времени. Но шум и сенсацию всегда производили случайные вспышки гигантизма, возникавшие из-за утечки Пищи. А дети росли, их становилось все больше, этих выкормышей чудесного порошка; но даже самые строгие меры предосторожности не могли помешать Пище все снова и снова просачиваться в животный и растительный мир. Пища богов ускользала из-под контроля с упорством живого существа. Подмешанная в муку, она обращалась в мель-

чайший, почти невидимый порошок — и в сухие ясные дни, как нарочно, разносилась по белу свету при малейшем дуновении ветра. И тотчас же какое-нибудь новое насекомое или растение ненадолго обретало роковую славу и величие, или вновь появлялись чудовищные крысы и другая нечисть. Так, несколько дней деревня Пэнгбурн сражалась с гигантскими муравьями. Три человека умерли от их укусов. Всякий раз начиналась паника, потом борьба не на жизнь, а на смерть, люди одолевали буйно разросшееся зло, но до конца его искоренить не могли, что-то всегда оставалось, хоть и не так бросаясь в глаза, формы жизни менялись, а потом ошеломляла новая вспышка — где-нибудь вдруг буйно разрастались чудовищные травы, летали семена исполинских сорняков; начиналось нашествие тараканов, в которых приходилось стрелять из ружей, или появлялись тучи громадных мух.

В самых забытых, тихих уголках земли неожиданно вспыхивали отчаянные сражения. Схватки с Пищей порождали даже героев, павших в битве за торжество малого над большим...

Постепенно такие происшествия вошли в привычку, люди научились кое-как справляться с ними и говорили друг другу, что «установленный порядок незыблем». После первого приступа всеобщей паники, несмотря на все красноречие Кейтэрема, звезда его на политическом горизонте потускнела, и его знали просто как представителя крайних.

Медленно, очень медленно пробрался он наконец на первый план. «Установленный порядок незыблем»,— утверждал доктор Уинклс, новоявленный вождь радикального направления общественной мысли, так называемого Прогрессивного либерализма, и его сторонники с лицемерным пафосом славили прогресс. А идеалом их оставались маленькое государство, маленькая культура, маленькие семьи, хозяйствующие помаленьку каждая на своей маленькой ферме. Установилась мода на все маленькое и аккуратненькое. Быть большим считалось просто вульгарным, и лишь крошечное, изящное, утонченное, миниатюрное, малюсенькое удостаивалось похвалы...

А тем временем дети, вскормленные Пищей богов, все росли, росли медленно и постепенно, как и положено

детям, и готовились вступить в мир, который тоже менялся, чтобы принять их. Они мужали, набирались сил и знаний, и каждый, сообразно своим склонностям и способностям, готовился достойно встретить свою великую судьбу. Вскоре они уже стали казаться естественной и неотъемлемой частью нашего мира, да впрочем, и все всходы гигантизма казались теперь естественными, и люди не могли себе представить, что когда-то было иначе. И, услыхав о разных чудесах, на которые оказывались способны гигантские дети, все говорили: «Удивительно!»— но ничуть не удивлялись. Дешевые газетки сообщали своим читателям о подвигах трех сыновей Коссара: эти необыкновенные мальчики поднимают тяжелые пушки! Бросают на сотни ярдов громадные куски железа! Прыгают в длину на двести футов! Говорили, что они копают глубокий колодец, глубже всех колодцев и шахт на свете: ищут сокровища, скрытые в земных недрах с незапамятных времен.

Ходкие журналы уверяли, что эти дети сровняют горы с землей, перекинут мосты через моря и изроют туннелями вдоль и поперек весь шар земной. «Удивительно! — восклицали маленькие людишки.— Просто чудеса! Это будет очень удобно и всем нам на пользу!» — и продолжали спокойно заниматься своими делами, словно и не существовало на свете никакой Пищи богов. И в самом деле, это пока были лишь первые проблески гения, первые намеки на могущество Детей Пищи. Всего лишь игра, проба сил без всякой определенной цели. Ведь они еще сами себя не знали. Они все еще были детьми, медленно растущими детьми нового племени. Их исполинская сила увеличивалась день от дня, их могучей воле еще предстояло вырасти и обрести смысл и цель.

Когда мы теперь оглядываемся на эти годы, они кажутся нам единой последовательной цепью событий; но тогда никто не понял, что наступает эра гигантизма, точно так же, как долгие века мир не понимал, что единым и не случайным процессом было падение Римской империи. Современники были слишком тесно связаны с отдельными событиями, чтобы рассматривать их как нечто единое. Даже самые мудрые считали, что Пища богов породила лишь отдельные нелепые явления, кучку своевольных уродов, которые подчас мешают и вно-

сят беспокойство, но не в силах пошатнуть или изменить сложившийся раз навсегда облик мира и человечества.

В этот период накопления сил гигантизма нашелся все же один наблюдатель, которого больше всего поражает непобедимая инерция огромной массы людей, их упорное равнодушие и нежелание признавать существующих рядом гигантов, неспособность понять то огромное, что сулит завтрашний день. Как в природе многие потоки кажутся всего спокойней, тише и невозмутимей как раз тогда, когда они вот-вот низвергнутся водопадом, так и в те последние годы уходящей эпохи словно бы укрепилось все, что было в сознании людей устарелого и косного. Реакционные взгляды стали самыми распространенными: говорили, что наука зашла в тупик, что нет больше прогресса, что вновь приходит пора самовластья,— и это говорилось в дни, когда все громче слышалась крепнущая поступь Детей Пищи! Конечно, суетливые, бесцельные перевороты былых времен, когда, к примеру, толпа неразумных людишек свергала такого же неразумного царька, давно уже канули в вечность; но Перемена — это закон, который никогда себя не изживет. Просто изменились сами Перемены: Новое появилось в небывалом обличье, и современникам было еще не под силу осознать его и принять.

Чтобы рассказать о появлении Нового во всех подробностях, пришлось бы создать многотомный исторический труд, но повсюду происходило примерно одно и то же. И если рассказать, как Новое появилось в одной точке земного шара, можно дать понятие о том, что происходило во всем мире. Случилось так, что одно заблудшее зерно гигантизма попало в миленькую маленькую деревушку Чизинг Айбрайт в графстве Кент; странно оно созревало, трагически бесплоден был его рост,— и, рассказывая о нем, мы попытаемся проследить словно по одной нити сложный, запутанный узор на том полотне, что выткано Временем.

II

В Чизинг Айбрайте, разумеется, был священник. Приходские священники бывают разные, и меньше всех мне нравятся любители новшеств — эдакие пестрые лю-

ди, консерваторы по должности, которые не прочь иногда побаловаться и передовыми идейками. Но священник прихода Чизинг Айбрайт не признавал никаких новшеств; это был весьма достойный пухленький, трезвый и умеренный в своих взглядах человечек. Уместно будет вернуться в нашем повествовании немного назад, чтобы кое-что о нем рассказать. Он был вполне под стать своей деревне, и вы легко представите себе пастыря и его паству в тот вечер, на закате, когда миссис Скилетт — помните ее побег из Хиклибрау? — принесла Пищу богов в эту сельскую тишину и благолепие, о чем тогда никто и не подозревал.

В розовых лучах заходящего солнца деревня выглядела олицетворением мира и покоя. Она лежала в долине у подножия поросшего буком холма — вереница домиков, крытых соломой или красной черепицей; крылечки домиков были украшены шпалерами, вдоль фасадов рос шиповник; от церкви, окруженной тисовыми деревьями, дорога спускалась к мосту, и понемногу домиков становилось больше и стояли они теснее. Еще дальше, за постоялым двором, чуть виднелось из-за деревьев жилище священника — старинный дом в раннегеоргианском стиле; а шпиль колокольни весело выглядывал в узком просвете долины между холмами. Извилистый ручеек — тонкая полоска небесно-голубого и кипенно-белого, окаймленная густыми камышами, вербой и плакучими ивами,— сверкал среди сочной зелени лугов, словно прожилка на изумрудном брелоке. В теплом свете заката на всем лежал своеобразный, чисто английский отпечаток тщательной отделанности, благополучия и приятной законченности, которая — увы! — только подражает истинному совершенству.

И священник тоже выглядел благодушным. Он так и дышал привычным, неизменным и непоколебимым благодушием — казалось, он и родился благодушным младенцем в благодушной семье и рос толстеньким и аппетитным ребенком. С первого взгляда становилось ясно, что он учился в старой-престарой школе, в стенах которой, увитых плющом, свято блюлись старинные обычаи и аристократические традиции, и, уж конечно, в помине не было химических лабораторий; из школы он, конечно же, проследовал прямехонько в почтенный колледж,

здание которого восходило к эпохе пламенеющей готики. Библиотеку его составляли в основном книги не менее чем тысячелетнего возраста — Ярроу, Эллис, добротные дометодистские молитвенники и прочее в том же духе. Низенький, приземистый, он казался еще ниже ростом оттого, что был в ширину почти таков же, как в высоту, а лицо его, с младенчества приятное, сытое и благодушное, теперь, в более чем зрелые годы, приобрело более чем солидность. Библейская борода скрывала расплывшийся двойной подбородок; часовой цепочки он, по причине утонченности вкуса, не носил, но его скромное облачение сшито было у отличного уэстэндского портного.

В тот памятный вечер он сидел, упершись руками в колени, и, помаргивая глазками, с благодушным одобрением взирал на свой приход. Время от времени он приветственно помахивал пухлой ручкой в сторону деревни. Он был покоен и доволен. Чего еще желать человеку?

— Отличное у нас местечко! — сказал он привычно. — Посреди холмов, как в крепости, — продолжал он; и наконец довел свою мысль до конца: — Мы сами по себе и далеки от всего, что там творится.

Ибо священник был не один. Он обменивался со своим другом избитыми фразами об ужасном веке, о демократии и светском образовании, о небоскребах и автомобилях, об американском засилье, о беспорядочном чтении, которое портит нравы, и о безнадежном вырождении вкуса.

— Мы далеки от всего, что там творится, — повторил он.

Не успел он договорить, как послышались чьи-то шаги. Священник с трудом повернул свое пухлое тело и увидел ее.

Теперь представьте себе старуху: она приближается неровным, но упорным шагом; в узловатой, натруженной руке она сжимает узел; длинный нос ее (он подавляет и заслоняет все прочие черты лица) морщится, выражая отчаянную решимость. Маки на чепце важно кивают; медленно и неотвратимо переступают ноги — белые от пыли носы башмаков с резинками по очереди показываются из-под обтрепанной юбки. Под мышкой болтается, норовя ускользнуть, старый, рваный и

вылинявший зонтик. Нет, ничто не подсказывало священнику, что в образе этой нелепой старухи в его мирную деревню вступил сам Счастливый Случай, Непредвиденное — словом, та старая ведьма, которую слабые людишки называют — Судьба. А для нас это была, как вы, конечно, уже поняли, всего лишь миссис Скилетт.

Старуха была слишком обременена своей ношей, чтобы учтиво присесть перед священником и его другом, а потому притворилась, что не замечает их, и прошлепала мимо, совсем рядом, направляясь вниз, в деревню. Священник молча проводил ее глазами, обдумывая свое следующее изречение...

На его взгляд, случай был самый пустячный: старуха с узлом — эка невидаль! Старухи aere perennius[1] испокон веку таскают с собой всякие узелки. Что ж тут такого?

— Мы далеки от всего, что там творится,— снова сказал священник.— Мы здесь живем среди вещей простых и непреходящих: рождение, труд, скромный посев да скромная жатва — вот и все. Бури житейские обходят нас стороной.

Священник любил с глубокомысленным видом потолковать о «вещах непреходящих». «Вещи меняют свой облик,— говаривал он,— но человечество aere perennius».

Таков был Чизинг Айбрайтский священник. Он всегда находил повод вставить классическую цитату, пусть даже и не очень к месту. А внизу под горой весьма неизящная, но решительная миссис Скилетт, не желая обходить усадьбу Уилмердинга, лезла напролом через живую изгородь.

III

Никто не знает, что подумал священник о гигантских грибах-дождевиках.

Известно лишь, что он обнаружил их одним из первых.

Дождевики появились на некотором расстоянии друг от друга на тропинке между ближним холмом и деревней — по этой тропинке священник совершал свою ежедневную прогулку. Необыкновенных грибов оказалось ровно тридцать. Священник долго разглядывал каждый гриб и чуть ли не в каждый раза два ткнул своей тро-

---

[1] Вечно и неизменно; буквально — прочнее меди (*лат.*).

стью. Один гриб он даже попробовал измерить, обхватив руками, но тот не выдержал этого могучего объятия и лопнул.

Священник кое-кому рассказал об этих грибах, назвал их «изумительными» и по меньшей мере семерым из слушателей повторил при этом известную историю о том, как выросшие в подвале грибы приподняли каменную плиту. И даже заглянул в справочник, чтобы определить, были то lycoperdon coelatum или giganteum[1] — ведь люди его толка всегда занимаются ботаникой, им не дают покоя лавры Гилберта Уайта. Наш священник начал подумывать, что ранее известные giganteum были не такие уж гигантские.

Трудно сказать, заметил ли он, что эти огромные белые шары появились на той самой тропинке, где накануне проходила старуха, и что последний гриб вырос в нескольких шагах от калитки Кэддлсов. Если и заметил, то ни с кем не поделился своими наблюдениями. Его занятия ботаникой относились к числу пресловутых «нацеленных наблюдений» — так выражаются не слишком крупные ученые, и это означает, что ищешь определенный, заранее заданный предмет, а больше ни на что и не смотришь. И священник вовсе не связал появление гигантских грибов с удивительно быстрым ростом младенца Кэддлсов — младенец рос точно на дрожжах. вот уже несколько недель, с тех самых пор, как в одно прекрасное воскресенье Кэддлс отправился навестить тещу и послушал мистера Скилетта (ныне покойного), который вовсю похвалялся своей куриной фермой.

IV

А ведь гигантские дождевики, вслед за неимоверно растущим младенцем Кэддлсов, должны были бы открыть священнику глаза. Последнее обстоятельство уже однажды было положено ему прямо в руки во время крещения и оказалось чрезвычайно веским — священник едва устоял на ногах.

Когда лицо младенца окропила холодная вода, скрепляя таинство его приобщения к церкви и его право на имя Элберт Эдвард Кэддлс, он всех оглушил своим

[1] Дождевик круглый или гигантский (*лат.*).

воплем. Мать уже не в состоянии была его поднять, и торжествующий отец, пыхтя, но гордо улыбаясь (не всякий может похвастать таким сыном!), поволок его обратно к скамьям, где ждали родные и друзья.

— В жизни не видел такого ребенка,— заметил тогда священник.

Так было впервые признано на людях, что младенец Кэддлсов, который при рождении не тянул и семи фунтов, еще сделает честь своим родителям. Вскоре стало ясно, что он не только сделает им честь, но и прославит их. А еще через месяц слава эта стала такой громкой, что при скромном положении четы Кэддлс это выглядело даже неприлично.

Мясник взвешивал младенца Кэддлсов одиннадцать раз. Человек неречистый, он скоро исчерпал весь свой запас слов. В первый раз он сказал: «Вот это парень!»; во второй — «Вот так штука!»; в третий — «Ну, знаете!» — а потом уже только, многозначительно свистнув, скреб в затылке и недоверчиво поглядывал на свои всегда верные весы. Вся деревня ходила смотреть на «большущего парня» — так его прозвали единодушно,— и все говорили: «Да он настоящий великан!» И все диву давались: да где же это видано. А мисс Флетчер категорически заявила, что она-то сроду ничего подобного не видала — и это была чистая правда.

После третьего взвешивания Кэддлсов посетила леди Уондершут — гроза всей деревни, и через очки так уставилась на необыкновенного ребенка, что он разревелся.

— Ребенок необычайно крупный,— громко и нравоучительно сообщила она матери.— За ним и ухаживать надо не так, как за другими детьми. Разумеется, он не будет и дальше расти так же быстро, раз его кормят из бутылочки, но наш долг —позаботиться о нем. Я пришлю вам еще немного бумазеи.

Приходил и доктор, старательно измерял ребенка рулеткой и заносил цифры в свою книжечку, а старик Дрифтхассок, фермер из-под Ап Мардена, нарочно затащил к Кэддлсам заезжего торговца удобрениями взглянуть на младенца, уговорил его ради этого дать добрых две мили крюку. Приезжий трижды переспрашивал, сколько мальчику лет, и в конце концов заявил: «Лопни мои глаза!» Почему и как они должны

были лопнуть — осталось невыясненным, вероятно, от одного вида такого огромного младенца. Он сказал еще, что такого ребенка надо бы отправить на какую-нибудь ребячью выставку. А детишки со всей округи, когда не были заняты в школе, толпами сходились к домику Кэддлсов и хором умоляли:

— Можно нам поглядеть на вашего маленького, мэм? Мы только на минуточку, только одним глазком!

И так каждый день, без передышки, пока миссис Кэддлс не положила этому конец. Гости разглядывали младенца, охали и ахали; при этом неизменно появлялась и миссис Скилетт, становилась в сторонке, скрестив на груди тощие узловатые руки с острыми локтями, морщила огромный нос и многозначительно улыбалась.

— Старая карга даже стала как-то благообразнее,— заметила леди Уондершут.— Впрочем, мне очень жаль, что она вернулась в нашу деревню.

Разумеется, обычная благотворительность не обошла своими щедротами и отпрыска Кэддлсов, но оглушительный крик младенца быстро показал, что его бутылочка с молоком наполняется не так усердно, как ему бы хотелось.

Одним словом, младенец Кэддлсов стал восьмым чудом света, и все дивились, как быстро он растет. Но чудеса скоро приедаются, уступая место новым, а этот ребенок все рос и рос, и люди не переставали изумляться.

Леди Уондершут недоверчиво слушала свою экономку, миссис Гринфилд.

— Как, опять Кэддлс пришел? Ребенку есть нечего? Но, милая моя Гринфилд, этого не может быть! Странный младенец — прожорлив, как бегемот. Нет, этого просто не может быть.

— Я так думаю, не посмеют они вас обманывать, миледи,— ответила миссис Гринфилд.

— С этими людьми никогда не знаешь наверняка,— возразила леди Уондершут.— Вот что, дорогая моя Гринфилд, сегодня же сходите туда сами и посмотрите, как он ест. Хоть он и огромный, я просто не допускаю, чтобы ребенок один выпивал шесть пинт молока в день и ему еще не хватало!

— Да ему это и не полагается, миледи,— ответила экономка.

Руки леди Уондершут дрожали от благородного негодования, какое переполняет дом благотворительниц при мысли, что низшие классы в конечном счете не уступают высшим в низости, а подчас — вот что возмутительно! — могут их в этом и превзойти.

Однако никакого обмана миссис Гринфилд не углядела, и ее хозяйка распорядилась давать для младенца Кэддлсов больше молока. Но не успели отослать ему дополнительную порцию, как у внушительного крыльца леди Уондершут вновь появился Кэддлс, униженный и виноватый.

— Уж как мы берегли его платье, миссис Гринфилд, как берегли, верьте слову, но мальчишка так растет — все на нем лопается! Одна пуговица как отскочит — бац! — окно вдребезги, а другая стукнула меня вон сюда — сами видите, мэм, какой синячище!

Когда леди Уондершут услышала, что на этом поразительном ребенке мигом лопается по всем швам подаренная ею одежда, она решила поговорить с Кэддлсом сама. Счастливый отец поспешно поплевал на ладонь, пригладил волосы, споткнулся в дверях о ковер и, уже вовсе растерявшийся и сконфуженный, хватаясь, как за соломинку, за собственную шапку, предстал пред очи благодетельницы.

Почтенной леди Уондершут приятно было нагонять страх на Кэддлса. Вот оно, олицетворение низшего сословия, полагала она: жуликоват, предан, унижен, трудолюбив и совершенно неспособен сам о себе позаботиться. И леди Уондершут сказала Кэддлсу, что ребенок растет просто недопустимо.

— Такой уж он едок, миледи, все ему мало,— попробовал защищаться Кэддлс.— Что с ним поделаешь. Лежит в кровати, сучит ногами и орет — прямо хоть беги вон из дому. Ну, как тут его не кормить, миледи, жалко ведь! Да если б мы и не жалели, так соседи вмешаются, им не выдержать такого крика...

Леди Уондершут посоветовалась с приходским доктором.

— Я бы хотела знать,— сказала она ему,— нормально ли, что этот ребенок поглощает такое невероятное количество молока?

— Детям такого возраста полагается полторы-две

пинты молока в сутки,— ответил врач.— Никто не может ожидать, что вы уделите ему больше. А если вы даете больше, это уж верх великодушия. Конечно, можно бы попытаться хоть на несколько дней ограничить его обычной порцией. Но я вынужден признать, что этот ребенок по какой-то непонятной причине физиологически отличается от своих сверстников. Возможно, это то, что называется аномалией. Случай общей гипертрофии.

— Но это несправедливо по отношению к другим детям нашего прихода,— сказала леди Уондершут.— Если так будет продолжаться, люди начнут роптать.

— Никто не обязан давать больше чем полагается. Мы можем настаивать, чтобы Кэддлсы обошлись двумя пинтами, в противном случае ребенка надо будет поместить в больницу и хорошенько обследовать.

— Но ведь во всем остальном, если не считать размеров и аппетита, ребенок вполне нормален? — поразмыслив, спросила леди Уондершут.— Он как будто не урод?

— Совсем нет. Однако если он и дальше будет так расти, нравственная и умственная отсталость неизбежна. Это можно с уверенностью предсказать, исходя из закона Макса Нордау. Нордау — весьма одаренный и знаменитый философ, леди Уондершут. Он установил, что ненормальность — явление... э-э... ненормальное, и это — ценнейшее открытие, о котором отнюдь не следует забывать. В моей практике я постоянно на него опираюсь. Когда мне случается столкнуться с чем-либо ненормальным, я тотчас же говорю себе: «Это ненормально».

Взгляд доктора сделался многозначительным, голос упал почти до шепота, словно он поверял собеседнице профессиональную тайну. Он торжественно поднял руку.

— Исходя из этого диагноза, я и лечу пациента,— закончил он.

V

— Ай-я-яй! — заметил священник, обращаясь к своей чашке за завтраком на следующий день после появления в деревне миссис Скилетт.— Ай-я-яй! Это еще что такое!— И он через очки с возмущением уставился на газету.

— Гигантские осы! Что-то будет дальше?.. А может, это просто утка? Что ни день, то сенсация! С меня хва-

тит и гигантского крыжовника. Ерунда все это,— и священник залпом выпил свой кофе, не отрывая глаз от газеты, и недоверчиво причмокнул.

— Чушь! — вынес он окончательный приговор.

Однако назавтра в газетах появились новые подробности, и священник прозрел.

Впрочем, озарение не было мгновенным. Когда в тот день он отправился на свою обычную прогулку, он все еще мысленно посмеивался над нелепой историей, в подлинности которой его пыталась убедить газета. Скажут тоже — осы убили собаку!

В это время он как раз проходил мимо того места, где впервые появились гигантские дождевики, и заметил, что трава там буйно разрослась, однако никак не связал это с насмешившей его газетной уткой.

— Будь это правдой, мы бы уж, наверно, услыхали,— говорил он себе.— Ведь отсюда до Уитстейбла не будет и двадцати миль.

Но через несколько шагов ему попался новый дождевик, уже второго урожая,— он высился над необычно грубой и жесткой травой, как огромное яйцо сказочной птицы рух из «Тысячи и одной ночи».

И тут священника осенило.

В то утро он не пошел дальше своей обычной дорогой. Вместо этого он свернул по другой тропинке к домику Кэддлсов.

— Где тут ваш младенец? — строго спросил он и, увидев ребенка, воскликнул: — Боже милостивый!

Не переставая изумляться и негодовать, он пошел обратно к деревне и столкнулся с доктором — тот спешил к дому Кэддлсов. Священник схватил его за руку.

— Что все это значит? — в тревоге спросил он.— Вы читали в последние дни газету?

Да, доктор, газету читал.

— Что же с этим ребенком? И вообще что это такое? Откуда эти осы, дождевики, младенцы?.. Отчего они все так растут? Прямо понять нельзя. Да еще у нас, в Кенте! Будь это в Америке — ну, еще туда-сюда...

— Пока трудно сказать наверняка, в чем тут дело,— ответил доктор.— Насколько я могу судить по симптомам...

— Да?

— Это... гипертрофия, общая гипертрофия.

— Гипертрофия?

— Да. Общая гипертрофия, поразившая все тело... весь организм. Между нами говоря, я в этом почти убежден, но... приходится соблюдать осторожность.

— Ах, вот как,— сказал священник с облегчением, видя, что события не застали доктора врасплох.— Но почему эта болезнь вдруг разразилась во всей нашей округе?

— Это пока тоже трудно установить,— ответил доктор.

— В Аршоте. Потом здесь. Перекидывается прямо как пожар.

— Да,— ответил доктор.— Да, я тоже так думаю. Во всяком случае, это очень напоминает какую-то эпидемию. Пожалуй, можно это назвать эпидемической гипертрофией.

— Эпидемия! — воскликнул священник.— Так, значит, эта болезнь заразная?

Доктор кротко улыбнулся и потер руки.

— Этого я пока еще не знаю.

— Но ведь... если она заразная... мы тоже можем заболеть!— От страха глаза у священника стали совсем круглые.

Он зашагал было дальше, но вдруг остановился и обернулся к доктору.

— Я только сейчас от Кэддлсов!— закричал он.— Может быть, лучше... Пойду-ка я поскорее домой и приму ванну, да и одежду нужно окурить...

Доктор с минуту глядел ему в удаляющуюся спину, потом повернулся и тоже зашагал восвояси...

Но на полдороге он сообразил, что случай гипертрофии возник в деревне месяц тому назад и никто пока не заразился, и, еще поразмыслив, решил быть мужественным, как и надлежит врачу, и идти навстречу опасности, как положено мужчине.

И эта последняя мысль вовсе не толкнула его на безрассудный шаг. Что-что, а вырасти он бы не смог при всем желании. И доктор и священник могли бы преспокойно есть Гераклеофорбию целыми возами. Они бы все равно больше не выросли. Расти они оба были уже не способны.

VI

Дня через два после этого разговора, а значит, и после того, как была сожжена опытная ферма, Уинклс пришел к Редвуду и показал ему анонимное письмо весьма оскорбительного свойства. Я-то знаю, кто его писал, но автор должен хранить секреты своих героев. «Вы ставите себе в заслугу явление природы, которое от вас не зависит,— говорилось в письме.— Пишете в «Таймс» и пытаетесь создать себе рекламу. Ерунда эта ваша Чудопища! Просто совпадение, что ваша дурацкая Пища случайно появилась в одно время с огромными осами и крысами. Все дело в том, что в Англии возникла эпидемия гипертрофии — инфекционная гипертрофия, которая вам подвластна не более, чем солнечная система. Болезнь эта стара, как мир. Ею страдал еще род Еноха[1]. Вот и сейчас в деревне Чизинг Айбрайт, совершенно в стороне от сферы вашей деятельности, появился младенец...»

— Почерк дрожащий, видимо, старческий, —заметил Редвуд.— Однако это интересно — младенец...

Он прочел еще несколько строк и вдруг понял.

— Бог ты мой! — воскликнул он.— Да ведь это моя пропавшая миссис Скилетт!

И на другой же день нагрянул к ней, как снег на голову.

Миссис Скилетт дергала лук в огородике перед домом дочери. Когда Редвуд вошел в калитку, старуха в первую минуту остолбенела, потом скрестила руки на груди (копья зеленого лука вызывающе торчали под мышкой) и ждала, пока он подойдет ближе. Несколько раз беззвучно открыла и закрыла рот, что-то пожевала единственным зубом и вдруг судорожно присела, будто не книксен сделала, а испугалась, что ее ударят по голове.

— Вот, решил вас повидать,— сказал Редвуд.

— Я уж и то ждала, сэр,— ответила она без всякой радости в голосе.

— Где Скилетт?

— Он ни разу мне не написал, ни разочка, сэр. Как я сюда приехала, он и глаз не кажет.

— И вы не знаете, где он и что с ним?

— Откуда же мне знать, сэр, писем-то нету,— и она

---

[1] Книга Чисел, гл. 13, ст. 28—29.

сделала осторожный шажок в сторону, надеясь преградить Редвуду путь к сараю.

— Никто не знает, что с ним случилось,— сказал Редвуд.

— Ну, он-то сам, верно, знает,— возразила миссис Скилетт.

— Но вестей о себе он не подает.

— Он смолоду такой, Скилетт-то, если какая беда — только о себе и думает, ни о ком не позаботится,— сказала миссис Скилетт.— А уж хитрец, каких мало...

— Где ребенок? — коротко спросил Редвуд.

Она притворилась, что не поняла.

— Ребенок, о котором я слышал,— пояснил Редвуд.— Которому вы даете наш порошок. Ребенок, который весит уже двадцать восемь фунтов.

Руки миссис Скилетт дрогнули, и она выронила лук.

— Право, сэр, я и в толк не возьму, что вы такое говорите,— пролепетала она.— Оно, конечно, сэр, у моей дочери, миссис Кэддлс, и вправду есть ребенок, сэр...

Она опять судорожно присела и склонила нос набок, пытаясь придать своему лицу невинно-вопросительное выражение.

— Покажите-ка мне ребенка, миссис Скилетт,— сказал Редвуд.

Искоса поглядывая на ученого хитрым и трусливым взглядом, миссис Скилетт провела его в сарай.

— Оно, конечно, сэр, тогда на ферме я дала его отцу баночку, может, там что и оставалось, а может, я и с собой прихватила самую малость — как говорится по нечаянности. Собиралась-то второпях, тут не мудрено и ошибиться...

Редвуд пощелкал языком, желая привлечь внимание младенца.

— Гм,— сказал он наконец.— Гм...

Потом он объявил миссис Кэддлс, что ее сын — отличный мальчуган (ничего другого ей и не требовалось), и после этого ее уже не замечал. Видя, что она тут никому не нужна, миссис Кэддлс вскоре совсем ушла из сарая. И тогда Редвуд повернулся к миссис Скилетт.

— Раз уж вы начали, придется продолжать,— сказал он. И прибавил резко: — Только смотрите, на этот раз не разбрасывайте его где попало.

— Чего не разбрасывать, сэр?

— Вы отлично знаете, о чем я говорю.

Старуха судорожно сжала руки — еще бы ей было не знать!

— Вы здесь никому ничего не говорили? Ни родителям, ни господам из того большого дома, ни доктору? Совсем никому?

Миссис Скилетт покачала головой.

— Я бы на вашем месте держал язык за зубами,— сказал Редвуд.

Он подошел к дверям и огляделся вокруг. Сарай стоял между домом и заброшенным свинарником и выходил на проезжую дорогу за воротами. Позади возвышалась стена из красного кирпича, утыканная поверху битым стеклом, увитая плющом и заросшая желтофиолью и повиликой. За углом, среди зеленых и пожелтевших ветвей, над пестрыми грудами первых опавших листьев виднелась освещенная солнцем доска с надписью: «Вход в лес воспрещен». В живой изгороди зияла брешь, пересеченная колючей проволокой.

— Гм,— еще задумчивее промычал Редвуд.— Гм-м.

В это время до его слуха донеслось цоканье копыт и стук колес, и из-за поворота появилась пара серых — выезд леди Уондершут. Коляска приближалась, и Редвуд рассмотрел кучера и лакея. Кучер — представительный мужчина, крупный и пышущий здоровьем — правил лошадьми с торжественной важностью. Пускай другие не отдают себе отчета в своем призвании и положении в этом мире — он-то твердо знает, что́ делает: он возит ее милость, леди Уондершут! Лакей сидел на козлах подле кучера, скрестив руки на груди, и в каменном лице его была такая же непоколебимая уверенность. Потом Редвуд разглядел ее милость; она была одета неряшливо и безвкусно, в старомодной шляпке и мантилье, и сквозь очки смотрела прямо перед собой; с нею в коляске сидели две девицы и, вытянув шеи, тоже всматривались во что-то впереди.

Проходивший по другой стороне улицы священник с головой библейского пророка поспешно снял шляпу, но в коляске этого никто и не заметил.

Коляска проехала, а Редвуд еще долго стоял в дверях сарая, заложив руки за спину. Глаза его блуждали

по зеленым и серым холмам, по небу, покрытому легкими облачками, по стене, утыканной битым стеклом. Порой он оборачивался и заглядывал в глубь сарая,— там, в прохладном полумраке, расцвеченном яркими бликами, словно на полотне Рембрандта, сидел на куче соломы полуголый ребенок-великан, кое-как обмотанный куском фланели, и перебирал пальцы у себя на ногах.

— Кажется, я начинаю понимать, что мы наделали,— сказал себе Редвуд.

Так он стоял и размышлял сразу обо всех: о юном Кэддлсе, и о собственном сыне, и о детях Коссара...

Внезапно он засмеялся. «Бог ты мой!» — сказал он себе, пораженный какой-то мелькнувшей мыслью.

А потом он очнулся от задумчивости и обратился к миссис Скилетт.

— Как бы там ни было, не годится, чтобы он страдал от перерывов в кормлении. Этого-то мы можем избежать. Я стану присылать вам по банке каждые полгода; ему должно хватить.

Миссис Скилетт пробормотала что-то вроде «как вам будет угодно, сэр» и «верно, я прихватила ту банку по ошибке... думала, от такой малости вреда не будет...» — а судорожные движения ее дрожащих рук досказали: да, она прекрасно поняла Редвуда.

Итак, ребенок продолжал расти.

Он все рос и рос.

— В сущности,— сказала однажды леди Уондершут,— он съел в нашей деревне всех телят. Ну, если этот Кэддлс еще раз посмеет сыграть со мной подобную шутку...

VII

Но даже такое уединенное местечко, как Чизинг Айбрайт, не могло долго довольствоваться теорией о гипертрофии — хотя бы и заразной,— когда по всей стране день ото дня громче становились толки о Чудо-пище. Очень скоро старуху Скилетт призвали к ответу, и пришлось ей давать объяснения, и так это было тягостно и неприятно, что под конец она вовсе лишилась дара речи и только жевала нижнюю губу своим единственным зубом; ее пытали на все лады, выматывали из нее душу, — и, преследуемая всеобщим осуждением, она стала в позу

безутешной вдовы. Она отерла с рук мыльную пену, выдавила из глаз несколько слезинок и устремила взор на разгневанную владелицу поместья.

— Вы забываете, миледи, какое у меня горе,— сказала она и продолжала уже почти с вызовом: — Я думаю о *нем*, миледи, денно и нощно.— Она поджала губы, и голос ее сник и задрожал.

— Сами подумайте, миледи, ведь его, бедного, съели!

И, утвердившись на этой почве, вновь повторила прежнее объяснение, которому леди Уондершут с первой минуты не верила:

— Порошок-то я внучонку дала, только уж поверьте, миледи, я и знать не знала, что это за порошок за такой...

Тогда леди Уондершут решила докопаться до истины иными путями, не переставая, конечно, изводить и тиранить Кэддлсов. В бурную жизнь Бенсингтона и Редвуда ворвались еще и вежливые угрозы, которыми пытались их запугать посланцы этой достойной дамы. Они представились как члены приходского совета и, точно попугаи, упрямо твердили одно и то же:

— Мы возлагаем на вас, мистер Бенсингтон, ответственность за ущерб, причиненный нашему приходу. Мы возлагаем всю ответственность на вас, сэр.

Затем в дело вмешалась адвокатская фирма Бангхерст, Браун, Флэпп, Кодлин, Браун, Теддер и Снокстон,— это были известные крючкотворы, великие мастера по части всяких скандальных дел,— и их бессменный представитель, маленький востроносый человечек с хитрым медно-красным лицом, смутно намекал, что придется возместить какие-то убытки... а потом к Редвуду нагрянул еще один посланец леди Уондершут, весьма изысканный джентльмен, и без обиняков спросил:

— Итак, сэр, что вы намерены предпринять?

Редвуд ответил, что, если им с Бенсингтоном будут еще докучать, он перестанет посылать Пищу маленькому Кэддлсу.

— Сейчас я ее посылаю бесплатно,— сказал он.— Если вы не станете давать ему Пищу, он умрет с голоду, а перед этим будет орать так, что вся деревня разбежится. Ребенок живет в вашем приходе — вот и извольте о нем заботиться. Раз уж вашей леди Уондершут угод-

но слыть щедрой благодетельницей и ангелом-хранителем вашего прихода, так пускай в кои веки исполнит свой долг.

— Что поделаешь, зло уже совершилось,— сказала леди Уондершут, когда ее посланцы передали ей (кое о чем, однако, умолчав) ответ Редвуда.

— Зло уже совершилось,— эхом откликнулся священник.

А между тем зло только начиналось.

ГЛАВА II

ГИГАНТСКАЯ ОБУЗА

I

Священник уверял, что гигантский ребенок — урод.

— И всегда был уродом: чрезмерное всегда уродливо,— говорил он.

Взгляды священника мешали ему быть справедливым. Но хоть ребенок и рос в сельской глуши, его часто фотографировали, и эти фотографии — свидетели нелицеприятные — говорят, что священник был неправ. Юный гигант в младенчестве очень мил, густые кудри падают на лоб, и он всегда приветливо улыбается. Почти на всех снимках позади сына стоит улыбающийся Кэддлс,— щуплый и невысокий, он на фотографиях кажется еще меньше ростом.

На третьем году жизни мальчугана его красота стала тоньше, и теперь уже не всякий ее замечал. Он, как сказал бы его злосчастный дед, стал тянуться вверх, точно дурная трава. Румянец на его щеках поблек, и, несмотря на исполинский рост, он казался худеньким. У него был вид хрупкого ребенка. И его черты и взгляд стали строже, о таких обычно говорят: какое интересное лицо!.. После первой же стрижки его кудрявые волосы уже совсем не слушались гребня.

— Явные признаки вырождения,— говорил по этому поводу приходский доктор. Но еще вопрос, был ли он прав, или здоровье мальчика ухудшилось оттого, что жил он в сарае, выбеленном известкой, и всецело зависел от щедрот леди Уондершут, еще умеряемых ее убеждением, что несправедливо давать ему больше, чем другим.

В возрасте от трех до шести лет, судя по фотографи-

ям, юный Кэддлс был курносым мальчишкой с льняными волосами. Круглые глаза смотрели дружелюбно, губы, казалось, вот-вот расплывутся в улыбке,— судя по фотографиям того времени, та же приветливая улыбка играла на лицах всех гигантских детей. Летом он обычно ходил босиком, в просторной тиковой рубахе, сшитой вместо ниток шпагатом, на голове вместо шляпы — корзинка, в каких рабочие носят инструменты. На одной фотографии он широко улыбается, а в руке у него — большая надкушенная дыня.

Фотографий, сделанных в зимнее время, немного, и они не так удачны. Мальчик обут в огромные деревянные башмаки, носки на нем из мешковины (отчетливо видны остатки надписи «Джон Стиккелс, Айпинг»), штаны и куртка явно скроены из старого ковра с веселеньким рисунком. Из-под них виднеются обернутые вокруг тела куски фланели, ярдов пять-шесть той же фланели обмотано вокруг шеи. На голове — подобие шапки, сделанное, по-видимому, тоже из мешковины. Мальчик глядит прямо в объектив — иногда с улыбкой, иногда печально, уже в пять лет он начинает как-то особенно, задумчиво щурить кроткие карие глаза, и от них разбегаются характерные морщинки.

Священник всегда утверждал, что юный Кэддлс сразу стал тяжкой обузой для деревни. Видимо, свойственное всем детям любопытство, общительность и желание играть были у него соразмерны росту, и — вынужден я с прискорбием добавить — он был вечно голоден. Как ни щедро, «сверх всякой меры», по выражению миссис Гринфилд, посылала ему хлеб и еще кое-какое довольствие леди Уондершут, мальчик проявлял — это с первых же дней отметил приходский врач — «преступный аппетит». Подтверждались самые суровые суждения леди Уондершут о низших сословиях: мальчишка получал не в пример больше еды, чем требуется даже взрослому человеку, и, однако, воровал съестное! И сразу же с неприличной жадностью поглощал свою добычу. Его огромная рука тянулась через заборы садов и огородов и даже забиралась за хлебом в повозку булочника. С чердака лавки Марлоу исчезали головки сыра, и не было ни одного свиного корыта, которое не обшарил бы этот мальчишка. Фермеры частенько находили на полях брюквы отпечат-

ки огромных ног и следы вечного голода: то тут, то там выдернута с грядки брюква, и ямку воришка с ребячьей хитростью старательно заровнял. Брюкву он съедал мигом, как мы едим редиску. Если поблизости никого не было, он, стоя под яблоней, обирал с нее яблоки, как обыкновенный ребенок обирает с куста смородину. Но по крайней мере в одном отношении то, что юный Кэддлс был вечно голоден, уберегло Чизинг Айбрайт от многих треволнений: все эти годы он съедал до последней крошки всю Пищу богов, которую ему присылали...

Бесспорно, этот ребенок доставлял множество хлопот и неудобств.

— Вечно он путается под ногами,— говорил священник.

Кэддлс не мог ходить ни в школу, ни в церковь — ни там, ни тут он не помещался. Правда, делались попытки удовлетворить «глупейший и развращающий умы» (подлинные слова священника) закон об обязательном начальном образовании, изданный в Англии в 1870 году: Кэддлса заставляли сидеть во дворе у открытого окна школы, где в это время шли занятия. Но его присутствие отвлекало школьников: они то и дело вскакивали, глядели в окно, и стоило Кэддлсу заговорить, как все дружно смеялись: ведь у него был такой странный голос! И пришлось отказаться от этой затеи.

Не заставляли его и приходить к церкви, ибо его вид не способствовал усердию молящихся: а между тем тут было бы легче добиться успеха — можно догадываться, что в душе этого колосса таились зерна благочестия. Быть может, его привлекала музыка: по воскресеньям он нередко приходил на церковный двор, когда вся паства была уже в церкви, осторожно пробирался между могилами и просиживал всю службу на паперти, прислушиваясь к тому, что делается внутри,— так можно слушать жужжание пчел в улье.

Вначале он вел себя не очень тактично: молящиеся слышали, как он беспокойно топчется вокруг церкви — и гравий скрипит под его огромными ногами, или вдруг замечали его лицо за цветными стеклами — с любопытством и завистью он заглядывал в окно; подчас безыскусственный напев какого-нибудь псалма захватывал его, и он принимался печально подвывать, изо всех сил

стараясь попасть в тон. В таких случаях маленький Слоппет, по воскресеньям помогавший органисту, а заодно исполнявший обязанности церковного служки, сторожа, пономаря и звонаря (в будни он был еще и почтальоном и трубочистом), тотчас же выходил из церкви и решительно, хоть и скрепя сердце, отсылал Кэддлса прочь. Мне приятно отметить, что Слоппет чувствовал при этом угрызения совести, — по крайней мере в те минуты, когда успевал задуматься. Как будто идешь на прогулку, а верного пса оставляешь взаперти, рассказывал он мне.

Впрочем, духовное и нравственное воспитание юного Кэддлса, хоть и отрывочное, имело определенную направленность. С самого начала и его собственная мать, и священник, и все остальные дружно внушали бедняге, что ему отнюдь не следует пускать в ход свою огромную силу. Она — просто несчастье, уродство, и надо смириться. Надо всех слушаться, делать, что велят, и стараться ничего не ломать и никому не повредить. А главное, внушали ему, смотри ни на что не наступи, ничего не толкни, не бегай и не прыгай. Почтительно кланяйся господам, будь вечно благодарен за еду и одежду, которую они тебе уделяют от щедрот своих. И мальчик покорно усвоил все эти заповеди, ибо от природы и по воспитанию был послушным ребенком и только волею случая и Пищи — гигантом.

В эти ранние годы Кэддлс благоговел перед леди Уондершут. Она же предпочитала разговаривать с ним во время верховых прогулок — в амазонке, размахивая хлыстом, и всегда — тоном пренебрежительным и крикливым. Порою и священник принимался им помыкать — крошечный, пожилой, страдающий одышкой Давид осыпал юного Голиафа упреками, выговорами и приказаниями, точно градом камней. Мальчик был уже чересчур велик, и, видно, просто невозможно было помнить, что это всего лишь семилетний ребенок, что он, как и все дети, хочет повеселиться, поиграть, узнать что-то новое и жаждет ласки, любви и внимания и, как все дети, беспомощен и способен сильно тосковать и страдать.

Погожим утром, во время прогулки, священник не раз встречал на дороге это диво восемнадцати футов ростом, нелепое и отвратительное, на его взгляд, точно некая новая ересь; непонятное существо это проходило мимо, не-

суразно топая ногами и озираясь по сторонам, занятое вечными поисками, — оно искало того, без чего не может обойтись ни один ребенок: что бы съесть и во что бы поиграть.

При виде священника в глазах гиганта появлялось нечто вроде пугливого почтения, и он застенчиво подносил руку к спутанным кудрям, точно взрослый человек — к шапке.

У священника еще сохранилась толика воображения, и при виде юного Кэддлса ему всегда представлялось, каких бед могут натворить эти огромные кулаки. Вдруг парень сойдет с ума! Или просто забудет о почтительности... Однако поистине храбр не тот, кто вовсе не чувствует страха, а тот, кто умеет страх побороть. Священник всегда находил в себе силы подавить разыгравшееся воображение. И всегда отважно обращался к Кэддлсу, стараясь говорить внятно и с выражением, будто проповедь читал.

— Ну, как ты себя ведешь, Элберт Эдвард? Надеюсь, хорошо?

Юный гигант прижимался к стене и отвечал, густо краснея:

— Да, сэр, я стараюсь.

— Смотри же, старайся хорошенько,— говорил священник и проходил мимо, и разве что сердце у него, бывало, заколотится быстрее. Но он взял за правило, что бы ему ни мерещилось, не оглядываться на опасность, когда она уже позади: ведь это недостойно мужчины!

Урывками священник занимался и образованием юного Кэддлса. Читать он его не учил — к чему? — но внушал то, что для гиганта, конечно, куда важнее истины катехизиса: пусть не забывает о своем долге перед ближними и о том, что бог беспощадно покарает его, если он когда-либо вздумает ослушаться священника и леди Уондершут. Уроки эти священник давал у себя во дворе, и прохожие слышали, как необыкновенно гулкий голос, еще совсем по-детски шепелявя и путаясь в длинных словах, нараспев повторяет основы учения государственной церкви:

— Буду чтить короля и повиноваться ему и всем власть имущим. Буду слушаться всех старших, моих учителей и наставников, духовных пастырей и господ.

Буду смиренно и беспрекословно выполнять приказания всех стоящих выше меня и более меня знающих...

Вскоре выяснилось, что лошади с непривычки пугаются и шарахаются от гиганта, точно от верблюда; поэтому ему запретили не только подходить к аллее, обсаженной кустарником (его дурацкая улыбка ужасно раздражала миледи!), но и вообще появляться на дороге. Впрочем, этот приказ он потихоньку нарушал — уж очень интересно было поглядеть на дорогу; но обычная прогулка превратилась для него в запретное удовольствие. В конце концов ему разрешили гулять лишь по заброшенному выгону да по склонам холмов.

Просто не знаю, что бы он стал делать, если бы не добрые старые меловые холмы! Там он мог сколько угодно бродить на просторе — и бродил. Он ломал ветки деревьев и связывал их в немыслимые букеты, пока ему это не запретили; брал овец и выстраивал их в ряды и от души смеялся, глядя, как они тотчас разбегаются, пока ему это не запретили; срезал дерн и рыл глубочайшие ямы в самых неожиданных местах, пока ему это не запретили...

Он бродил по холмам до самого Рекстоуна, но дальше не заходил, потому что там начинались возделанные земли; вид оборванного, нечесаного великана наводил страх на людей; притом они боялись, что он вытопчет их поля,— и они травили его собаками и гнали прочь. Ему грозили, хлестали его кнутом и даже, как я слышал, иногда стреляли в него из дробовиков. В другую сторону он доходил почти до Хиклибрау С холмов над Терсли Хэнгер он мог издали разглядеть железную дорогу на Лондон, Четэм и Дувр, но ближе подойти боялся: на пути лежали вспаханные поля да еще деревушки, которых надо было опасаться.

А потом появились объявления — огромные доски с большими красными буквами преграждали ему путь, куда бы он ни пошел. Он не умел прочитать эти буквы, из которых складывались слова «Вход воспрещен», но вскоре понял их смысл. Пассажиры поездов часто видели его из окон вагонов,— уткнувшись подбородком в колени, он сидел на земле где-нибудь на склоне холма возле каменоломен Терсли, куда его позднее отправили на работу. Поезд, видно, вызывал в нем смутные дружеские чувства,— иногда великан махал вслед

огромной ручищей, а порой и кричал что-то непонятное своим странным, грубым голосом.

— Громадина!— говорил тогда один пассажир другому.— Один из этих чудо-детей. Говорят, сэр, он совершенно беспомощен, идиот идиотом и тяжкая обуза для всей округи.

— Я слыхал, что его родители — бедняки.

— Да, он только и кормится благотворительностью здешних господ.

И все глубокомысленно мерили взглядом сидевшего вдали на корточках великана.

— Хорошо, что этому положили конец,— замечал какой-нибудь философ.—А то еще пришлось бы налогоплательщикам содержать несколько тысяч таких по всей стране! Веселенькое дело, а?

И всегда находился умник, который с жаром поддакивал такому философу:

— Вы совершенно правы, сэр!

II

Бывали у юного Кэддлса плохие дни.

Вот, например, неприятное происшествие с рекой.

Он мастерил из цельных газет лодочки, напоминавшие огромные треуголки,— научился он этому, глядя, как их делает мальчишка Спендер,— и пускал по течению. Когда они исчезали под мостом (за мостом начинались владения леди Уондершут, и вход туда был строжайше воспрещен), Кэддлс с воплем пускался бежать со всех ног к излучине реки, чтобы перехватить там свои лодочки. Бежал он прямиком через луг Тормета,—и видели бы вы, как бросались врассыпную Торметовы свиньи, а ведь свиньям бегать вредно: от этого драгоценный жир превращается в жесткое мясо! А лодочки плыли мимо дома леди Уондершут, под самыми окнами. Безобразные, намокшие газеты! Нечего сказать, приятное зрелище!

Осмелев от своей безнаказанности, мальчик принялся строить на берегу что-то вроде плотин и запруд. Орудуя вместо лопаты старой дверью от сарая, он выкопал громадную яму, ведь его бумажному флоту нужна была гавань; прорыл самый настоящий канал, благо никто вовремя этого не заметил, и вода затопила ледник леди



«ПИЩА БОГОВ»



«ХРУСТАЛЬНОЕ ЯЙЦО»

Уондершут. И, наконец, запрудил реку, перегородил от берега до берега, для этого ему довольно было несколько раз копнуть землю своей дверью от сарая — это напоминало обвал! Началось настоящее наводнение—поток хлынул сквозь кусты и смыл мисс Спинкс вместе с ее мольбертом и самой лучшей акварелью. Вернее сказать, вода смыла мольберт, а мисс Спинкс промочила ноги до колен и, угрюмо подобрав юбки, убежала в дом, вода же устремилась в огород, залила лужайку и оттуда по канаве вернулась в реку.

Священник как раз беседовал с кузнецом и вдруг ахнул от изумления: река глубиной не меньше восьми футов внезапно обмелела! Там, где только что текли прозрачные холодные воды, валяются на земле комья тины и зеленые водоросли и рыба отчаянно бьется в жалких лужах!

В ужасе от того, что он натворил, юный Кэддлс убежал из дому и не появлялся два дня и две ночи. Но потом голод пригнал его домой, и он стоически выдержал брань и попреки, которыми его осыпали в изобилии,— головомойка была под стать его росту, ничего более соразмерного с его ростом никогда не выпадало ему на долю в этом счастливом уголке земли.

III

После этого случая леди Уондершут в придачу к прежним притеснениям, обидам и несправедливостям в назидание провинившемуся издала новый строгий указ. Прежде всех она объявила его дворецкому, да так неожиданно, что старик даже подскочил. Он убирал посуду после завтрака, а миледи стояла у высокого окна и смотрела на лужайку, где обычно кормили ланей.

— Джоббет,— вдруг сказала она самым резким и повелительным тоном,— Джоббет, этот урод должен зарабатывать свой хлеб.

И она доказала не только Джоббету (это-то было нетрудно), но и всей деревне, в том числе юному Кэддлсу, что и тут, как и во всем прочем, слово у нее не расходится с делом.

— Пусть работает,— сказала леди Уондершут.— Вот полезный совет этому молодцу.

— Я полагаю, что это — совет, полезный всему человечеству,— ответил священник.— Простые обязанности, размеренная, скромная жизнь: возделывай свое поле да собирай жатву...

— Именно,— подтвердила леди Уондершут.— Я всегда это говорю. Бездельнику занятие сатана подыщет. Конечно, если он низкого звания. Мы всегда внушаем это младшим горничным. К какому же делу его приставить?

Это оказалось не так-то просто. Они перебрали множество должностей, а пока стали приучать его к работе, посылая вместо верхового, если нужно было спешно доставить телеграмму или записку; годился он и в носильщики, для него даже отыскали старую рыбачью сеть, и он без труда таскал в ней чемоданы, пакеты и всякую другую поклажу. Это была новая игра, и она нравилась Кэддлсу, но однажды Кинкл, управляющий, увидал, как он по распоряжению леди Уондершут выворачивает из земли огромный камень, и возымел блестящую идею отправить его в принадлежавшую миледи каменоломню в Терсли Хэнгере, по соседству с Хиклибрау. Идею осуществили, и уже казалось, что задача решена и Кэддлс пристроен.

Он работал в каменоломне — сперва играючи, с детским увлечением, а потом в силу привычки: ломал известняк, грузил, откатывал вагонетки, полные спускал вниз к железнодорожной ветке, а пустые втягивал вверх канатом, крутя огромную лебедку,— короче говоря, управлялся в карьере один.

Я слышал, что Кинкл сделал из него очень выгодного для леди Уондершут работника: ведь обходился он совсем дешево, его только приходилось кормить,— и все равно миледи вечно жаловалась, что «этот урод впился в нее, как клещ» и «пользуется ее добротой».

В ту пору юный Кэддлс носил какую-то хламиду из мешковины, залатанные кожаные штаны и деревянные башмаки, подбитые железными подковами. Взамен шапки он порой нахлобучивал нечто совсем нелепое — растрепанное соломенное сиденье от старого стула, но чаще ходил с непокрытой головой. В его неторопливых движениях чувствовалась спокойная сила, а в полдень, проходя мимо карьера во время своей обычной прогулки,

священник всегда заставал его за завтраком: застенчиво отвернувшись от всего мира, Кэддлс поглощал огромное количество еды.

Еду доставляли ему каждый день: в самой обыкновенной вагонетке из тех, которые он наполнял глыбами известняка, привозили похлебку из немолотого зерна в шелухе, он разогревал ее в старой печи для обжига извести и с жадностью поедал. Иногда он всыпал туда мешок сахару. Иногда сосал кусок грубой соли, какую обычно дают коровам, или глотал вместе с косточками огромные комки фиников, что в Лондоне продают с лотков. За водой он ходил мимо выжженного участка, где стояла когда-то опытная ферма, к ручью возле Хиклибрау и пил прямо из ручья, окунув лицо в воду. А пил он сразу после еды,— вот как случилось, что Пища богов опять вырвалась на волю: сначала по берегам разрослась высоченная трава, потом появились гигантские лягушки, огромные форели и уж такие карпы, что ручей вышел из берегов, и, наконец, всю долину покрыла невиданно буйная растительность.

Не прошло и года, как на соседнем поле расплодились странные чудовищные гусеницы, а из них вывелись такие страшные кузнечики и жуки — моторные жуки, прозвали их мальчишки,— что перепуганная леди Уондершут поспешила уехать за границу.

IV

Вскоре, однако, Пища стала действовать на юного Кэддлса по-новому. Хотя священник всячески старался воспитать гиганта послушным земледельцем и поэтому преподал ему лишь самые скромные уроки, ученик начал задавать вопросы, допытываться до сути вещей: он начал размышлять. Мальчик превращался в подростка, и все яснее становилось, что мысль его работает по-своему и священник над нею не властен. Почтенный пастырь всячески силился этого не замечать, но как тут было не тревожиться!

Все вокруг будило мысль юного гиганта. С высоты своего роста он уж, наверно, поневоле многое видел и замечал, а кругом были лю́ди,— и постепенно он должен был понять, что и он тоже человек, только чересчур огромный и нескладный и потому, увы, многого лишен.

Дружный гул голосов, доносившийся из школы, таинственная церковь с ее пышным убранством, источавшая такую чудесную музыку, и веселый хор собутыльников в трактире, приветливые огни свеч и каминов за окнами, в которые он заглядывал из темноты, или шумная, не очень понятная суета нарядных людей на лужайке для крикета — уж, наверно, все это громко взывало к его сердцу, тоскующему в одиночестве. Подкрадывалась юность — и его, по-видимому, все больше интересовали влюбленные, их встречи и расставания, их тяга друг к другу, та сокровенная близость, что занимает столь важное место в жизни.

Однажды воскресным вечером, в тот час, когда просыпаются звезды, летучие мыши и страсти сельских жителей, парень с девушкой отправились целоваться на Дорогу Влюбленных,— эта укромная прогалина среди густых высоких кустов вела к Верхней Сторожке. Они самозабвенно целовались, в теплых сумерках им было уютно и безопасно — что еще нужно влюбленным? Помешать мог только случайный прохожий, но они увидели бы его первыми; высокая, в два человеческих роста живая изгородь, уходившая к молчаливым меловым холмам, казалась им вполне надежным укрытием.

И вдруг — непостижимо! — какая-то сила оторвала их друг от друга и от земли.

Гигантские руки осторожно держали обоих под мышки высоко в воздухе, и карие глаза юного Кэддлса с недоумением вглядывались в их разгоряченные лица. Не удивительно, что оба потеряли дар речи.

— Почему вам нравится так делать? — спросил Кэддлс.

Оторопев, они молчали, но потом парень вспомнил, что он мужчина, и разразился подобающими случаю криками, угрозами и проклятиями, требуя, чтобы Кэддлс опустил их на землю. Тут юный Кэддлс вспомнил, как надо себя вести, очень вежливо и осторожно посадил их на прежнее место, поближе друг к другу, чтобы они опять могли целоваться, помешкал еще немного — и исчез в сумерках...

— Ох, и дурацкое положение! — признавался мне после парень.— Сидим, знаете, стыдно друг другу в глаза поглядеть... Принесла его нелегкая... Мы ведь целова-

лись, сами понимаете... И вот смех, по ее выходит — это я во всем виноват! До того разозлилась — как шли домой, и говорить-то со мной не хотела!

Без сомнения, великан принялся изучать жизнь. Пытливый ум задавался все новыми вопросами. Ответа Кэддлс пока искал у немногих, но вопросы эти не давали ему покоя. Похоже, что порой он подвергал мать самому настоящему допросу.

Он приходил к ней во двор, осторожно выбирал место, чтобы не передавить кур и цыплят, медленно опускался на землю и прислонялся спиной к амбару. Тотчас к нему сбегались цыплята и с удовольствием выклевывали свалявшуюся меловую пыль из швов и складок его одежды; а если дело шло к дождю, то котенок миссис Кэддлс, ничуть не опасавшийся великана, выгибал спину дугой и начинал стремглав носиться взад и вперед: со двора в дом, в кухне — на печку, снова кувырком вниз, во двор, и по ноге Кэддлса, по боку ему на плечо... мгновенное раздумье... прыг! — и опять все сначала. Иногда, расшалившись, зверек впивался когтями в лицо Кэддлсу, но тот не решался его тронуть — такая кроха, еще раздавишь! Да он и не боялся щекотки... А потом он ставил мать в тупик каким-нибудь неожиданным вопросом.

— Матушка,— говорил он,— если работать — это хорошо, почему же не все работают?

Мать поднимала на него глаза и отвечала:

— Это хорошо только для таких, как мы.

Сын задумывался.

— А почему? — спрашивал он. И, не получив ответа, продолжал: — Для чего люди работают, матушка? Почему я день-деньской ломаю камень, ты стираешь белье, а вон леди Уондершут катается себе в коляске да разъезжает по красивым чужим краям, а нам с тобой их сроду не видать?

— Потому что она леди,— отвечала миссис Кэддлс.

— А-а! —И юный Кэддлс опять погружался в раздумье.

— Благородные господа нам, беднякам, дают работу,— говорила миссис Кэддлс.— А без них на что бы мы жили?

Эту мысль тоже надо было переварить.

— Матушка, — снова начинал сын,— если бы на свете не было господ, наверно, все принадлежало бы таким, как ты и я, и тогда...

— Господи помилуй! Чтоб тебе провалиться, парень! — восклицала миссис Кэддлс (благодаря отменной памяти она после смерти своей мамаши превратилась в такую же красноречивую и решительную особу).— Как прибрал бог твою бедную бабушку, так с тобою никакого сладу не стало! Не лезь с вопросами, не то наслушаешься вранья. Коли мне на твои вопросы всерьез отвечать, так я со стиркой и до завтра не управлюсь, а кто отцу обед сготовит?

Сын смотрел на нее с удивлением.

— Ладно, матушка,— говорил он.— Я ведь не хотел мешать тебе.

И продолжал размышлять.

V

Так же размышлял он и в тот день, четыре года спустя, когда его в последний раз видел священник — человек уже не просто зрелых лет, а перезрелый. Представьте себе этого почтенного джентльмена: он несколько постарел и расплылся, голос у него немного осипший, память дырявая и речь не очень внятная, уже не столь уверенны его движения и не столь тверды принципы, но, несмотря на все треволнения, которые доставила ему и его приходу Пища богов, глаза его по-прежнему смотрят бодро и весело. Да, немало пережито страхов и тревог, а все-таки он остался жив и здоров и верен себе, а за пятнадцать долгих лет — целая вечность! — и к треволнениям можно притерпеться.

— Достаться-то нам досталось,— говаривал он,— и многое изменилось с тех пор... сильно изменилось. Прежде, помню, любой мальчишка мог прополоть огород, а теперь без лома и топора не обойдешься,— особенно поближе к чащобе. И нам, старикам, по сю пору непривычно, что вся долина и даже старое русло реки засеяны пшеницей, вон она какая этим летом вымахала — двадцать пять футов вышиной! Лет двадцать назад у нас тут жали по старинке, серпами, и то-то радости было, когда урожай заполнял целую телегу... Добрые старые обычаи! Чарка доброго вина да простая, бесхитростная любовь... Бед-

ная леди Уондершут! Она не признавала этих новшеств... аристократка старого закала. В ней было что-то от восемнадцатого века, я всегда это говорил. А какой язык: сочность, прямота, выразительность!.. К концу жизни она порядком обеднела. Эти гигантские сорняки заполонили весь ее сад. Не то, чтобы у нее была уж такая страсть к садоводству, но она любила, чтобы там был порядок, чтобы все росло, где полагается и как полагается. А оно как взялось, выше да выше — миледи и растерялась... И еще этот урод ей досаждал,— под конец ей уж стало казаться, будто он вечно глазеет на нее через забор... И досаждало, что он ростом чуть ли не с ее дом... оскорбляло ее вкус и чувство меры... Бедняжка! Не думал я ее пережить. Не вытерпела, сбежала от тех огромных майских жуков, целый год мы не могли от них избавиться. Вывелись из гигантских личинок там, в долине... этакая мерзость... с крысу, не меньше...

Да и муравьи тоже ее угнетали...

Все перевернулось, не стало здесь мира и покоя,— ну, она и объявила, что уж лучше жить в Монте-Карло. Взяла и укатила.

Говорили, она там крупно играла. Умерла в гостинице. Печальный конец! На чужбине... Да, не ведает человек, что ему уготовано... Такой был старинный род, всегда повелевали своими соотечественниками... И вот — вырвана из родной почвы... Так-то!..

— А все равно,— гнул он свое,— дело-то кончилось пшиком. Мешает, конечно. Детишкам негде побегать, как бывало,— уж очень пошли кусачие муравьи и прочая живность. А вообще-то невелика разница... Помню я, поговаривали, что порошок этот весь мир перевернет... Но, видно, есть на свете такие твердыни, что их никакими новшествами не пошатнешь... Толком-то не скажу, я ведь не из нынешних философов... Эти вам все на свете растолкуют. Эфир да атомы... эволюция... Как бы не так! То, о чем я говорю, никакими вашими науками не объяснишь. Здесь все дело в разуме, а не в знании. Высшая мудрость, Человеческая природа. Называйте как хотите, но это — aere perennius.

И вот наконец настал тот последний раз.

Священник не подозревал о том, что́ его ожидает. Он совершал свою обычную прогулку среди холмов —

по той же дорожке, по которой гулял уже лет двадцать,— и направлялся к месту, откуда всегда наблюдал за юным Кэддлсом. Слегка запыхавшись, он поднялся на край карьера. Куда девался молодецкий шаг его юности! Но Кэддлса в карьере не было; священник обогнул заросли гигантских папоротников, чья густая тень уже начинала заслонять Хэнгер, и увидел великана: тот сидел на холме и, казалось, размышлял над судьбами мира. Он облокотился на поднятые колени, склонил голову набок и подпер щеку ладонью. Священник видел только его плечо и не мог разглядеть недоумевающих глаз. Должно быть, юноша глубоко задумался: он сидел так тихо, неподвижно...

И он не обернулся. Он так никогда и не узнал, что священник, сыгравший такую важную роль в его жизни, смотрел на него в самый последний раз; он его даже не заметил. (Как часто именно так и расстаются люди!) А священника в тот миг поразила догадка, что никто, в сущности, и понятия не имеет, какие думы бродят в мозгу великана, когда он отдыхает от своих нелегких трудов. Но сегодня старик слишком устал, чтобы обременять себя новой темой, и мысль его опять свернула на проторенную дорожку.

— Aere perennius,— прошептал он, медленно шагая домой по тропинке, которая теперь уже не пересекала луг напрямик, как в былые годы, а извивалась, огибая молодые купы гигантских трав.— Нет, ничто не изменилось. Суть не в размерах. Извечный круг жизни, тот же неизменный путь...

И в ту же ночь, сам того не заметив, он тихо ушел тем же неизменным путем из мира таинственных перемен, которые отрицал всю свою жизнь.

Его похоронили на Чизинг Айбрайтском кладбище под самой большой ивой, и скромную могильную плиту с надписью, которая кончалась словами: Ut in Principio nunc est et semper [1],— мгновенно скрыла от глаз поросль гигантской травы, траву эту не брал серп и не могли сглодать овцы, ее серые пушистые метелки наползали на деревню, как туман, поднимавшийся с тучных влажных низин, оплодотворенных Пищей богов.

---

[1] ...ныне и присно и во веки веков (*лат.*).

КНИГА III

ПИЩА ПРИНОСИТ ПЛОДЫ

ГЛАВА I

ПРЕОБРАЖЕННЫЙ МИР

I

Вот уже двадцать лет действовали в мире новые силы. В жизнь большинства людей перемены входили постепенно, час за часом, хоть и заметные, но не столь резкие, чтобы подавлять своей внезапностью. Однако нашелся человек, глазам которого все то новое, что внесла Пища в облик мира за два десятилетия, открылось сразу, в один день. Будет очень кстати, если мы проведем с ним этот день и расскажем обо всем, что он увидел.

Это был преступник, осужденный на пожизненную каторгу (за что именно — для нас неважно), но теперь, через двадцать лет, закон счел возможным его помиловать. И вот в одно прекрасное летнее утро бедняга, чьим уделом с двадцати трех лет был унылый, изнурительный труд и жесткие тюремные правила, вновь очутился в изумительном мире свободы. Ему вернули вольную одежду, от которой он давно отвык; за последние недели волосы у него отросли, их уже удается расчесать на пробор; и вот он стоит, весь обновленный и от этого жалкий, растерянный и неуклюжий, глаза ему слепит солнечный свет, душу слепит нечаянная улыбка судьбы. Он снова на воле, он силится постичь непостижимое — он вновь, пусть ненадолго, возвращен к жизни! Даже не верится, он к этому совсем не готов! По счастью, у него был брат, который все еще не забыл об их далеком детстве и сейчас приехал за ним и обнял его; этот бородатый преуспевающий мужчина ничем не напоминал того мальчонку, каким он был двадцать лет назад, даже глаза стали другие. И вместе с этим незнакомцем, близким ему по крови, вчераш-

ний узник приехал в Дувр; дорóгой они больше молчали, хотя и думали о многом.

Они посидели часок в трактире; брат отвечал, а узник все расспрашивал о родных и знакомых, удивляя собеседника давно устаревшими взглядами, отмахиваясь от новых понятий и новых воззрений; а потом настало время идти на вокзал, на лондонский поезд. Имена этих людей и семейные дела, которые они обсуждали, несущественны для нашей повести. Нам важны лишь перемены да странные новшества, которые бросились в глаза бедной заблудшей овце, вернувшейся в некогда хорошо знакомый мир.

В самом Дувре он почти ничего не заметил, вот только пиво в оловянных кружках было отличное, он никогда не пил такого, и на глазах у него выступили слезы благодарности. «Пиво, как и прежде, хоть куда!» — сказал он, а про себя подумал, что оно стало несравненно лучше...

Лишь когда колеса поезда громыхали уже за Фолкстоуном, он несколько справился с волнением и начал замечать окружающее. Он выглянул в окно. «Солнышко светит,— повторял он в двадцатый раз.— Денек выдался на славу!»

И тут впервые он заметил какие-то странные несоразмерности и несообразности.

— Ух ты! — воскликнул он и выпрямился. Лицо его впервые оживилось.— Ну и чертополох же вымахал там на берегу, под ракитами! Неужто и вправду такой огромный чертополох? Или я путаю?

Но это и в самом деле был чертополох, а то, что он принял за ракитовые кусты, оказалось простой травой, в ее чаще рота солдат (как и прежде, в красных мундирах) проводила учение согласно уставу, частично пересмотренному после Бурской войны. И вдруг — бац! — поезд нырнул в туннель и выкатился прямо к Сэндлингскому вокзалу; здесь теперь все утопало в зарослях рододендронов, они добрались сюда из близлежащих садов и заполонили всю долину; от них в Сэндлинге стало так темно, что фонари горели круглые сутки. На запасном пути стоял товарный поезд, груженный рододендроновым кругляком, и здесь наш блудный сын впервые услыхал о Чудо-пище.

Поезд уже снова мчался по знакомым, ничуть не изменившимся местам, а братья все еще говорили на разных языках. Старший жадно расспрашивал, и его вопросы казались младшему бессмысленными. Сам он никогда и не пытался понять и обобщить происходящее, а потому ответы его звучали бессвязно и невразумительно.

— Это все Чудо-пища,— сказал он, исчерпав все свои познания.— Неужто ты не слыхал? И никто тебе даже не обмолвился? Чудо-пища! Понял? Чу-до-пища. Из-за нее и с выборами такая кутерьма. Ученая штука! Неужто так-таки и не слыхал?

И он подумал: как же брат отупел там, в тюрьме,— не знает самых простых вещей.

Так и шла эта игра в вопросы и ответы. Между разговорами старший брат смотрел в окно. Сначала новости интересовали его смутно, лишь в общих чертах. Его больше занимало, что́ скажет ему при встрече такой-то, как теперь выглядит такая-то и как бы всем и каждому изобразить по возможности благовидно поступок, из-за которого его двадцать лет назад «засадили». Чудо-пища мелькнула сперва невразумительными строчками в газете, потом помешала им с братом понимать друг друга. И вдруг он обнаружил, что этой Пищи не миновать, о чем бы они ни заговорили.

В ту переходную пору мир напоминал собой лоскутное одеяло, и Новое явилось свежему глазу, как цепь поразительных, кричащих контрастов. Перемена совершалась не везде одинаково, очаги распространения Пищи вспыхивали то тут, то там. Страна словно покрылась разноцветными заплатами — большие области, до которых Пища еще не добралась, а рядом — края, где она уже пропитала землю и воздух, внезапная и вездесущая. Она, словно новая, дерзкая мелодия, разливалась среди древних, освященных веками песен.

В то время контраст был особенно разителен на пространстве от Дувра до Лондона. Поезд пересекал места, какие вчерашний узник помнил с детства: полоски полей за живой изгородью, такие крохотные, словно их вспахали карликовые лошади; узенькие дороги, на которых трем повозкам уже, пожалуй, не разъехаться; в полях кое-где пятнышками темнеют вязы, дубы и тополя, вдоль речушек жмутся ивы; стога сена не выше са-

пога какого-нибудь великана; игрушечные домики с крохотными окошками; кирпичные заводы; кривые деревенские улочки, дома побольше — жилища жалких местных «тузов»; поросшие цветами насыпи и палисадники железнодорожных станций. Вся эта мелкота осталась от ушедшего в прошлое девятнадцатого столетия и еще сопротивлялась наступлению гигантизма. Кое-где виднелись пучки занесенного ветром огромного взлохмаченного чертополоха, не поддающегося топору; кое-где высился десятифутовый гриб-дождевик или торчали обуглившиеся стеблы на выжженном участке гигантской травы; но это были единственные признаки наступления Пищи.

На протяжении нескольких десятков миль ничто больше не предсказывало, что в каких-нибудь десяти милях от дороги, за холмами, в Чизинг Айбрайтской долине, скрываются чащи гигантской пшеницы и могучих сорняков. И вдруг снова появлялись приметы Пищи. Новый, невиданно огромный виадук протянулся у Танбриджа, где заросли гигантского тростника задушили реку Мидуэй и превратили ее в болото. Дальше опять пошли маленькие поля и деревушки, но по мере того, как из тумана проступала каменная россыпь громады-Лондона, все явственней и настойчивей бросались в глаза усилия человека сдержать натиск гигантизма.

В те времена в юго-восточной части Лондона, где жили Коссар и его дети, Пища таинственным образом прорвалась сразу в сотне мест; жизнь пигмеев продолжалась тут среди ежедневных знамений Нового, и лишь неторопливость его поступи да сила привычки мешали людям понять их грозный смысл. Но узник, вышедший на свободу, иными глазами увидел этот мир, куда властно вторглась Пища; его поразила изрытая, обугленная земля, большие уродливые валы и укрепления, казармы и склады оружия — все, что поневоле понастроили люди, защищаясь от наступления упорной и хитроумной силы.

Опять и опять, только в бо́льших масштабах, повторялось то, что некогда произошло в Хиклибрау. Новые силы и новые формы жизни проявились прежде всего в случайных мелочах — они буквально вырастали под ногами и на пустырях, невзначай и словно бы ни с того ни с сего. В огромных зловонных дворах за высочен-

ными заборами поднимались непроходимые джунгли сорняков: их использовали как топливо для гигантских машин (лондонские мальчишки собирались сюда и совали грош сторожу, чтобы он дал поглазеть на маслянистые, лязгающие металлом громады), там и тут протянулись дороги и рельсовые пути, сплетенные из волокон небывало огромной конопли, и по ним ездили тяжелые повозки и автомобили; на сторожевых вышках были установлены паровые сирены, готовые в любую минуту взреветь, предупреждая людей о нашествии каких-нибудь новых хищников; особенно странно было видеть башни древних церквей, также украшенные механическими гудками. На открытых местах виднелись выкрашенные в красный цвет блиндажи и укрытия, из них можно было вести огонь ярдов на триста, и солдаты ежедневно упражнялись здесь в стрельбе охотничьими патронами по мишеням, изображавшим крыс-великанов.

Со времен Скилеттов гигантские крысы уже шесть раз совершали набеги на Лондон, и всегда из канализационных труб на юго-западе. И к этому тоже все привыкли: ведь никого не удивляет, что в дельте Ганга, под самой Калькуттой, водятся тигры...

В Сэндлинге младший брат машинально купил газету, и под конец она привлекла внимание недавнего узника. Он развернул ее. Ему показалось, что страниц в газете стало больше, а сами они меньше и шрифт не тот. А потом он увидел бесчисленные фотографии вещей, до того непонятных, что даже неинтересно было смотреть, и длинные столбцы статей под заголовками настолько для него темными, словно они были на чужом языке: «Замечательная речь мистера Кейтэрема», «Законы о Чудо-пище».

— А кто такой Кейтэрем? — спросил он, пытаясь вновь завязать разговор.

— Ну, этот — человек надежный! — ответил младший брат.

— Вон как! Политик, что ли?

— Хочет скинуть правительство. Давно пора!

— Вот как! — Он задумался.— А те, что были при мне — Чемберлен, Розбери — все, наверно... Чего ты?! Брат вдруг схватил его за руку и показал пальцем:

— Гляди, Коссары!

Бывший узник посмотрел в окно и увидел...

— О господи!

Вот теперь он был поистине ошеломлен. Он забыл обо всем на свете, газета упала на пол. За деревьями, свободно и непринужденно, расставив ноги и подняв руку с мячом, готовясь его бросить, стоял великан добрых сорока футов ростом. Одежда его, сотканная из нитей белого металла, и широкий стальной пояс так и сверкали на солнце. В первую секунду бывший узник видел только эту сверкающую живую статую, потом заметил поодаль второго великана — тот готовился поймать мяч. Так, значит, вся эта обширная котловина меж холмами к северу от Семи дубов изрыта и изрезана не случайно: тут хозяйничают гиганты!

Огромная укрепленная насыпь окружала известковый карьер, на дне его стоял дом — громадное плоское здание в египетском стиле, которое Коссар выстроил для сыновей, когда гигантская детская отслужила свою службу; за домом, в тени навеса, под которым свободно уместился бы целый собор, то вспыхивали, то гасли пляшущие красноватые блики и гремели оглушительные удары молота...

Но тут исполин кинул в небо огромный деревянный мяч, скрепленный железными обручами.

Братья привстали с мест и смотрели во все глаза. Мяч казался величиной с бочку.

— Поймал! — воскликнул старший.

Гиганта, кинувшего мяч, заслонило дерево.

Все это лишь на мгновенье мелькнуло в окнах вагона, и тотчас поезд миновал деревья и нырнул в туннель у Чизлхерста.

— О господи! — снова вырвалось у бывшего узника, когда вокруг сомкнулась тьма.— Ну и ну! Этот парень был ростом с дом!

— Это они самые и есть, молодые Коссары,— откликнулся брат и выразительно мотнул головой в ту сторону.— От них-то и пошла вся беда...

Поезд выскочил из туннеля, и снова мимо побежали сторожевые вышки, увенчанные паровыми сиренами, и красные казармы, потом пошли загородные виллы. За двадцать лет искусство рекламы ничуть не забылось, и с бесчисленных рекламных щитов, со стен домов, с заборов

и иных видных мест взывали к избирателям пестрые афиши: бурная предвыборная кампания проходила под знаком Чудо-пищи. Опять и опять повторялись слова «Кейтэрем», «Чудо-пища», «Джек потрошитель великанов» и огромные карикатуры и шаржи — злые перья и кисти на все лады издевались над великолепными сверкающими гигантами, что промелькнули за окнами вагона всего несколько минут назад.

II

Младшему брату пришла в голову великолепная мысль: достойно отметить возвращение старшего к жизни праздничным обедом в каком-нибудь шикарном ресторане, а затем насладиться всеми волнующими впечатлениями, какими только мог порадовать в те годы мюзик-холл. Отличная программа действий. Предполагалось, что волна радостей жизни омоет вчерашнего узника и унесет воспоминания о тюремных годах; однако вторую часть программы пришлось изменить. После обеда виновником торжества овладело чувство, пересилившее жажду зрелищ и способное отвлечь человека от мрачных воспоминаний куда вернее любого театрального представления,— неуемное любопытство: его слишком поразили Чудо-пища и ее дети — новая, невиданная людская поросль, которая словно возвышалась над всем миром.

— Не пойму я их, — сказал он. — Разбередили они меня.

У младшего брата хватило деликатности: он не стал настаивать на своем плане развлечений. «Сегодня твой праздник, старина,— сказал он.— Что ж, попробуем попасть в Зал собраний».

Бывшему узнику посчастливилось: хоть и не сразу, но он протиснулся в битком набитый зал и глядел во все глаза на небольшие, ярко освещенные подмостки у дальней стены, под галереей и органом. Пока публика валом валила в зал, органист наигрывал что-то такое, отчего ноги сами начинали топать в такт, но затем музыка прекратилась.

Не успел новоявленный гражданин устроиться поудобнее, осадив несносного соседа, несколько раз заехавшего ему локтем в бок, как появился Кейтэрем. Из темноты на середину ярко освещенных подмостков вы-

шел жалкий пигмей. Издали эта черная фигурка казалась совсем крошечной, вместо лица — розовое пятно, хотя в профиль отчетливо выделялся орлиный нос. И этот карлик вызвал бурю приветствий! Да еще какую! Крики и рукоплескания искорками вспыхнули там, у подмостков, перекинулись дальше, охватили пожаром весь зал и даже толпу, обступившую здание снаружи. Как они кричали! Ур-ра! Ур-ра!

И среди этих восторженных толп горячее всех рукоплескал наш бывший узник. По щекам его струились слезы, и замолчал он лишь тогда, когда совсем задохнулся от крика. Только тот, кто сам двадцать лет провел в тюрьме, способен понять или хотя бы почувствовать, что́ значит снова оказаться среди людей и единой грудью кричать вместе со всеми. (Кстати, он вовсе не обманывал себя и не прикидывался, будто понимает, отчего все так беснуются.)

— Ур-ра! — вопил он.— Бог ты мой! Ур-ра!

Затем стало почти тихо. Кейтэрем с подчеркнутым терпением ждал, а какие-то незначительные личности что-то бормотали и делали все, что полагается в таких случаях, но никто их не слушал и не обращал на них внимания. Их голоса доносились словно сквозь шелест весенней листвы. Бу-бу-бу. Кому это интересно? В зале переговаривались. Бу-бу-бу...— неслось с подмостков. Неужто этот седеющий болван никогда не кончит? Ему мешают? Как не мешать! Бу-бу-бу... А вдруг и Кейтэрема будет так же плохо слышно?

Хорошо, что Кейтэрем тут же, на подмостках, можно стоять и издали вглядываться в лицо великого человека. Оно так и просилось на карандаш, и весь мир давно уже созерцал его на ламповых стеклах, детской посуде, на медалях и флажках противников Чудо-пищи, на кайме простых и шелковых платков и на подкладке добрых старых Кейтэремских шляп. Карикатурами на Кейтэрема пестрят все газеты того времени. Вот он — матрос — подносит запал с надписью «Законы против Чудо-пищи» к старинной пушке, нацеленной на огромное злобное и безобразное морское страшилище — Чудо-пищу; либо в блестящих доспехах, с крестом св. Георгия на щите и шлеме бросает вызов исполинскому трусливому Калибану, сидящему в гнусной грязи у входа в мерзкую пе-

щеру, и на рыцарской перчатке — надпись: «Новые постановления о Чудо-пище»; либо Персеем на крылатом коне спасающем закованную в цепи прекрасную Андромеду (на поясе которой четко написано: «Цивилизация») от алчного морского чудища, на головах и клешнях которого видны надписи «Безверие», «Жестокое себялюбие», «Бездушие», «Уродство» и тому подобное. Но толпа прозвала его «Джек потрошитель великанов», и именно таким — сказочным богатырем с предвыборных плакатов — сейчас представлялся вчерашнему узнику крошечный человечек на далеких подмостках.

Бу-бу-бу внезапно оборвалось.

Наконец-то кончил. Садится. Теперь он! Нет! Да! Это Кейтэрем! «Кейтэрем!» «Кейтэрем!» И снова зал рукоплещет.

Только в многотысячной толпе возможна такая тишина, которая наступила за этой бурей оваций. Когда ты один в пустыне, конечно, все кругом молчит, но ты слышишь свое дыхание, каждое свое движение, каждый шорох вокруг. Здесь же слышен был только голос Кейтэрема, звонкий и ясный, как алмаз, горящий на черном бархате. Но как слышен! Словно он говорил над самым ухом каждого из толпы.

Вчерашнего узника этот карлик, жестикулирующий в ореоле света, в ореоле красивых, захватывающих слов, просто ошеломил; позади оратора, почти незаметные, сидели его сторонники, и до самых подмостков перед глазами околдованного слушателя раскинулось сплошное море голов и плеч — огромный зал, весь обратившийся в слух. Этот пигмей, казалось, вобрал в себя души людей, все их существо.

Кейтэрем говорил об исконных наших обычаях. «Прравильно! Прравильно!» — ревела толпа. «Правильно!» — подхватывал бывший узник. Кейтэрем говорил об исстари свойственном Англии духе порядка и справедливости. «Пр-р-равильно!» — ревела толпа. «Правильно!» — кричал растроганный узник. Кейтэрем говорил о мудрости наших предков, о постепенном развитии священных государственных установлений, о нравственных и общественных традициях, что вошли в плоть и кровь англичанина. «Правильно!» — стонал вчерашний узник, и слезы умиления катились по его лицу.

Так неужто все это теперь пойдет прахом! Да, прахом! Только из-за того, что двадцать лет тому назад три безумца намешали в бутылках какой-то дряни, теперь наши исконные порядки и все самое святое... (Крики: «Нет! Нет!») Так вот, чтобы все это не пошло прахом, надо напрячь все силы, побороть в себе нерешительность... (Неистовые крики одобрения.) Да, надо побороть нерешительность и покончить с полумерами.

— Джентльмены! — кричал Кейтэрем.— Все вы слыхали о крапиве, которая стала гигантской. Сначала она невелика и не отличается от простой крапивы, ее можно вырвать с корнем, выполоть твердой рукой; но если ее не выполоть, она разрастается, чудовищно разрастается, и волей-неволей нужно браться за топоры и веревки, подвергать опасности руки и ноги и самую жизнь, нужно много и горько трудиться — люди могут погибнуть, срубая ядовитые стволы, да, люди могут погибнуть, срубая ядовитые стволы...

Движение и шум на миг заглушили его слова, потом бывший узник снова явственно услышал звонкий голос:

— Сама Чудо-пища дает нам урок...— Кейтэрем выдержал внушительную паузу.— *Рвите с корнем эту крапиву, пока еще не поздно!*

Он замолчал и вытер губы.

— Ясно! — крикнул кто-то в зале.— Ясно и понятно!

И опять крики одобрения стремительно переросли в громоподобный рев, словно бесновался и ликовал весь мир...

И вот наш новоявленный гражданин выбрался наконец из зала, чудесно растроганный и с таким просветленным лицом, словно ему только что было ниспослано видение. Теперь он знал, что́ делать, как знали все; мысли его прояснились. Он возвратился к жизни, когда мир переживает роковые часы; необходимо принять важнейшее решение. И он обязан участвовать в этой великой борьбе, как подобает мужчине — свободному и готовому исполнить свой долг. Он так и видел перед собой враждующие силы. На одной стороне — невозмутимые гиганты в сверкающих кольчугах (теперь они предстали перед ним совсем в ином свете, чем утром), на другой — человечек в черном, размахивающий руками на ярко освещенных подмостках, карлик, извергающий пото-

ки столь убедительных слов, вкрадчивый златоуст с проникновенным голосом, Джон Кейтэрем — «Джек потрошитель великанов». Да, надо скорее объединиться и вырвать крапиву с корнем, пока еще не поздно!

III

Из всех Детей Пищи самыми высокими, самыми сильными и больше всех на виду были три сына Коссара. В целом свете, наверно, не нашлось бы другого клочка земли, так изрытого, перекопанного и перекроенного, как тот, примерно в квадратную милю, участок подле Семи дубов, где прошло их детство и где они, ища выхода могучей силе, строили все новые сараи и ангары с гигантскими действующими моделями машин. Но им давно уже стало здесь тесно. Старший сын Коссара придумывал замечательные быстроходные экипажи, он смастерил себе что-то вроде исполинского велосипеда, но машина эта не умещалась ни на одной дороге и ее не мог выдержать ни один мост. Так она и стояла в бездействии, громада из колес и моторов, способная мчаться со скоростью 250 миль в час,— лишь изредка сам изобретатель, оседлав ее, носился взад и вперед по тесному двору. А он-то мечтал объехать на своем велосипеде всю нашу крошечную планету, ради этой ребячьей мечты и смастерил его еще мальчонкой. Местами, там, где сбита эмаль, спицы уже покрыты бурой ржавчиной и словно кровоточат.

— Прежде чем пускаться в путь, сынок, надо построить дорогу,— сказал Коссар.

И вот в одно прекрасное утро, на заре, молодой исполин вместе с братьями принялся строить дорогу, которая обойдет земной шар. Они словно предчувствовали, что им помешают, и работали с особенным рвением. Люди очень скоро обнаружили их дорогу—прямая, как стрела, она вела к Ла-Маншу, несколько миль были уже проложены, выровнены и утрамбованы. Около полудня братьев остановила возбужденная толпа — тут были землевладельцы, земельные агенты, местные власти, стряпчие, полицейские и даже солдаты.

— Мы строим дорогу, — объяснил старший мальчик.

— И стройте на здоровье! — крикнул снизу самый важный законник.— Но только извольте уважать чужие

права. Вы нарушили частное право двадцати семи землевладельцев, не говоря уже об особых привилегиях и собственности одного окружного муниципалитета, девяти приходских советов, совета графства, двух газовых компаний и одной железнодорожной...

— Ой-ой! — воскликнул старший из мальчиков.

— Придется вам это прекратить.

— Но ведь у вас всюду такие скверные узенькие тропинки. Разве вам не хочется ездить по красивой прямой дороге?

— Да, конечно, я бы сказал, у такой дороги были бы свои преимущества, но...

— Но строить ее нельзя,— докончил за него старший мальчик, собирая инструменты.

— Во всяком случае, не так, как это делаете вы,— сказал законник.

— А как?

Ответ важного юриста был путаным и неясным.

Коссар пришел посмотреть, что натворили его дети, строго выбранил их, смеялся до упаду и, видно, был очень доволен всем происшедшим.

— Придется обождать, мальчики! — крикнул он сыновьям.— Рано еще вам приниматься за такие дела.

— Этот стряпчий сказал, что надо сначала составить проект и получить специальное разрешение и еще всякую ерунду. Он сказал, что на это уйдут годы.

— Не бойся, малыш, проект у нас будет очень скоро! — крикнул Коссар, сложив ладони рупором у рта.— А пока играйте да стройте модели того, что вам хотелось бы сделать.

И они повиновались, — они были послушные дети. Но потихоньку все-таки ворчали.

— Все это прекрасно,— сказал средний брат старшему,— но мне надоело вечно играть и строить планы. Я хочу настоящего дела, понимаешь? Ведь не за тем же мы выросли такими сильными, чтобы просто играть на грязном клочке земли да гулять понемножку, поближе к дому, подальше от городов (к этому времени им запретили подходить к поселкам и пригородам). Бездельничать очень противно. Может быть, мы как-нибудь узнаем, что им нужно, этим карликам, и сделаем это для них? Все-таки веселее, чем сидеть сложа руки!

— У многих из них нет сносного жилья,— продолжал мальчик.— Давайте построим возле Лондона такой дом, чтобы их поместилось много-много, и жить им будет удобно и уютно, и проведем дорожку, чтобы им ездить на работу — хорошенькую, прямую дорожку, и пускай все это будет красивое-красивое. Все для них сделаем чистенькое, хорошенькое, и тогда они не захотят больше жить по-старому, в грязи, ведь сейчас у них очень многие живут по-свински. И воды им наготовим, чтобы мылись: они ведь такие грязнули, эти маленькие вонючки; в девяти домах из десяти даже нет ванны. И знаете, у кого есть ванна, презирают тех, у кого ванны нет! Зовут их «грязная голытьба»! Нет того, чтобы помочь им завести в домах ванны — только насмехаются! Мы это все переделаем. Проведем для них электричество — пускай им светит, и кормит их, и убирает за ними. Ведь это надо выдумать: они заставляют женщин ползать на коленях и мыть полы! Да еще когда у женщины должен родиться ребенок!

Можно все очень даже хорошо устроить! Тут долина, кругом холмы — можно насыпать плотину, запрудим реку, и выйдет отличный водоем. Построим большую станцию, будет электрический ток. Мы это все очень-очень хорошо устроим. Правда? Может быть, тогда они больше не станут нам мешать...

— Да,— ответил старший брат,— можно для них все очень хорошо устроить.

— Так давайте! — сказал средний.

— Что ж, ладно,— согласился старший и стал искать подходящий инструмент.

И опять началась морока.

Не успели они взяться за работу, как налетела возбужденная толпа и посыпались приказы: прекратить все это по тысяче причин и без всякой вразумительной причины; на них кричали путано, бестолково, кто во что горазд. Ваш дом чересчур высок, говорили им, в нем будет опасно жить; он безобразен; он помешает окрестным владельцам сдавать внаем обычные дома; он нарушает стиль всего квартала, и вообще это не по-соседски.

Оказалось также, что молодые зодчие идут наперекор местным правилам домостроительства и ущемляют права местных властей, кое-как соорудивших свою крохот-

ную и очень дорогую электрическую станцию, и вторгаются в сферу деятельности здешней водопроводной компании.

Местные правительственные чиновники прибегли к помощи закона. Снова появился на сцене маленький стряпчий, теперь он защищал интересы по меньшей мере дюжины ущемленных собственников и фирм; протестовали землевладельцы; какие-то люди предъявляли непонятные претензии и требовали непомерных отступных. Подняли голос и тред-юнионы рабочих всех строительных специальностей; объединение предпринимателей, выпускающих строительные материалы, чинило всяческие препятствия. Какие-то необыкновенные сообщества эстетов стали пророчить гибель красот природы и принялись защищать прелесть тех мест, где предполагалось построить дом и соорудить плотину. Эти, по мнению молодых Коссаров, были всех глупей и несносней. Так и получилось, будто они не прекрасный дом задумали построить, а ткнули палкой в осиное гнездо.

— Ну, такого я не ждал! — сказал старший мальчик.

— Ничего не выйдет,— сказал второй.

— Дрянь эти козявки! — возмутился младший. — Шагу ступить не дают!

— И мы ведь для них же стараемся. Как бы мы им все хорошо устроили!

— Они, видно, всю жизнь только и делают, что мешают друг другу,— сказал старший мальчик.— Куда ни сунься, все какие-то права, законы, правила и прочее жульничество — прямо какая-то дурацкая игра. Ладно, пускай еще поживут в грязи в своих дрянных лачугах. Строить они нам не дадут, это ясно, как день.

И сыновья Коссара бросили большой дом недостроенным (они успели только выкопать огромную яму, заложили фундамент и начали возводить одну стену) и, огорченные, вернулись в свою усадьбу. Яма вскоре наполнилась стоячей водой, затянулась ряской; завелись тут и сорные травы и всякая мелкая вредная живность; попала сюда и Пища — то ли обронили Коссары, то ли занесло с пылью,— и снова пошла расти всякая нечисть. Водяные крысы опустошали всю округу. А один фермер застал своих свиней, когда они вздумали напиться из этой ямы, и в тот же час их всех прикончил, благо человек он был

решительный и притом знал, каких бед натворил огромный кабан в Окхеме. И именно в этом болоте вскоре развелись тучи москитов—зловреднейшие были москиты, но одно надо поставить им в заслугу: от них немного досталось и самим Коссарам; мальчики не пожелали этого терпеть — и в одну прекрасную лунную ночь, когда закон и порядок храпели в своих постелях, они пришли и спустили всю воду в соседнюю речку.

Но они не тронули гигантских сорняков, огромных водяных крыс и прочую непомерно разросшуюся нечисть: все это осталось плодиться и размножаться на том самом участке, на котором они могли бы возвести большой прекрасный дом для маленьких людишек...

IV

Все это случилось давно, когда сыновья Коссара были еще детьми, а теперь они стали почти взрослыми. И с каждым годом их все сильней тяготили цепи запретов и ограничений. Год от году они росли, шире распространялась Пища, множились гигантские растения и животные — и год от году труднее и напряженнее становились отношения гигантов с остальным человечеством. Вначале Пища была для большинства людей только легендой о чуде, которое случилось где-то в дальних краях, — теперь она подступила к каждому порогу и угрожала, напирала, опрокидывала весь привычный строй жизни. Она чему-то мешала, что-то переворачивала; она меняла природу, сама земля стала родить не то и не так, как прежде, а из-за этого менялась и человеческая деятельность, отмирали какие-то профессии, сотни тысяч людей лишались работы; Пища не признавала границ, и в торговле между странами воцарился хаос,— не удивительно, что люди ее возненавидели.

Но ведь куда проще ненавидеть живое существо, чем неодушевленные предметы, а потому животных ненавидели больше, чем растения, а своего брата — человека — сильнее, чем любого зверя. И получилось так, что страх и тревога, порожденные гигантской крапивой, лезвиями шестифутовых трав, ужасными насекомыми и тигроподобными крысами, собрались в огромный сгусток ненависти, и вся сила ее обратилась на горстку разбросанных

по земле великанов — Детей Пищи. Эта ненависть стала главной движущей силой всей политической жизни. Старые партийные разногласия потускнели и стерлись под натиском новых противоречий, и борьба велась теперь между партией умеренных, предлагавших захватить контроль над производством и распределением Пищи, и партией реакционеров во главе с Кейтэремом, чьи речи становились все более двусмысленными и зловещими; он изъяснялся угрожающими намеками: люди должны «подрезать колючки у шиповника», «найти лекарство от слоновой болезни»,— и, наконец, в канун выборов объявил, что «крапиву надо вырвать с корнем!»

Однажды сыновья Коссара — уже не мальчики, а взрослые мужчины — сидели среди плодов своего бесполезного труда и в сотый раз обсуждали все это. Целый день они копали какие-то очень сложные, глубокие траншеи (отец постоянно поручал им такую работу) и сейчас, перед заходом солнца, присели отдохнуть в садике возле дома, дожидаясь, пока слуги позовут их ужинать.

Представьте себе этих великанов (самый маленький был ростом в добрых сорок футов), расположившихся на лужайке, которая обыкновенному человеку показалась бы зарослями тростника. Младший счищал железной балкой, точно щепкой, землю с огромных башмаков; средний полулежал, опершись на локоть; старший задумчиво строгал ножом сосну, и в воздухе пахло смолой.

Одежда их была из необычного материала: белье соткано из канатов, верхнее платье — из мягкой алюминиевой проволоки; обувь — из металла и дерева, а пуговицы и пояса — из листовой стали. Их жилище, огромное одноэтажное здание, массивностью напоминавшее египетские постройки, было частью сложено из гигантских плит известняка, частью выдолблено в склоне мелового холма; фасад вздымался вверх на сто футов, а позади, причудливо вырисовываясь на фоне вечернего неба, теснились трубы и колеса, краны и перекрытия мастерских. Сквозь круглое окно в здании можно было разглядеть желоб, откуда в невидимый резервуар мерно и непрестанно падали капли какого-то добела раскаленного металла. Усадьба была огорожена подобием крепостного вала — земляной насыпью огромной высоты; укрепленная железными стропилами, шла эта насыпь кругом, по греб-

ням холмов и по дну долины. Чтобы передать масштабы этого сооружения, сравним его для наглядности с каким-нибудь привычным предметом: поезд, который с грохотом отошел от Семи дубов и скрылся в туннеле, казался рядом с постройками Коссаров крохотной заводной игрушкой.

— Они объявили все леса по эту сторону Айтема запретной зоной и передвинули на две мили ближе к нам границу у Нокхолта,— сказал один из братьев.

— Это еще не самое страшное,— отозвался младший.— Просто они стараются обезоружить Кейтэрема.

— Для него это капля в море, а для нас, пожалуй, переполняет чашу.

— Они отрезают нас от Брата Редвуда. Когда я был у него последний раз, красные знаки придвинулись с обеих сторон, дорога стала у́же на целую милю. Теперь к нему надо пробираться через холмы по такой узенькой тропинке, что еле-еле ногу поставишь.

Он задумался.

— Не пойму, что это нашло на Брата Редвуда.

— А что такое? — спросил старший и обрубил ветку на своей сосне.

— Какой-то он был странный, будто спросонок,— сказал средний.— Я с ним говорю, а он словно и не слышит. А сам сказал что-то такое... про любовь.

Младший постучал балкой о край железной подметки и засмеялся.

— Брат Редвуд любит помечтать.

Минуту-другую они молчали. Старший повернулся и смахнул ладонью кучу обрубленных сосновых веток. Потом сказал:

— Наша клетка становится все теснее и теснее, это просто невыносимо. Подождите, они еще обведут чертой наши подошвы и скажут: так и живите, не сходя с места!

— Это все пустяки, а вот придет к власти Кейтэрем, тогда они себя покажут! — сказал средний.

— Еще придет ли, — возразил младший, с силой ударяя о землю балкой.

— Придет, будь уверен,— сказал старший.

Средний поглядел на окружавший их мощный крепостной вал.

— Что ж, тогда надо будет распрощаться с юностью и стать мужчинами, папа Редвуд нам давно это говорил.

— Да,— откликнулся старший,— но что это, в сущности, значит? Что значит быть мужчиной в трудный час?

Он тоже обвел взглядом кольцо укреплений,— казалось, он смотрел сквозь них, далеко за холмы, где притаились бесчисленные полчища врагов. В эту минуту все братья мысленно видели одну и ту же картину: толпы людишек, идущих на них войной, поток козявок, безостановочный, неистощимый, злобный...

— Они малы, но им нет числа,— сказал младший.— Они как песок морской.

— У них есть винтовки... и даже оружие, которое делают наши братья в Сандерленде.

— И потом, мы ведь не умеем убивать, мы воевали только от случая к случаю со всякой вредной нечистью.

— Да, верно,— ответил старший.— Но мы не беспомощные младенцы. В трудный час будем держаться как надо.

Резким движением он закрыл нож — громко щелкнуло лезвие в рост человека — и, опираясь на сосну, как на палку, поднялся с земли. Потом обернулся к серой приземистой громаде дома. Алые лучи заката упали на него, вспыхнули на металлической кольчуге, на стальной пряжке у ворота и плетении рукавов, и братьям почудилось, что он обагрился кровью...

Выпрямившись во весь рост, молодой гигант вдруг заметил на валу, тянувшемся по вершине холма, на фоне раскаленного закатного неба маленькую черную фигурку. Она усиленно размахивала руками. Что-то в этих движениях встревожило молодого великана. Он помахал в ответ сосной, окликнул: — Привет! — и голос его наполнил гулом всю долину. Бросив через плечо: «Что-то случилось»,— он двадцатифутовыми шагами поспешил на помощь отцу.

V

Случилось так, что в это самое время другой молодой человек — не великан — тоже отводил душу, рассуждал он о детях Коссара. Он гулял с приятелем по холмам возле Семи дубов и держал речь на эту наболевшую

тему. Только что, проходя мимо живой изгороди, друзья услышали жалобный писк и едва успели спасти трех птенцов синицы от нападения двух гигантских муравьев. После этого молодой человек и разразился речью.

— Реакционер! — говорил он в тот миг, когда с вершины холма они увидели крепость Коссаров.— Поневоле станешь реакционером! Посмотри на этот кусок земли — бог создал ее прекрасной и счастливой, а теперь она истерзана, осквернена, разворочена! Чего стоят эти мастерские! А огромный ветряной двигатель! А та безобразная махина на колесах! А эти дамбы! А эти три чудовища — ты только посмотри! Сошлись там и затевают какую-то новую дьявольщину! Нет, ты только посмотри на эту землю!

Друг заглянул ему в лицо.

— Ты наслушался Кейтэрема,— сказал он.

— У меня и у самого есть глаза. Достаточно оглянуться на прошлое — ведь когда-то у нас был мир и порядок! Эта гнусная Пища — последняя ипостась Дьявола, он испокон века только и добивается нашей погибели. Подумай, каков был мир до нас и даже в те дни, когда матери еще носили нас под сердцем, и посмотри вокруг! Как приветливы были эти склоны, все в золоте налитых колосьев, как цвели живые изгороди, отделяя скромное поле труженика от поля соседа! Всюду пестрели фермы и радовали глаз, а в день субботний раздавался благовест колокола вон той церкви, и весь наш край затихал, погруженный в молитву. А теперь год от году становится все больше гигантских плевел и гигантских паразитов, и вон те чудовища все множатся вокруг; они наступают на нас, давят все тонкое и хрупкое, что для нас дорого и свято. Да что говорить... Смотри!

Собеседник посмотрел туда, куда указывала узкая белая рука.

— Вон там прошел один из них! Видишь след? Рытвина глубиной в три фута, не меньше; ловушка, западня для конного и пешего — не дай бог шагнуть неосторожно. Смотри — он затоптал насмерть куст шиповника, вырвал с корнем траву, раздавил цветы ворсянки, проломил дренажную трубу, край тропинки обвалился. Сколько разрушений! И так повсюду и во всем: лю-

ди установили в мире порядок и приличие, а эти только разрушают. Они топчут все без разбору! Нет, уж пусть реакция! Что еще остается?

— Но реакция... Гм... Что же вы намерены делать?

— Остановим их! — вскричал молодой человек (он был студент из Оксфорда).— Остановим, пока не поздно.

— Но...

— Это вовсе не так уж невозможно! — кричал студент, голос его зазвенел.— Нам нужна крепкая рука, нам нужен хитроумный план и твердая воля. А пока мы только болтаем и сидим сложа руки. Мы бездействуем и медлим, а Пища между тем все растет да растет. Но и теперь еще не поздно...

Он на секунду умолк.

— Ты просто повторяешь Кейтэрема,— вставил приятель.

Но тот не слушал.

— Да, да. Еще не все потеряно. Есть надежда, и немалая, надо только твердо знать, чего мы хотим и чего больше не потерпим. С нами тысячи и тысячи людей, куда больше, чем несколько лет назад. За нас закон, конституция, установившийся в обществе строй и порядок, любая вера и церковь, нравы и обычаи человечества—все это за нас и против Пищи. Зачем же медлить? Зачем лицемерить? Мы ненавидим ее, мы ее отвергаем, так зачем нам ее терпеть?.. Неужели, по-твоему, хныкать, пассивно сопротивляться и сложа руки ждать?.. Чего? Чтобы нас перебили?

Он умолк на полуслове и круто повернулся.

— Вон видишь этот лес крапивы? Там, в чаще, заброшенные дома, в них когда-то жили и радовались жизни честные, простые люди! А теперь взгляни сюда.— Он обернулся в ту сторону, где молодые Коссары тихо жаловались друг другу на несправедливость судьбы.—Вот, смотри! Я знаю их отца, это скотина, грубая скотина, крикун и хам, за последние тридцать лет он совсем распоясался, а все потому, что мы чересчур мягки и снисходительны. Он, видишь ли, инженер! Ему плевать на все, что для нас дорого и свято. Да, плевать! Блистательные традиции нашей страны и нации, благородные установления, веками освященный порядок,

медленная, но неуклонная поступь истории, которая шаг за шагом вела англичан к величию и утвердила на нашем прекрасном острове свободу,— для него все это пустая и отжившая сказка. Трескучие фразы о так называемом «Будущем» теперь сто́ят больше, чем все священные заветы... Такие люди способны пустить трамвай по могиле собственной матери, если этот маршрут им покажется выгодным... А ты предлагаешь медлить, искать компромиссов, как будто компромисс позволит тебе жить по-своему рядом с этой... с этими машинами, которые тоже станут жить по-своему! Говорю тебе, это безнадежно... Безнадежно! Все равно, что подписывать мирный договор с тигром. Им нужен мир чудовищный и безобразный, а нам — кроткий и благоразумный. А это несовместимо: либо одно, либо другое.

— Но что вы можете сделать?

— Многое! Все! Покончить с Пищей! Гигантов пока еще не так много, они разъединены и не вошли в полную силу. Надо заткнуть им рот, заковать в цепи. Остановить их любой ценой. Мир будет принадлежать либо нам, либо им. Покончить с Пищей! В тюрьму всех, кто ее производит! Гром и молния остановят Коссара! Ты, видно, не помнишь... Существует только одно поколение... Надо подчинить всего одно поколение, и тогда...Тогда мы снесем эти насыпи, заровняем следы, снимем безобразные сирены с наших церквей, разобьем наши огромные пушки и вернемся к старому порядку, к старой, испытанной временем цивилизации, для которой мы созданы.

— Это потребует великих усилий.

— Ради великой цели. А иначе —чем это кончится? Разве ты не видишь, что нас ждет? Эти чудовища расплодятся повсюду и везде и всюду будут распространять свою Пищу. Гигантской травой зарастут наши поля, гигантская крапива заглушит живые изгороди, в лесах разведутся комары и прочая дрянь, в канализационных трубах — крысы. Их будет все больше, больше и больше. И это только начало. Все насекомые и растения обрушатся на нас, и даже рыбы заполонят моря и станут топить наши корабли. Одичалые дебри скроют от нас дневной свет и похоронят наши дома, задушат наши церкви, ворвутся в города, и сами мы, как жал-

кие козявки, погибнем под пятой новой расы. Человечество будет поглощено и задавлено созданием рук своих! И ради чего? Ради большого роста! Рост, величина — и только! Расти, тянуться еще и еще и da capo [1]. Уже сейчас на каждом шагу мы вынуждены обходить эти первые признаки будущего. А что мы делаем? Только и знаем, что жалуемся: ах, как неудобно! Ворчим — и палец о палец не ударим. Ну, нет!

Он поднял руку, точно для клятвы.

— Пусть люди совершат то, что дòлжно! Я с ними! Я — за реакцию, неограниченную и бесстрашную. Больше ничего не остается, — разве что и сам начнешь есть эту Пищу. Мы слишком долго пробавлялись полумерами. Эх вы! Половинчатость — ваш обычай, ваш образ жизни, воздух, которым вы дышите. Но я не из таких! Я ненавижу Пищу, ненавижу всеми фибрами души!

Он резко повернулся к собеседнику, буркнувшему что-то в знак протеста.

— Ну, а ты?

— Все не так-то просто...

— Эх ты, слабая душа! Тебе только и плыть по течению,— с горечью сказал молодой человек из Оксфорда и махнул рукой.— Половинчатость ни к чему не приведет. Мы или они — третьего не дано. Либо мы — их, либо они — нас. Съешь — или тебя съедят! Что еще нам остается?

ГЛАВА II

ВЛЮБЛЕННЫЕ ВЕЛИКАНЫ

I

В дни перед всеобщими выборами, когда Кейтэрем рвался к власти и выступил в поход против Чудо-детей, в разгар событий трагических и ужасных случилось так, что в Англию по весьма важному поводу прибыла из королевства своего отца ее светлость принцесса-великанша — та самая, чье питание в младенчестве сыграло немалую роль в блестящей карьере доктора Уинклса. По государственным соображениям она была обручена с неким принцем, и свадьба их должна

[1] Опять все сначала, еще раз (*итал.*— старинный музыкальный термин, ставится в нотах и означает, что надо вернуться к началу темы).

была стать событием международного значения. Однако, неизвестно почему, церемония снова и снова откладывалась. Немало потрудились Сплетня и Фантазия, слухи ползли самые разные. Поговаривали, будто непокорный принц заупрямился, объявил, что не желает выглядеть дураком,— во всяком случае, не до такой же степени! Люди ему сочувствовали. Такова суть этой истории.

Как ни странно, до приезда в Англию принцесса-великанша понятия не имела, что есть на свете и другие великаны. Она выросла в мире, где все помешаны на этикете, где сдержанность у людей в крови. От принцессы скрывали правду, ее тщательно оберегали; до того часа, когда поездку в Лондон уже невозможно было откладывать, она ни разу не видела гигантских растений и животных и не слыхала о них. До встречи с молодым Редвудом она и не подозревала, что, кроме нее, есть на земле еще хоть один великан.

Были в королевстве ее отца пустынные гористые края, где она привыкла бродить свободно в полном одиночестве. Больше всего на свете она любила восходы и закаты и вольную игру стихий под открытым небом; но англичане — такие демократы и одновременно столь ревностные верноподданные— чрезвычайно стеснили ее свободу. Народ валом валил посмотреть на принцессу: приезжали как на экскурсию — целыми компаниями, толпами, в экипажах и поездом, многие проделывали длинный путь на велосипедах, лишь бы поглазеть на гостью; и, чтобы прогуляться спокойно, без свидетелей, ей приходилось вставать спозаранку. Когда она впервые встретила молодого Редвуда, заря только еще занималась.

Дворец, отведенный принцессе, стоял в большом парке, который тянулся миль на двадцать к западу и к югу от ворот. Могучие каштаны аллей были так высоки, что листва их шелестела над ее головой. Когда она проходила между ними, каждое дерево словно спешило щедро одарить ее своими цветами. Сначала она просто любовалась ими и с наслаждением вдыхала их аромат, но потом, покоренная, решила принять дары и начала выбирать и рвать цветущие ветки; она так увлеклась, что заметила молодого Редвуда только, когда он был уже совсем рядом.

Она шла среди каштанов, а тот, кого предназначала ей судьба, подходил все ближе, нежданный и негаданный. Она погружала руки в листву, ломала ветви и подбирала букет. Ей казалось, что она одна в целом мире. И вдруг...

Принцесса подняла глаза и увидела своего суженого.

Чтобы понять, как она была прекрасна, призовем на помощь все свое воображение и постараемся увидеть ее глазами великана. Нас бы она не покорила: отпугнул бы ее гигантский рост; не то для Редвуда. Перед ним, прижимая к груди охапку цветущих каштановых веток, стояла очаровательная девушка, первое существо, которое было ему под пару; она стояла легкая и стройная в своих воздушных одеждах, и складки платья, струясь под дыханием свежего утреннего ветерка, обрисовывали мягкие линии ее сильного тела. Свободный ворот открывал белую шею и округлые плечи. Ветерок, крадучись, растрепал ее локоны и бросил на щеку бронзовую прядь. Глаза сияли голубизной, и губы, когда она тянулась за цветами, словно обещали улыбку.

Она испуганно обернулась, увидела его, и на мгновенье оба замерли, глядя друг на друга. Его появление показалось ей удивительным, невероятным, сначала ей даже стало страшно, так страшно, словно ей явился призрак: рушились все привычные понятия об окружающем мире. В то время молодому Редвуду минул двадцать один год; это был стройный юноша, темноволосый, как его отец, и такой же серьезный. Куртка и штаны из мягкой коричневой кожи плотно облегали гибкое, ладное тело. Голова оставалась непокрытой при всякой погоде. Так они и стояли друг против друга: она, пораженная, не верила своим глазам, у него сильно билось сердце. Эта неожиданная минута была главной и решающей в жизни обоих.

Он был не очень удивлен, ведь он сам ее разыскивал; и все же сердце его колотилось. Он медленно подошел к ней, не сводя глаз с ее лица.

— Вы — принцесса,— сказал он.— Отец мне говорил. Та самая принцесса, которой давали Пищу богов.

— Да, я принцесса,— ответила она в изумлении.— А кто же вы?

— Я — сын того человека, который создал Пищу богов.

— Пищу богов?!

— Да.

— Но...— Она смотрела недоуменно и растерянно.— Как вы сказали? Пища богов? Не понимаю.

— Вы о ней не слыхали?

— О Пище богов? Никогда!

Ее вдруг охватила дрожь. Краска сбежала с лица.

— Я не знала,— сказала она.— Неужели...

Он молча ждал.

— Неужели есть и другие... великаны?

— А вы не знали? — повторил он.

И она ответила, изумляясь все больше:

— Нет!

Весь мир словно перевернулся, и весь смысл бытия стал для нее иным. Ветвь каштана выскользнула у нее из рук.

— Неужели,— повторила она, все еще не понимая,— неужели на земле есть еще великаны? И какая-то пища...

Ее изумление передалось ему.

— Так вы и правда ничего не знаете? — воскликнул он.— И никогда не слыхали о нас? Но ведь через Пищу богов все мы связаны с вами узами братства!

Глаза, обращенные к нему, все еще полны были ужаса. Рука поднялась к горлу и вновь упала.

— Нет,— прошептала принцесса.

Ей показалось, что она сейчас заплачет, лишится чувств. Но еще через минуту она овладела собой, мысли прояснились, и она снова могла говорить.

— От меня все скрывали,— сказала она.— Это как сон. Мне... мне снилось такое не раз. Но наяву... Нет, расскажите, расскажите мне все! Кто вы? Что это за Пища богов? Рассказывайте не спеша и так, чтобы я все поняла. Почему они скрывали, что я не одна?

II

«Расскажите»,— попросила она, и молодой Редвуд, волнуясь до дрожи, принялся рассказывать — поначалу путано, бессвязно — о Пище богов и о детях-великанах, разбросанных по всему свету.

Постарайтесь представить их себе: раскрасневшиеся, растревоженные, они старались понять друг друга, пробиться сквозь недомолвки, повторения, неловкие паузы и постоянные отступления; это был удивительный разговор, девушка пробудилась от неведения, длившегося всю ее жизнь. Постепенно она начала понимать, что она вовсе не исключение среди людей, но частица братства тех, кто вскормлен Пищей и навсегда перерос ограниченных пигмеев, копошащихся под ногами. Молодой Редвуд говорил о своем отце, о Коссаре, о Братьях, раскиданных по всей стране, о той великой заре, что занимается наконец над историей человечества.

— Мы в самом начале начал,— сказал он.— Этот их мир — только вступление к новому миру, который будет создан Пищей. Отец верит — и я тоже,— что настанет время, когда для человечества век пигмеев отойдет в прошлое, когда великанам будет вольно дышаться на земле. Это будет их земля, и ничто не помешает им творить на ней чудеса — чем дальше, тем поразительнее. Но все это впереди. Мы даже еще не первое поколение, мы— всего лишь первый опыт.

— И я ничего этого не знала!

— Порой мне начинает казаться, что мы появились слишком рано. Конечно, кто-то должен быть первым. Но мир был совсем не готов к нашему приходу и даже к появлению менее значительных гигантов, которых породила Пища. Были и ошибки и столкновения. Эти людишки ненавидят нас... Они жестоки к нам потому, что сами слишком малы... И потому, что у нас под ногами гибнет то, что составляет смысл их существования. Так или иначе, они нас ненавидят и не желают, чтобы мы были рядом,— разве что мы сумеем опять съежиться и стать такими же пигмеями — тогда, пожалуй, они нас простят...

Они счастливы в домах, которые нам кажутся тюрьмой; их города слишком малы для нас; мы еле передвигаемся по их узким дорогам и не можем молиться в их церквах.

Мы не замечаем их заборов, оград и охранительных рогаток, а иногда нечаянно заглядываем к ним в окна; мы нарушаем их обычаи; их законы — это путы, которые не дают нам шагу ступить...

Стоит нам споткнуться, как они поднимают страшный крик; и это всякий раз, как только мы нарушим установленные ими границы или расправим плечи, чтобы совершить что-нибудь значительное.

Наш малейший шаг кажется им безумным бегом, а все, что сами они считают великим и достойным удивления, в наших глазах — детские игрушки. Их образ жизни, их техника и воображение мелки, они связывают нас, не дают применить наши силы. У них нет ни машин, достаточно мощных для наших рук, ни средств удовлетворить наши нужды. Мы, как рабы, скованные тысячами невидимых цепей. Встреться мы грудь с грудью — любой из нас в сотни раз сильнее любого из них, но мы безоружны; самый наш рост делает нас их должниками; на их земле мы живем, от них зависит наша пища и крыша над головой; и за все это мы платим своим трудом, орудуя инструментами, которые делают для нас эти карлики, чтобы мы удовлетворяли их карликовые причуды...

Мы живем, как в клетке: куда ни повернись — повсюду решетки. Невозможно существовать, не нарушая их запреты. Вот и сегодня, чтобы встретить вас, мне пришлось преступить их границы. Все, что разумно и желанно для человека, они превратили для нас в запретный плод. Мы не смеем входить в города; не смеем пересекать мосты; не смеем ступить на обработанные поля или в заповедные леса, где они охотятся. Я уже отрезан от всех Братьев, кроме трех сыновей Коссара, но и к ним скоро нельзя будет пройти: дорога становится день ото дня уже. Можно подумать, что они только и ждут повода, чтобы нас погубить...

— Но мы ведь сильны,— сказала она.

— Мы должны быть сильными, да. Все мы — и вы, конечно, тоже — чувствуем в себе необъятные силы для великих дел, силы так и бурлят в нас. Но прежде чем сделать хоть что-либо...

Он взмахнул рукой, словно сметая весь мир.

Оба помолчали.

— Я думала, что я совсем одна на свете,— сказала принцесса,— но и мне все это приходило в голову. Меня всегда учили, что сила — чуть ли не грех, что лучше быть маленькой, чем большой, что истинная религия велит

сильным оберегать малых и слабых, покровительствовать им — пусть плодятся и множатся, а потом в один прекрасный день окажется, что весь мир ими кишмя кишит, и мы должны пожертвовать ради них своей силой... Но я всегда сомневалась, правильно ли это.

— Наша жизнь, наши тела созданы не для того, чтобы умереть,— сказал Редвуд.

— Да, конечно.

— И не для того, чтобы прожить весь век впустую. Но всем нашим Братьям уже ясно, что, если мы этого не хотим, столкновения не миновать. Не знаю, может быть, придется выдержать жестокий бой, чтобы эти людишки дали нам жить той жизнью, которая нам нужна. Все наши Братья не раз об этом задумывались. И Коссар — я вам о нем говорил,— он тоже об этом думает.

— Но эти пигмеи такие слабые и ничтожные.

— Да, по-своему. Но все оружие у них в руках и приспособлено для их рук. Мы вторглись в мир этих людишек, а ведь они сотни и тысячи лет учились убивать друг друга. И очень в этом преуспели. Они еще во многом преуспели. И потом, они умеют лгать и притворяться... Не знаю... Столкновение неизбежно. Вы... может быть, вы не такая, как мы все. Но для нас, бесспорно, столкновение неизбежно... То, что они называют войной. Мы это знаем. И по-своему готовимся. Но, понимаете... они такие крохотные! Мы не умеем убивать да и не хотим...

— Смотрите! — прервала принцесса, и Редвуд услышал тявканье автомобильного рожка.

Он проследил за ее взглядом — и у самой своей ноги увидел ярко-желтый автомобиль, который жужжал и гудел, упершись в его башмак; шофер в темных защитных очках и одетые в меха пассажиры что-то негодующе выкрикивали. Редвуд отодвинул ногу, машина трижды свирепо фыркнула и суетливо побежала в сторону города.

— Всю дорогу загородил! — донеслось до молодых людей.

А другой голос воскликнул:

— Вот так штука! Смотрите-ка! Вон там, за деревьями, принцесса-громадина! — И лица в дорожных очках разом повернулись и уставились на нее.

— Ну и ну! — откликнулся еще кто-то.— Куда же это годится?

— Все, что вы рассказали, поразительно,— промолвила принцесса.— Я никак не могу прийти в себя.

— А они держали вас в неведении...— Молодой Рсдвуд не договорил.

— Пока мы не встретились, я знала мир, где большой была одна я. И я создала себе свою собственную жизнь. Я думала, что я просто несчастный урод, что сама природа зло подшутила надо мной. А теперь, за какие-то полчаса, весь мой мир рассыпался в прах, и передо мной иная жизнь, иные условия, широкие горизонты... и я не одинока...

— Не одиноки,— откликнулся он.

— Вы будете мне рассказывать еще и еще! Знаете, мне все это кажется просто сказкой. И даже вы сами... Должно быть, завтра или через несколько дней я поверю, что вы существуете... Но сейчас... Сейчас я только сплю и вижу сон... Слышите?

Издалека донесся первый удар часов на дворцовой башне. Оба невольно считали удары: семь.

— В этот час мне полагается быть уже дома. Они принесут кофе в зал, где я сплю. Эти малыши — чиновники и слуги начнут хлопотать, суетиться из-за пустяков... Вы не представляете, сколько в них важности!

— Они удивятся, что вас нет... Но мне хочется еще поговорить с вами.

Она задумалась.

— А мне хочется немного подумать. Мне надо побыть одной и все обдумать, понять, что все переменилось и одиночеству конец, и освоиться с тем, что на свете есть вы и еще другие такие, как мы... Я пойду. Сегодня я вернусь в свой дворец, а завтра... на рассвете я опять приду сюда.

— Я буду ждать.

— Я весь день буду мечтать о новом мире, который вы мне открыли. Еще и сейчас мне не верится...

Она отступила на шаг и оглядела его с ног до головы. Взгляды их на минуту встретились.

— Да,— сказала она и не то засмеялась, не то всхлипнула.— Вы настоящий, живой. Нет, это просто чудо! Неужели правда?.. Вдруг завтра я приду, а вы... а вы карлик, такой же, как все!.. Нет, мне нужно подумать. Итак, до завтра, а пока... как это делают все людишки...

Она протянула ему руку, и они в первый раз коснулись друг друга. Руки их сомкнулись в крепком пожатии, и глаза снова встретились.

— До свидания,— сказала она,— до завтра. До свидания, брат великан!

Он запнулся — какая-то невысказанная мысль смутила его,— потом ответил просто:

— До свидания.

Минуту они стояли, держась за руки и пристально глядя в лицо друг другу. И когда расстались, она снова и снова оборачивалась и смотрела на него, будто не веря себе, а он все стоял на том месте, где они встретились...

Словно во сне она пересекла просторный дворцовый двор и вошла в свои апартаменты, все еще держа в руке огромную ветку цветущего каштана.

III

Эти двое встретились четырнадцать раз, прежде чем наступило начало конца. Они встречались то в большом парке, то среди холмов, то на простиравшейся к юго-западу поросшей вереском равнине, исчерченной ржавыми дорогами, прорезанной оврагами и окруженной сумрачными сосновыми лесами. Дважды они возвращались на большую каштановую аллею и пять раз приходили к живописному пруду, вырытому по приказу короля, ее прадеда. Там полого спускалась к самой воде красивая лужайка, обрамленная высокими соснами и елями. Девушка садилась на траву, юноша ложился у ее ног и, глядя ей в лицо, говорил, говорил: о том, как появилась Пища, о том, к каким трудам готовил его отец, и о прекрасном будущем, которое ждет гигантов, о великих делах, которые им предстоят. Обычно принцесса и Редвуд встречались на рассвете, но однажды встретились в полдень — и скоро их окружила толпа зевак: велосипедисты и пешеходы подглядывали и подслушивали из-за каждого куста, шуршали опавшими листьями в соседнем лесу (так воробьи копошатся и прыгают вокруг вас где-нибудь в лондонском парке), скользили на лодках по глади озера, стараясь подплыть поближе, поглазеть на них, послушать, о чем они говорят.

Это был первый признак того огромного интереса,

который вызвали во всей округе их встречи. А однажды (это было в седьмой раз и ускорило назревавший скандал) они встретились на вересковой равнине в поздний час, при луне — ночь была теплая, чуть шелестел легкий ветерок — и долго шептались там в тиши.

Очень скоро от рассуждений о том, что с ними и через них на земле возникает новый грандиозный мир, от раздумий о великой борьбе между гигантским и ничтожным, в которой им суждено участвовать, они перешли к темам более личным и более для них всеобъемлющим. И с каждой встречей, пока они разговаривали и смотрели друг другу в глаза, все яснее им становилось и выходило из области подсознательного ощущение, что между ними возникло и идет рядом и сближает их руки нечто более драгоценное и удивительное, чем дружба. И вскоре они нашли название этому чувству, и оказалось, что они возлюбленные, Адам и Ева нового рода человеческого.

И рука об руку они пустились в путь по удивительной долине любви, с ее заветными тихими уголками. В душе у них все преображалось — и преображался весь мир вокруг них и наконец превратился в святилище красоты, предназначенное для их встреч, где звезды, как светозарные цветы, устилали путь их любви, а утренние и вечерние зори развешивали в небесах праздничные флаги. Друг для друга они были уже не существами из плоти и крови, но живым воплощением нежности и желания. В дар своей любви они принесли сначала шепоты, затем молчание, под беспредельным сводом небес они были вместе, и каждый близко-близко видел смутно белевшее в лунном свете лицо другого. И недвижные черные сосны стояли вокруг них на страже.

Затих мерный шаг времени, и, кажется, вся вселенная смолкла и замерла. Они слышали только стук собственных сердец. И словно были одни в мире, где нет места смерти, да так оно и было в тот час. Им казалось, что они постигают — и они постигали—сокровенные тайны мироздания, и они открыли здесь такую красоту, какой еще никто никогда не открывал. Ибо даже для самых ничтожных и мелких душ любовь есть открытие красоты. А эти двое влюбленных были гигантами, которые вкусили Пищу богов...

Легко себе представить, какой ужас овладел всем добропорядочным миром, когда стало известно, что принцесса, обрученная с принцем,— ее светлость принцесса, в чьих жилах течет королевская кровь! — встречается (и довольно часто) с гипертрофированным отпрыском самого обыкновенного профессора химии, личностью без чинов, без положения и состояния, и разговаривает с ним, словно на свете нет ни королей, ни принцев, ни порядка, ни благопристойности, а только карлики и великаны! Да, они встречались и разговаривали, и стало ясно, что он ее любовник.

— Ну, если об этом пронюхают газетчики!..— ужаснулся сэр Артур Блюд-Лиз.

— Мне рассказывали...— шамкал старый епископ из Злобса.

— Наверху-то опять история,— заметил старший лакей, отщипывая с тарелок кусочки пирожного.— Я так понимаю, эта ихняя принцесса-великанша...

— Говорят...— шептала хозяйка писчебумажной лавочки неподалеку от входа во дворец, где американские туристы покупали билеты для осмотра парадных апартаментов...

И наконец:

«Мы уполномочены опровергнуть...» — заявил известный журналист Плут в газете «Сплетни».

Итак, шило в мешке утаить не удалось.

IV

— Они требуют, чтобы мы расстались,— сказала принцесса возлюбленному.

— Это еще почему? — воскликнул он.— Вечно они выдумают какую-нибудь глупость!

— А известно ли тебе, что любить меня — это... это государственная измена?

— Родная моя, да какое все это имеет значение?! Что́ нам их законы — бессмысленные, нелепые? Что́ нам их понятия об измене и верности?

— Сейчас узнаешь,— сказала она и повторила ему все, что недавно выслушала сама.

— Явился ко мне престранный человечек с необыкновенно мягким и гибким голоском, двигался он тоже

очень мягко и гибко, скользнул в комнату, совсем как кошка, и всякий раз, когда хотел сказать что-то очень важное, воздевал кверху красивенькую беленькую ручку. Не то чтобы лысый, но лысоватый, носик и щечки кругленькие и розовые и приятнейшая бородка клинышком. Несколько раз он делал вид, что ужасно взволнован, и даже чуть не прослезился. Он, оказывается, очень близок к здешнему царствующему дому, и он называл меня своей дорогой юной леди, и с самого начала был полон сочувствия. Он все повторял: «Моя дорогая юная леди, вы же знаете, что не должны, не должны...» И потом еще: «Вы обязаны исполнить свой долг...»

— И откуда только берутся такие?

— Он просто упивался собственным красноречием.

— Но я все-таки не понимаю...

— Он говорил очень серьезные вещи.

Редвуд резко повернулся к ней.

— Не думаешь ли ты, что в этой его болтовне есть какой-то смысл?

— Кое-какой смысл, безусловно, есть.

— Ты хочешь сказать...

— Я хочу сказать, что, сами того не ведая, мы надругались над священными идеалами этих людишек. Мы, особы королевской крови, составляем особый клан. Мы — праздничные побрякушки, узники, которым поклоняются. За это преклонение мы платим своей свободой, мы не вольны шагу ступить по-своему. Я должна была выйти замуж за принца... Впрочем, ты его все равно не знаешь. За одного принца-пигмея. Неважно, кто он... Оказывается, это событие должно было укрепить союз между моей и его страной. И вашей стране тоже этот брак был бы выгоден. Представляешь? Выйти замуж, чтобы укрепить какой-то союз!

— А теперь?

— Они говорят, что я все равно должна за него выйти... как будто у нас с тобой ничего не было.

— Ничего не было!

— Да. И это еще не все. Он сказал...

— Этот специалист по этикету?

— Да. Он сказал, что было бы лучше для тебя и вообще для всех гигантов, если бы мы оба... воздержались от дальнейших бесед. Так он и выразился.

— А что они могут сделать, если мы не послушаемся?

— Он сказал, что это может стоить тебе свободы.

— Мне?!

— Да. Он сказал очень многозначительно: «Моя дорогая юная леди, было бы лучше и достойнее, если бы вы расстались по доброй воле». Вот и все, что он сказал. Только с ударением на словах «по доброй воле».

— Но... но что им за дело, этим жалким пигмеям, где и как мы любим друг друга? Что общего может быть между их жизнью и нашей?

— Они другого мнения.

— Ты, конечно, не принимаешь всерьез этот вздор?

— По-моему, все это ужасно глупо.

— Чтобы их законы сковали нас по рукам и по ногам? Чтобы в самом начале жизни нам стали поперек дороги их обветшалые союзы и бессмысленные установления? Ну нет! Мы их и слушать не станем.

— Да, я твоя... Пока...

— Пока? Что же нам помешает?

— Но ведь они... Если они хотят нас разлучить...

— Что они могут с нами сделать?

— Не знаю. В самом деле, что?

— Да я и знать не хочу, что они могут и что сделают! Я твой, а ты моя. Это самое главное. Я твой и ты моя на всю жизнь. Неужели меня остановят их жалкие правила, мелочные запреты, эти их красные надписи — прохода нет, прохода нет! Неужели что-нибудь удержит меня вдали от тебя?

— Ты прав. Но все же... что они могут сделать?

— Ты хочешь спросить, что делать нам?

— Да.

— Будем жить, как жили.

— А если они попробуют нам помешать?

Он сжал кулаки и обернулся, словно пигмеи уже наступали, чтобы помешать им. Потом обвел взглядом горизонт.

— Да, об этом стоит подумать, — сказал он. — В самом деле, что они могут?

— Здесь, в этой маленькой стране... — Она не договорила.

Он мысленно оглядел всю страну.

— Они повсюду.

— Но можно бы...

— Куда?

— Куда-нибудь. Вместе переплывем море. А там, за морем...

— Я никогда не был за морем.

— Там есть высокие горы, среди которых мы и сами окажемся карликами; там есть далекие пустынные долины, потаенные озера и покрытые снегом вершины, где не ступала нога человека. И вот там...

— Но чтобы добраться туда, нам придется день за днем пробивать себе дорогу сквозь мириады людишек.

— Это наша единственная надежда. В Англии слишком много народу и слишком мало места, здесь нам негде укрыться, негде приклонить голову. Как нам скрыться среди этих толп? Пигмеи могут спрятаться друг от друга, но куда деваться нам? Здесь у нас не будет ни еды, ни крыши над головой, а если мы убежим, они будут преследовать нас по пятам день и ночь.

Вдруг у него мелькнула мысль.

— Для нас есть место,— сказал он.— Даже на этом острове.

— Где?

— В доме, который построили наши Братья, там, за холмами. Они обнесли его огромным валом с севера и юга, с запада и востока; они вырыли глубокие траншеи и тайные укрытия, и даже теперь... Один из них был у меня совсем недавно. Он сказал... Я тогда не очень прислушивался, но он говорил что-то об оружии. Может быть, там и надо искать убежища.

Редвуд помолчал.

— Я так давно не видел наших Братьев... Да, да... Я жил как во сне и обо всем позабыл... Шли дни, а я ничего не делал, думал только о том, чтобы поскорее увидеть тебя... Надо пойти и поговорить с ними, рассказать им о тебе и о том, что нам угрожает. Они смогут помочь нам, если захотят. Да, еще есть надежда. Не знаю, насколько сильны укрепления вокруг их дома, но уж, наверно, Коссар сделал все, что только можно. Теперь я припоминаю — еще до всего... до того, как ты пришла ко мне, в воздухе носилась тревога. Тут были выборы — эти людишки все решают счетом поштучно... Теперь их

выборы, наверно, уже кончились. Тогда раздавалось много угроз против нас... против всех гигантов, кроме тебя, разумеется. Я должен повидать Братьев. Я должен рассказать им о нас с тобой и о том, что нам грозит.

V

В следующий раз ей пришлось долго ждать его. Они условились в полдень встретиться посреди парка, на большой поляне у излучины реки; принцесса ждала, то и дело поглядывая на юг, заслоняя рукой глаза от солнца, и вдруг заметила, какая кругом тишина — непривычная, тягостная тишина. И потом, хоть час уже поздний, не видно обычной свиты добровольных шпионов. Никто не подглядывает и не прячется в кустах и за деревьями, куда ни посмотришь — ни души, ни одна лодка не скользит по серебряной глади Темзы. Что случилось, отчего весь мир словно замер?..

Наконец-то! Вдали, в просвете между кронами деревьев, показался молодой Редвуд.

Сейчас же деревья снова заслонили его, он шел напролом через чащу — и вскоре появился снова. Но было в его походке что-то необычное, и вдруг она поняла: он очень спешит и к тому же прихрамывает. Он помахал рукой, и она пошла ему навстречу. Теперь можно было разглядеть его лицо, и она с тревогой увидела, что при каждом шаге он морщится, словно от боли.

Охваченная недоумением и смутным страхом, она побежала к нему. Когда она была уже совсем близко, он спросил, даже не здороваясь:

— Мы должны расстаться?

Он задыхался.

— Нет,— ответила она.— Почему? Что с тобой?

— Но если мы не расстаемся... Тогда пора!

— О чем ты говоришь?

— Я не хочу с тобой расставаться,— сказал он.— Только...— Он оборвал себя и спросил в упор: — Ты от меня не уйдешь?

Она смело встретила его взгляд.

— Что случилось? — настойчиво спросила она.

— Даже на время?..

— На какое время?

— Может быть, на годы.

— Расстаться? Ни за что!

— А ты подумала, чем это грозит?

— Я с тобой не расстанусь.— Она взяла его за руку.— Даже под страхом смерти я не отпущу тебя.

— Даже под страхом смерти,— повторил он и крепко сжал ее пальцы.

Он огляделся вокруг, словно боялся, что маленькие преследователи уже рядом.

— Может быть, это и смерть,— услыхала она. И попросила: — Скажи мне все.

— Они пытались не пустить меня к тебе.

— Как?

— Вышел я сегодня из лаборатории,— ты ведь знаешь, я делаю Пищу богов, а запасы ее хранятся у Коссаров. Смотрю — стоит полицейский, такой человечек весь в синем и в чистых белых перчатках. Он приказал мне остановиться. «Здесь хода нет!» — говорит. Что ж, нет так нет, я обошел лабораторию кругом и хотел идти другой дорогой, а там — еще полицейский: «Здесь хода нет!» А потом добавляет: «Все дороги закрыты!»

— И что же дальше?

— Я было заспорил: «Эти дороги общие для всех»,— говорю.

«Именно,— отвечает,— а вы их портите». «Ладно,— говорю,— я пойду полем».

Тут из-за всех изгородей повыскакивали еще полицейские, а главный заявляет:

«Хода нет, это частные владения».

«Провались они, ваши общие и частные владения!— говорю.— Я иду к моей принцессе».

Наклонился, осторожно взял его — ох, как он кричал и брыкался! — отставил в сторону и пошел дальше. Мигом все поле ожило, повсюду забегали эти людишки. Один скакал на лошади рядом со мной и на скаку читал что-то по бумажке, кричал изо всех силенок. Дочитал, пригнул голову и поскакал назад. Я так ничего и не разобрал. И вдруг слышу — позади залп из ружей.

— Из ружей?!

— Да, они стреляли по мне, как стреляют по крысам. Пули так и свистели, одна попала мне в ногу.

— И что же ты?

— Как видишь, пришел к тебе, а они где-то там бегут, кричат и стреляют... И теперь...

— Что теперь?

— Это только начало. Они непременно хотят нас разлучить. Они и сейчас гонятся за мной.

— Мы не расстанемся.

— Не расстанемся. Но тогда ты должна пойти со мной к нашим Братьям.

— Где это?

— Пойдем на восток. Они за мной гонятся вон оттуда, а мы пойдем в другую сторону. По той аллее. Я пойду первым, и если они устроили засаду...

Он шагнул вперед, но она схватила его за руку.

— Нет! — воскликнула она.— Я обниму тебя, и мы пойдем рядом. Ведь я из королевской семьи, может быть, я для них священна. Я обниму тебя — может быть, тогда они не посмеют стрелять. Господи, если бы мы могли обняться и улететь!..

Она стиснула руку Редвуда, обняла его за плечи и прижалась к нему.

— Может быть, тогда они не убьют тебя,— повторяла она, и в порыве страстной нежности он обнял ее и поцеловал в щеку. Мгновенье он не отпускал ее.

— Даже если это смерть,— прошептала принцесса.

Она обвила руками его шею и подняла к нему лицо.

— Поцелуй меня еще раз, любимый.

Он притянул ее к себе. Они молча поцеловались и еще минуту не могли оторваться друг от друга. Потом рука об руку двинулись в путь, и она старалась идти как можно ближе к нему; быть может, они доберутся до убежища, устроенного сыновьями Коссара, прежде чем их настигнет погоня...

Когда они быстрым шагом пересекали обширную часть парка, расположенную позади дворца, из-за деревьев галопом вылетел отряд всадников, тщетно пытавшихся поспеть за ними. А потом впереди показались дома, оттуда выбегали люди с винтовками. Редвуд хотел идти прямо на них и, если надо, прорваться силой, но она заставила его свернуть к югу.

Они поспешили прочь, и тут над самыми их головами просвистела пуля.

ГЛАВА III

МОЛОДОЙ КЭДДЛС В ЛОНДОНЕ

I

Молодой Кэддлс даже не подозревал обо всех этих событиях, о новых законах, грозивших братству гигантов, да и о том, что где-то у него есть Братья,— и как раз в эти дни он решил покинуть свой известковый карьер и повидать свет. К этому его привели долгие невеселые раздумья. В Чизинг Айбрайте не было ответа на его вопросы; новый священник умом не блистал, он оказался еще ограниченнее прежнего, а Кэддлсу осточертело думать и гадать, почему его обрекли на такой бессмысленный труд.

«Почему я должен день за днем ломать известняк? — недоумевал он.— Почему я не могу ходить, куда хочу? На свете столько чудес, а мне к ним и подойти нельзя. В чем я провинился, за что меня так наказали?»

И вот однажды он встал, разогнул спину и громко сказал:

— Хватит!

— Не желаю! — сказал он и, как умел, проклял свою каменоломню.

Но что́ слова! То, что было на душе, требовало дела. Он поднял наполовину загруженную вагонетку, швырнул на соседнюю и разбил вдребезги. Потом схватил целый состав пустых вагонеток и сильным толчком отправил под откос. Вдогонку запустил огромной глыбой известняка — она рассыпалась в пыль,— и, с маху наподдав ногой по рельсам, сорвал с десяток ярдов подъездного пути. Так началось уничтожение карьера.

— Весь век здесь дурака валять? Нет, это не по мне!

В азарте разрушения он не заметил внизу маленького геолога, и тот пережил страшные пять минут. Две глыбы известняка чуть не раздавили его — бедняга еле успел отскочить, кое-как выбрался через западный край карьера и опрометью кинулся по откосу; дорожный мешок хлопал его по спине, ножки в коротких спортивных штанах так и мелькали, оставляя на траве меловые следы. А юный Кэддлс, очень довольный делом рук

своих, зашагал прочь, чтобы исполнить свое предназначение в мире.

— Гнуть спину в этой яме, пока не сдохнешь!.. Думают, сам я огромный, а душонка во мне цыплячья! Добывать этим дуракам известняк, не поймешь для чего! Нет уж!

Вела ли его дорога, или железнодорожные пути, или просто случай, но он повернул к Лондону да так и шагал весь день, по жаре, через холмы, через поля и луга, и честной народ в изумлении пялил на него глаза. На каждом углу болтались обрывки белых и красных плакатов с разными именами,— но они ему ничего не говорили; он и не слыхал о бурных выборах, о том, что до власти дорвался Кейтэрем, этот «Джек потрошитель великанов». Он и не подозревал, что именно в этот день во всех полицейских участках был вывешен указ Кейтэрема, в котором объявлялось, что ни один гигант, ни один человек ростом выше восьми футов не имеет права без особого разрешения отходить более чем на пять миль от «места своего постоянного жительства». Он не замечал, что полицейские чиновники, которые не могли его догнать и в глубине души очень этим были довольны, махали ему вслед своими грозными бумажками. Бедный любознательный простак, он спешил увидеть все чудеса, какие только есть в мире, и вовсе не собирался останавливаться из-за раздраженного окрика первого встречного. Он миновал Рочестер и Гринвич, дома теснились все гуще; он замедлил шаг и с любопытством озирался по сторонам, помахивая на ходу огромным кайлом.

Жители Лондона знали о нем понаслышке: есть в деревне такой дурачок, но он тихий, и управляющий леди Уондершут и священник прекрасно справляются с ним; слыхали также, что он по-своему почитает хозяев, благодарен им за их заботу. И потому в тот день, узнав из последних выпусков газет, что он тоже «забастовал», многие лондонцы решили, что тут какой-то сговор всех гигантов.

— Они хотят испытать нашу силу,— говорили пассажиры в поездах, возвращаясь домой со службы.

— Счастье, что у нас есть Кейтэрем...

— Это они в ответ на его распоряжение...

В клубах люди были осведомлены лучше. Они тол-

пились у телеграфной ленты или кучками собирались в курительных.

— Он не вооружен. Если бы тут было подстрекательство, он пошел бы прямо к Семи дубам.

— Ничего, Кейтэрем с ним справится.

Лавочники сообщали покупателям последние сплетни. Официанты, улучив минутку между блюдами, заглядывали в вечернюю газету. И даже извозчики, проглядев отчеты о скачках, сразу же искали новости о гигантах...

Вечерние правительственные газеты пестрели заголовками: «Вырвать крапиву с корнем!». Другие привлекали читателя заголовками вроде: «Великан Редвуд продолжает встречаться с принцессой». Газета «Эхо» нашла оригинальную тему: «Слухи о бунте гигантов на Севере Англии. Великаны Сандерленда направляются в Шотландию». «Вестминстерская газета», как всегда, предостерегала: «Берегитесь гигантов» — и пыталась хоть на этом как-нибудь сплотить либеральную партию, которую в то время семь лидеров яростно тянули каждый в свою сторону. В более поздних выпусках уже не было разноголосицы. «Гигант шагает по Ново-Кентской дороге»,— дружно сообщали они.

— Интересно, почему это ничего не слыхать про молодых Коссаров,— рассуждал в чайной бледный юнец.— Уж без них-то наверняка не обошлось...

— Говорят, еще один верзила вырвался на свободу,— вставила буфетчица, вытирая стакан.— Я всегда говорила, с ними рядом жить опасно. Всегда говорила, с самого начала... Пора уж от них избавиться. Хоть бы его сюда не принесла нелегкая!

— А я не прочь на него поглядеть,— храбро заявил юнец у стойки.— Принцессу-то я видел.

— Как по-вашему, ему худого не сделают?— спросила буфетчица.

— Очень может быть, что и придется,— ответил юнец, допивая стакан.

Таким вот разговорам конца-краю не было, и в самый разгар этой шумихи в Лондон заявился молодой Кэддлс.

II

Я всегда представляю себе молодого Кэддлса таким, каким его впервые увидели на Ново-Кентской дороге, его

растерянное и любопытное лицо, освещенное ласковыми лучами заходящего солнца. Дорога была запружена машинами: омнибусы, трамваи, фургоны и повозки, тележки разносчиков, велосипеды и автомобили двигались сплошным потоком; великан робкими шагами пробирался вперед, а за ним по пятам, дивясь и изумляясь, тянулись зеваки, женщины, няньки с младенцами, вышедшие за покупками хозяйки, детвора и сорванцы постарше. Повсюду торчали щиты с грязными обрывками предвыборных воззваний. Нарастал неумолчный гул голосов. Вокруг плескалось море взбудораженных пигмеев: лавочники вместе с покупателями высыпали на улицу; в окнах мелькали любопытные лица; с криком сбегались мальчишки; каменщики и маляры на лесах бросали работу и глядели на него; и лишь одни полицейские, невозмутимые, точно деревянные, сохраняли спокойствие в этой кутерьме. Толпа выкрикивала что-то непонятное: насмешки, брань, бессмысленные ходячие словечки и остроты, а он смотрел на этих людишек во все глаза — ему и не снилось, что на свете их такое множество!

Теперь, когда он достиг Лондона, ему приходилось все больше и больше замедлять шаг, чтобы не раздавить напиравшую толпу. Она становилась все гуще, и наконец на каком-то углу, где пересекались две широкие улицы, людские волны прихлынули вплотную и сомкнулись вокруг.

Так и стоял он, слегка расставив ноги, прислонясь спиной к большому, вдвое выше его, дому на углу — это было шикарное питейное заведение со светящейся надписью по краю крыши. Он смотрел на сновавших внизу пигмеев и уж, наверно, старался как-то связать это зрелище с другими впечатлениями своей жизни, понять, при чем тут долина среди холмов, и влюбленные полуночники, и церковное пение, известняк, который он ломал столько лет, инстинкт, смерть и голубые небеса... Гигант пытался осознать единство мира и найти в нем смысл. Он напряженно хмурил брови. Огромной ручищей почесал лохматый затылок и громко, протяжно вздохнул.

— Не понимаю,— сказал он.

Никто толком не разобрал его слов. Перекресток гудел, звонки трамваев, упорно пробиравшихся сквозь тол-

пу, прорезались в этом шуме, словно красные маки в золоте хлебов.

— Что он сказал?

— Сказал — не понимает.

— Сказал: «Все понимаю!»

— Сказал: «Сломаю».

— Как бы этот олух не сломал дом, еще усядется на крышу!

— Чего вы копошитесь, мелюзга? Что вы тут делаете? Кому вы нужны? Я там, в яме, ломаю для вас известняк, а вы тут чего-то копошитесь,— зачем? На что все это нужно?

При звуке его странного гулкого голоса, который когда-то в Чизинг Айбрайте отвлекал школьников от уроков, толпу взяла оторопь, и она было умолкла, но потом разразилась новой бурей криков.

— Речь! Речь! — завопил какой-то шутник.

Что он такое говорит? — вот что занимало всех; многие уверяли: конечно же, он просто пьян!

Опасливо, гуськом, пробирались в толпе омнибусы. «Эй, с дороги!» — орали кучера. Подвыпивший американский матрос лез ко всем и каждому и слезливо спрашивал: «Ну чего ему надо?» Внезапно над толпой, перекрывая шум, взмыл пронзительный крик: старьевщик с высохшим темным лицом, восседая в своей тележке, голосил:

— Пшел вон, орясина! Убирайся, откуда пришел! Дубина ты стоеросовая, чертово пугало! Не видишь, что ли, от тебя лошади шарахаются! Пшел вон! Порядку не знает, бестолочь, прет, куда не надо, хоть бы кто вбил ему в башку!..

А над всем этим столпотворением растерянно застыл молодой великан: он уже не пытался говорить, только смотрел круглыми глазами и чего-то ждал.

Вскоре из переулка гуськом вышел небольшой отряд озабоченных полицейских; они двинулись через дорогу, привычно лавируя среди экипажей.

— Осади назад! — доносились до Кэддлса их голосишки.— Попрошу не задерживаться! Проходите, проходите!

Потом оказалось, что одна из этих темно-синих фигурок молотит его дубинкой по ноге. Он посмотрел вниз —

фигурка яростно размахивала руками в белых перчатках.

— Чего вам? — спросил он, наклоняясь.

— Здесь нельзя стоять! — кричал инспектор.— Не стой здесь,— повторил он.

— А куда мне идти?

— Домой, в свою деревню. На место постоянного жительства. Словом, уходи. Ты нарушаешь движение.

— Какое движение?

— На шоссе.

— А куда они все идут? И откуда? Для чего это? Собрались тут все вокруг меня. Чего им надо? Что они делают? Я хочу понять. Мне надоело махать кайлом, и я всегда один. Я ломаю известняк, а они для меня что делают? Я хочу знать, вот вы мне и растолкуйте.

— Ну, не взыщи, мы здесь не для того, чтобы разговоры разговаривать. Мое дело — следить за порядком. Проходи, не задерживайся.

— А вы не знаете?

— Проходи, не задерживайся — честью просят! И мой тебе совет: убирайся-ка ты восвояси. Мы еще не получали специальных инструкций, а только ты нарушаешь закон... Эй, вы! Дайте дорогу! Дайте дорогу!

Мостовая слева от него услужливо опустела, и Кэддлс медленно двинулся вперед. Но теперь язык у него развязался.

— Не пойму,— бормотал он.— Не пойму.

Он обращался к толпе — она валила за ним по пятам, беспрестанно меняясь, подступала с боков. Речь его была отрывиста и бессвязна:

— Я и не знал, что есть на свете такие места! Что вы все тут делаете день-деньской? И для чего это все? Для чего это все, и к чему тут я?

Сам того не ведая, он пустил по свету новые ходкие словечки. Еще долго молодые острословы весело спрашивали друг друга: «Эй, Гарри! Для чего это все? А? Для чего все это непотребство?»

В ответ раздавался взрыв острот, по большей части не слишком пристойных. Из пригодных для общего пользования самыми ходкими оказались: «Заткнись ты!» и презрительное: «Пшел вон!»

Вошли в обиход ответы и похлестче.

III

Чего он искал? Он стремился к чему-то, чего не мог ему дать мир пигмеев, к какой-то своей цели; пигмеи мешали ему достичь ее или хотя бы разглядеть; ему так и не суждено было ее увидеть. Страстная жажда общения сжигала этого одинокого, молчаливого гиганта; он тосковал по обществу себе подобных, по делу, которое мог бы полюбить и которому мог бы служить, искал близких — кого-нибудь, кто указал бы ему понятную и полезную цель в жизни и кому он рад был бы повиноваться. И поймите, тоска эта была немая, бессловесная; она яростно клокотала у него в груди, и, даже встреть он собрата-великана, едва ли он смог бы высказать все это словами. Что он знал в жизни? Тупое однообразие деревенских будней, обыденные разговоры немногословных фермеров; все это не отвечало и не могло ответить самым ничтожным из его гигантских запросов. Чудовищный простак, он ничего не знал ни о деньгах, ни о торговле, ни о других хитросплетениях, на которых зиждется общество маленьких людишек и все их существование. Он жаждал... но чего бы он ни жаждал, ему не суждено было эту жажду утолить.

Весь день и всю ночь напролет он шел и шел, уже голодный, но все еще неутомимый; он видел, как на разных улицах движется различный транспорт, и вновь и вновь пытался постичь, чем же заняты эти крохотные деловитые козявки. Для него все это было лишь сумятицей и неразберихой...

Говорят, в Кенсингтоне он вытащил из коляски какую-то леди в наимоднейшем вечернем платье и внимательно осмотрел ее от шлейфа до голых лопаток, а потом с глубоким вздохом, хоть и довольно небрежно, водворил на место. Но за точность этих слухов я не ручаюсь. Чуть ли не целый час он стоял в конце Пикадилли и наблюдал, как люди дрались за места в омнибусах. К концу дня он какое-то время маячил над Кеннингтон Овал, глядя на крикет, но тысячные толпы, околдованные этим загадочным для него зрелищем, даже не заметили великана, и он, тяжело вздохнув, побрел дальше.

Незадолго до полуночи он снова попал на площадь Пикадилли и увидел совсем иную толпу. Эти люди явно

были очень озабочены, спешили заняться чем-то дозволенным, а может быть, и тем, что не дозволено (а почему — бог весть). Они пялили на него глаза, на ходу глумились над ним, но шли мимо, не задерживаясь. Вдоль запруженного пешеходами тротуара нескончаемым потоком тянулись по мостовой наемные экипажи, извозчики хищным взглядом выискивали себе седоков. Люди входили и выходили из дверей ресторанов, одни солидные, важные, озабоченные, другие веселые или разнеженные, третьи уж такие настороженные и проницательные, что их не обсчитал бы и самый продувной официант. Стоя на углу, молодой великан приглядывался ко всей этой суете.

— Для чего это все? — с тоской спрашивал он громким шепотом.— Для чего? Они все такие серьезные, такие занятые, а я ничего не понимаю. В чем тут дело?

Он видел то, чего никто здесь не замечал: как жалки эти отупевшие от пьянства накрашенные женщины, которые часами маячат на углу, и эти несчастные оборванцы, что крадутся вдоль водостоков, как невыразимо пуста и никчемна вся эта кутерьма. Пустота и никчемность. Им всем было невдомек, к чему стремится этот великан, этот призрак будущего, ставший у них на дороге...

Напротив, высоко в небе, то вспыхивали, то гасли таинственные знаки; умей Кэддлс читать, они рассказали бы ему, как узки человеческие интересы, как ничтожно все, к чему стремятся и чем живут эти козявки. Сначала появлялось огненное:

В

Затем последовало И

ВИ

Затем Н,

ВИН —

и наконец в небе целиком загорелась радостная весть для всех, кто подавлен бременем жизни:

ВИНО ТАППЕРА ПРИДАСТ ВАМ БОДРОСТИ!

Миг — и все исчезло во мраке, а потом на месте этой надписи так же постепенно, по одной букве, обозначилось второе всеобщее утешение:

МЫЛО «КРАСОТА»!

Заметьте: не просто моющее химическое средство, но некий, так сказать, идеал.

А вот и третий кит, на котором покоится вся мелочная жизнь пигмеев:

ЖЕЛУДОЧНЫЕ ПИЛЮЛИ ЯНКЕРА!

Больше ничего нового не появлялось. В черную пустоту одна за другой опять выстреливались огненно-красные буквы, выводя те же слова:

ВИНО ТАП...

Уже глубокой ночью молодой Кэддлс, очевидно, пришел под прохладную сень Риджент-парка, перешагнул через ограду и прилег на поросшем травой склоне, неподалеку от зимнего катка. Здесь он часок вздремнул. А в шесть утра видели, как он разговаривал с какой-то нищенкой: вытащил ее из канавы, где она спала, и настойчиво допытывался, для чего она живет на свете...

IV

Утром на второй день скитаний по Лондону настал для Кэддлса роковой час. Его одолел голод. Некоторое время он в нерешительности смотрел, как грузили повозку горячим, душистым хлебом, а потом тихонько опустился на колени — и начался грабеж. Покуда пекарь бегал звать полицию, Кэддлс очистил всю повозку, а затем огромная рука просунулась в булочную и опустошила прилавки и полки. Он набрал побольше хлеба и, не переставая жевать, пошел по другим лавкам, высматривая, чего бы еще перекусить. А тогда как раз (не впервые) пришла для лондонцев плохая пора: работы никакой не найдешь, съестное не по карману,— и жители того квартала даже сочувственно смотрели на великана, который смело брал желанную для всех, но недоступную еду. Они одобрительно хлопали, глядя, как он завтракает, и дружно засмеялись глуповатой гримасе, которой он встретил полицейского.

— Я был голодный,— объяснил он с набитым ртом.

— Браво! — ревела толпа.— Браво!

Но когда он принялся за третью пекарню, уже человек десять полицейских стали дубасить его по икрам.

— А ну-ка, милейший, пойдем отсюда,— сказал ему офицер.— Тебе разгуливать не полагается. Пойдем, я отведу тебя домой.

Они очень старались его арестовать. Говорят, по улицам разъезжала, гоняясь за ним, повозка с якорными це-

пями и канатами,— они должны были при аресте заменить наручники. Тогда его еще не собирались убивать.

— Он не участвует в заговоре,— заявил Кейтэрем.— Я не хочу, чтобы мои руки обагрила кровь невинного.— И прибавил: — Пока не будут испробованы все другие средства.

Сначала Кэддлс не понимал, чего от него хотят. А когда понял, то предложил полицейским не валять дурака и, широко шагая, пошел прочь,— где уж им было его догнать. Булочные он ограбил на Хэрроу-роуд, но в два счета пересек Лондонский канал и очутился в Сент-Джонс вуд, уселся в чьем-то саду и начал ковырять в зубах; тут на него и напал второй отряд полицейских.

— Да отвяжитесь вы от меня! — рявкнул он и неуклюже затопал через сады, вспахивая ногами лужайки и опрокидывая заборы; однако маленькие рьяные служители порядка не отставали, пробираясь кто садами, кто проезжей дорогой. У двух или трех были ружья, но их не пускали в ход. Потом Кэддлс выбрался на Эджуэр-роуд,— здесь толпа была уже настроена совсем по-иному и конный полицейский наехал гиганту на ногу, но в награду за такое усердие тотчас был выбит из седла.

Кэддлс обернулся к затаившей дыхание толпе.

— Отвяжитесь вы от меня! Что я вам сделал?

К этому времени он был безоружен, так как забыл кайло в Риджент-парке. Но теперь бедняга, видно, понял, что ему нужно хоть какое-то оружие. Он вернулся к товарным складам Большой Западной железной дороги, выворотил высоченный фонарный столб и вскинул на плечо, точно гигантскую булаву. Тут он опять завидел своих назойливых преследователей, повернул назад по Эджуэр-роуд и угрюмо зашагал на север.

Он дошел до Уотэма, вновь повернул на запад и опять двинулся к Лондону, миновал кладбища, перевалил через холм Хайгейта — и среди дня перед ним снова раскинулся огромный город. Здесь он свернул в сторону и уселся в каком-то саду, опершись спиной о стену дома; отсюда ему был виден весь Лондон. Он тяжело дышал, лицо его потемнело — и народ больше не толпился вокруг, как в первый раз; люди попрятались в соседних садах и осторожно поглядывали на него из укрытий. Они уже знали, что дело куда серьезнее, чем казалось сначала.

— Чего они ко мне привязались? — ворчал молодой гигант.— Надо же мне поесть. Чего они никак не отвяжутся?

Так он сидел, грыз кулак и угрюмо глядел на лежащий внизу город. После всех блужданий на сердце накипало: душили усталость, тревога, растерянность, бессильный гнев.

— Делать им нечего...— шептал он.— Делать им нечего. Нипочем не отвяжутся, так и путаются под ногами. А все от нечего делать,— повторял он снова и снова.— У-у, козявки!

Он с ожесточением кусал пальцы, лицо его стало мрачнее тучи.

— Работай на них, маши кайлом! — шептал он.— Они везде хозяева! А я никому не нужен... деваться некуда.

И вдруг горло ему перехватило от ярости: на ограде сада показалась уже знакомая фигура в синем.

— Отвяжитесь вы от меня! — рявкнул гигант.— Отвяжитесь!

— Я обязан исполнить свой долг,— ответил полицейский; он был бледен, но весьма решителен.

— Отвяжитесь вы! Мне тоже надо жить! Мне надо думать. И надо есть. И отвяжитесь вы от меня.

Маленький полицейский все сидел верхом на стене, подступиться ближе он не решался.

— На то есть закон,— сказал он.— Не мы же его выдумали.

— И не я,— возразил Кэддлс.— Это вы, козявки, навыдумывали, меня тогда еще и на свете не было. Знаю я вас и ваши законы! То делай, того не делай. Работай, как прòклятый, или помирай с голоду — ни тебе еды, ни отдыха, ни крова, ничего... А еще говорите...

— Я тут ни при чем,— сказал полицейский.— Как да почему — это пускай тебе другие растолкуют. Мое дело — исполнять закон.— Он перекинул через стену вторую ногу и приготовился спрыгнуть вниз; за ним показались еще полицейские.

— Послушайте, я с вами не ссорился.— Кэддлс ткнул худым пальцем в полицейского, краска сбежала с его лица, и он крепко стиснул в руке огромную железную булаву.— Я с вами не ссорился. Но... лучше отвяжитесь!

Полицейский старался держаться спокойно, как буд-

то все это в порядке вещей, и, однако, понимал: происходит чудовищное и непоправимое.

— Где приказ? — обратился он к кому-то из стоявших сзади, и ему подали клочок бумаги.

— Отвяжитесь вы,— повторил Кэддлс; он выпрямился, весь подобрался, смотрел угрюмо и зло.

— Здесь написано, что ты должен вернуться домой,— сказал полицейский, все еще не начиная читать.— Иди назад в свою каменоломню. Не то — будет худо.

В ответ Кэддлс зарычал что-то невнятное.

Тогда бумагу прочитали, и офицер сделал знак рукой. На гребне стены появились четверо вооруженных людей и с нарочитой невозмутимостью выстроились в ряд. На них была форма стрелков из отряда по борьбе с крысами. При виде ружей Кэддлс пришел в ярость. Он вспомнил жгучие уколы от фермерских дробовиков в Рекстоне.

— Вы хотите стрелять в меня из этих штук? — спросил он, показывая пальцем на ружья, и офицер вообразил, что великан испугался.

— Если ты не вернешься в свой карьер...

Он не договорил и кубарем скатился со стены, спасаясь от неминучей смерти: огромный железный столб, вскинутый могучей рукой на высоту шестидесяти футов, с размаху опускался прямо на него. Бац! Бац! Бац! — грохнули залпы из винтовок, рассчитанных на крупного зверя. Трах! — рассыпалась стена от страшного удара, полетели комья взрытой, развороченной земли. И еще что-то взлетело вместе с землей, что-то алое брызнуло на руку одному из людей с винтовками. Стрелки бросались из стороны в сторону, увертываясь от ударов, и храбро продолжали стрелять на бегу. А молодой Кэддлс, уже дважды простреленный, топтался на месте и озирался, не понимая, кто так больно жалит его в спину. Бац! Бац! Дома, беседки, сады, люди, что опасливо выглядывали из окон,— все это вдруг страшно и непонятно заплясало перед глазами. Он споткнулся, сделал три неверных шага, взмахнул своей огромной булавой и, выронив ее, схватился за грудь. Острая боль пронзила его насквозь.

Что это у него на руке, горячее и мокрое?..

Один здешний житель, глядевший из окна спальни, видел: великан испуганно посмотрел на свою ладонь —

она была вся в крови,— сморщился, чуть не плача, потом ноги его подкосились, и он рухнул на землю — первый побег гигантской крапивы, с корнем вырванный твердой рукой Кейтэрема, но отнюдь не тот, который новому премьер-министру хотелось выполоть прежде всего.

ГЛАВА IV

ДВА ДНЯ ИЗ ЖИЗНИ РЕДВУДА

I

Едва Кейтэрем понял, что пробил его час и можно рвать крапиву с корнем, он самовластно отдал приказ об аресте Коссара и Редвуда.

Взять Редвуда было нехитро. Он недавно перенес тяжелую операцию, и до полного выздоровления врачи всячески оберегали его покой. Но теперь они избавили его от своей опеки. Он только что встал с постели и, сидя у камина, просматривал кипу газет; он впервые узнал о предвыборной шумихе, из-за которой страна попала в руки Кейтэрема, и о том, какие тучи нависли над принцессой и его сыном. Было утро того самого дня, когда погиб молодой Кэддлс и когда полиция пыталась преградить Редвуду-младшему дорогу к принцессе. Но последние газеты, лежавшие перед старым ученым, лишь глухо и невнятно предвещали эти события. И Редвуд с замиранием сердца читал и перечитывал первые намеки на близкую беду, читал — и все явственнее ощущал дыхание смерти, и все-таки снова читал, пытаясь как-то занять мысли в ожидании свежих новостей. Когда слуга ввел в комнату полицейских чиновников, он вскинул голову, полный жадного нетерпения.

— А я-то думал, вечерняя газета,— сказал он, но тотчас изменился в лице и встал.

— Что случилось?

После этого он два дня был отрезан от всего мира.

Они явились в карете и хотели увезти его, но, видя, что он болен, решили еще день-другой его не трогать, а пока наводнили весь дом полицейскими и превратили во временную тюрьму. Это был тот самый дом, где родился Редвуд-гигант, дом, в котором человек впервые

вкусил Гераклеофорбию; Редвуд-отец уже восемь лет как овдовел и теперь жил здесь совсем один.

Он сильно поседел за эти годы, острая бородка стала совсем белая, но карие глаза смотрели живо и молодо. Он по-прежнему был сухощав, говорил негромко и учтиво, а в чертах его появилась та особенная значительность, которую нелегко определить словами: ее рождают годы раздумий над великими проблемами. Полицейский чин, явившийся арестовать Редвуда, был озадачен — уж очень не вязалась наружность этого человека с чудовищными злодеяниями, в которых его обвиняли.

— Надо же,— сказал чин своему помощнику.— Этот старикан из кожи вон лез, хотел всю землю перевернуть вверх тормашками, а с виду он ни дать ни взять мирный деревенский житель из благородных. А вот наш судья Бейдроби уж так печется о порядке и приличии, а рыло у него, как у борова. И потом — у кого какая манера! Этот вон какой обходительный, а наш знай фыркает да рычит. Стало быть, по видимости не суди, копай глубже — верно я говорю?

Но недолго полицейским пришлось хвалить Редвуда за обходительность. Он оказался очень беспокойным арестантом, и под конец они сказали ему наотрез: хватит приставать с вопросами, и газет он тоже не получит. Вдобавок они произвели небольшой обыск и отобрали даже те газеты, которые у него были. Уж он и кричал и пробовал увещевать их — все напрасно.

— Как же вы не понимаете,— повторял он снова и снова,— мой сын попал в беду, мой единственный сын! Меня сын заботит, а вовсе не Пища.

— Ничего не могу вам про него сказать, сэр,— ответил полицейский чин.—И рад бы, но у нас строгий приказ.

— Кто отдал такой приказ?

— Ну, уж это, сэр...— чин развел руками и направился к двери...

— Все шагает из угла в угол,— докладывал потом второй полицейский начальнику.— Это хорошо. Может, малость поуспокоится.

— Хорошо бы,— согласился начальник.— По правде сказать, я про это и не думал, а ведь тот великан, что связался с принцессой, нашему старику родной сын.

Трое полицейских переглянулись.

— Тогда ему, конечно, трудновато,— сказал наконец третий.

Как постепенно выяснилось, Редвуд еще не совсем понимал, что он отрезан от внешнего мира как бы железным занавесом. Охрана слышала, как он подходил к двери, дергал ручку и гремел замком; потом доносился голос часового, стоявшего на площадке лестницы, он уговаривал ученого не шуметь: так, мол, не годится. Затем они слышали, что он подходит к окнам, и видели, как прохожие поглядывают наверх.

— Так не годится,— сказал помощник.

Потом Редвуд начал звонить. Начальник охраны поднялся к нему и терпеливо объяснил, что из такого трезвона ничего хорошего не выйдет: если арестованный станет зря звонить, его оставят без внимания, а потом ему и впрямь что-нибудь понадобится — да никто не придет.

— Если нужно что дельное, мы к вашим услугам, сэр,— сказал он.— Ну, а если вы это только из протеста, придется нам отключить звонок, сэр.

Последнее, что услышал он уходя, был пронзительный выкрик Редвуда:

— Вы хоть скажите мне — может быть, мой сын...

II

После этого разговора Редвуд-старший почти не отходил от окна.

Но, глядя в окна, мало что можно было узнать о ходе событий. Эта улица, и всегда тихая, в тот день была еще тише обычного: кажется, за все утро не проехал ни один извозчик, ни один торговец с тележкой. Изредка появится пешеход — по его виду никак нельзя понять, что делается в городе; пробежит стайка детей, пройдет нянька с младенцем или хозяйка за покупками, и все в этом же роде. Случайные прохожие появлялись то справа, то слева, то с одного конца улицы, то с другого, и, к досаде Редвуда, их явно ничто не занимало, кроме собственных забот; они удивлялись, заметив дом, окруженный полицией, оглядывались, а то и пальцем показывали — и шли дальше, в ту сторону, где над тротуаром нависали ветви гигантской гортензии. Иногда какой-нибудь прохожий спрашивал о чем-то полицейского, и тот коротко отвечал...

Дома на другой стороне улицы словно вымерли. Один раз из окна какой-то спальни выглянула горничная, и Редвуд решил подать ей знак. Сначала она с интересом следила, как он машет руками, и даже пыталась отвечать, но вдруг оглянулась и поспешно отошла от окна... Из дома номер 37 вышел старик, хромая, спустился с крыльца и проковылял направо, даже не взглянув наверх. Потом минут десять по улице расхаживала одна лишь кошка...

Так и тянулось то знаменательное, нескончаемое утро.

Около полудня с соседней улицы донесся крик газетчиков; но они пробежали мимо. Против обыкновения ни один не завернул в его улицу, и Редвуд заподозрил, что их не пустила полиция. Он попытался открыть окно, но в комнату сейчас же вошел полицейский...

Часы на ближайшей церкви пробили двенадцать, потом, спустя целую вечность,— час.

Точно в насмешку, ему аккуратнейшим образом подали обед. Он проглотил ложку супа, немного поковырял второе, чтобы его унесли, выпил изрядную порцию виски, потом взял стул и вернулся к окну. Минуты растягивались в унылые, нескончаемые часы, и он незаметно задремал...

Внезапно он проснулся со странным ощущением, словно от далеких подземных толчков. Минуту-другую окна дребезжали, как при землетрясении, потом все замерло. После короткого затишья далекий грохот повторился. И опять тишина. Он решил, что по улице прогромыхала какая-нибудь тяжело груженная повозка. Что же еще могло быть?

А немного погодя он и вовсе усомнился, не померещилось ли.

Другие мысли не давали ему покоя. Почему все-таки его арестовали? Вот уже два дня, как Кейтэрем пришел к власти — самое время ему взяться «полоть крапиву». Вырвать крапиву с корнем! Вырвать с корнем гигантов! Эти слова назойливо, неотступно звенели в мозгу Редвуда.

В конце концов, что может сделать Кейтэрем? Он человек верующий. Казалось бы, уже одно это обязывает его воздержаться от неоправданного насилия.

Вырвать крапиву с корнем! Допустим, принцессу

схватят и вышлют за границу. И у сына могут быть неприятности. Тогда... Но почему арестовали его самого? Зачем все это от него скрывать? Нет, видно, происходит нечто более серьезное.

Допустим, они там задумали посадить за решетку всех великанов. Всех их арестуют одновременно. Такие намеки проскальзывали в предвыборных речах. А дальше что?

Без сомнения, схватили и Коссара.

Кейтэрем — человек верующий. Редвуд цеплялся за эту мысль. Но где-то в глубине сознания словно протянулась черная завеса, и на ней то вспыхивали, то гасли огненные знаки и складывались в одно только слово. Он отбивался, гнал от себя это слово. Но огненные знаки вспыхивали вновь, точно кто-то все снова начинал писать и не мог дописать до конца.

Наконец он решился прочесть это слово: «Резня»! Вот оно, жестокое, беспощадное.

Нет! Нет! Немыслимо! Кейтэрем — человек верующий, и он не дикарь. И неужели после стольких лет, после таких надежд!..

Редвуд вскочил и заметался по комнате. Он разговаривал сам с собой, он кричал:

— Нет!!

Человечество еще не настолько обезумело, конечно, нет! Это невероятно, немыслимо, этого не может быть! Какой смысл истреблять людей-гигантов, когда гигантизм неотвратимо овладевает всеми низшими формами жизни? Нет, не могли они настолько обезуметь!

— Вздор, такие мысли надо гнать,— сказал он себе.— Гнать и гнать! Решительно и бесповоротно!

Он умолк на полуслове. Что такое? Стекла опять дребезжат, и это не мерещится. Он подошел к окну. То, что он увидел напротив, тотчас подтвердило, что слух не обманул его. В окне спальни дома № 35 стояла женщина с полотенцем в руках, а в столовой дома № 37 из-за вазы с букетом гигантских левкоев выглядывал мужчина: оба с тревожным любопытством смотрели на улицу. Редвуд ясно видел, что и полицейский у его крыльца слышал тот же далекий гул. Нет, конечно, это не почудилось.

Он отошел в глубь комнаты. Смеркалось.

— Стреляют,— сказал он.

И задумался.

— Неужели стреляют?

Ему подали крепкий чай, точно такой, какой он привык пить. Видно, посовещались с его экономкой. Чай он выпил, но от волнения ему уже не сиделось у окна, и он зашагал из угла в угол. Теперь он мог мыслить более последовательно.

Двадцать четыре года эта комната служила ему кабинетом. Ее обставили к свадьбе, и почти вся мебель сохранилась с того времени: громоздкий письменный стол с множеством ящиков и ящичков; вертящийся стул; покойное кресло у камина, вертящаяся этажерка с книгами; в нише — солидная картотека. Пестрый турецкий ковер, некогда чересчур яркий, и все коврики и занавески поздневикторианского периода с годами немного потускнели, и теперь смягчившиеся краски только радовали глаз; отблески огня мягко играли на меди и латуни каминных решеток и украшений. Вместо керосиновой лампы былых времен горело электричество — вот главное, что изменилось за двадцать четыре года. Но к этой добротной старомодности примешалось и многое другое, свидетельствуя о том, что хозяин кабинета причастен к Пище богов. Вдоль одной из стен, выше панели, висел длинный ряд фотографий в строгих рамках. Это были фотографии его сына, сыновей Коссара и других Чудо-детей, снятых в разные годы их жизни, в разных местах. В этом собрании нашлось место даже для не слишком выразительных черт юного Кэддлса. В углу стоял сноп гигантской травы из Чизинг Айбрайта, а на столе лежали три пустые коробочки мака величиной со шляпу. Карнизами для штор служили стебли травы. А над камином желтоватый, точно старая слоновая кость, зловеще скалился череп гигантского кабана из Окхема, в его пустые глазницы были вставлены китайские вазы...

Редвуда потянуло к фотографиям и особенно захотелось взглянуть на сына.

Эти снимки вызывали бесконечные воспоминания о том, что уже стерлось в памяти,— о первых днях создания Пищи, о скромном Бенсингтоне и его кузине Джейн, о Коссаре и о ночи великих трудов, когда жгли опытную ферму. Все эти воспоминания всплыли теперь, такие

далекие, но яркие и отчетливые, точно он видел их сквозь бинокль в солнечный день. Потом он вспомнил огромную детскую, младенца-великана, его первые слова и первые проблески его детской привязанности.

Неужели стреляют?

И вдруг его ошеломила грозная догадка: где-то там, за пределами этой проклятой тишины и неизвестности, бьется сейчас его сын, и сыновья Коссара, и остальные гиганты — чудесные первенцы грядущей великой эпохи. Бьются насмерть! И, может быть, сейчас, в эту самую минуту, сын его загнан в тупик, затравлен, ранен, повержен...

Редвуд отшатнулся от фотографий и снова забегал взад и вперед по комнате, отчаянно размахивая руками.

— Не может быть! — восклицал он.— Не может быть! Это не может так кончиться!

Но что это?

Он остановился как вкопанный.

Опять задребезжали окна, потом тяжко ударило, да так, что весь дом содрогнулся. На этот раз землетрясение, кажется, длилось целую вечность. И где-то совсем близко. Мгновенье Редвуду казалось, что на крышу дома рухнуло что-то огромное, от толчка вдребезги разлетелись стекла... и снова тишина, и затем звонкий, частый топот: кто-то бежал по улице.

Этот топот вывел Редвуда из оцепенения. Он обернулся к окну: стекло было разбито, трещины лучами разбежались во все стороны.

Сердце сильно билось: вот она, развязка, долгожданный решительный час. Да, но сам-то он бессилен помочь, он пленник, отделенный от всего мира плотной завесой!

На улице ничего не было видно, и электрический фонарь напротив почему-то не горел; и после первых тревожных отзвуков чего-то большого и грозного слышно тоже ничего не было. Ничего, что разъяснило бы или еще углубило тайну; только небо на юго-востоке вскоре вспыхнуло красноватым трепетным светом.

Зарево то разгоралось, то меркло. И когда оно меркло, Редвуд начинал сомневаться: а может быть, и это просто мерещится? Но сгущались сумерки — и зарево понемногу разгоралось ярче. Всю эту долгую, тягостную

ночь оно неотступно стояло перед ним. Порой ему казалось, что оно дрожит, словно где-то там, внизу, пляшут языки пламени, а в следующую минуту он говорил себе, что это просто отблеск вечерних фонарей. Ползли часы, а зарево то меркло, то вновь разгоралось, и только под утро исчезло, растворилось в нахлынувшем свете зари. Неужели это означало... Что это могло означать? Почти наверняка где-то вдали или поблизости случился пожар, но даже не различишь, что за тень струится по небу — дым или гонимые ветром облака. Но около часа ночи по этому багровеющему тревожному небу заметались лучи прожекторов — и не успокаивались до рассвета. Быть может, и это тоже означало... Мало ли что это могло значить! Но что же это все-таки значило? Всю ночь он глядел на тревожные отблески в небе, вспоминал тот тяжкий грохот—и строил догадки. Не взрыв ли это был? Но ведь потом не слышно было шума, беготни, ничего,— только отдаленные крики... Но это могли просто поскандалить пьяные на соседней улице...

Редвуд не зажигал огня; из разбитого окна дуло, но старик не отходил от него, и полицейский, который то и дело заглядывал в комнату и уговаривал его лечь, видел лишь маленький, скорбно застывший черный силуэт...

Всю ночь напролет стоял Редвуд у окна и смотрел на плывущие в небе странные облака; лишь на рассвете усталость сломила его, и он прилег на узкую кровать, которую ему поставили между письменным столом и угасающим камином, под черепом гигантского кабана.

III

Тридцать шесть долгих часов Редвуд оставался взаперти под домашним арестом, отрезанный от событий этих трагических Двух Дней, когда на заре великой новой эры пигмеи пошли войной на Детей Пищи. И вдруг железный занавес поднялся, и ученый очутился в самой гуще борьбы. Занавес поднялся так же неожиданно, как опустился. Вечером Редвуд услыхал стук колес, подошел к окну и увидел, что у дверей остановился извозчик; через минуту приехавший уже стоял перед Редвудом. Это был человек лет тридцати, тщедушный, гладко выбритый, одетый с иголочки и весьма учтивый.

— Мистер Редвуд, сэр,— начал он,— не будете ли вы так любезны отправиться со мной к мистеру Кейтэрему? Он желал бы видеть вас безотлагательно...

— Видеть меня!..— В мозгу Редвуда вспыхнул вопрос, который ему не сразу удалось выговорить. Он чуть помедлил. Потом спросил срывающимся голосом:

— Что Кейтэрем сделал с моим сыном?

Затаив дыхание, он ждал ответа.

— С вашим сыном, сэр? Насколько мы можем судить, ваш сын чувствует себя хорошо.

— Чувствует себя хорошо?

— Вчера он был ранен, сэр. Разве вы не слыхали?

От этого лицемерия Редвуд вышел из себя. В голосе его зазвучал уже не страх, а гнев.

— Вы прекрасно знаете, что я не слыхал. Как вам известно, я не мог ничего слышать.

— Мистер Кейтэрем опасался, сэр... Такие события, бунт... И так неожиданно... Нас застали врасплох. Он арестовал вас, чтобы спасти от какой-либо несчастной случайности...

— Он арестовал меня, чтобы я не мог предупредить сына и помочь ему советом. Ну что же дальше? Рассказывайте. Что произошло? Вы победили? Удалось вам их перебить?

Молодой человек шагнул было к окну и обернулся.

— Нет, сэр,— ответил он кратко.

— Что вам поручили мне передать?

— Уверяю вас, сэр, столкновение произошло не по нашей вине. Для нас это была совершенная неожиданность...

— Что вы хотите сказать?..

— Я хочу сказать, сэр, что гиганты в какой-то степени сохранили свои позиции.

Весь мир словно светом озарился. Потрясенный Редвуд чуть не зарыдал, горло сжала судорога, лицо исказилось. Но тотчас он глубоко, с облегчением вздохнул. Сердце радостно заколотилось: значит, гиганты сохранили свои позиции!

— Был жестокий бой... разрушения ужасные. Какое-то чудовищное недоразумение... На севере и в центральных графствах многие гиганты погибли... Это охватило всю страну.

— И они продолжают драться?

— Нет, сэр. Поднят белый флаг.

— Кто поднял, они?

— Нет, сэр. Перемирие предложил мистер Кейтэрем. Все это — чудовищное недоразумение. Потому он и хочет с вами побеседовать, изложить вам свою точку зрения. Настаивают, чтобы вы вмешались.

Редвуд перебил его:

— Вам известно, что с моим сыном?

— Он был ранен.

— Да говорите же! Рассказывайте!

— Он шел с принцессой... тогда еще не был завершен маневр по... м-м... по окружению лагеря Коссаров... этой ямы в Чизлхерсте. Ваш сын с принцессой шли напролом сквозь чащу гигантского овса, вышли к реке и наткнулись на роту пехоты... Солдаты весь день нервничали... вот и началась паника.

— Они его застрелили?

— Нет, сэр. Они разбежались. Но некоторые стреляли... С перепугу, наобум. Это было нарушение приказа, сэр.

Редвуд недоверчиво хмыкнул.

— Можете мне поверить, сэр. Не стану кривить душой, приказ был отдан не ради вашего сына, а ради принцессы.

— Да, этому можно поверить.

— Они оба с криком бежали к крепости. Солдаты метались во все стороны, потом кое-кто начал стрелять. Видели, как он споткнулся.

— Ох!

— Да, сэр. Но мы знаем, что рана несерьезная.

— Откуда знаете?

— Он передал, что чувствует себя хорошо, сэр.

— Передал для меня?

— Для кого же еще, сэр.

Минуту Редвуд стоял, прижав руки к груди, и старался осмыслить услышанное. Потом его возмущение вырвалось наружу:

— Так, значит, вы, как дураки, просчитались, не справились и сели в лужу, а теперь еще прикидываетесь, что вовсе и не думали убивать! И потом... Что с остальными?

Молодой человек посмотрел вопросительно.

— С остальными гигантами,— нетерпеливо пояснил Редвуд.

Его собеседник больше не притворялся, что не понимает.

— Тринадцать убито, сэр,— ответил он упавшим голосом.

— И есть еще раненые?

— Да, сэр.

Редвуд задохнулся от ярости.

— И Кейтэрем еще хочет, чтоб я с ним разговаривал! — крикнул он.— Где остальные?

— Некоторые добрались до крепости еще во время сражения, сэр... Они, видимо, этого ждали...

— Мудрено было не ждать. Если бы не Коссар... А Коссар там?

— Да, сэр. И там все уцелевшие гиганты... Те, что не добрались в Чизлхерст во время боя, уже пришли туда, пользуясь перемирием, или идут сейчас.

— Стало быть, вы разбиты,— сказал Редвуд.

— Мы не разбиты. Нет, сэр. Нельзя сказать, что мы разбиты. Но ваши гиганты ведут войну не по правилам. Они нарушают все законы, так было прошлой ночью и вот теперь опять. Мы уже прекратили атаку, оттянули наши войска. И вдруг сегодня —бомбардировка Лондона...

— Это их право!

— Но снаряды начинены... ядом...

— Ядом?

— Да, ядом. Пищей...

— Гераклеофорбией?

— Да, сэр. Мистер Кейтэрем хотел бы, сэр...

— Вы разбиты! Теперь ваша игра проиграна! Молодец, Коссар! Что вам остается делать? Как ни старайтесь, толку не будет. Теперь вы будете вдыхать ее с пылью на каждой улице. Какой же смысл драться? Воевать по правилам, как бы не так! И ваш Кейтэрем воображает, что я приду ему на выручку?! Просчитались, молодые люди! На что мне этот пустозвон? Он лопнул, как мыльный пузырь! Довольно он убивал, и врал, и путал, его песенка спета. Зачем я к нему пойду?

Молодой человек слушал внимательно и почтительно.

— Дело в том, сэр,— вставил он,— что гиганты непременно хотят вас видеть. Они не желают признавать никаких других парламентеров. Боюсь, что если вы к ним не пойдете, сэр, опять прольется кровь.

— Ваша? Очень может быть.

— Нет, сэр, и их кровь тоже. Человечество больше этого не потерпит — с гигантами будет покончено.

Редвуд обвел взглядом свой кабинет. Задержался на портрете сына. Обернулся — и встретил вопрошающий взгляд молодого человека.

— Хорошо,— сказал он наконец.— Я пойду.

IV

Встреча с Кейтэремом вышла совсем не такая, как ожидал Редвуд. Он видел великого демагога всего два раза в жизни: один раз — на банкете, второй — в кулуарах парламента — и представлял себе его больше по газетам и карикатурам: легендарный Кейтэрем, Джек потрошитель великанов, Персей и прочее. Встреча с живым человеком опрокинула это представление.

Он увидел не то лицо, что примелькалось на портретах и карикатурах, но лицо человека, измученного бессонницей и усталостью: морщинистое и осунувшееся, с желтоватыми белками глаз и обмякшим ртом. Конечно, карие глаза были те же, и те же черные волосы, и тот же четкий орлиный профиль, но было и нечто иное, отчего гнев Редвуда сразу погас, и он не разразился приготовленной речью. Этот человек страдал, жестоко страдал; в нем чувствовалось непомерное напряжение. В первую секунду он, казалось, только играл самого себя. А потом один жест, пустячное, но предательское движение — и Редвуд понял, что Кейтэрем подхлестывает себя наркотиками. Он сунул большой палец в жилетный карман и после нескольких фраз, уже не скрываясь, положил в рот маленькую таблетку.

Более того, несмотря на неестественное напряжение, сквозившее во всем его облике, несмотря на то, что он был лет на двенадцать моложе ученого и во многом перед ним неправ, Редвуд сразу почувствовал: еще и сейчас есть в Кейтэреме какая-то особая сила — личное обаяние, что ли,— которая принесла ему славу и губительную власть. Этого Редвуд тоже не предвидел.

Кейтэрем сразу взял над ним верх. Он задавал тон и направление разговору. Это произошло как-то само собой. В присутствии Кейтэрема все намерения Редвуда разлетались, как дым. Здороваясь, Кейтэрем протянул руку — и Редвуд пожал ее, а ведь он решил было отвергнуть эту фамильярность! И с первого слова Кейтэрем разговаривал так, как будто их постигла общая беда и они должны вместе найти выход.

Лишь изредка он сбивался: от усталости забывал о собеседнике, о цели этой встречи — и впадал в привычный ораторский пафос. Но тотчас, почуяв свою ошибку, весь подбирался (во время разговора оба стояли), отводил глаза и начинал вилять и оправдываться. Один раз он даже сказал: «Джентльмены!»

Начал он негромко, но постепенно фразы становились все эффектнее, и голос креп...

Минутами разговор превращался в монолог: Редвуду оставалось только слушать. Он имел честь лицезреть необычайное явление. В самом деле, кажется, перед ним существо иной породы, сладкоречивое и сладкогласное — говорит, говорит, завораживает словами... Какой могучий ум — и какой ограниченный! Какая неукротимая энергия, натиск, самоуверенность, — но и непобедимая глухота и невосприимчивость ко всему неугодному! Странный, неожиданный образ предстал перед внутренним взором Редвуда. Кейтэрем не просто противник, такой же человек, как он сам, способный отвечать за свои слова и поступки и выслушать разумные доводы,— нет, это нечто иное, какой-то невиданный носорог, да, цивилизованный носорог, порождение демократических джунглей, чудовище сокрушительное и несокрушимое. В свирепых стычках, что разыгрываются в дебрях политики на каждом шагу, ему нет равных. Ну, а дальше что? Этот человек, кажется, самой природой создан для того, чтобы пробивать себе дорогу в толпе. Для него самый тяжкий грех — противоречить себе, важнейшая из наук — примирять «интересы». Требования экономики, географические особенности страны, почти не тронутые сокровища научных методов и открытий — это для него все равно, что для его толстокожего прототипа в животном царстве — железные дороги, ружья или записки знаменитых путешественников. Он только и признает

митинги, предвыборные махинации, подтасовку и давление на избирателей — и голоса, главное, голоса! Он и есть воплощение этих голосов — миллионов голосов.

И даже в час великого кризиса, когда гиганты были отброшены, но не разбиты, он говорил, это чудовище от баллотировки.

Было совершенно ясно, что и теперь он ничего не знает и не понимает. Не знает, что есть на свете законы физики и законы экономики, количественные отношения и качественные реакции, которые нельзя опровергнуть и отменить, даже если все человечество проголосует nomine contradicente [1], и ослушаться их значит погибнуть. Не знает, что есть нравственные законы, которые невозможно подавить силой одного лишь обаяния: придавленные, они мстительно распрямляются, точно сжатая пружина, и наносят ответный удар. Да, видно, и под пулями и в день Страшного суда этот человек попытался бы спрятаться за какой-нибудь хитроумной парламентской уловкой.

И сейчас его больше всего заботили не грозные силы, что удерживали свою крепость там, на юге, не поражение и не смерть — его тревожило одно: как все это отразится на парламентском большинстве; ничего важнее этого большинства для него не существовало. Он должен победить гигантов или погибнуть! И он вовсе не отчаивался. В этот час рушились все его планы, руки обагрила кровь, он был повинен в страшном бедствии и готов вызвать бедствия еще более страшные. Грядущий мир, великий мир гигантов надвигался на него, грозил опрокинуть его и раздавить, а он все еще верил, что былое могущество можно вернуть, просто-напросто повысив голос, что надо только снова и снова разъяснять, определять, утверждать... Без сомнения, он был озадачен и растерян, этот усталый, страдающий человек, но хотел он только одного: гнуть свою линию и говорить, говорить...

Он говорил, и Редвуду казалось, что собеседник то наступает, то отступает, то делается выше ростом, то съеживается. Редвуд почти не участвовал в разговоре, ему лишь изредка удавалось вставить словечко вроде: «Все

---

[1] Единодушно выскажется против (*лат.*).

это чепуха», «Нет», «Об этом нечего и думать», «Зачем же вы начали?».

Кейтэрем, вероятно, просто не слышал. Его речь обтекала любое возражение ученого, как быстрая речка обтекает скалу. Этот поразительный человек стоял на ковре перед камином в своем министерском кабинете и говорил, говорил без передышки, убедительно, блестяще, неутомимо, словно боялся, что умолкни он хоть на миг, прерви этот поток доводов, так, а не иначе освещенных фактов, соображений, рассуждений и объяснений,— и тотчас в паузу ворвется какая-то враждебная сила, вернее — враждебный голос, ибо никакой силы и деятельности, кроме словесной, он не понимал и не признавал. Так он стоял среди слегка потускневшей роскоши министерского кабинета, в котором до него сменилось немало людей, столь же свято веривших, будто в управлении империей самое главное — вовремя вставить нужное слово.

И чем больше он говорил, тем острее чувствовал Редвуд, до чего все это бесплодно и безнадежно. Неужели этот человек не понимает, что, пока он разглагольствовал, весь мир пришел в движение, что выше и выше вздымаются волны необоримого гигантского роста человечества, что время существует не только для парламентских дебатов и, кроме пустых слов, есть другое оружие в руках мстителей за пролитую кровь! Лист гигантского плюща стучался в окно, застилал свет в кабинете, а Кейтэрем этого и не замечал.

Редвуду не терпелось прервать этот поразительный монолог, бежать отсюда в мир разума и здравого смысла, в осажденный лагерь: там оплот грядущего, зерно будущего величия, там собрались его Сыновья. Ради них он и терпел всю эту болтовню. Но нет, довольно, пусть кончится этот невероятный монолог, иначе, кажется, его унесет потоком слов... Видно, голос Кейтэрема, как наркотик,— ему надо сопротивляться, не то усыпит, околдует. Наслушаешься его — и самые простые и очевидные истины становятся неузнаваемы.

Что же он говорит?

Пожалуй, это все-таки существенно, ведь надо будет пересказать его слова Детям Пищи. И Редвуд стал слушать, стараясь, однако, не терять чувства реальности.

Говорит, как тяжко ему, что на его совести пролитая кровь. Соловьем разливается. Не обращать внимания. Дальше?

Предлагает прийти к соглашению.

Предлагает, чтобы оставшиеся в живых Дети Пищи сложили оружие, отделились и образовали особую общину. Ссылается на прецеденты.

— Мы выделим им территорию.

— Где? — прервал Редвуд, снисходя до обсуждения.

Кейтэрем ухватился за эту возможность. Он повернулся к Редвуду и, понизив голос, заговорил вкрадчиво и очень убедительно. Уточнить можно будет позже. Это вопрос второстепенный. И продолжал перечислять условия:

— Но мы сохраняем полный контроль: гиганты поселятся в одном месте, а во всем остальном мире Пища и все ее плоды будут уничтожены.

Редвуд поймал себя на том, что начинает торговаться.

— А что будет с принцессой?

— На нее это не распространяется.

— Ну нет, — ответил Редвуд, стараясь снова обрести твердую почву под ногами. — Это нелепо.

— Решим потом. Итак, поскольку мы с вами согласились, что изготовление Пищи будет прекращено...

— Я ни с чем не соглашался. Я не сказал ничего такого...

— Но мыслимо ли, чтобы на одной планете уживались два человеческих рода — гиганты и мы! Вдумайтесь в то, что уже произошло! Вдумайтесь, ведь это был лишь намек, репетиция; если дать Пище волю, нам не миновать событий несравнимо более трагических. Подумайте, сколько бедствий вы уже принесли миру! А если племя гигантов станет расти и множиться...

— Я не собираюсь с вами спорить, — прервал его Редвуд. — Мне надо идти к Детям. Я хочу видеть сына. Вот почему я здесь. Скажите мне точно, что вы предлагаете.

Кейтэрем произнес длинную речь о своих условиях.

Детям Пищи отведут большую территорию в Северной Америке или, может быть, в Африке; там, в резервации, они смогут прожить свою жизнь по-своему.

— Но это же чушь. Гиганты уже есть и за границей. Они разбросаны по всей Европе.

— Можно заключить международную конвенцию. Это не исключено. О чем-то в таком духе уже шел разговор... А в резервации они могут жить, как им нравится. Пускай делают все, что угодно, и строят все, что угодно. Мы будем только рады, если они станут работать для нас. И пусть живут в свое удовольствие. Обдумайте это!

— И все это при условии, что новых Детей Пищи не будет?

— Совершенно верно. Дети остаются нам и вырастут не больше, чем положено. Таким образом, сэр, мы спасем мир, спасем навеки от плодов вашего страшного открытия. Еще не все потеряно. Но из милосердия мы не хотим начинать с крайних мер. Сейчас мы выжигаем и обезвреживаем все места, где вчера упали бомбы. Мы можем с ними справиться. Поверьте, что можем. Но хотелось бы обойтись без насилия, без несправедливостей...

— А если Дети не согласятся?

Кейтэрем впервые взглянул Редвуду прямо в глаза.

— Должны согласиться!

— Не думаю!

— Но почему же? — спросил Кейтэрем, разыгрывая глубокое изумление.

— Ну, а если они все-таки не согласятся?

— Тогда — только война! Мы не можем допустить, чтобы это продолжалось. Не можем, сэр! Неужели вы, ученые, совсем лишены воображения? Неужели вы чужды милосердия? Мы не можем допустить, чтобы наш мир погиб под пятой племени чудовищ и чудовищных растений — всего, что плодит ваша Пища, не можем, и еще раз не можем! Чем же прекратить все это, если не войной, сэр? И запомните: то, что произошло,— лишь начало. Легкая перестрелка. Полицейская операция. Поверьте, просто полицейская операция, и ничего более. Не обольщайтесь видимым превосходством оттого, что гиганты и все гигантское крупнее и сильнее нас. За нами вся страна, все человечество. На место тысяч убитых встанут миллионы. Мы не желаем кровопролития, сэр; если бы не это, мы бы уже сейчас предприняли новые атаки. Уничтожим ли мы эту Пищу, нет ли, но ваших сыновей мы уничтожим наверняка! Вы слишком полага-

етесь на вчерашний день, на события каких-нибудь двадцати последних лет, на итог одного сражения. Вы не чувствуете, что ход истории последователен и нетороплив. Я предлагаю соглашение только потому, что не хочу лишних жертв, но все равно конец может быть только один. Если вы возомнили, будто жалкая горстка ваших гигантов устоит против наших войск и против войск всех других держав, что поспешат нам на помощь; если вы вознамерились вот так, одним махом, за одно поколение изменить человечество, переделать природу и облик человека...

Он картинно вскинул руку.

— Идите же к ним, сэр! Взгляните, как они, которые совершили столько зла, теперь притаились среди своих раненых...

Он остановился, словно взгляд его нечаянно упал на сына Редвуда.

Наступило молчание.

— Идите к ним,— повторил он.

— Только этого я и хочу.

— Так не медлите...

Он повернулся и нажал кнопку звонка; и тотчас где-то захлопали двери, раздались торопливые шаги.

Все слова были уже сказаны. Спектакль окончился. Кейтэрем сразу весь съежился, увял — очень усталый человек, невысокий, немолодой, с землистым лицом. Он шагнул вперед, словно выступил из рамы портрета, и с самым дружелюбным видом протянул Редвуду руку, ибо мы, англичане, всегда притворяемся, будто общественные и политические разногласия ничуть не мешают нам прекрасно относиться друг к другу.

И невольно, как будто так и надо, Редвуд второй раз пожал ему руку.

ГЛАВА V

ОСАЖДЕННЫЙ ЛАГЕРЬ

I

Вскоре поезд уже уносил Редвуда через Темзу на юг. В свете огней блеснула вода, все еще курился дым на северном берегу, куда попали бомбы и куда потом стя-

нули множество народу выжигать Гераклеофорбию на почве. Южный берег тонул во мраке, даже улицы почему-то не были освещены, выделялись лишь четкие контуры сигнальных вышек да темные глыбы зданий побольше; Редвуд с минуту тщетно всматривался в темноту, потом отвернулся от окна и ушел в свои мысли.

До встречи с Сыновьями больше нечего было делать и не на что смотреть...

Напряжение последних двух дней измучило его; как будто уже и не могло остаться никаких сил душевных, но чашка черного кофе перед отъездом подкрепила его, и теперь мысль работала ясно и отчетливо. Он думал о многом. В свете всего, что произошло, он снова проследил шаг за шагом, как была открыта Пища и как она распространялась по всему миру.

— Бенсингтон считал, что это будет превосходное детское питание,— прошептал он, слабо улыбаясь.

И тут же вспомнил — так живо, словно они еще не были разрешены,— какие сомнения терзали его, когда он впервые дал Пищу своему сынишке. С того часа, независимо от людей, которые пытались помешать ей или помочь, Пища твердо и неуклонно пробивала себе дорогу, пока не рассеялась по всему миру. А теперь?

— Даже если их всех перебьют,— шептал Редвуд,— дело уже сделано.

Секрет изготовления Пищи давно уже известен везде и всюду. И это дело его рук. Каков бы ни был исход сегодняшней битвы, растения, животные, подрастающие во множестве дети-гиганты потребуют своего и неизбежно принудят мир снова обратиться к Пище.

— Дело сделано,— повторил Редвуд. Но как он ни старался отвлечься, мысль упрямо возвращалась к судьбе сына и других детей. Каково-то им сейчас? Быть может, они измучены борьбой, изранены, голодают, и им не устоять? А может быть, тверды, полны надежд и готовы к еще более грозным завтрашним боям?.. Сын ранен! Но ведь он просил передать отцу...

Редвуду снова вспомнилась утренняя встреча с Кейтэремом.

Наконец поезд остановился на станции Чизлхерст, и раздумья Редвуда оборвались. Он узнал городок по огромной сигнальной вышке на вершине Кэмденского

холма и по кустам гигантского болиголова, цветущим вдоль дороги.

К нему подошел личный секретарь Кейтэрема, ехавший в соседнем купе, и сказал, что в полумиле отсюда путь поврежден и дальше придется ехать автомобилем. Редвуд вышел на платформу; здесь гулял холодный ночной ветер, было темно, только дежурный посветил им своим фонарем. И тотчас навалилась гнетущая тишина, ибо это деревянное, заросшее сорными травами предместье совсем обезлюдело: еще накануне, едва началась схватка, жители поспешили укрыться в Лондоне. Провожатый вместе с Редвудом спустился с платформы к автомобилю (кроме его сверкающих фар, вокруг не было ни огонька), препоручил ученого шоферу и распрощался.

— Надеюсь, вы сделаете для нас все, что в ваших силах,— сказал он, совершенно в духе своего шефа, пожимая Редвуду руку.

Редвуда закутали пледом, и началось ночное путешествие. Автомобиль рванулся с места и мягко, бесшумно скользнул с холма. Поворот, другой, замелькали по сторонам роскошные виллы, потом впереди легла прямая, ровная дорога. На предельной скорости автомобиль мчался сквозь ночь. Под звездным небом разлилась тьма, весь мир словно сжался в комок и бесшумно исчез. Мимо по обе стороны дороги проносились какие-то немые, неподвижные предметы; мертвенно-белые покинутые виллы с черными провалами неосвещенных окон были точно вереница черепов. Шофер, сидя рядом, не раскрывал рта — то ли всегда был не речист, то ли опасная поездка отбила охоту разговаривать. На короткие вопросы Редвуда он что-то ворчал односложно и угрюмо. Лучи прожекторов, точно взмахи неслышных рук, обшаривали южный небосклон; в этом безлюдье и запустении они одни жили какой-то своей, непонятной жизнью.

Вскоре на дороге стало еще темнее: по обе стороны ее поднялись гигантские кусты терновника, высоченные травы и мхи, настоящий лес крапивы: мелькали толстые стволы, причудливые кроны смутными силуэтами скользили в вышине. За Кестоном дорога пошла в гору, и автомобиль замедлил ход. На вершине холма он остановился. Мотор лихорадочно застучал и смолк. «Вон

там»,— сказал шофер и ткнул вперед черным бесформенным пальцем в кожаной перчатке.

Далеко-далеко (так показалось Редвуду) вздымалась в небо огромная насыпь, гребень ее венчала полоса яркого света, оттуда вырывались лучи прожекторов. Они вновь и вновь бродили над холмом, пробегали по облакам, словно подчиняясь каким-то таинственным заклинаниям.

— Уж и не знаю,— вымолвил наконец шофер, он явно боялся ехать дальше.

Внезапно луч прожектора с высоты упал на них, словно бы вздрогнул и замер, всматриваясь,— слепящий глаз, блеск которого раздробили, но не умерили два или три ствола крапивы, оказавшиеся на его пути. Редвуд, заслонив глаза рукой в перчатке, точно щитком, старался выдержать этот взгляд, шофер последовал его примеру.

— Поедемте дальше,— сказал немного погодя Редвуд.

Шофер все еще колебался; он хотел высказать свои сомнения, но только повторил: «Уж и не знаю».

Наконец он решился.

— Ну, будь что будет,— буркнул он, завел мотор, и автомобиль снова тронулся; огромный сверкающий глаз неотступно следил за ним.

Редвуду казалось, что они едут уже не по земле, а в трепетном беге прорываются сквозь светящееся облако. Автомобиль, пыхтя и урча, рвался вперед, и шофер, уж не знаю почему, должно быть, от волнения, то и дело нажимал грушу рожка.

Потом они свернули в благодатную тьму какого-то проулка между двух высоких заборов, спустились вниз, в лощину, миновали какие-то дома и опять въехали в полосу слепящего света. Дорога некоторое время бежала по открытому месту, и им снова казалось, что мотор пульсирует в пустоте без конца и края. Опять справа и слева появились высокие травы и вихрем унеслись прочь. И вдруг совсем рядом выросла фигура гиганта: ноги его сверкали в луче прожектора, голова и плечи смутно угадывались на фоне темного неба.

— Эй! — крикнул он.— Стойте! Дальше дороги нет... Это вы, папа Редвуд?

Редвуд встал и что-то крикнул в ответ, и тут отку-

да-то появился Коссар, крепко пожал ему обе руки и помог выйти из автомобиля.

— Как мой сын? — спросил Редвуд.

— Все в порядке,— ответил Коссар.— У него-то рана легкая.

— А ваши мальчики?

— Хорошо. Все целы. Но драка была жестокая.

Гигант что-то говорил шоферу. Редвуд отошел в сторону, автомобиль развернулся, и внезапно Коссар и все кругом скрылось, и он очутился в непроглядном мраке: луч прожектора провожал автомобиль до вершины Кестонского холма. Редвуд видел, как крохотная машина уносилась вдаль, окруженная белым ореолом. И странно, ему казалось, что движется не она сама, а только ореол. На мгновение луч выхватил из тьмы купу искалеченных во время перестрелки гигантских кустов бузины; они тянули иссеченные ветви, словно делали какие-то знаки... Миг, и снова их поглотила ночь... Редвуд повернулся к Коссару, которого едва мог разглядеть в темноте, и стиснул его руку.

— Меня держали взаперти,— сказал он,— целых два дня я ничего не знал...

— Мы стреляли в них Пищей,— сказал Коссар.— Само собой разумеется! Тридцать выстрелов дали. Вот как!

— Меня прислал Кейтэрем.

— Знаю.— Коссар не без горечи засмеялся.— Верно, хочет идти на мировую.

II

— Где мой сын? — спросил Редвуд.

— О нем не беспокойтесь. Гиганты хотят знать, с чем вы пришли.

— Да, но мой сын...

Они с Коссаром спустились по длинному наклонному туннелю — на секунду здесь вспыхнул красноватый свет и сразу же погас,— и вскоре очутились в убежище, построенном детьми Коссара.

Редвуду сначала показалось, что они вышли на огромную арену, окруженную очень высокими крутыми скалами и загроможденную какими-то непонятными предметами. Было темно, только мелькали отблески сторожевых

прожекторов, круживших где-то в вышине, да в дальнем углу то вспыхивал, то потухал красноватый свет: там работали два гиганта и слышался лязг металла. При новой вспышке Редвуд заметил на фоне неба знакомые силуэты мастерских и площадок для игр, которые устроил когда-то Коссар для сыновей. Теперь они словно нависали над выступом скалы, странно перекосившиеся и изувеченные артиллерией Кейтэрема. Там, наверху, смутно виднелись огромные пушки, чуть ближе громоздились штабеля мощных цилиндров,— наверно, снаряды. А внизу на этой исполинской арене теснились в беспорядке громадные машины, постройки и еще что-то бесформенное и непонятное. Среди всего этого в неверном свете то появлялись, то исчезали гиганты—огромные, могучие, под стать всему окружающему. Одни работали, другие сидели и лежали, видно, пытаясь уснуть, а совсем рядом, на грубой подстилке из сосновых веток, спал раненый, весь в повязках. Редвуд напряженно всматривался, изучая одну за другой неясные движущиеся фигуры.

— Где мой мальчик, Коссар?

И тут он увидел сына.

Сын сидел в тени, у огромной стены из стали. Лица его не было видно, и отец узнал его только по привычной позе. Он сидел, опершись подбородком на руку, усталый или погруженный в свои мысли. Возле него Редвуд увидел темный силуэт, в котором угадал принцессу, а потом снова вспыхнуло пламя в дальнем углу, где шла работа, и на мгновенье в алом отблеске показалось нежное лицо с выражением бесконечной доброты. Она стояла, опершись рукой о стальную стену, и смотрела на своего возлюбленного. Кажется, она что-то ему шептала.

Редвуд шагнул было к ним.

— Это после,— сказал Коссар.— Сперва расскажите, с чем вы пришли.

— Да, но...— начал Редвуд. И умолк.

Сын поднял голову и что-то говорил принцессе, но так тихо, что слов отец не разобрал. Лицо его было обращено к ней, а она наклонилась, но, прежде чем ответить, на миг отвела глаза.

— Но если мы разбиты...— донесся шепот молодого Редвуда.

Девушка промолчала, и при новой красной вспышке блеснули ее глаза, полные непролитых слез. Она наклонилась ниже и заговорила еще тише. И, глядя на них, слушая их шепот, Редвуд-старший понял: они слишком поглощены друг другом... и он, который два долгих дня думал только о сыне, внезапно почувствовал себя лишним. Его словно вдруг остановили на бегу. И, может быть, впервые в жизни он понял: сын значит для отца несравнимо больше, чем отец — для сына, будущее неизмеримо важнее прошлого. Возле этих двоих ему делать нечего. Он уже сыграл свою роль. Внезапно поняв все это, он повернулся к Коссару. Глаза их встретились. И когда Редвуд заговорил, голос его звучал по-новому — хмуро и решительно.

— Сейчас я передам, что мне поручено,— сказал он.— А уж потом... С этим можно не спешить.

Котлован был настолько огромен и загроможден, что пришлось долго кружить и петлять, пока они добрались до места, откуда Редвуда могли слышать все сразу.

Крутой спуск под аркой из каких-то сцепленных друг с другом машин привел их с Коссаром в глубокую и широкую траншею, которая пересекала дно котлована. Обширная и пустая, она была сравнительно узка для великанов, но, как и все остальные предметы и постройки, заставила Редвуда еще острее ощутить, до чего он мал. Он шел словно по ущелью, но созданному не природой, а разумной силой. Высоко над головой, отделенные от него темными отвесными склонами насыпи, кружили и сияли лучи прожекторов и двигались, сверкая в лучах, гиганты. Перекликались гулкие голоса, Братья звали друг друга на военный совет — выслушать условия Кейтэрема. Траншея вела куда-то еще ниже, в черную пустоту, где скрывались тайны, густые тени, невообразимые и неразличимые предметы; и Редвуд шел медленно, недоверчиво, а Коссар шагал спокойно и уверенно...

Мысль Редвуда лихорадочно работала.

Потом они вступили в такую темень, что Коссар взял спутника за руку. Теперь они поневоле двигались еле-еле.

Редвуд не мог больше молчать.

— Все это так странно,— сказал он.

— Огромно,— поправил Коссар.

— Нет, странно. И странно, что это кажется странным мне... ведь в некотором смысле я сам положил этому начало. Это...

Он остановился, пытаясь найти ускользавшее слово, и жестом, невидимым в темноте, указал на насыпь.

— Раньше я об этом не думал. Я делал свое дело, а годы шли. Но здесь я вижу... Это — новое поколение людей, Коссар, у них другие чувства, другие запросы. Все это...

Теперь Коссар разглядел, что он обводит рукой все вокруг.

— Это Юность мира.

Коссар не ответил, тяжело, вперевалку он шел вперед.

— Это уже не наша Юность, Коссар. Они продолжают то, что мы начали. Но у них свои чувства, свой опыт и своя дорога. Мы создали новый мир, но он не принадлежит нам. Он даже какой-то чужой. Эта огромная крепость...

— Ее строили по моему проекту,— сдержанно заметил Коссар.

— Ну, а теперь?

— Что ж! Я отдал ее Сыновьям.

Редвуд не увидел, скорее ощутил широкий взмах его руки.

— В том-то и дело. С нами покончено или почти покончено.

— А ваша миссия! — напомнил Коссар.

— Конечно. Но потом...

— С нами покончено.

— Вот видите. Значит...

— Ну, конечно, мы вышли из игры, мы — два старика! — В голосе Коссара прорвалось хорошо знакомое Редвуду яростное нетерпение.— Конечно, так. Само собой разумеется. Всякому овощу свое время. А сейчас пришло *их* время. Так и должно быть. Мы расчистили для них почву. Сделали свое дело и уходим. Понятно? Для этого и существует смерть. Наш маленький мозг и маленькие чувства исчерпываются, и тогда молодые начинают все снова. Снова и снова! Это очень просто. Чего ж тут огорчаться?

Он перевел дух и помог Редвуду подняться по каким-то ступенькам.

— Да,— начал Редвуд,— но когда чувствуешь...

И не договорил.

— Для того и существует смерть,— настойчиво повторил, поднимаясь следом, Коссар.— Как же иначе? Тогда бы все остановилось! Нет, для того и существует смерть.

III

После бесчисленных поворотов и подъемов они наконец вышли на выступающую площадку, отсюда был виден почти весь котлован, и отсюда Редвуда могли услышать все гиганты. Они уже собрались вокруг, кто внизу, кто над ним, и ждали. Старший сын Коссара стоял наверху, на насыпи, при свете прожекторов зорко оглядывая все окрест: противник мог и нарушить перемирие. Тех, кто работал у огромного механизма в углу, опять и опять озаряли красноватые вспышки. Оба были почти нагие; они тоже смотрели на Редвуда, но все время следили и за литьем, которое не могли оставить ни на минуту. Даже они, стоявшие к нему ближе других, казались неясными в переменчивых отсветах, а уж остальных Редвуд совсем не мог разглядеть. Они появлялись и вновь тонули в бездонной тьме. Ибо гиганты старались жечь в котловане как можно меньше света, чтоб легче заметить врага, если он внезапно нападет, подкравшись во мраке.

Время от времени случайная вспышка выхватывала из темноты то одну, то другую группу гигантов — могучие тела тех, кто вырос в Сандерленде, облегала одежда из плотно пригнанных металлических пластинок, на других одежда была кожаная или сотканная из веревок или из тонкой проволоки, смотря по тому, где они жили и чем занимались. Они сидели и стояли среди машин и орудий таких же мощных, как и они сами; их руки покоились на этих орудиях, и когда свет падал на их лица, видно было, что у всех твердый, решительный взгляд.

Редвуд хотел заговорить — и не мог. И тут горячий отблеск огня на мгновенье озарил лицо его сына... обращенное к нему лицо сына, и в лице этом такая нежность и такая сила... и тогда отец обрел голос. Стоя над пропастью, он сказал словно бы сыну — и его услышали все:

— Я пришел от Кейтэрема. Он послал меня сообщить вам его условия.

Редвуд-старший чуть помолчал.

— Теперь, когда я вижу вас здесь, всех вместе, я понимаю — это неприемлемые условия; они не приемлемы, но я их принес, потому что хотел видеть всех вас... и моего сына. Я хотел... еще раз увидеть сына...

— Скажите им условия,— напомнил Коссар.

— Вот что предлагает Кейтэрем. Он хочет, чтобы вы ушли отсюда, покинули мир маленьких людей.

— Куда уйти?

— Он сам толком не знает. В каком-нибудь уголке земного шара выделят достаточно места... И вам больше нельзя изготовлять Пищу и нельзя иметь детей. Вы можете прожить свою жизнь по-своему, но больше гигантов не будет.

Он замолчал.

— Это все?

— Да, все.

И стало тихо. Словно сама темнота, окутавшая гигантов, задумчиво глядела на Редвуда.

Кто-то тронул его за локоть, это Коссар предложил ему стул — смешной, точно игрушечный среди всех этих громад. Редвуд сел, скрестил ноги, потом от волнения задрал одну ногу на колено другой и стиснул руками собственный башмак; он чувствовал себя таким маленьким, неловким, нелепо выставленным напоказ.

Потом раздался глубокий голос, и он опять забыл о себе.

— Вы слышали, Братья? — спросил кто-то из темноты.

И другой голос отозвался:

— Слышали.

— Что же мы ответим?

— Кейтэрему?

— Ответим: нет!

— А что дальше?

Несколько секунд длилось молчание.

Потом еще один голос сказал:

— Эти люди правы. По-своему, конечно. Они были правы, истребляя все, что вырастало больше обычного: зверей, и растения, и все остальное. Они были правы, когда пытались перебить нас. И правы теперь, когда требуют, чтобы мы не заключали браков между собой. По-

своему они правы. Они понимают — пора и нам понять,— что в мире не могут одновре́менно существовать великаны и карлики. Кейтэрем давно уже твердит ясно и недвусмысленно: или мы, или они.

— Но нас осталось меньше полусотни, а их — миллионы и миллионы.

— Возможно. Но я сказал то, что есть.

И опять долгая тишина.

— Значит, мы должны умереть?

— Избави бог!

— Значит, они?

— Тоже нет.

— Но ведь это и говорит Кейтэрем! Он хочет, чтобы мы прожили свой век и вымерли один за другим; под конец останется кто-то один, он тоже умрет, а они вырубят все гигантские растения, полезные и вредные, без разбору, уничтожат весь гигантский животный мир, выжгут малейшие следы Пищи... навсегда покончат и с нами и с Пищей. Тогда пигмеям станет легко и привольно. Их пигмейскому мирку нечего будет опасаться. Они преспокойно будут жить карликовой жизнью, творить карликовое добро и карликовое зло, пожалуй, даже устроят на земле свой пигмейский рай: прекратят войны, покончат с чрезмерной рождаемостью, весь мир превратят в один большой город и станут заниматься карликовым искусством и восхвалять друг друга, пока солнце не начнет остывать и шар земной не покроется льдами...

В углу с громом упал лист железа.

— Братья, мы знаем, что делать.

В отсветах прожекторов Редвуд видел, как молодые серьезные лица повернулись к его сыну.

— Сейчас очень легко производить Пищу. Мы можем наготовить столько, что хватит на весь мир.

— Ты думаешь, Брат Редвуд,— спросил из темноты чей-то голос,— что их надо заставить есть Пищу?

— А что еще нам остается?

— Не забудь, нас всего полсотни, а их миллионы.

— Но мы держимся.

— Пока.

— Бог даст, продержимся и дальше.

— Да. Но не забудь, многие погибнут!

Тут вмешался еще голос:

— Да, погибнут. Но не забывайте о тех, кто еще не родился...

— Братья,— снова заговорил Редвуд-младший,— что нам еще остается? Только воевать! И если победим — заставим их принять Пищу. У них тоже другого выхода нет. Допустим, мы откажемся от всего, что нам дано, и согласимся на эти безумные условия. Допустим! Допустим, мы задушим в груди то великое, что нами движет, откажемся от всего, что дали нам отцы,— что сделал для нас ты, отец,— и когда настанет час, умрем, исчезнем, так ничего и не совершив. Ну, а дальше что? Разве мир пигмеев останется таким, как прежде? Они могут бороться с величием в нас — мы гиганты, но рождены людьми. Но разве они могут победить? Даже если они уничтожат нас всех до единого, что дальше? Спасет ли это их? Никогда! Ибо величие не только в нас, не только в Пище, но и в сущности всех вещей! Оно заключено в природе сущего; оно — часть пространства и времени. Расти, всегда расти, с первого и до последнего часа — таково Бытие, таков закон жизни. Иного закона нет!

— А помогать другим?

— Помогать расти, идти вперед. Это значит, мы и сами растем. Если мы не помогаем им остаться ничтожествами...

— Они будут драться не на жизнь, а на смерть,— сказал кто-то.

— Ну и что же? — возразил другой.

— Да, они будут драться,— сказал Редвуд-младший.— Если мы откажемся принять их условия, они наверняка будут воевать. Я даже надеюсь, что они начнут воевать открыто. Когда после всего, что было, они предлагают мир, это значит только одно: они хотят захватить нас врасплох. Не надо обманывать себя: так или иначе, но они будут драться. Война началась, и мы должны биться до конца. Так будем же осмотрительны, не то окажется, что мы только затем и жили, чтобы выковать оружие, которое обратилось против нас и наших детей, против всех гигантов. Борьба только еще начинается. Вся наша жизнь станет борьбой. Одни будут убиты, другие попадут в плен. Легкой победы быть не может, в любом случае победа нам дорого обойдется. Это бесспорно. Ну и что же? Главное, сохранить какой-то плац-

дарм, оставить после себя воинство, которое станет множиться и продолжать борьбу, когда мы погибнем!

— Что же будет завтра?

— Начнем рассеивать Пищу, засыплем ею весь мир.

— А если они согласятся принять наши условия?

— Наше условие — Пища. Гигантам и пигмеям не ужиться в мире и согласии. Или мы — или они. Ни один отец не вправе сказать: пусть мой сын знает только тот свет, что светил мне, пусть ни в чем не смеет перерасти меня. Согласны вы со мной, Братья?

В ответ послышался гул одобрения.

— Этого никто не вправе сказать не только будущим мужчинам, но и будущим женщинам,— донеслось из темноты.— Женщинам тем более не вправе: они будущие матери нового человечества...

— Но ведь в следующем поколении еще останутся большие и маленькие,— сказал Редвуд-отец, глядя в лицо сыну.

— Во многих поколениях. И маленькие будут мешать большим, а большие — теснить маленьких. Это неизбежно, отец.

— Значит, будет продолжаться борьба.

— Бесконечная борьба. Бесконечные раздоры. Такова жизнь. Великое и малое не могут найти общий язык. Но в каждом вновь родившемся человеке дремлет зерно величия, дремлет — и дожидается Пищи.

— Значит, я должен возвратиться к Кейтэрему и сказать ему...

— Ты останешься с нами, отец. На рассвете Кейтэрем узнает наш ответ.

— Он сказал, что пойдет на вас войной...

— Да будет так,—ответил Редвуд-младший, и Братья с ним согласились.

— Железо остывает! — крикнул кто-то.

Два кузнеца в углу мерно застучали молотами, и этот железный гром могучей мелодией поднялся над лагерем гигантов. Раскаленный металл светился еще ярче прежнего, и Редвуд-старший мог теперь лучше рассмотреть все вокруг. Овальный котлован был виден как на ладони, огромные орудия и машины насторожились, готовые к бою. Поодаль и выше стоял дом Коссаров. Вокруг Редвуда молодые исполины, огромные и прекрасные в своих

сверкающих кольчугах, готовились к завтрашней битве. Глядя на них, Редвуд воспрянул духом. Какая спокойная сила! При огромном росте — какая стройность и изящество! Какие уверенные движения! И здесь же его сын и принцесса, первая женщина среди гигантов...

И вдруг — поразительнейший контраст! — ему вспомнился Бенсингтон: вот он перед глазами, крохотная отчетливая фигурка — стоит посреди своей благопристойной и скучной комнаты, погрузив пальцы в пух на груди первого гигантского цыпленка, и растерянно смотрит поверх очков на дверь, которую только что с грохотом захлопнула за собою кузина Джейн...

Это было только вчера, всего лишь двадцать один год прошел.

Внезапно странное сомнение овладело Редвудом: что, если эта крепость и все это величие — только сон! Вот сейчас он проснется у себя в кабинете — узник в той же тюрьме, гиганты убиты, Пища уничтожена. Да ведь и вся жизнь — тюрьма, и человек — вечный узник! Сон достиг зенита, и сейчас настанет конец. Он проснется от шума сражения, среди потоков крови, и увидит, что его Пища — глупейшая фантазия, а все его надежды, вся вера в великое завтра мира — лишь тоненькая радужная пленка на бездонном гнилом омуте. Пигмеи непобедимы!..

Отчаянье, предчувствие неминуемой катастрофы нахлынуло на него с такой силой, что он вскочил. Он стоял, прижав к глазам стиснутые кулаки, оцепенев от страха: вот сейчас откроет глаза, а сновидение уже рассеялось...

Перекликались гиганты, голоса их вторили могучей песне металла. И волна сомнений пошла на убыль. Вокруг по-прежнему слышны могучие голоса, шаги. Это не сон, это все живое, несомненное, такое же подлинное, как злобные действия врагов! И даже более подлинно, ибо великому принадлежит будущее, а ничтожество, звериная жестокость и человеческие слабости обречены на гибель. Редвуд открыл глаза.

— Кончили! — крикнул один из кузнецов, и они опустили молоты.

В вышине раздался голос. Это говорил сын Коссара — стоя на гребне крепостного вала, он обращался ко всем гигантам:

— Всего лишь на одну ступень поднялись мы над ничтожеством пигмеев, и не для того мы хотим изгнать их из этого мира, чтобы завладеть им навечно. Мы боремся не за себя, а за эту новую ступень... Для чего мы живем, Братья? Чтобы служить высокой цели и осуществить великий замысел, нам предначертанный. Мы боремся не ради себя, ибо мы — лишь глаза и рабочие руки Жизни: она вечна, мы же служим ей лишь краткий срок. Так учил нас ты, папа Редвуд. Воплощенный в нас, как прежде в пигмеях, идет вперед, видит и познает новое Дух Человеческий. А мы в словах, делах и в детях своих передадим его людям еще более совершенным. Земля — не место отдыха и не площадка для игр, иначе у нас было бы не больше права на жизнь, чем у пигмеев, а тогда отчего же и не сдаться? Они бы спокойно перерезали нас, а потом и сами без боя уступили бы место муравьям и всякой нечисти. Нет, мы бьемся не ради себя, но ради роста, ради движения вперед, а оно — вечно. И завтра, живые или мертвые, мы все равно победим, ибо через нас совершается движение вперед и выше. Таков закон развития духа на веки веков. Вперед и выше, ибо так мы созданы богом! Выбраться из этих ям и щелей, из тьмы и сумрака, вступить в мир величия и света! Вперед, Братья, вперед! — говорил он, и голос его звучал гордо и торжественно.— Всегда вперед, к истинному величию! Расти, подняться наконец до всеобщего братства и постичь бога... Расти... Пока самая земля наша не станет всего лишь ступенькой... Пока человеческий дух не станет бесстрашен до конца и не овладеет всей вселенной!..— Взмахом руки он обвел небосвод.

И умолк. Ослепительный луч прожектора на миг озарил исполина, его руку, воздетую к небесам.

Мгновенье он весь сверкал в этом луче, бесстрашно глядя вверх, в звездные бездны,— молодой, сильный, закованный в сталь, воплощение решимости и спокойствия. Потом луч скользнул дальше, и в ночи лишь могучий темный силуэт грозил небесной тверди и неисчислимым звездным мирам.

1904.

Рассказы

ПРЕПАРАТ ПОД МИКРОСКОПОМ

За окнами лаборатории висела влажная белесая пелена тумана, а внутри было жарко натоплено, и расставленные по концам длинных узких столов газовые лампы с зелеными абажурами заливали комнату желтым светом. На столах красовались стеклянные банки с останками искромсанных раков, моллюсков, лягушек и морских свинок, на которых практиковались студенты; вдоль стены против окон тянулись полки с обесцвеченными заспиртованными препаратами; над ними висел ряд превосходно исполненных анатомических рисунков в светлых деревянных рамах, а под ними кубиками выстроились в ряд шкафчики. Все двери лаборатории были выкрашены в черный цвет и служили классными досками; на них виднелись оставшиеся со вчерашнего дня полустертые чертежи и диаграммы. В лаборатории было пусто — если не считать демонстратора, который сидел за микротомом [1] у дверей препараторской,— и тихо, если не считать негромкого ритмичного постукивания и щелканья микротома. Однако разбросанные вокруг вещи говорили о том, что здесь только что побывали студенты: повсюду лежали портфели, блестящие футляры с инструментами, на одном столе большая таблица, прикрытая газетой, на другом — изящно переплетенный экземпляр «Вестей ниоткуда», книги, которая совершенно не вязалась с окружающей обстановкой. Все это в спешке оставили студенты, когда, заглянув на минутку в лаборато-

[1] Микротом — прибор для получения срезов тканей животных и растений.

рию, они бросились в соседний лекционный зал занимать места. Оттуда, из-за плотно притворенных дверей, едва доносился монотонный голос профессора.

Сквозь закрытые окна послышался приглушенный бой башенных часов: одиннадцать. Щелканье микротома стихло; демонстратор посмотрел на часы, встал, заложил руки в карманы и не спеша пошел к дверям лекционного зала. Здесь он на мгновение остановился, прислушался, и тут взгляд его упал на томик Уильяма Морриса. Он взял книгу, посмотрел на заголовок, усмехнулся, раскрыл ее, прочел имя владельца на титульном листе, полистал и положил на место. Почти в ту же минуту мерное бормотание лектора вдруг прекратилось, из лекционного зала послышался стук карандашей, брошенных на пюпитры, шарканье ног и разноголосый гул. Затем чьи-то уверенные шаги приблизились к двери, она слегка приоткрылась, да так и осталась: по-видимому, какой-то вопрос задержал того, кто хотел войти.

Демонстратор повернулся, медленно прошел мимо микротома и скрылся в дверях препараторской. Тем временем из лекционного зала с тетрадями в руках начали выходить студенты. Некоторые сразу прошли к своим столикам, а несколько человек собрались в кучку у самой двери. Это была чрезвычайно разношерстная публика, так как, пока Оксфорд и Кембридж упорно противились робким предложениям допустить в их стены представителей низших классов, Колледж оф Сайенс успел на много лет опередить Америку и в социальном отношении представлял собой весьма пеструю картину; кроме того, колледж пользовался большой популярностью и, раздавая стипендии еще более щедро, чем шотландские университеты, широко открывал свои двери студентам всех возрастов и состояний.

На этом курсе был двадцать один студент, но многие задержались в лекционном зале, чтобы задать вопросы профессору, срисовать с доски диаграммы, пока их не стерли, или получше рассмотреть препараты, которые демонстрировались на лекции. В числе девяти человек, вошедших в лабораторию, были три девушки; одна из них, миловидная, хрупкая блондинка в очках, одетая в зеленовато-серое платье, остановилась у окна, всматриваясь в туман, а остальные две, здоровые, некрасивые девицы,

развернули и надели коричневые полотняные передники, в которых они обычно препарировали. Двое мужчин также прошли к своим местам — бледный чернобородый человек, бывший портной, и красивый, румяный юноша лет двадцати, в хорошо сшитом коричневом костюме — молодой Уэддерберн, сын известного окулиста Уэддерберна. Остальные столпились у дверей лекционного зала: крошечный горбун в очках уселся на гнутый деревянный табурет, двое других — невысокий молодой брюнет и светловолосый юноша с красным лицом — прислонились к фаянсовой раковине, а четвертый остановился против них; он-то и говорил больше всех.

Фамилия его была Хилл. Это был крепко сколоченный двадцатилетний парень с бледным лицом, темно-серыми глазами, волосами неопределенного цвета и с крупными неправильными чертами лица. Он глубоко засунул руки в карманы и разговаривал слишком громко. Воротничок у него был обтрепан и плохо накрахмален, костюм явно куплен в магазине готового платья, а на одном башмаке сбоку, у самого носка, красовалась заплата. Разговаривая и слушая собеседников, он непрестанно оглядывался на дверь лекционного зала. Они обсуждали неутешительный вывод только что прослушанной лекции, завершающей курс «Введение в зоологию». «Выйти из яйца, чтобы создать яйцо,— вот единственный смысл существования высших позвоночных»,— меланхолически закончил лектор, изящно закруглив, таким образом, свой беглый очерк сравнительной анатомии. Горбун в очках с шумным восхищением повторил эти слова, адресуясь к светловолосому студенту и подстрекая его начать одну из тех бестолковых, расплывчатых и всеобъемлющих дискуссий, которые почему-то так милы сердцу всякого студента.

— Быть может, таково и наше предназначение,— ответил светловолосый, принимая вызов.— С точки зрения науки. Но ведь есть нечто превыше ее.

— Наука — это знание, приведенное в систему,— безапелляционно сказал Хилл.— Идеи, которым нет места в системе, никому не нужны.— Он сам не понимал, дельная это мысль или глупость, пока не убедился, что слушатели приняли его слова всерьез.

— Никак не возьму в толк,— сказал горбун, обращаясь ко всем сразу,— каковы взгляды Хилла: материалист он или нет.

— Превыше материи есть только одно,— не задумываясь, ответил Хилл, уверенный, что на этот раз попадет в точку; кроме того, он чувствовал, что в дверях, за его спиной, кто-то стоит, и слегка повысил голос, чтобы вошедшая студентка его услышала.— И это одно — иллюзия, будто существует нечто превыше материи.

— Наконец-то вы обнародовали свое кредо,— сказал светловолосый.— Стало быть, это просто иллюзия? Все наши старания жить по-человечески, а не по-собачьи, все наши труды и поиски высшего начала — все ни к чему? До чего же вы, однако, непоследовательны! Взять хоть этот ваш социализм. Почему вас так волнуют судьбы человечества? Что вам за дело до нищих на улице? Зачем вы подсовываете эту книжонку,— он указал кивком головы на Уильяма Морриса,— всем и каждому у нас в лаборатории?

— Девушка,— шепнул горбун, смущенно оглядываясь.

Темноглазая девушка в темном платье вошла в лабораторию со свернутым передником в руке и остановилась по другую сторону стола, наблюдая через плечо за собеседниками и прислушиваясь к спору. Не обращая внимания на горбуна, она переводила взгляд с Хилла на его собеседника. Хилл постарался сделать вид, что не замечает ее, и выдал себя только тем, что подчеркнуто не обращал на нее внимания; впрочем, она сразу поняла его игру, и это было ей приятно.

— Не понимаю,—сказал Хилл,—почему человек должен жить, как свинья? Только потому, что ему не дано прожить больше ста лет и он не знает, есть ли на свете что-нибудь выше материи.

— А почему бы и нет? — спросил светловолосый.

— А почему да? — сказал Хилл.

— Какая ему выгода, если он не будет свиньей?

— Вот все вы, религиозные люди, таковы. Вам обязательно подавай выгоду. Разве нельзя добиваться справедливости ради справедливости?

Они замолчали. Потом светловолосый нерешительно ответил, явно стараясь выиграть время:

— Ну, видите ли... выгода... когда я говорю о выгоде...

Но тут горбун пришел ему на выручку, задав Хиллу вопрос. Он был совершенно невыносим в спорах, так как вечно приставал с вопросами, которые всякий раз сводились к требованию всему дать определение.

— А как вы определяете справедливость? — спросил он на этот раз.

Хилл вышел было из себя, но тут, как по заказу, подоспела помощь в лице демонстратора Брукса, который притащил из препараторской несколько только что убитых морских свинок, держа их за задние лапки.

— Вот и последняя порция материала в этом семестре,— сказал юноша, который до сих пор молчал.

Брукс обошел лабораторию, швыряя по паре свинок на каждый стол. Остальные студенты, издали учуяв поживу, повалили из лекционного зала, толкаясь в дверях. Спор сразу прекратился, так как каждый старался первым добраться до своего стола, чтобы выбрать тушку получше. Зазвякали ключи, из шкафчиков появились инструменты для препарирования. Хилл уже стоял у своего стола; из кармана у него торчал футляр с набором скальпелей. Девушка в темном подошла ближе и, перегнувшись через стол, мягко сказала:

— Я вернула вашу книгу, мистер Хилл. Вы видели?

Хилл с самого начала отлично знал, что девушка тут, и видел книгу; тем не менее он сделал неуклюжую попытку притвориться, что заметил ее только теперь.

— Ах, да,— сказал он, взяв книгу со стола.— Вижу. Вам понравилось?

— Мне хотелось бы как-нибудь поговорить с вами о ней.

— Разумеется,— сказал Хилл.— С удовольствием.— Он смущенно запнулся.— Вам понравилась книга?

— Книга удивительная. Только я не все поняла.

Вдруг послышалось нечто вроде ослиного рева, и студенты притихли. Это подал голос демонстратор. Он стоял у доски, собираясь приступить к обычным объяснениям, и, чтобы водворить тишину, по своему обыкновению, не то гудел, как труба, не то громко откашливался. Девушка в темном проскользнула между столами к

своему месту, прямо перед местом Хилла, а Хилл, сразу же забыв о ней, достал из ящика записную книжку, торопливо перелистал ее, извлек из кармана огрызок карандаша и приготовился делать подробные заметки во время предстоящей демонстрации. Ибо демонстрации и лекции — это библия студента. Что же касается книг, то, если не считать трудов вашего профессора, можно — и даже рекомендуется — обходиться без них.

Хилл был сыном лендпортского сапожника, и ему посчастливилось получить государственную стипендию, случайно попавшую в распоряжение Лендпортского технического колледжа. Теперь он жил в Лондоне на двадцать один шиллинг в неделю и находил, что при должной бережливости этой суммы хватает не только на пропитание, но и на одежду (то есть изредка на целлулоидный воротничок), на чернила, иголки, нитки и тому подобные мелочи, необходимые городскому жителю. Он учился в Лондоне первый год и готовился к первой экзаменационной сессии, но его отец, старик с землистым лицом, так хвастался своим «сыном-профессором», что успел до смерти надоесть завсегдатаям всех лендпортских пивных. Хилл был энергичный юноша, исполненный невозмутимого презрения к духовенству всех сект и вероисповеданий, а также благородного стремления переделать мир. Он был уверен, что стипендия откроет перед ним блестящие перспективы. В семь лет он научился читать и с тех пор неутомимо читал без разбора все, что попадалось под руку. Его жизненный опыт не выходил за пределы острова Портси и был приобретен главным образом в оптовом обувном складе, где он некоторое время работал после окончания семи классов городской школы. Несомненные ораторские способности Хилла получили полное признание в студенческом дискуссионном клубе, собрания которого происходили в металлургической аудитории первого этажа, среди дробильных машин и макетов рудников; когда он брал слово, аудитория неизменно встречала его оглушительным грохотом пюпитров. Он был как раз в том возрасте, когда люди особенно впечатлительны, когда жизнь расстилается у их ног, точно просторная долина в конце узкого ущелья, долина, пол-

ная удивительных открытий и волнующих подвигов. К тому же он понятия не имел о собственной ограниченности и считал, что ему не хватает лишь знания французского языка и латыни.

Сперва его интересы распределились поровну между занятиями биологией в колледже и социальными и богословскими проблемами, к которым он относился с величайшей серьезностью. По вечерам, после закрытия библиотеки большого музея, он возвращался в Челси, садился на кровать в своей каморке и, накинув пальто и намотав на шею шарф, переписывал конспекты лекций или изучал протоколы вскрытий; потом Торп вызывал его свистком (к жильцам мансарды хозяйка посетителей не пускала), и они шли бродить по мокрым, блестящим под лучами газовых фонарей улицам и вели беседы в описанном выше духе: о существовании бога, о справедливости, о Карлейле и о преобразовании общества. В пылу спора Хилл обращался не только к Торпу, но и к случайным прохожим и порой терял нить аргументов, заглядевшись на хорошенькое, накрашенное личико и поймав на лету многозначительный взгляд.

Наука и Справедливость! Впрочем, не так давно в его жизни появился третий интерес, и он сам стал замечать, что мысль его то и дело перескакивает с судьбы мезобластических сомитов и возможных объяснений бластопоры[1] к темноглазой девушке, сидевшей в лаборатории впереди него.

Она в отличие от него платила за обучение; чтобы поговорить с Хиллом, ей приходилось снисходить до него, спускаться с невообразимых социальных высот. У Хилла душа уходила в пятки при мысли о воспитании, которое она, вероятно, получила, и об изысканности ее манер. Сперва она обратилась к нему по поводу каких-то неясностей в строении черепной коробки кролика, и тут он обнаружил, что, по крайней мере когда дело касается биологии, ему не приходится краснеть. Потом они, как и все молодые люди, которым нужен только первый

---

[1] Бластопора — отверстие у зародыша животного организма, посредством которого его полость сообщается с окружающей средой.

толчок, перешли к общим темам, и пока Хилл донимал ее своими социалистическими идеями (какой-то инстинкт удержал его от прямых нападок на религию), она собиралась с силами, чтобы взяться за его эстетическое воспитание, как она это про себя называла. Она была годом или двумя старше его, что, впрочем, никогда не приходило ему в голову.

«Вести ниоткуда» послужили началом взаимного обмена книгами. У Хилла был нелепый принцип «не тратить времени» на стихи; с ее точки зрения, это было ужасным недостатком. Как-то в перерыве между лекциями ей случилось встретиться с ним с глазу на глаз в маленьком анатомическом музее, где рядами стояли скелеты; он был один и стыдливо ел в сторонке булочку — свой обычный завтрак. Мисс Хейсман ушла, но тотчас же вернулась и с несколько таинственным видом подала ему томик Браунинга. Стоя к ней боком, он неуклюже взял книгу левой рукой, так как правая была занята булкой. Впоследствии он вспоминал, что слова его при этом прозвучали не очень внятно и не так непринужденно, как ему хотелось бы.

Это случилось после экзамена по сравнительной анатомии, накануне того дня, когда служащие наглухо заперли двери колледжа, а студенты разъехались на рождественские каникулы. Зубрежка и возбуждение перед первым испытанием временно оттеснили на задний план все остальные интересы Хилла. Как и другие студенты, он строил догадки о результатах экзаменов и с удивлением заметил, что никто не считает его возможным претендентом на Гарвеевскую юбилейную медаль[1], присуждение которой определялось исходом этого и еще двух экзаменов. Примерно в это же время Хилл начал замечать, что Уэддерберн, на которого он до тех пор почти не обращал внимания, становится его соперником. За три недели до экзаменов Хилл и Торп по обоюдному согласию прекратили ночные прогулки, а квартирная хозяйка объявила Хиллу, что за обычную плату она не в состоянии доставлять ему такую уйму керосина. После занятий в колледже он бродил по улицам, вооружившись узень-

---

[1] Гарвеевская медаль — учреждена в честь Гарвея Уильяма (1578—1657), основоположника научной физиологии.

кими листками бумаги, на которых были перечислены органы раков, черепные кости кроликов, вертебральные нервы и прочее, и зубрил все это до тех пор, пока не стал в конце концов настоящим бедствием для встречных прохожих.

Потом наступила естественная реакция, и его рождественские каникулы были целиком заполнены стихами и темноглазой девушкой. Еще необъявленные результаты экзамена настолько отошли на задний план, что Хилл просто не понимал отцовского волнения. Все равно учебника сравнительной анатомии в Лендпорте не было, а покупать книги Хилл по бедности не мог. Зато в библиотеке был неисчерпаемый запас стихов, и он с жадностью на них накинулся. Он растворился в убаюкивающих строфах Лонгфелло и Теннисона, почерпнул твердость в Шекспире, нашел родственную душу в Попе и учителя в Шелли и не поддался завлекающим голосам таких сирен, как Элиза Кук и миссис Хименс [1]. Только Браунинга он больше не читал, так как надеялся получить остальные томики в Лондоне у мисс Хейсмен.

Возвращаясь в колледж после каникул, он нес первый томик в своем лоснящемся черном портфеле, а ум его был занят множеством весьма тонких мыслей и соображений о поэзии вообще. Разумеется, он сразу же сочинил на эту тему небольшую речь, а потом и еще одну, поменьше, чтобы украсить церемонию возвращения книги ее владелице. Утро выдалось редкостное для Лондона: было морозно и ясно, легкая дымка смягчала контуры предметов, с безоблачного голубого неба лились теплые лучи солнца; пробиваясь между громадами домов, они одели в янтарь и золото солнечную сторону улицы. В холле колледжа Хилл снял перчатки и расписался, но пальцы его так окоченели, что характерный росчерк, который он себе выработал, превратился в какие-то зигзаги. Образ мисс Хейсмен не покидал его ни на минуту. На площадке лестницы он увидал толпу у доски объявлений. Может быть, это список биологов? Мгновенно позабыв о Браунинге и о мисс Хейсмен, Хилл устремился в самую гущу.

---

[1] К у к, Э л и з а (1818—1889) — английская писательница, издатель журнала для семейного чтения

Х и м е н с (1793—1835) — английская поэтесса, автор чувствительных стихов

Он кое-как протолкался к списку и, прижавшись щекой к рукаву человека, который стоял ступенькой выше, прочел:

РАЗРЯД I

Х. Дж. Сомерс Уэддерберн

Уильям Хилл

а дальше следовал второй разряд, который нас сейчас не интересует. Примечательно, что он даже не потрудился разыскать имя Торпа в списках физического отделения, а сразу же выбрался из давки и стал подниматься по лестнице со странным смешанным чувством презрения к остальному второразрядному человечеству и острой досады на Уэддерберна. Наверху, в коридоре, когда он вешал пальто, демонстратор зоологического кабинета, недавно окончивший Оксфорд и в душе считавший Хилла крикуном и «зубрилой», каких свет не видывал, обратился к нему с самыми сердечными поздравлениями.

Остановившись на минуту у дверей, чтобы перевести дыхание, Хилл вошел в лабораторию. Окинув комнату взглядом, он увидел, что все пять студенток уже сидят на своих местах, а Уэддерберн — еще недавно такой застенчивый Уэддерберн — непринужденно прислонился к подоконнику и, поигрывая кистями шторы, беседует со всеми пятерыми сразу. Конечно, у Хилла хватило бы смелости и даже самоуверенности на то, чтобы завязать разговор с одной девушкой; он не смутился бы, даже если бы ему пришлось произнести речь в комнате, битком набитой девицами. Но он отлично понимал, что так свободно и уверенно держать себя, так легко парировать выпады собеседников ему было бы не по плечу. Только что, поднимаясь по лестнице, он готов был отнестись к Уэддерберну великодушно, пожалуй, даже с некоторым восхищением и открыто и сердечно пожать ему руку, как противнику, с которым провел всего только один раунд. Однако до рождества Уэддерберн ведь никогда не заводил бесед в этом конце комнаты. Туман легкого возбуждения, окутывавший Хилла, вдруг сгустился в чувство острой неприязни к Уэддерберну. Вероятно, это отразилось на его лице. Когда он подошел к

своему месту, Уэддерберн небрежно кивнул ему, а остальные переглянулись. Мисс Хейсмен бросила на него мимолетный взгляд и отвела глаза.

— Не могу согласиться с вами, мистер Уэддерберн,— сказала она.

— Поздравляю вас с первым разрядом, мистер Хилл,— сказала девушка в очках, поворачиваясь к нему и приветливо улыбаясь.

— Пустяки,— сказал Хилл, не спуская глаз с Уэддерберна и мисс Хейсмен, разговаривавших между собой, и сгорая от желания узнать, о чем они между собой говорят.

— Мы, жалкие второразрядники, смотрим на это иначе,— сказала девушка в очках.

О чем это там рассказывает ей Уэддерберн? Что-то об Уильяме Моррисе! Хилл не ответил девушке в очках, и улыбка на ее лице погасла. Ему было плохо слышно, и он никак не мог придумать, как бы «влезть» в их разговор. Проклятый Уэддерберн! Хилл уселся, открыл портфель и хотел было сразу же, на глазах у всех, отдать мисс Хейсмен томик Браунинга, но вместо этого вынул новую тетрадь для сокращенного курса элементарной ботаники, который студенты должны были прослушать в январе и феврале. И сразу же в дверях лекционного зала появился полный, грузный человек с бледным лицом и водянисто-серыми глазами — профессор ботаники Биндон, который приехал на два месяца из Кью; молча потирая руки и благодушно улыбаясь, он прошелся по лаборатории.

В течение ближайших шести недель Хилл испытал целый комплекс внезапных и новых для него эмоциональных потрясений. Внимание его было сосредоточено главным образом на Уэддерберне, о чем мисс Хейсмен и не подозревала. Она сказала Хиллу (в сравнительном уединении музея, где происходили их свидания, они много говорили о социализме, о Браунинге и общих проблемах), что встретилась с Уэддерберном у знакомых и что «у него наследственная одаренность: ведь известный Уэддерберн, крупный специалист по глазным болезням,— его отец».

— Мой отец — сапожник, — ни с того ни с сего сказал Хилл и тут же почувствовал, что эти слова не делают ему чести. Однако такая вспышка зависти не за-

дела мисс Хейсмен: ей казалось, что это ревность, которую она сама же и вызвала. А он мучился, сознавая превосходство Уэддерберна и считая, что тот бессовестно использует свое преимущество. Везет же этому Уэддерберну: подцепил себе знаменитого папашу, и ему еще ставят это в заслугу, вместо того чтобы по справедливости вычесть у него с полсотни баллов в виде компенсации! Ведь вот Хиллу пришлось самому завоевывать внимание мисс Хейсмен и неуклюже беседовать с ней в лаборатории о несчастных морских свинках, а этот Уэддерберн какими-то задворками пробрался на ее социальные высоты, чтобы там болтать с ней на том изысканном жаргоне, который Хилл более или менее понимал, но говорить на котором не умел. Кстати сказать, он к этому не очень-то стремился. Кроме того, он считал бестактностью и даже издевательством со стороны Уэддерберна изо дня в день являться на лекции в превосходном костюме со свежими манжетами, выбритым, подстриженным, безупречным во всех отношениях. И совсем уже низостью было то, что Уэддерберн вначале вел себя так робко, притворялся скромником, позволил Хиллу вообразить себя звездой первой величины, а потом внезапно стал ему поперек дороги. К тому же у Уэддерберна появилась склонность вмешиваться в любой разговор, если при этом присутствовала мисс Хейсмен, и, конечно, он всегда искал случая опорочить идеи социализма и атеизма. Он так изощрялся в поверхностных, но весьма метких и язвительных замечаниях по адресу социалистических лидеров, что доводил Хилла до грубых выходок; в конце концов Хилл почти так же возненавидел изысканную самовлюбленность Бернарда Шоу, роскошные обои, и золотообрезные книги Уильяма Морриса, и восхитительно нелепых идеальных рабочих из романов Уолтера Крейна, как ненавидел самого Уэддерберна. Страстные дебаты в лаборатории, в свое время стяжавшие Хиллу славу, выродились в опасные и бесславные стычки с Уэддерберном, которых Хилл не старался избежать только из смутного сознания, что тут затронута его честь. Он отлично понимал, что в дискуссионном клубе под оглушительный аккомпанемент хлопающих пюпитров он в два счета разгромил бы Уэддерберна. Но Уэддерберн неизменно уклонялся от посещения клуба и от разгрома, оправды-

ваясь — экое отвратительное позерство! — тем, что он «поздно обедает».

Не следует думать, что все это рисовалось Хиллу в таком простом и грубом виде, как здесь рассказано. Хилл отличался врожденной склонностью к обобщениям. Уэддерберн был для него не столько человеком, ставшим на его пути, сколько типом, выдающимся представителем определенного класса. Экономические теории, которые после долгого брожения сложились в уме Хилла, вдруг стали конкретными и осязаемыми. Весь мир наполнился Уэддербернами — воспитанными, изящными и изящно одетыми, непринужденными в разговоре и безнадежно поверхностными: епископами Уэддербернами, профессорами Уэддербернами, Уэддербернами — членами парламента и землевладельцами, Уэддербернами — кавалерами единого ордена сибаритов и мастерами воздвигать целые крепости из эпиграмм, чтобы укрыться от наседающего в споре противника. И наоборот, в каждом, кто был плохо одет или плохо выбрит — начиная с сапожника и кончая кучером,— Хилл видел теперь человека, брата и товарища по несчастью. Он стал, так сказать, защитником всех отверженных и угнетенных, хотя со стороны казался просто самоуверенным, дурно воспитанным молодым человеком. К тому же защитник он был никуда не годный. За вечерним чаем, который студентки возвели в традицию, разыгрывались теперь настоящие баталии, и Хилл снова и снова выходил из них разъяренный, измученный, с горящими щеками, и даже в дискуссионном клубе обратили внимание на нотки горечи и сарказма, появившиеся в его речах.

Теперь едва ли следует объяснять, как важно было для Хилла (хотя бы только в интересах человечества) обогнать Уэддерберна на предстоящих экзаменах и затмить его в глазах мисс Хейсмен; вы поймете также, почему мисс Хейсмен стала жертвой заблуждения, в которое так часто впадают женщины. Поединок между Хиллом и Уэддерберном, который по-своему, сдержанно отплачивал Хиллу за его откровенную враждебность, она истолковала как дань ее неописуемому очарованию; она была Прекрасной дамой на этом турнире скальпелей и карандашных огрызков. К тайной досаде своей лучшей подруги, она даже испытывала угрызения совести, так как бы-

ла доброй девушкой, читала Рескина и современные романы и потому отлично понимала, как сильно деятельность мужчины зависит от поведения женщины. Правда, Хилл никогда не заговаривал с ней на любовные темы, но она просто приписывала это его чрезвычайной скромности.

По мере приближения второго экзамена Хилл становился все бледнее, и студенты говорили, что он напряженно работает. Его можно было встретить в дешевой закусочной рядом с Саут-Кенсингтонским вокзалом, где он наспех съедал булочку, запивая ее молоком и не отрывая глаз от мелко исписанных листков с заметками. Зеркало в его комнате было окружено такими же бумажками со всевозможными сведениями о стеблях и пестиках, а над умывальником висела диаграмма, на которую он глядел, если только мыло не попадало в глаза. Он даже пропустил несколько собраний дискуссионного клуба, но, как и прежде, давал себе передышку, встречаясь с мисс Хейсмен то по соседству, в обширных залах художественного музея, то в маленьком музее, который помещался в верхнем этаже колледжа, а то и просто в коридорах. Чаще всего они встречались в узенькой, полной кованых сундуков и старинных железных изделий галерее около библиотеки книг по искусству, и здесь Хилл, тронутый ласковым и лестным для него вниманием мисс Хейсмен, подолгу беседовал с ней о Браунинге и поверял ей свои честолюбивые мечты. Она отметила как замечательную и характерную его особенность полное отсутствие корыстолюбия. Он совершенно хладнокровно относился к перспективе прожить всю жизнь, не расходуя и сотни фунтов в год. Но он твердо решил собственными руками переделать мир так, чтобы в нем стало лучше жить, и этим путем добиться всеобщего признания. Его учителями и героями были Бредло и Джон Бернс[1], люди бедные, даже нищие и все же великие. Впрочем, мисс Хейсмен считала, что подобные образцы не отвечают требованиям эстетики, которая воплощалась для нее (хотя сама она об этом не догадывалась) в красивых обоях и драпировках, в приятных книжках, элегантных туалетах, концертах и

---

[1] Чарлз Бредло (1833—1891) — английский политический деятель, оратор, издатель журнала «Национальные реформы».

Джон Бернс (1858—1943) — английский политический деятель, враг социалистического движения.

во вкусно приготовленных и изысканно поданных кушаньях.

Наконец настал день второго экзамена, и профессор ботаники, человек суетливый и дотошный, переставил все столы в длинной и узкой лаборатории для того, чтобы студенты не списывали друг у друга, взгромоздил на стол кресло и усадил в него демонстратора (который чувствовал себя там, по его словам, как индусский бог), чтобы экзаменующиеся не жульничали, и повесил снаружи на дверях записку «Вход воспрещен», а для чего — не мог бы понять ни один здравомыслящий человек. И все утро, с десяти до часу, перо Уэддерберна скрипело наперегонки с пером Хилла, а перья остальных, как неутомимая стая гончих, мчались по следам вожаков, и вечером повторилось то же самое. Уэддерберн был еще спокойнее, чем обычно, а у Хилла весь день горели щеки, и карманы его пальто раздулись от учебников и тетрадей, с которыми он не расставался до последнего мгновения. А на следующий день, утром и вечером, студенты держали практический экзамен: они должны были делать срезы и определять препараты. Утро привело Хилла в уныние, так как он понимал, что приготовил слишком толстый срез, а потом настал вечер, и дело дошло до таинственного препарата.

Это был один из излюбленных приемов профессора ботаники. Здесь было нечто общее с подоходным налогом: он сулил вознаграждение за жульничество. На предметный столик микроскопа устанавливался препарат — стеклянная пластинка, которую удерживали на месте легкие стальные пружинки; инструкция гласила, что препарат нельзя смещать. Студенты подходили по очереди, зарисовывали препарат, описывали в экзаменационной тетради то, что они увидели, и возвращались на свои места. Одно неосторожное прикосновение пальца, какая-нибудь доля секунды—и препарат сдвинется с места. А это было, как объяснил профессор, недопустимо, так как объект, который следовало определить, представлял собой срез ствола определенного дерева. В том положении, в каком он стоял, узнать его было очень трудно, но стоило немного сдвинуть пластинку, как в поле зрения попадал другой участок среза и происхождение препарата становилось вполне очевидным.

Когда подошла очередь Хилла, он был возбужден после возни с биологическими красителями; усевшись на табурет перед микроскопом, он повернул зеркало, чтобы лучше осветить объект, и машинально подвинул пластинку с препаратом. Тотчас же вспомнив о запрещении, он, не отрывая руки, сдвинул стеклышко на прежнее место и замер в ужасе от своего поступка.

Затем он осторожно повернул голову. Профессор куда-то вышел; демонстратор, восседая на своей импровизированной трибуне, просматривал «Журнал научной микроскопии», остальные экзаменующиеся были заняты и сидели к нему спиной. Стоит ли сейчас признаться? Он сразу понял, что̀ лежит под микроскопом. Это была «чечевичка», характерный препарат бузины. Не спуская глаз с товарищей, Хилл заметил, что Уэддерберн вдруг обернулся и бросил на него подозрительный взгляд. Умственное возбуждение, которое в продолжении двух дней поддерживало удивительную работоспособность Хилла, превратилось в страшное нервное напряжение. Экзаменационная тетрадь лежала перед ним. Не записывая своего ответа и глядя одним глазом в микроскоп, он начал бегло зарисовывать препарат. Мысли его были заняты внезапно возникшей, нелепой и головоломной моральной проблемой. Опознать ли препарат? Или просто оставить вопрос без ответа? Тогда Уэддерберн, вероятно, выйдет на первое место. Если бы стекло не сдвинулось, догадался бы он, что перед ним бузина? Как это теперь выяснить? Впрочем, возможно, что Уэддерберн не узнал «чечевичку». А что, если Уэддерберн тоже сдвинул стекло? Хилл посмотрел на часы. У него еще есть пятнадцать минут на размышление. Он захлопнул тетрадь, собрал цветные карандаши, которыми раскрашивал рисунки, и вернулся на место.

Он перечитывал свою запись, грыз ногти и думал. Признаться теперь — значило бы навлечь на себя неприятности. Он *должен* одолеть Уэддерберна. Его кумиры, почтенные джентльмены Джон Бернс и Бредло, вдруг вылетели у него из головы. В конце концов, говорил он себе, взгляд, брошенный на запретную часть препарата, был совершенно невольным; это была чистая случайность, которая скорее могла сойти за откровение свыше, чем за преимущество, добытое незаконным путем.

Если он воспользуется подобной случайностью, это будет куда менее бесчестно, чем поведение Брума, который, веруя в могущество молитвы, ежедневно молился о ниспослании ему первого разряда. «Осталось пять минут»,— сказал демонстратор, откладывая журнал и внимательно оглядывая экзаменующихся. Хилл не спускал глаз со стрелок часов. За две минуты до срока он с беззаботным видом раскрыл экзаменационную тетрадь и, чувствуя, как у него горят уши, вписал под своим рисунком название препарата.

Когда появился список результатов второго экзамена, оказалось, что Хилл и Уэддерберн поменялись местами; девушка в очках, знакомая с демонстратором в частной жизни (он, как ни странно, был просто человеком), сообщила, что по обоим экзаменам Хилл набрал в сумме 167 баллов из 200 возможных, обогнав соперника на один балл. Хотя его и считали «зубрилой», он все же вызывал известное восхищение. Он принимал поздравления, он вырос в глазах мисс Хейсмен, звезда Уэддерберна явно склонилась к закату, но во всем этом был привкус горечи, порожденный тягостным воспоминанием. Сперва он ощутил бурный прилив энергии, и в речах, которые он произносил на собраниях дискуссионного клуба, снова зазвучали барабаны победного шествия демократии; он усердно изучал сравнительную анатомию и делал успехи в своем эстетическом образовании. Но перед его умственным взором все вновь и вновь возникало яркое видение: жалкий трус мошенничает у микроскопа.

Ни один человек не видел его поступка; в существование всеведущего и вездесущего бога Хилл решительно не верил; и все-таки он мучился. Воспоминания не мертвы, это живые существа, которые дремлют, пока их не трогают, но начинают расти и принимают порой самые неожиданные формы, если их постоянно тревожить. Сначала Хилл отлично помнил, что он прикоснулся к стеклышку нечаянно, но с течением времени он как-то запутался в своих воспоминаниях и в конце концов уже не знал,— хотя и уверял себя, что знает,— действительно ли препарат сдвинулся случайно. Впрочем, быть может, эти угрызения совести следует отнести за счет диеты: завтракал он обычно наспех, днем ограничивался булкой и

только после пяти часов, если выпадала свободная минута, закусывал соразмерно своим ресурсам в каком-нибудь трактирчике на задворках Бромптон-роуд. Иногда он позволял себе покупать трехпенсовые или девятипенсовые издания классиков, что обычно приводило к воздержанию от мяса и картофеля. Всем известно, что систематическое недоедание неизбежно сопровождается приступами душевной депрессии, сменяющейся нервным подъемом. Но, кроме того, Хилл и в самом деле испытывал глубокое отвращение ко лжи, отвращение, которое этот богохульник—лендпортский сапожник — воспитал в нем с детства, не останавливаясь перед бранью и побоями. О таких отъявленных атеистах я могу сказать только одно: они могут быть — и обычно бывают — глупцами, людьми, лишенными всякой тонкости; людьми, для которых нет ничего святого, грубиянами и злобными мошенниками, но лгать они не любят. Будь это не так, будь у них хотя бы слабое представление о компромиссе, они стали бы просто не слишком прилежными прихожанами.

Но хуже всего для Хилла было то, что воспоминание о поступке отравляло его отношения с мисс Хейсмен. Теперь, когда она явно предпочитала его Уэддерберну, он понял, что и сам увлечен ею, и начал отвечать на знаки ее внимания робким ухаживанием; однажды он даже купил букетик фиалок, сунул его в карман и потом, в галерее со ржавыми железными доспехами, волнуясь и запинаясь, преподнес ей этот уже измятый и увядший подарок. И еще одна из радостей его жизни была отравлена: обличения мерзости капитализма. А главное, отравлено было его торжество над Уэддерберном. Раньше он был убежден в своем превосходстве и злился только потому, что не мог добиться всеобщего признания. Теперь его мучила мрачная уверенность в собственном ничтожестве. Он пытался было найти оправдание для своего поведения в стихах Браунинга, но анализ быстро развеял его надежды. В конце концов, как это ни странно, те же побуждения, которые привели его недавно к бесчестному поступку, заставили его пойти к профессору Биндону и чистосердечно во всем признаться. Так как он был стипендиатом и не платил за учение, профессор не пригласил его сесть, и ему пришлось исповедоваться, стоя перед профессорским столом.

— Поразительный случай,— сказал профессор Биндон, стараясь представить себе, как все это может отразиться на нем самом, и затем дав волю своему гневу.— Совершенно небывалый случай. Сначала такой поступок, сейчас это признание, я вас просто не понимаю... Вы из числа тех студентов... В Кембридже никому и в голову не пришло бы... Мне следовало об этом подумать... Зачем же вы сжульничали?

— Я не жульничал,— сказал Хилл.

— Но вы сами только что признались...

— Мне кажется, я объяснил...

— Одно из двух: либо вы жульничали, либо нет.

— Но ведь я сказал, что сделал это нечаянно.

— Я не метафизик, я служитель науки и признаю только факты. Вам было сказано не сдвигать препарат. Вы его сдвинули. Если это не жульничество...

— Будь я жуликом,— сказал Хилл, и в голосе его прозвучала истерическая нотка,— разве я пришел бы сюда и стал рассказывать?

— Ваше раскаяние, конечно, говорит в вашу пользу,— сказал профессор Биндон,— но факты от этого не меняются.

— Не меняются, сэр,— подтвердил Хилл, сдаваясь в порыве полного самоуничижения.

— Даже теперь вы причиняете нам множество неприятностей. Придется пересматривать экзаменационный список.

— Полагаю, что так, сэр.

— Ах, вы полагаете? Конечно, его придется пересмотреть. Пропустить вас теперь было бы просто недобросовестно с моей стороны.

— То есть как это не пропустить? — сказал Хилл.— Вы меня провалите?

— Таковы общие правила. Иначе во что превратились бы экзамены? А чего же вы ожидали? Вы рассчитывали увильнуть от ответственности за свой поступок?

— Я думал, может...— Хилл запнулся.— Вы меня провалите? Я думал, что поскольку я сам рассказал вам, вы могли бы просто аннулировать баллы, которые я получил за этот препарат.

— Ну нет, — сказал Биндон. — Помимо всего прочего, это было бы несправедливо по отношению к Уэд-

дерберну. Аннулировать баллы, только и всего? Нелепость! Официальные «Правила» прямо указывают...

— Но ведь я сам признался, сэр!

— В «Правилах» ничего не говорится о том, каким образом факты выплывают наружу. «Правила» просто предусматривают...

— Тогда я погиб. Если я провалюсь на этом экзамене, у меня отнимут стипендию.

— Об этом следовало думать раньше.

— Но, сэр, войдите в мое положение...

— Ни во что я не могу входить. Профессор в этом колледже — машина. «Правила» запрещают нам даже давать рекомендации студентам, поступающим на службу. Я машина, и вы привели меня в действие. Я должен...

— Это очень жестоко, сэр...

— Может быть.

— Если будет считаться, что я провалился по вашему предмету, то мне лучше сразу же отправиться домой.

— Это уж как вы сочтете нужным.— Голос Биндона несколько смягчился. Он понимал, что неправ, и был не прочь уступить — в той мере, в какой это не противоречило прежним его словам.— Как частное лицо,— добавил он,— я считаю, что ваше признание значительно уменьшает вашу вину. Но вы пустили машину в ход, и остановить ее невозможно. Я... я очень сожалею о вашей опрометчивости.

Хилл был так потрясен, что ничего не ответил. Внезапно и совершенно отчетливо он увидел перед собой грубое лицо своего старика отца, сапожника из Лендпорта.

— Боже правый! Какого дурака я свалял! — вырвалось у него.

— Надеюсь,— сказал Биндон,— что эта ошибка послужит вам уроком.

Любопытно, что они при этом думали и сожалели о различных ошибках.

Наступило молчание.

— Я хотел бы денек подумать, сэр, а потом я сообщу вам... Я говорю об уходе из колледжа,—сказал Хилл, направляясь к дверям.

На следующий день место Хилла пустовало. Девушка в очках, как всегда, первая принесла новость. Она по-

дошла к Уэддерберну и мисс Хейсмен, которые обсуждали представление «Мейстерзингеров».

— Слыхали? — спросила она.

— О чем?

— О жульничестве на экзаменах?

— Жульничество? — воскликнул Уэддерберн, вдруг заливаясь краской.— Как?

— Этот препарат...

— Сдвинут? Не может быть!

— Но это так. Срез, который запрещено сдвигать...

— Чепуха! — сказал Уэддерберн.— Вот еще. С чего они взяли? А кого они обвиняют?

— Мистера Хилла.

— Хилла?

— Мистера Хилла.

— Как, неужто Хилла-праведника? — сказал Уэддерберн, воспрянув духом.

— Я этому не верю,— сказала мисс Хейсмен.— Откуда вы знаете?

— И я не верила,— сказала девушка в очках.— Но тем не менее это так. Мистер Хилл сам признался профессору Биндону.

— Вот так штука! — сказал Уэддерберн.— Неужели Хилл? Впрочем, я всегда не слишком доверял этим благодетелям рода человеческого...

— Вы совершенно уверены? — прерывающимся голосом спросила мисс Хейсмен.

— Совершенно. Ужас ведь, правда? А с другой стороны, чего вы хотите? Сын сапожника.

Но тут мисс Хейсмен удивила девушку в очках.

— Все равно не поверю,— сказала она, и густой румянец заиграл на ее матово-смуглом лице.— Не поверю до тех пор, пока он сам мне не скажет. Прямо в лицо. Да и тогда навряд ли поверю.— И, резко повернувшись спиной к девушке в очках, она пошла на свое место.

— И все-таки это правда,— сказала девушка в очках, с улыбкой поглядывая на Уэддерберна.

Но Уэддерберн не отвечал. Видимо, она принадлежала к числу тех людей, которым суждено не получать ответа на свои замечания.

1897

КРАСНЫЙ ГРИБ

Мистер Кумс чувствовал отвращение к жизни. Он спешил прочь от своего неблагополучного дома, чувствуя отвращение не только к своему собственному, но и ко всякому бытию, свернул в переулок за газовым заводом, чтобы уйти подальше от города, спустился по деревянному мосту через канал к Скворцовым коттеджам и очутился в сыром сосновом бору, один, вдали от шума и суматохи человеческого жилья. Больше нельзя терпеть. Он даже ругался, что было совсем не в его привычках, и громко повторял, что больше этого не потерпит.

Мистер Кумс был бледнолицый человечек с черными глазами и холеными, очень темными усиками. Стоявший торчком тугой, слегка поношенный воротничок создавал видимость двойного подбородка, а пальто, хотя и потертое, было отделано каракулем. Перчатки, светло-коричневые с черными полосками, были разорваны на кончиках пальцев. В его внешности, как сказала однажды его жена в те милые, безвозвратные, незапамятные дни, короче говоря, еще до их женитьбы, было что-то воинственное. А теперь она называла его — хоть и дурно разглашать то, что говорится наедине между мужем и женой,— она называла его: «Настоящее чучело».

Впрочем, она не скупилась и на другие нелестные прозвища.

Заваруха опять началась из-за этой нахалки Дженни. Дженни была приятельницей жены и без всякого приглашения со стороны мистера Кумса упорно являлась каждое воскресенье пообедать и портила весь день. Это

была крупная, разбитная девушка, любившая крикливо одеваться и пронзительно хохотать, но ее сегодняшнее вторжение превзошло все, что было раньше: она притащила своего приятеля, франтоватого и одетого так же безвкусно, как и она сама. И вот мистер Кумс, в накрахмаленном чистом воротничке и воскресном сюртуке, сидел за обеденным столом, безмолвный и негодующий, в то время как жена его и гости болтали без умолку о таких пустяках, что уши вяли, и громко смеялись. Скрепя сердце он вытерпел все это, но вот после обеда (который «по обыкновению» запоздал) мисс Дженни не придумала ничего лучше, как сесть за пианино и наигрывать негритянские песенки, словно был будничный день, а не воскресенье. Нет! Человеческая природа не в силах вынести такого надругательства! Услышат соседи, услышит вся улица — это позор! Он не мог больше молчать!

Он хотел было заговорить, но почувствовал, что бледнеет, и от робости у него перехватило дыхание. Он сидел у окна на стуле — креслом завладел новый гость. «Воскресенье!» — с трудом выдавил он из себя, повернувшись к ним, и в тоне его слышалась угроза. «Воск-ресе-енье!» Да, голос был, что называется, «зловещий».

Дженни продолжала играть, но жена, просматривавшая стопку нот на крышке рояля, вперила в него сердитый взгляд.

— Опять что-то не так? — сказала она.— Людям и поразвлечься нельзя?

— Я не возражаю против разумных развлечений,— сказал маленький мистер Кумс,— но не намерен слушать увеселительные песенки в воскресенье в своем доме.

— А чем плохи мои песенки? — Дженни оборвала игру и, зашуршав всеми оборками, повернулась на вертящемся стуле.

Кумс почувствовал, что назревает ссора, и, как все нервные, застенчивые люди в таких случаях, взял слишком вызывающий тон.

— Вы там поаккуратнее со стулом,— сказал он,— а то он не приспособлен к тяжестям.

— Оставьте в покое тяжести,— раздраженно сказала Дженни.— Что вы там прохаживались насчет моей игры?

— Я полагаю, вы не хотели сказать, мистер Кумс, будто вам неприятно поразвлечься музыкой в воскре-

сенье? — спросил новый гость; он откинулся в кресле, выпустил облако папиросного дыма и улыбнулся с оттенком превосходства. А миссис Кумс говорила приятельнице:

— Играй, Дженни, не обращай внимания.

— Вот именно! — ответил гостю мистер Кумс.

— Могу я осведомиться, почему? — спросил гость. Он явно наслаждался своей папиросой, а также предвкушением ссоры. Это был долговязый малый в светлом щегольском костюме; в его белом галстуке красовалась серебряная булавка с жемчужиной. «Он проявил бы больше вкуса, надев черный костюм»,—подумал мистер Кумс. Он ответил гостю:

— А потому, что мне это не подходит. Я деловой человек. Я должен считаться со своей клиентурой. Разумные развлечения...

— Его клиентура! — фыркнула миссис Кумс.— Только это от него и слышишь... Нам надобно делать это, нам нельзя делать то...

— А если тебе не нравится считаться с моей клиентурой, — ответил мистер Кумс,— зачем ты выходила за меня замуж?

— Непонятно! — вставила Дженни и повернулась к пианино.

— В жизни не видывала таких, как ты,— сказала миссис Кумс.— Начисто переменился с тех пор, как мы поженились. Прежде...

Дженни снова уже барабанила: тут-тум-тум!

— Послушайте,— проговорил мистер Кумс, выведенный наконец из себя. Он встал и возвысил голос: — Говорят вам, я этого не допущу.— И даже сюртук его топорщился от негодования.

— Ну-ну, без насилия,— произнес долговязый, приподнявшись.

— Да вы-то кто такой, черт возьми! — свирепо спросил мистер Кумс.

Тут заговорили все разом. Гость заявил, что он «нареченный» Дженни и намерен защищать ее, а мистер Кумс ответил, что пусть себе защищает где угодно, но только не в его (мистера Кумса) доме; а миссис Кумс сказала, что хоть бы он постыдился так оскорблять гостей и что он превращается (как я уже упоминал) в на-

стоящее чучело; а кончилось все тем, что мистер Кумс приказал своим гостям убираться вон, а те не ушли, и он сказал, что тогда придется уйти ему самому. С пылающим лицом, со слезами на глазах выбежал он в переднюю, и пока он там сражался с пальто — рукава сюртука упорно вздергивались кверху — и смахивал пыль с цилиндра, Дженни снова заиграла, и ее наглое «тум-тум-тум» провожало его до порога. Он хлопнул дверью так, что, казалось, весь дом задрожал. Вот что было непосредственной причиной его скверного настроения. Теперь вам понятно, почему он испытывал такое отвращение к жизни?

И вот, расхаживая по скользким лесным тропинкам — был конец октября, и всюду из-под ворохов хвои и по канавам пестрели грибные гнезда,— он припоминал всю горестную историю своей женитьбы. Она была несложна и достаточно обычна. Теперь он начал понимать, что жена вышла за него из простого любопытства и из желания избавиться от тяжелой, изнурительной, плохо оплачиваемой работы в мастерской. Но, как большинство женщин ее круга, она была недалекой и не понимала, что обязана помогать мужу в его работе. Она была падка до развлечений, многословна, общительна и гостеприимна и явно разочаровалась, поняв, что замужество не избавило ее от гнета бедности... Его заботы раздражали ее, а на малейшее замечание она заявляла, что он вечно брюзжит. Почему он не мог быть таким милым, как раньше? А Кумс был безответный человечек, вскормленный на книге «Помогай самому себе» и лелеявший скромную мечту о «достатке», нажитом путем самоограничения и борьбы с конкурентами. Потом появилась Дженни, этот Мефистофель в женском облике, с ее вечной болтовней о вздыхателях, и начала таскать жену по театрам и «все в таком роде». Вдобавок у жены были тетки, двоюродные братья и сестры, и все они пожирали его состояние, оскорбляли его, мешали ему в делах, докучали лучшим клиентам и вообще портили ему жизнь как только умели. Уже не впервые гнев и негодование, к которым примешивался какой-то смутный страх, гнали мистера Кумса из дому; он убегал прочь, яростно и громко клялся, что больше этого не потерпит, и так понемногу впустую растрачивал свой пыл. Но никогда еще он не испытывал такого глубокого

отвращения к жизни, как сегодня; в этом повинны были, вероятно, и воскресный обед и пасмурное небо. А может быть, он начал наконец понимать, что неуспех его дел — это последствие его женитьбы. Сейчас ему угрожало банкротство, а там... Что ж, возможно, она и раскается, когда уже будет слишком поздно. А судьба, как я уже указывал, обсадила тропинку в лесу пахучими грибами, обсадила ее по обе стороны и густо и пестро.

Трудно приходится мелкому лавочнику, когда у него плохая подруга жизни. Весь его капитал вложен в дело, и покинуть жену означает для него примкнуть к армии безработных где-нибудь на чужбине. Развод для него — недосягаемая роскошь. Добрые, старые традиции законного, нерасторжимого брака безжалостно связывают его, и нередко дело кончается трагедией. Каменщики жестоко бьют своих жен, а герцоги им изменяют; но именно в среде маленьких клерков и лавочников все чаще в наши дни случаи убийства. Поэтому вполне понятно — и прошу отнестись к этому как можно снисходительней,— что воображение мистера Кумса обратилось к такому блистательному способу завершить его разбитые надежды, и некоторое время мысли его занимали бритвы, револьверы, столовые ножи и трогательные письма к следователю с именами врагов и христианской мольбой о прощении. Но вскоре злоба сменилась глубокой грустью. Он венчался в этом самом пальто и в этом самом сюртуке, первом и единственном, какой у него был в жизни. Еще вспомнилось, как он ухаживал за ней в этом самом лесу, и годы лишений ради того, чтобы накопить состояние, и светлые, полные надежд дни медового месяца. И вот как все это обернулось! Неужели провидение так немилосердно к людям! Им опять завладела мысль о смерти.

Он вспомнил о канале, над которым недавно проходил, и усомнился: покроет ли его с головой даже посредине, в самом глубоком месте. И среди этих грустных раздумий на глаза ему попался красный гриб. С минуту он тупо глядел на него, затем подошел и нагнулся, приняв его за оброненный кем-то кожаный кошелек. Тут он увидел, что это шляпка гриба, необычайно красного, как бы ядовитого оттенка, скользкая, глянцевитая, с кислым запахом. Он стоял, нерешительно протянув к нему руку,

и вдруг мысль о яде пронзила его мозг. Тогда он сорвал гриб и выпрямился, держа его в руке.

Запах у гриба был острый, резкий, но не противный. Он отломил кусочек; свежая мякоть была светло-кремовой, но не прошло и десяти секунд, как она превратилась в изжелта-зеленую. Глядеть на это было забавно, и он отломил еще и еще кусочек. «Удивительные растения эти грибы»,— подумал мистер Кумс. Все они содержат смертельный яд, как часто говорил ему отец, — смертельный яд.

«Самый подходящий момент для отчаянного шага. Здесь вот и сейчас, почему бы нет?»— раздумывал мистер Кумс. Он откусил кусочек, крохотный кусочек, самую малость. Во рту стало так горько, что он чуть не сплюнул, а потом начало печь, как будто он хватил горчицы с добавкой хрена и с грибным привкусом...

В своем возбуждении он и не заметил, как проглотил первый кусочек. Что же, съедобно или нет? Он чувствовал удивительную беспечность. Надо бы еще попробовать... В самом деле съедобно, даже вкусно! Отдавшись новым впечатлениям, он забыл о своих горестях. Ведь это была игра со смертью. Он снова откусил кусочек, на этот раз побольше. У него как-то странно закололо в пальцах на руках и на ногах. Сильнее забился пульс; кровь зашумела в ушах, как жернова. «Еще кусок... попроб...» — пробормотал он. Он повернулся — ноги плохо слушались его — и поглядел по сторонам. Неподалеку он увидел красное пятно и попытался подойти к нему. «Недурной закусон,— бормотал он.— Э, да тут их еще...» Он рванулся вперед и, протянув к грибам руки, повалился ничком. Но трогать их не стал. Он вдруг забыл обо всем на свете.

Он перевернулся, присел и удивленно огляделся. Его старательно вычищенный цилиндр откатился к канаве. Он приложил руку ко лбу. Что-то произошло, но что именно, он не мог ясно вспомнить. Как бы там ни было, тоска его рассеялась, на душе стало весело и легко! Но горло по-прежнему горело. Внезапно он громко засмеялся. Его что-то огорчало? Он ничего не помнил. Во всяком случае, он не будет больше грустить. Он поднялся и с минуту стоял, пошатываясь, со светлой улыбкой глядя на окружающий мир. Кое-что он начал припоминать,

впрочем, довольно смутно,— в голове вертелась какая-то карусель. Ну да, там, дома, он наскандалил из-за того, что люди хотели повеселиться. Они были совершенно правы; жизнь должна быть как можно радостней. Он пойдет сейчас домой и все уладит и успокоит их. А почему бы ему не набрать этих великолепных поганок и не угостить их? Набрать целую шляпу верхом. Вот этих красных с белыми крапинками и еще желтеньких. Да, он показал себя бирюком, ненавистником радости, но он все поправит. Как забавно надеть, скажем, пальто наизнанку и натыкать в карманы жилета веточки дикого терновника. И — с песней домой — весело провести вечер.

Как только мистер Кумс ушел, Дженни перестала играть и, повернувшись к присутствующим, спросила:

— Ну, из-за чего было поднимать такой шум?

— Вот видите, мистер Кларенс, что мне приходится терпеть от него...— сказала миссис Кумс.

— Уж очень горяч,— степенно произнес мистер Кларенс.

— И меня особенно удручает,— продолжала миссис Кумс,— что нет в нем ни малейшего понимания нашего положения; он только и думает, что о своей несчастной лавчонке. Соберу ли я иной раз небольшое общество, или куплю себе безделицу, чтобы приодеться немного, или потрачу на себя какой-нибудь пустяк из денег, отложенных на хозяйство,— сейчас же недовольство. «Бережливость», видите ли, «борьба за существование» и все такое. Он не спит ночами, все думает и думает и мучает себя, как бы ему сэкономить на моих расходах лишний шиллинг. Он как-то потребовал даже, чтобы мы ели маргарин. Стоит мне уступить хоть раз — кончено!

— Безусловно,— подтвердила Дженни.

— Если мужчина ценит женщину,— произнес мистер Кларенс, откидываясь в кресле,— он должен быть готов приносить для нее жертвы. Что касается меня,— тут взгляд мистера Кларенса остановился на Дженни,— я не позволю себе и думать о браке, пока у меня не будет возможности жить с супругой на широкую ногу. А

иначе это не что иное, как эгоизм. Сквозь невзгоды жизни мужчина должен пройти один, а не тащить с собой...

— Ну, с этим я не вполне согласна,— перебила его Дженни,— я не вижу, почему бы мужчине отказываться от помощи женщины... Лишь бы он не обращался с ней грубо... Грубость — это...

— Вы не поверите,— сказала миссис Кумс,— но я, видно, лишилась рассудка, когда выходила за него. Я должна была понять. Не будь тут моего отца, он отказался бы даже от свадебной кареты...

— Боже! До этого дойти! — сказал совершенно потрясенный мистер Кларенс.

— Все говорил, что деньги, мол, нужны ему для дела, и тому подобные глупости. Он не позволил бы мне нанять женщину, чтобы помогала мне раз в неделю, да тут я крепко взялась. А ведь какой крик он поднимает из-за денег, наступает на меня с книгами да со счетами, чуть не кричит: «Нам бы только продержаться в этом году, а там уже дело пойдет». А я говорю: «Если продержимся в этом году, то опять будет: «Нам бы только продержаться в следующем году». Я тебя знаю,— говорю я ему.— Не добьешься ты, чтобы я себя заморила, превратила в какое-то пугало. Что же ты не женился на кухарке,— говорю, — раз тебе нужна кухарка, а не благопристойная девица... Я говорю...»

И все в том же роде. Но незачем дальше слушать этот малопоучительный разговор. Достаточно сказать, что с мистером Кумсом вскоре было покончено, и они приятно провели время у пылающего камина. Затем миссис Кумс вышла приготовить чай, а Дженни присела на ручку кресла возле мистера Кларенса и кокетничала с ним, пока не раздался звон посуды.

— Что это мне будто послышалось...— лукаво спросила миссис Кумс, входя,— и посыпались шутки о поцелуях... Они уютно сидели вокруг небольшого круглого столика, когда первые признаки возвращения мистера Кумса дали себя знать. Послышалось звяканье щеколды у наружных дверей...

— Вот и он, мой господин и повелитель,— сказала миссис Кумс,— уходит, как лев, а возвращается, как ягненок. Держу пари...

В лавке раздался грохот: по-видимому, упал стул. Кто-то прошел коридором, выделывая ногами замысловатые па. Затем дверь распахнулась, и появился Кумс, но Кумс преображенный. Безупречный воротничок был сорван. Старательно вычищенный цилиндр, до половины наполненный грибным крошевом, был зажат под мышкой, пальто вывернуто наизнанку, а жилет украшен цветущими пучками желтого дрока. Но что значили все эти незначительные изменения праздничного костюма в сравнении с тем, как изменилось его лицо! Оно было мертвенно-бледным, неестественно расширенные глаза горели, и горькая усмешка кривила посиневшие губы.

— Вес-селитесь! — сказал он, стоя в дверях.— Разумное развлечение. П-пляшите.— Танцуя, он сделал три шага вперед, остановился и отвесил поклон.

— Джим! — взвизгнула миссис Кумс.

А у мистера Кларенса от испуга отвисла челюсть.

— Чаю,— забормотал мистер Кумс.—Чай — хорошая штука. Поганки тоже...

— Напился,— проговорила Дженни слабым голосом. Никогда еще не видела она у пьяных такой мертвенной бледности лица, таких расширенных, горящих глаз.

Мистер Кумс протянул мистеру Кларенсу пригоршню ярко-красных грибов.

— Хор-роший закус-сон,— бормотал он.— Попробуй.

Тон у него был очень приветливый. Но при виде их оторопелых лиц его настроение мгновенно переменилось, как это бывает у ненормальных, и он поддался безудержной ярости. Казалось, недавний скандал пришел ему на память. Зычным голосом — миссис Кумс такого не знала — он крикнул:

— Мой дом, я здесь хозяин, ешьте, что вам дают! — Но не двинулся с места, не сделал ни одного резкого движения, прокричал безо всякого усилия, словно прошептал, и все еще протягивал им пригоршню красных грибов.

Кларенс не на шутку струсил. Не в силах выдержать полный ярости и безумия взгляд мистера Кумса, он вскочил на ноги, оттолкнул кресло и попятился. Кумс пошел на него. Дженни, не теряя времени, с легким вскриком юркнула за дверь. Миссис Кумс поспешила за ней вслед. Кларенс хотел увернуться; Кумс опрокинул столик с посудой, ухватил гостя за шиворот и пытался напихать ему

в рот грибов. Кларенс без возражений оставил в его руках воротничок и выскочил в коридор; лицо его было облеплено красными крошками.

— Заприте его!— крикнула миссис Кумс, и это удалось бы сделать, если бы ее не покинули союзники; Дженни увидела, что дверь в лавку приоткрыта, устремилась туда и захлопнула ее за собой, а Кларенс поспешил укрыться в кухне. Мистер Кумс всем телом навалился на дверь, и жена его, заметив, что ключ остался по ту сторону двери, взбежала по лестнице и заперлась в спальне.

Новообращенный прожигатель жизни появился в коридоре; он уже растерял свои украшения, но чинный цилиндр с грибами все еще торчал у него под мышкой. Он поколебался, какой из трех путей ему избрать, и направился к кухне. Кларенс, тщетно возившийся с ключом, был вынужден отказаться от намерения отрезать мистеру Кумсу путь и подался в кладовку, где и был настигнут раньше, чем успел отворить дверь во двор. Мистер Кларенс крайне сдержан в описании того, что последовало. Вспышка мистера Кумса как будто уже улеглась, и он опять превратился в добродушного затейника. А так как вокруг лежали ножи — столовые и кухонные,— то Кларенс принял великодушное решение ублажать мистера Кумса, не доводить дело до трагедии. Не подлежит сомнению, что мистер Кумс в свое удовольствие позабавился над мистером Кларенсом; они не могли бы резвиться дружнее, если бы знали друг друга с детства. Хозяин любезно уговаривал мистера Кларенса отведать грибы и, задав ему небольшую трепку, почувствовал глубокое раскаяние при виде изукрашенного лица гостя. Потом мистера Кларенса как будто бы сунули под кран и начистили ему лицо сапожной щеткой — он, по-видимому, твердо решил подчиняться любым прихотям сумасшедшего,— и, наконец, взъерошенного, полинявшего, обтрепанного сунули в пальто и выпроводили черным ходом, так как Дженни все еще преграждала выход через лавку. Тут блуждающие мысли мистера Кумса обратились к Дженни. Ей не удалось отворить выходную дверь, но засов спас ее в ту минуту, когда ключ мистера Кумса начал отпирать американский замок, и весь остаток вечера она просидела в лавке.

Затем мистер Кумс, очевидно, вернулся в кухню все еще в поисках развлечений и, несмотря на то, что был заядлым трезвенником, выпил (или вылил на лацканы своего первого и единственного сюртука) с полдюжины бутылок портера, которые миссис Кумс берегла на случай болезни. Он поднял веселый звон, отбивая горлышки бутылок тарелками — свадебным подарком жены — и распевая шутливые песенки; так началась грандиозная попойка. Он сильно порезался осколком бутылки, и это кровопролитие — единственное во всем нашем рассказе,— а также частые спазмы — ибо на неискушенного человека портер действует сильнее,— видно, кое-как угомонили демона грибного яда. Но мы предпочитаем набросить покров на заключительные события этого воскресного вечера. Все кончилось глубоким, все исцеляющим сном на углях в подвале.

Прошло пять лет. Опять стоял октябрьский полдень; и снова мистер Кумс прогуливался по сосновому лесу за каналом. Это был все тот же черноглазый человечек с темными усиками, что и в начале повествования, но его двойной подбородок был уже не только кажущимся. На нем было новое пальто с бархатными отворотами; изящный воротничок, с отвернутыми уголками, отнюдь не жесткий и не топорный, заменил воротничок ходячего образца. На нем был блестящий новый цилиндр и почти новые перчатки с аккуратно заштопанной дырочкой на кончике пальца. Даже случайный наблюдатель заметил бы в его осанке отпечаток высокой добропорядочности, а закинутая назад голова указывала, что человек знает себе цену. Теперь он был хозяином с тремя помощниками. За ним следом, словно карикатура на него, шагал рослый загорелый парень — его брат Том, только что вернувшийся из Австралии. Они вспоминали о былых трудностях, и мистер Кумс только что обрисовал свое финансовое положение.

— Да, Джим, у тебя славное дельце,— сказал брат Том,— твое счастье, что ты сумел так его поставить при нынешней конкуренции. И твое счастье, что у тебя такая жена — во всем тебе помощница.

— Между нами говоря,— сказал мистер Кумс,— не

всегда оно так было. Да, не всегда... В начале дамочка была с капризами. Женщины — забавные создания.

— Да что ты!

— Ну да. Ты и не поверишь, до чего она была взбалмошна и все старалась как-нибудь меня поддеть! Я был слишком покладистым, любящим, ну таким вот... знаешь... Она и вообразила, что и сам я и дело мое только для нее и существуем. Дом мой превратила в какой-то караван-сарай. Вечно тут торчали всякие знакомые, всякие приятельницы по работе со своими кавалерами. По воскресеньям распевались шутливые песенки, а лавка была в полном забросе. Она еще и глазки начала строить всяким юнцам. Говорю тебе, я не был хозяином в своем доме.

— Даже не верится!

— Право же. Конечно, я пытался ее вразумить и говорил ей: «Я не какой-нибудь граф, чтобы содержать жену, как балованного зверька. Я женился на тебе, чтобы иметь помощницу и подругу». Я говорил ей: «Ты должна мне помогать, вместе мы вытянем». Но она и слушать не хотела. «Хорошо же,— сказал я,— мягок-то я мягок, пока не выйду из себя, а дело,— говорю,— к тому идет». Да куда там, она и не слушала!

— Ну и как же?

— С женщинами оно всегда так. Она не верила, что я способен на это — ну, что я могу выйти из себя. Женщины ее породы, Том, между нами говоря, уважают мужчину, если они его побаиваются. И вот, чтобы припугнуть ее, я и учинил скандал. Подружилась с женой на работе одна девица, Дженни, стала у нас бывать и привела как-то своего дружка. Мы с ним повздорили, и я ушел из дому сюда, в лес,— такой же вот был денек, как сегодня,— и все обдумал порядком. Потом вернулся да как наброшусь на них.

— Ты?

— Я. В меня словно бес вселился. Ее я не отколотил, удержался, но уж парню задал трепку,— в общем, чтобы показать ей, на что я способен... А он был здоровый парень! Оглушил я его и стал бить посуду и нагнал на нее такого страху, что она убежала и заперлась от меня.

— Ну, а потом что?

— Вот и все! На следующий день я сказал ей: «Теперь ты знаешь, каков я, когда выйду из себя». И больше мне не пришлось ничего добавлять.

— И с тех пор ты счастлив? Да?

— Да, можно сказать, что и счастлив. Самое важное — это поставить на своем! Не будь того дня, я бы сейчас бродяжничал по дорогам, а она и вся ее семейка ворчали бы на меня, что вот я довел ее до нищеты. Знаю я все их штучки. Но ничего, теперь все в порядке. И ты это правильно сказал, что у меня славное дельце.

Они прошли несколько шагов, размышляя каждый о своем.

— Забавные существа — женщины! — сказал Том.

— Им нужна твердая рука,— сказал мистер Кумс.

— А грибов-то здесь сколько,— заметил Том,— и какой только от них прок!

Мистер Кумс поглядел вокруг.

— Я полагаю, что в них есть очень большой смысл,— сказал он.

Вот и вся благодарность, какую получил красный гриб за то, что, помрачив рассудок жалкого человечка, сделал его способным к решительным действиям и таким образом перевернул весь ход его жизни.

1897

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ДЕШЕВИЗНЕ И ТЕТУШКА ШАРЛОТТА

Мир совершенствуется. В дни моей юности, как многие из вас еще помнят, люди чтили красное дерево и почему-то предпочитали всякой другой мебели эти блестящие громады, удивительно похожие цветом на сырую печенку и такие тяжелые, что не сдвинешь. Те из нас, кто был слишком беден для красного дерева, притворялись, что имеют его, придавая своей мебели воспаленный оттенок с помощью фанеровки. Это заставило кое-кого решить, что все дело тут было в цвете. В те времена бытовало словечко «ничтожный», ныне почти забытое. Милая тетушка Шарлотта прибегала к этому эпитету, когда по-своему, по-женски, бранила ей неугодных. «Ничтожный», «пустой», «поддельный» было, по ее мнению, наихудшим, что можно сказать о человеке. Еще, помнится, она питала крайнее отвращение к накладному серебру и бронзовым полупенсам. Полупенсы ее юности представляли собой массивные диски из красной меди, к которым совсем не подходило слово «мелочь». То были красивые и увесистые монеты, почти столь же неудобные в обращении, как кроны. Помню, как однажды в детстве она поправила меня.

— Не называй пенни медью, деточка,— сказала она.— Медь — это металл, а нынешние пенсы, они бронзовые.

Удивительно, до чего живучи наши детские представления. Я по сей день считаю бронзу неким втирушей среди металлов, ничтожным выскочкой. Все в доме тетуш-

ки Шарлотты было поразительно добротным и, за малым исключением, страшно неудобным; здесь не было вещи, которую мальчик мог бы разбить, не подвергшись за то анафеме. Только ее сервиз не лишен был прелести — по крайней мере другого я ничего не помню,— и каждая из этих заветных тарелок действительно стоила ее бесконечных восторгов. Меня водили в дорогих костюмчиках, доставлявших мне такие же муки, как Геркулесу его туника, омоченная в крови Несса[1]. Я слишком рано узнал цену добротным вещам. Узнал, скольких сердитых взглядов стоит каждая чайная чашка, и по гроб жизни возненавидел все дорогое. Самому мне любы дешевые и никчемные вещи, зауряднейший хлам, какой только можно получить за деньги, что-нибудь банальное, как примула, и недолговечное, как первый снег.

Подумайте сами, насколько дешевые и — если угодно — плохие вещи предпочтительней их дорогостоящих подмен. Допустим, вам надо что-то купить. «Только бери, что получше,— советует тетя Шарлотта,— такое, чтоб дольше служило». Вы следуете ее совету, и вещь служит веки вечные и становится семейным проклятием. Кому не известны эти донельзя скучные добротные вещи, скучные, как верные жены, и столь же исполненные самодовольства? У тетушки Шарлотты за всю жизнь, наверно, не было ни одной новой вещи. Мебель красного дерева перешла к ней от дядюшки, а сервиз — от каких-то далеких предков. А ее постели, ее перины!.. Их посещали призраки. Лучшая из кроватей видела столько смертей, рождений и браков, что могла поведать историю трех поколений нашей семьи. Что-то в этом доме навевало мысль о кладбище, и не только потому, что спинки стульев походили очертаниями на могильные плиты. Моя память сохранила мрачные закоулки этого дома, его темные, как в склепе, углы, пышные драпировки, скрывавшие окна. Наша жизнь была чересчур будничнa для подобной обстановки. Тетушка Шарлотта не догадывалась, что все это ее подавляло, а меж тем оно так и было. Этим и объяснялся, по-моему, ее душевный склад — ее мрачный кальвинизм, ощущение ничтожества и бренно-

---

[1] Несс — кентавр, поверженный Геркулесом. Жена Геркулеса — Деянира омочила в крови Несса тунику мужа, чтобы вернуть его любовь, но кровь кентавра оказалась ядом.

сти всего земного. Утверждение, будто вещи являются принадлежностью нашей жизни, было пустыми словами. Это мы были их принадлежностью, мы заботились о них какое-то время и уходили со сцены. Они нас изнашивали, а потом бросали. Мы менялись, как декорации, они действовали в спектакле от начала и до конца. То же самое было и с одеждой. Мы схоронили вторую сестру моей матери — тетушку Аделаиду,— поплакали и почти позабыли о ней, а ее великолепные шелковые платья, несмотря на свое сиротство, по-прежнему весело шуршали в нашем эфемерном мире.

Все это еще в раннем детстве противоречило моему представлению о жизни и об относительной ценности вещей. Я хочу иметь свои вещи; вещи, которые можно разбить, не разбив себе сердце, и, поскольку мы живем только раз, я ищу перемен — чтоб сперва было это, а потом то. Ценность старых и добротных вещей тети Шарлотты я узнал, лишь когда продавал их. За них дали на редкость много — за эти каменные стулья, как жернова, перемалывавшие людей; за этот хрупкий фарфор, доставлявший бесконечные тревоги до тех самых пор, пока чары его не разлетелись с ним вместе; за серебряные ложки, по милости коих тетя Шарлотта пятьдесят шесть лет кряду мучилась мыслью о взломщиках; за кровать, которую из всей родни пережил я один; за чудесные старинные часы — рослые, плечистые, с серебряным ликом.

Но, как я уже говорил, наши вкусы меняются — ушло в вечность красное дерево и репсовые гардины. Вещи теперь служат человеку, а прежде человека с детства учили служить вещам. Нынче я сам связующее звено между прошлым и будущим. Вещи, как весенние цветы, появляются и вновь исчезают. «Кто украдет мои часы, получит ерунду»,— как говорил один поэт; они сделаны из бог весть какого металла и, если их день продержать на каминной полке, покрываются сплошным красновато-черным налетом, который очень меня веселит. Мальчиком я понял, что когда-нибудь надену дедушкину шляпу. Теперь у меня шляпа за десять шиллингов, а то и дешевле, и я меняю ее два или три раза в году. В прежние времена платье брали себе почти так же навечно, как жену. Наше нынешнее жилище полно разными блестящими предметами; повсюду легковесные креслица, прочные лишь на-

столько, чтобы не развалиться под вами; книги в ярких обложках; ковры, на которые вы спокойно можете бросить зажженную спичку. Вы не боитесь здесь что-нибудь поцарапать, опрокинуть кофе, разбросать по углам пепел. Уж ваша мебель не станет чваниться перед гостями. Она знает свое место.

Но особенно хороши дешевые вещи с точки зрения декоративности. Если что и выдавало в моей тетушке любовь к красоте, так это милый ее сердцу старый цветник, хотя даже тут она остается у меня под подозрением. Ее любимыми цветами были тюльпаны — эти накрахмаленные гордецы в малиновых прожилках. Полевые цветы она презирала. Драгоценности ее походили на выставку благородных металлов. Знай она стоимость платины, она б только ее и носила. Цепи, кольца и броши тети Шарлотты приобретались на вес. Она б отвернулась от работы Бенвенуто Челлини, если бы в вещи было менее двадцати двух каратов. Акварель она презирала; картина в ее глазах должна была представлять собою огромное, писанное маслом бурое полотно какого-нибудь Старого Мастера. В углу столовой в усадьбе Бэббиджей стояла горка с хвастливо сияющей позолоченной посудой; ее огораживал плюшевый шнур, не позволявший посетителям толком рассмотреть чеканку: они лишь узнавали стоимость и шли дальше. Я не держу в доме богато разукрашенного искусства. По мне, прелесть искусства составляют такие необъяснимые вещи, как идеи, мастерство и талант. На фартинг краски и бумаги — и перед вами шедевр, как это делают японцы. Не беда, если он упадет в огонь. Он исчезнет, как вчерашний закат,— завтра будет новый.

Японцы — истинные апостолы дешевизны. Греки жили, чтоб научить людей красоте, иудеи — нравственности, но вот явились японцы и принялись вдалбливать нам, что человек может быть честным, его жизнь — приятной, а народ — великим без домов из песчаника, мраморных каминов и буфетов красного дерева. Порой мне ужасно хотелось, чтоб тетушка Шарлотта пожила среди японцев. Она, конечно, обозвала бы их «горсткой ничтожеств». То, что у них столь употребима бумага и они носят бумажное платье и пользуются бумажными платками, преисполнило бы ее бесконечного презрения к ним. Как

я ни старался, я не мог представить себе тетю Шарлотту в бумажном белье. Она питала истинную ненависть к бумаге. Ее молитвенник был напечатан на шелку, все книги переплетены в кожу и не так для красоты, как для прочности вправлены в металлический кант. Настоящее ее место было в древнем Вавилоне — сей основательный народ высекал на камне даже газеты. Я мысленно сравнивал ее с той царевной, которая носила одеяние из кованого золота. Мальчиком я считал, что скелет у нее из красного дерева. Но как бы там ни было, старушки уж нет, и к тому же она оставила мне свою мебель. Наверно, она перевернулась в гробу, когда я принялся распродавать ее имущество. Даже семейный фарфор понемногу исчез. Негодуя за дурное отношение к ее слишком фундаментальным вещам, тетка вечно наказывала меня, запирала в чулане, сажала на хлеб и воду, давала непосильные задания, и я, признаться, низко отмстил ей за это. Если будете в Уокинге, вы убедитесь в этом собственными глазами. На могиле ее стоит простой легкий крест. Он кажется белым пятнышком между двух безобразных гранитных пресс-папье, которыми придавлены лежащие справа и слева. Временами я готов в этом раскаяться. Как я посмотрю ей в лицо на том свете: я ведь так ее оскорбил!

1898

РОД ДИ СОРНО

Рукопись, найденная в картонке

А картонка принадлежала Ефимии. Ее содержимое было варварски раскидано обезумевшим мужем, которому до зарезу понадобился галстук и не хватало выдержки и терпения дождаться, пока придет жена и разыщет пропажу. Конечно, в картонке галстука не оказалось хотя муж, как легко догадаться, перерыл ее снизу доверху. Галстука там не было, зато в руки ему попалась пачка бумаг, которые можно было просмотреть, чтобы скоротать время до прихода Главного хранителя галстуков. К тому же всего интересней читать то, что ненароком попадает вам в руки.

Уже то, что Ефимия берегла какие-то бумаги, было открытием. На первый взгляд эти мелко исписанные страницы порождали мысль об измене, и поэтому муж взялся за чтение, исполненный страхов, которые рассеялись, едва он пробежал первые строчки. Он, так сказать, выполнял функцию полиции и тем себя оправдывал. И он начал читать. Но что это?! «Она стояла на балконе; позади нее было окно, а вельможный владелец замка ловил каждый взгляд ее капризных очей, тщетно надеясь прочесть в них благосклонность и преодолеть ее гордыню». Ничего похожего на измену!

Муж перелистнул страницу-другую — он начал сомневаться в своих полицейских правах. За фразой — «...отвести ее к ее гордому родителю» стояло написанное другими чернилами: «Сколько ярдов ковра, шириной в

три четверти ярда потребуется для того, чтобы застелить комнату в шестнадцать футов шириной и в двадцать семь с половиной футов длиной?» Тут он понял, что читает великий роман, созданный Ефимией в шестнадцатилетнем возрасте. Он уже что-то о нем слышал. Он держал в руках тетрадку, не зная, как поступить,— его все еще мучила совесть.

— Вздор! — решительно сказал он себе.— Допустим, что от романа просто не оторваться. Иначе мы выкажем пренебрежение к автору и его таланту.

С этими словами он плюхнулся в картонку прямо на груду вещей и, устроившись поудобнее, стал читать и читал до самого прихода Ефимии. Но она, узрев его голову и ноги, бросила несколько отрывочных и довольно-таки обидных замечаний по поводу какой-то раздавленной шляпки, а потом стала зачем-то силком вытаскивать его из картонки. Впрочем, это мои личные огорчения. А нас занимают сейчас достоинства романа Ефимии.

Героем ее повести был венецианец, звавшийся почему-то Иван ди Сорно. Насколько я мог установить, он и представлял собой весь род ди Сорно, упомянутый в заглавии. Никаких других ди Сорно я не обнаружил. Как и прочие герои повести, он был несметно богат и терзался глубокой печалью, причины которой остались неясными, но, очевидно, таились в его душе. Впервые он предстал перед нами, когда брел «...грустно поигрывая осыпанной каменьями рукоятью кинжала... по темной аллее земляничных дерев и остролистника, удивительно гармонировавшей с его сумрачным видом». Он размышлял о своей жизни, которую влачил под тягостным бременем богатства, не ведая чувства любви. Вот он «...идет по длинной великолепной галерее...», «и сто поколений других ди Сорно, каждый с таким же горящим взглядом и мраморным челом, взирают на него с той же грустной печалью» — и вправду унылое зрелище! Кому бы оно не наскучило за столько дней! И вот он решает отправиться странствовать. Инкогнито.

Вторая глава озаглавлена: «В старом Мадриде». Здесь ди Сорно, закутавшись в плащ, дабы скрыть свой титул, «...бродит, грустный и безучастный, в суетливой толпе». Но Гвендолен — гордая Гвендолен с балкона — «...приметила его бледный и все же прекрасный лик». На-

завтра, во время боя быков, она «...бросила на арену свой букет и, обернувшись к ди Сорно (совсем ей незнакомому, заметьте!)... глянула на него с повелительной улыбкой». «В тот же миг он, не раздумывая, кинулся вниз, туда, где метались быки и сверкали клинки тореро, а минуту спустя уже стоял перед ней и с низким поклоном протягивал ей спасенные цветы». «О, прекрасный сеньор! — сказала она. — Вряд ли эти бедные цветы стоили таких хлопот». Весьма мудрое замечание. И тут я вдруг отложил рукопись.

Мое сердце исполнилось жалости к Ефимии. Вот о ком она мечтала! О человеке редкой силы, с горящим взором, о человеке, который ради возлюбленной может расшвырять быков, кинуться на арену и единым духом взлететь обратно. И вот сижу я — грустная реальность, тщедушный писака в комнатных туфлях, до смерти боящийся всякой скотины.

Бедная моя Ефимия! Мы так долго высмеивали и преследовали новый тип женщины и так в этом преуспели, что боюсь, наши жены очень скоро разочаровываются в нас, бедняжки. И пусть даже они сами себя обманывают, им от этого не легче. Они мечтают о каких-то чудищах бескорыстия и верности, о рослых светлокудрых Донованах и темноволосых Странствующих рыцарях, почитающих своих дам, как святыню. И тут приходит всякий сброд, вроде нас, грешных, которые сквернословят за завтраком, вытирают перья о рукава сюртуков, пахнут табаком, дрожат перед издателями и отдают на прочтение всему свету сокровенное содержимое их картонок. А ведь они — за редким исключением — так берегут свое богатство! Они по-прежнему тайно цепляются за мечты, которые мы у них отняли, и с таким тактом стараются сохранить хоть что-то из прежних надежд и хоть чего-нибудь добиться от нас. Лишь в редких случаях — как, например, в истории с раздавленной шляпкой — они срываются на крик. Впрочем, даже тогда...

Но довольно прозы. Вернемся к ди Сорно.

Наш герой не воспылал страстью к Гвендолен, как, наверно, решил неискушенный читатель. Он «холодно» ей ответил, и взор его на мгновение задержался на ее камеристке — «прелестной Марго». Далее следуют сцены любви и ревности под замковыми окнами с железными

переплетами. У прелестной Марго, хоть она и оказалась дочерью обедневшего принца, было одно свойство, присущее всей на свете прислуге: она день-деньской глазела в окно. Вечером после боя быков ди Сорно открылся ей в своих чувствах, и она от души пообещала ему «научиться его любить»; с той поры он дни и ночи «...гарцевал на горячем коне по дороге», проходившей у замка, где жила его юная ученица. Это вошло у него в привычку; за три главы он проехал мимо замка общим счетом семнадцать раз. Затем он стал умолять Марго бежать с ним, «пока не поздно».

Гвендолен после яростной стычки с Марго, во время которой она обозвала ее «паскудой» — весьма уместный лексикон для молодой дворянки! — «...с несказанным презрением выплыла из комнаты», чтобы, к вящему изумлению читателя, больше не появиться в романе, а Марго и ди Сорно бежали в Гренаду, где им начала строить ужасные козни Инквизиция в лице одного-единственного «монаха с горящим взором». Но тут женой ди Сорно возжелала стать некая графиня ди Морно, которая мимоходом уже появлялась в романе, а теперь решительно вышла на авансцену. Она обвинила Марго в ереси, и вот Инквизиция, скрывшись под желтым домино, явилась на бал-маскарад, разлучила влюбленных и увезла «прелестную Марго» в монастырь. Сам не свой, ди Сорно вскочил в карету и стал носиться по Гренаде от гостиницы к гостинице (лучше б он заглянул в участок!); нигде не найдя Марго, он лишился рассудка. Он бегал повсюду и вопил:«Я безумен! Безумен!» — что как нельзя больше свидетельствовало о его полном помешательстве. В припадке безумия он дал согласие графине ди Морно «вести ее под венец», и они поехали в церковь (почему-то все в той же карете), но дорогой она выболтала ему свою тайну. Тогда ди Сорно выскочил из кареты, «...расшвырял толпу» и, «размахивая обнаженным мечом, начал требовать свою Марго у ворот Инквизиции». Инквизиция, в лице все того же испепеляющего взглядом монаха, «...глядела на него поверх ворот» — позиция, без сомнения, весьма неудобная. И в этот решающий миг домой вернулась Ефимия, и начался скандал из-за раздавленной шляпки. Я и не думал ее давить. Просто она была в той же картонке. А чтоб нароч-

но... Уж так само получилось. Если Ефимии хочется, чтоб я ходил на цыпочках и все время глядел, не лежит ли где ее шляпка, нечего было сочинять такой увлекательный роман. Отнять у меня рукопись как раз в этом месте было просто безжалостно. Я дошел только до середины, так что за поединком между Мечом и Испепеляющим взглядом должно было последовать еще много событий. Из случайно выпавшей страницы я узнал, что Марго закололась кинжалом (разукрашенным каменьями), но обо всем, что этому предшествовало, я могу лишь догадываться. Это придало повести особый интерес. Ни одну книгу на свете мне так не хочется прочесть, как окончание романа Ефимии. И лишь из-за того, что ей придется купить новую шляпку, она не дает мне его, как я ни упрашиваю.

1898

ЧТО ЕДЯТ ПИСАТЕЛИ

Рискуя огорчить новичка-литератора, я вынужден напомнить ему несколько банальных, но важных истин, связанных с литературным трудом. При всей своей банальности они объясняют многое, на первый взгляд непонятное. Что такое, скажем, творческая индивидуальность? Откуда эта способность выразить нечто свое — новое? А кроются за этим очень простые вещи. Кому не известно, что после длительного поста мозг наш работает вяло, нет и проблеска живой мысли, нам трудно сосредоточиться, и мы не в силах заставить себя думать по-настоящему. С другой стороны, сразу после сытной трапезы мысли у нас рождаются весомые, но неповоротливые. Чай вызывает у нас поток приятных размышлений, а те, кто принимал Истонский гипофосфатный сироп, легко припомнят, как быстро это снадобье возбуждает мозговую деятельность и подстегивает воображение. В свою очередь, шампанское, особенно если ему сопутствует рюмка виски, порождает шутливое и беззаботное настроение, тогда как десятка три устриц, съеденных натощак, вызывают по большей части состояние глубокой грусти, а то и черной меланхолии. Развивая эту тему, можно было б отметить огрубляющее влияние пива, успокоительные свойства салата, возбуждающее действие цыплят под острым соусом, но мы и без того уже достаточно сказали в пояснение нашей мысли. Из вышеизложенного, безусловно, явствует, что самобытность писателя определяется лишь характером его пищи.

В подтверждение напомню читателю о, пожалуй, самом известном случае из жизни Карлейля, когда он при неких памятных обстоятельствах вышвырнул в окно свой завтрак. Что побудило его к этому? Неужели друзья сберегли эту историю лишь из низменного пристрастия к мелочам, принижающим великого человека! А ведь кое-кто хочет убедить нас, будто в этом проявилась всего лишь детская нелюбовь к холодному мясу и крутым яйцам. Это утверждение абсурдно. Между тем что может быть естественней справедливого возмущения при виде того, как рушится тщательно продуманная система питания? Новичок-литератор, если только он человек вдумчивый и не погряз безнадежно в глупых теориях о вдохновении и прирожденном таланте, надеюсь, отлично поймет, что я раскрываю ему самый, пожалуй, важный секрет писательского мастерства.

А теперь перейдем к более непосредственным советам. Если вы хотите, чтобы в ваших произведениях хоть сколько-нибудь чувствовалась сила и свежесть, вам совершенно необходимо погубить свой желудок. Это подтвердит всякий литератор. Добиться этого надо во что бы то ни стало — даже если вам придется свести свое питание к сосискам, луку и сыру. Покуда вы потакаете своим гурманским наклонностям, писателя из вас не выйдет.

В страданье познается то,
Что в песне говорится

Поэтому те, кто живет дома, под опекой матери или старшей сестры, никогда и ни при каких обстоятельствах, как бы ни было сильно их тщеславие, не создадут ничего, кроме доморощенной поэзии. Ведь они едят в определенные часы, и притом очень вкусно, а от этого (да простится мне моя грубость) у них чертовски хиреет фантазия!

Тщательно изучив воспоминания о писателях прошлого, а также опыт ныне здравствующих писателей, мы откроем два способа погубить свой желудок и укрепить талант. Это переезд в убогие меблирашки (мы могли бы назвать дюжину знаменитостей, вскормивших там великое честолюбие) или женитьба на миловидной девице, совершенно несведущей в хозяйстве. Первый ме-

тод более эффективен, ибо миловидная девица непременно захочет целый день сидеть у вас на коленях, а это большая помеха в литературном труде. Принадлежность к какому-нибудь клубу, где можно обедать,— пусть даже к клубу литераторов,— неизбежно губит начинающего писателя. Эту роковую ошибку совершил не один даровитый юнец, по собственному почину или по совету неразумных друзей пытавшийся «пролезть» в общество знаменитостей,— он сберег свой желудок, но утратил репутацию.

После того как вы расправились со своим желудком (это — общее условие для успешной работы в литературе), вам предстоит выбрать меню, наиболее отвечающее вашим творческим планам. Здесь надо помнить, что все писатели держат свою кухню в тайне. Стивенсон сбежал на Самоа, дабы скрыть тщательно продуманную систему питания и уберечь своих поваров от возможного подкупа. Даже сэр Уолтер Безант, а он очень откровенен с начинающим литератором, не обмолвился ни словом о своей простой, здоровой и незатейливой пище. Сала утверждал, что ел все подряд, однако скорее всего он просто шутил. Наверное, у него было какое-нибудь главное блюдо, а все остальное служило гарниром. Интересно, а чем питался Шекспир? Беконом? Мистер Бэрри выпустил прелестную и весьма поучительную для молодого юмориста книгу о своей трубке и табаке, но почти ничего не сообщил в ней о том, что он ест и пьет. Его рассуждения о трубке повлияли на многих, и теперь каждый молодой репортер-честолюбец непременно вытащит на людях хорошо обкуренную трубочку с этаким диковинным чубуком, хоть его и мутит от табака. Тот факт, что знаменитости столь ревниво оберегают тайну своего питания — заметьте, они никогда не пускают интервьюера на кухню и не дают ему взглянуть на объедки,— разумеется, вынуждает нас прислушиваться ко всяким толкам и строить всевозможные гипотезы. Так, мистер Эндрю Лэнг ассоциируется для многих с лососем, но скорее всего это — чистое заблуждение. Пристрастие к лососине отнюдь не способствует развитию таланта; лососина, как легко убедиться,— кушанье унылое и несытное, способное скорее всего породить мировую скорбь мистера Хэлла Кейна.

Мистер Хэггард — и тот не питался одним сырым мясом. Для мелодраматичной и несколько грустной истории, право, не сыщешь ничего лучше простых булочек с коринкой, только надо есть их свежими да побольше. Легкий юмористический стиль проще всего достигается с помощью содовой и сухих бисквитов, если за ними следует черный кофе. Содовая может быть ирландской или шотландской, на выбор. Дабы научиться писать цветисто и вычурно, новичок должен ограничиться тушеными овощами и кипяченой водой и приобщиться к борьбе против алкоголя, табака, опиума и вивисекции, а также стать защитником вегетарианства и феминизма.

Тем, кто желает сотрудничать в толстых журналах, рекомендуется есть вареную свинину с капустой, запивать ее бутылочным пивом и заедать яблоком в тесте. Это самым действенным образом пресечет всякую склонность к шутке или к тому, что в респектабельных кругах Англии считается двусмысленностью, и обеспечит вам полную поддержку серьезной публики, читающей эти издания. Как только вы почувствуете, что теряете сон и покой, бросайте писать. С другой стороны, для того, чтобы сотрудничать в журналах, именуемых публикой «декадентскими», надо добрую неделю питаться лишь воздушными булочками, изредка позволяя себе выпить чаю у какого-нибудь литератора. Все, кто вскормлен на ячменных лепешках, становятся мозговитыми. Подобная диета — если вы изредка нарушаете ее и наедаетесь до отвала шоколадом и макаронами, запивая их дешевым шампанским,— а также каждодневные прогулки от Оксфорд-Серкус через Риджент-стрит, Пикадилли и Грин-парк в Вестминстер и обратно должны послужить хорошей основой для острой социальной сатиры.

Откуда возникла самобытность мистера Киплинга, неизвестно. А многие хотели бы знать. Возможно, он питался чем-нибудь найденным в джунглях, какими-нибудь ягодами или еще чем. Один мой приятель провел с этой целью серию опытов, но вместо отчета о них оставил завещание, да и то не успел продиктовать до конца. (Это было не совсем обычное завещание: оно состояло из одних проклятий, и в нем не упоминалось ни о какой собственности, кроме его

кишок.) Для детективных рассказов лучше всего идет холодный крепкий чай с черствыми бисквитами, тогда как для социального романа автору надо есть побольше вареного риса с поджаренным хлебом и запивать их водой.

Впрочем, почти все приведенные здесь рецепты основаны на догадках. Несомненно одно: каждый автор, после того, как пищеварение его будет испорчено, должен сам подыскать себе наиболее подходящую диету, а именно такую, которая особенно неприемлема для его желудка. Если вы не добьетесь нужного эффекта с помощью обычной пищи, попробуйте химикалии. Кстати, среди новичков-литераторов огромный успех имело бы какое-нибудь «Писательское питание Джэббера», должным образом разрекламированное и снабженное портретами писателей в их салонах с подписью: «Питался исключительно продуктами Джэббера»,— а также врачебными справками, подтверждающими вредность этих продуктов, и хвалебными (и препарированными разгромными) рецензиями на сочинения авторов, сидящих на пище Джэббера. К указанным продуктам неплохо было бы примешивать небольшую, но действенную дозу мышьяка.

1898

ПОИСКИ КВАРТИРЫ КАК ВИД СПОРТА

С того часа, как Адам и Ева рука об руку вышли из ворот рая, люди без отдыха ищут себе жилище. В любом не слишком захолустном предместье вы повстречаете сегодня толпу новых Адамов и Ев, которые с розовыми ордерами на право осмотра и ржавыми ключами в руках по-прежнему ищут свой Эдем. Для них это отнюдь не развлечение. Большинство этих бедных паломников выглядят просто усталыми, кое-кто вдобавок бранится между собой, и все непременно злые, расстроенные, несчастные: руки у них в грязи — они ощупали столько водяных баков,— а платье перепачкано известкой. Еще недавно, в пору нежного ухаживания, им виделись в мечтах туманные очертания их гнездышка, но вот они пустились искать его по свету — и никак не найдут. А ведь это так для них важно! Они выбирают фон, атмосферу, так сказать, колорит трех-четырех, и притом основополагающих, лет своей жизни.

Выбирать среди этих пустых зданий особенно трудно потому, что вы непременно получаете свое будущее жилище в готовом виде или даже с чужого плеча. Я, по крайней мере, никак не могу отделаться в этих пустых стенах от мысли о покойнике, некогда здесь обитавшем. На обоях, точно белесые призраки, вырисовываются контуры картин прежнего владельца; вот торчат гвозди от незримых гардин, а эта вмятина в стене — последнее напоминание об исчезнувшем фортепьяно. Так и чудится, будто с наступлением сумерек все эти вещи опять спол-

заются на свои старые места. Быть может, в доме жил какой-нибудь нервозный субъект, и эти расшатанные дверные ручки и оборванный шнур колокольчика — следы отгремевших баталий. Вон и в спальне на маркизе порвана тесемка. Он был любителем пива — на полу в подвале пятно от постоянно капавшего крана; отличался беспечностью — по стене видно, что не раз лопались водопроводные трубы; делал все топорно — взгляните, как он починил калитку, лучше уж оставил бы сломанной! Прежний хозяин словно не хочет уступать своих прав — воспоминания о нем рассеяны по всему дому, от подвала до чердака. Право же, это его дом, а не мой. Помимо старых домов, населенных призраками, существуют новые, от которых так и веет духом оптового производства и откровенным желанием строителей сэкономить на чем возможно. Как бы все это вам ни претило, конец всегда один. Обойдя сотню домов в поисках идеала, вы начинаете понимать всю бессмысленность вашей затеи. И вы поступаете, как все. Квартиру всегда снимают в минуту отчаяния.

Однако подобные неприятности подстерегают лишь тех, кто действительно ищет жилье. Того, кто делает это из любви к искусству, ждет лучшая участь. Для него эти прогулки увлекательны сами по себе, их не портит практическая цель. Поиски квартиры превращаются для него в настоящее развлечение, которое почему-то не обрело популярности у нас в Англии. Правда, я слышал, что иные старые дамы коротают таким образом время между церковными службами, но широким кругам населения этот вид спорта совсем неизвестен. А между тем трудно представить себе лучший и вполне отвечающий вкусам эпохи способ провести субботний вечер. Пустой дом — это современный реалистический роман в камне, полный намеков и символов, призванных восполнить отсутствие людей; он побивает нынешнюю литературу ее же средствами: в конце и в начале полная неопределенность. То, что у нас пренебрегают осмотром пустых домов, я объясняю лишь тем, что достоинства сего спорта еще недостаточно познаны. Цель моей книги — ввести его в моду.

Паломник по пустым домам очень скоро подметит одну занятную особенность, а именно: что большая часть

домовладельцев у нас — престарелые леди и джентльмены, живущие по соседству. Недвижимость в виде дома с садом или без оного приобретает для людей определенного возраста какую-то магическую силу, особенно если они из торговцев. Прочитав в смотровом ордере: «Ключ у жильцов через дом», вы можете быть уверены, что встретите именно такого рода хозяев. Вы стучитесь к «жильцам через дом», и спустя немного к вам выходит упитанный лысый джентльмен или дама музейного возраста и предлагают показать вам свою «собственность». Очевидно, между приходами съемщиков эти старички спят, ибо они выходят к вам свежие и полные желания побольше узнать о своих возможных новых соседях. Они расскажут вам все подробности о последнем съемщике, о нынешних соседях справа и слева, о самих себе, о том, как сыро во всех прочих домах по соседству, как еще на их памяти за домом начиналось поле пшеницы, и о том, чем они спасаются от ревматизма. Видя, с каким упоением предаются они этой болтовне, паломник-любитель преисполняется законной гордости от содеянного им доброго дела. Порой иными из этих стариков овладевает приступ дружелюбия. Один джентльмен, коему любой мужчина до сорока должен был казаться ребенком, в подтверждение своих доброхозяйских чувств подарил автору сих строк три огромных зеленых яблока. Пусть это было не бог весть что, но все же эти яблоки вызвали явную зависть кучки мальчишек, после чего перешли в их руки.

Кое-кто из домовладельцев строил дом по собственному плану, и тогда его жилище отличают какие-нибудь сугубо индивидуальные черты: например, отсутствие подвала для угля, башня с зубцами или мраморные колонны, исполненные несоразмерного достоинства. Один маленький, сравнительно молодой старичок с милым румянцем и коротко остриженными серебряными волосами устроил над входом в дом нишу и поместил туда статую, которая походила на Венеру Милосскую в шоколадного цвета пижаме. «Сперва она была голая,— пояснил старичок,— но мои соседи не слишком сильны в искусстве и стали протестовать. Вот я и покрасил ее коричневой краской».

В одной из этих экскурсий автору сопутствовала Ефимия. Тогда-то он и набрел на Хилл-Крест: огромный дом — всего за несчастные сорок шиллингов в год! — который отпирал какой-то ключ-мегатерий. Чтобы повернуть его, пришлось налечь им обоим да еще пустить в ход зонтик. Мизерность платы ставила в тупик, и пока они там сидели — а их задержала гроза,— они ломали себе голову над тем, какое здесь случилось убийство. Из окон верхнего этажа открывался вид на крыши противоположных зданий.

— Интересно, сколько нужно времени, чтобы из подвала подняться наверх? — сказала Ефимия.

— Явно больше, чем мы ежедневно можем себе позволить, — ответил съемщик-любитель. — А представь себе, каково будет искать мою трубку по всем этим комнатам! Боюсь, что, поднявшись с постели в обычный час, в столовую мы доберемся лишь к одиннадцати, а чтобы за ночь толком выспаться, надо будет начать восхождение в спальню с восьми вечера. В этом доме нам придется стать настоящими Гаргантюа — тратить на каждое дело вдвое или втрое больше времени и числить в сутках не двадцать четыре часа, а все сорок восемь. Тогда мы не заметим, сколько у нас пропадает времени на хождение по дому. Если мы будем вдвое дольше сидеть за столом, есть вдвое больше и делать все в масштабе один к двум, то не исключено, что постепенно мы приспособимся к обстановке и сами сделаемся вдвое крупнее.

— Тогда-то, наверно, мы здесь и обживемся,— промолвила Ефимия.

Они опять спустились вниз. Гроза к этому времени разбушевалась вовсю. В комнатах было темно и мрачно. Тяжелая боковая дверь — она закрывалась, лишь когда ее запирали снаружи,— качалась и хлопала под каждым порывом ветра. Но пришельцы не скучали: они затеяли в передней кухне игру в крикет и гоняли зонтом скомканный в шарик смотровой ордер. Съемщик-любитель поднял Ефимию на руки и посадил ее на высокий буфет: тут они сидели и болтали ногами, терпеливо дожидаясь, пока кончится гроза и они смогут уйти.

— Я, наверно, чувствовала бы себя в этой кухне, как одна из моих маленьких кукол на кухне игрушечного домика, который был у меня в детстве,— заметила Ефи-

мия.— Она во весь рост умещалась под столом, и хотя в буфете стояло всего четыре тарелки, каждая из них была ей почти по пояс.

— Твои воспоминания занятны, как всегда,— сказал съемщик-любитель,— и все же они не разъясняют мрачной тайны этого дома. Почему за него просят всего сорок шиллингов в год?

Этот вопрос не давал ему покоя. Сколько он ни расспрашивал, он так и не узнал, отчего дом сдается так баснословно дешево и почему он вечно пустует. Вот с какими загадками сталкивается съемщик. Огромный, с садом чуть ли не в пол-акра дом, где можно поселить добрую полдюжину семей, клянчит у вас жалкие сорок шиллингов в год. Может, его легче сдать за восемьдесят? Подобные вопросы встают перед вами, впрочем, в каждом вашем паломничестве, и это как раз придает особый интерес и приятность данному виду спорта. Разумеется, при условии, что вами не владеет тайное желание стать временным владельцем одного из этих жилищ.

1898

ОБ УМЕ И УМНИЧАНЬЕ

И, кстати, о неком Крихтоне

Крихтон невероятно умный человек — почти неправдоподобно, сверхъестественно умный. И не просто сведущий в том или в этом, а вообще образец ума; вам его никогда не обскакать; он идет по свету и бесцельно рассыпает перлы своего остроумия. Он побивает вас в шутках, ловит на неточностях и подает ваши лучшие номера куда тоньше и оригинальней. Истинно воспитанный человек, на столь многое притязающий, окажется, по крайней мере вам в утешение, уродлив лицом, хил или несчастлив в браке, но Крихтону и в голову не приходит подобная деликатность. Он появится в комнате, где вы, скажем, сидите компанией и острите, и начнет сыпать шутками, пусть и менее забавными, но, бесспорно, более хлесткими. И вот вы один за другим умолкаете и, попыхивая трубкой, глядите на него с тоскою и злобой. Еще не было случая, чтобы он не обыграл меня в шахматы. Люди говорят о нем и спрашивают моего мнения, и, если я решаюсь нелестно о нем отозваться, смотрят так, будто подозревают меня в зависти. Безмерно хвалебные рецензии на его книги и полотна предстают моим взорам в самых неожиданных местах. Право, из-за него я почти перестал читать газеты. И однако...

Подобный ум — еще не все на свете. Он никогда не пленял меня, и мне часто думалось, что вообще он не может никого пленить. Допустим, вы сказали что-то остроумное, произнесли какой-то парадокс, нашли тонкое срав-

нение или набросали образную картину; как воспримут это обычные люди? Те, кто глупее вас, люди нетонкие, заурядные, не посвященные в ваши проблемы, будут попросту раздражены вашими загадками; те, кто умней, почтут ваше остроумие явной глупостью; ровни же ваши сами рвутся сострить и, естественно, видят в вас опасного конкурента. Словом, подобный ум есть не что иное, как чистый эгоизм в его наихудшей и глупейшей форме. Этот поток остроумия, извергаемый на вас без устали и сожаления,— неприкрытое хвастовство. Гуляет себе по свету этакий хмельной раб острословия и сыплет каламбурами. А потом берет те, что получше, и вставляет в рамку, под стекло. И вот появляется импрессионистская живопись вроде картин Крихтона,— те же нанесенные на полотна остроты. Они лишены содержания, и у скромного благомыслящего человека моего типа вызывают приступы отвращения, точно так же, как фиглярство в литературе. Сюжет здесь не более чем предлог, на деле это бессмысленная и неприличная самореклама. Такой умник считает, что возвысится в ваших глазах, если будет беспрестанно вас поражать. Он и подписи-то не поставит без какой-нибудь особенной завитушки. У него начисто отсутствует главное свойство джентльмена: умение быть великодушно-банальным. Я ж...

Если говорить о личном достоинстве, то юному отпрыску почтенного семейства, небездарному от природы, не к чему унижаться до подобного кривлянья. Умничанье — последнее прибежище слабодушных, утеха тщеславного раба. Вы не можете победить с оружием в руках и не в силах достойно снести второстепенную роль, и вот себе в утешение вы пускаетесь в эксцентричное штукарство и истощаете свой мозг острословием. Из всех зверей умнейший — обезьяна, а сравните ее жалкое фиглярство с царственным величием слона!

И еще, я никак не могу избавиться от мысли, что ум — наибольшая помеха карьере. Разве приходилось вам видеть, чтобы по-настоящему умный человек занимал важный пост, пользовался влиянием и чувствовал себя уверенно? Взять, к примеру, хотя бы Королевскую академию или суд, а то и... Какое там!.. Ведь само понятие разума означает способность постоянно искать новое, а это есть отрицание всего устоявшегося.

Когда Крихтон начинает особенно действовать мне на нервы, обретает новых поклонников или входит в еще большую славу, я утешаюсь мыслями о дяде Августе. Это была гордость нашей семьи. Даже тетя Шарлотта произносила его имя с замиранием в голосе. Он отличался поразительной, я бы даже сказал, исполинской глупостью, которая прославила его и, что важнее, доставила ему влияние и богатство. Он был прочен, как египетская пирамида, и от него так же трудно было ждать, чтоб он хоть капельку сдвинулся с места или сделал что-нибудь неожиданное. О чем бы ни шла речь, он всегда выказывал полнейшее невежество; все, что он изрекал своим звучным баритоном, было чудовищно глупо. Он мог — я не раз был тому свидетелем —сровнять с землей какого-нибудь умника типа Крихтона своими похожими на трамбовку тяжелыми, плоскими и увесистыми репликами, которых было ни отразить, ни избегнуть. Он неизменно побеждал в спорах, хотя совсем не был остер на язык. Он просто подминал под себя собеседника. Это походило на встречу шпажонки с лавиной. Душа его обладала колоссальной инертной массой. Он не знал волнения, не терял выдержки, не утрачивал сил, он давил — и все тут. Умные речи разбивались о него, как легкие суденышки о бетонированные берега. Его точным подобием является его надгробный памятник — массивная глыба из нетесаного гранита, откровенно безобразная, но видная за милю. Она высится над лесом крохотных белых символов людской скорби, будто и на кладбище он подавляет собой целую толпу умников.

Уверяю вас, разумное есть противоположность великому. Британская империя, как и Римская, создана тупицами. И не исключено, что умники нас погубят. Представьте себе полк, состоящий из шутников и оригиналов. Свет еще не знал государственного деятеля, который не отличался бы хоть малой толикой глупости, а гениальность, по-моему, непременно в чем-то сродни божественной простоте. Те, кого принято называть великими мастерами — Шекспир, Рафаэль, Милтон и другие,— обладали какой-то особой непосредственностью, неизвестной Крихтону. Они заметно уступают ему в блеске, и общение с ними не оставляет в душе тягостного духовного напряжения. Даже Гомер временами клюет носом. В их

творениях есть пригодные для отдыха места — широкие, овеваемые ветром луговины и мирные уголки. А вот Крихтон не открывает вашим взорам просторов Тихого океана; он томит вас бесконечным видом на мыс Горн; всюду хребты да пики, пики да хребты.

Пусть Крихтон нынче в моде — мода эта недолговечна. Разумеется, я не желаю ему зла, и все же не могу отделаться от мысли, что конец его близок. Наверно, эпоха умничанья переживает свой последний расцвет. Люди давно уже мечтают о покое. Скоро заурядного человека будут разыскивать, как тенистый уголок на измученной зноем земле. Заурядность станет новым видом гениальности. «Дайте нам книги без затей,— потребуют люди,— и самые что ни на есть успокоительные, плоские шедевры. Мы устали, смертельно устали!». Кончится этот лихорадочный и мучительный период постоянного напряжения, а с ним исчезнет и литература fin du siécle'a, декаданса и прочее, прочее. И тогда подымет голову круглолицая и заспанная литература, литература огромной цели и крупной формы, полнотелая и спокойная. Крихтона запишут в классики, господа Мади будут со скидкой продавать его не нашедшие спроса произведения, и я перестану терзаться его тошнотворным успехом.

1898

СВОД ПРОКЛЯТИЙ

Профессор Гнилсток, к вашему сведению, объездил полсвета в поисках цветов красноречия. Точно ангел господень — только без единой слезинки,— ведет он запись людских прегрешений. Проще сказать, он изучает сквернословие. Его коллекция, впрочем, притязает на полноту лишь по части западноевропейских языков. Обратившись к странам Востока, он обнаружил там столь потрясающее тропическое изобилие сих красот, что в конце концов вовсе отчаялся дать о них хоть какое-нибудь представление. «Там не станут,— рассказывает он,— осыпать проклятиями дверные ручки, запонки и другие мелочи, на которых отводит душу европеец. Там уж начали, так держись...»

Однажды в Калькутте я нанял слугу весьма обнадеживающей внешности и месяц спустя или что-то около этого выгнал его, не заплатив. Поскольку дверь была на запоре и он не мог пырнуть меня своим огромным ножом, он уселся на корточках под верандой и с четверти седьмого почти до десяти утра ругал меня почем зря, изливая без продыха невероятный поток анафем. Сперва он клял мой род по женской линии до самой Евы, потом, поупражнявшись слегка на мне самом, взялся за моих возможных потомков, вплоть до отдаленнейших праправнуков. Затем он стал всячески поносить меня самого. У меня заболела рука записывать всю эту благодать. То была поистине антология бенгальской брани — яркой, неистовой, разнообразной. Ни один образ не повторялся дважды. Потом он обратился к разным частям моего те-

ла. Мне здорово с ним повезло. И все же меня терзала мысль, что все это взято у одного человека, а их в Азии шестьсот миллионов.

— Разумеется, подобные изыскания сопряжены с некоторой опасностью,— заметил профессор в ответ на мой вопрос.— Первое условие для собирания брани — это вызвать против себя возмущение, особенно на Востоке, где обычно грозят всего-навсего карами небесными, и надо жестоко оскорбить человека, чтоб он явил вам все свои сокровища. В Англии вы ни от кого не услышите такого залпа откровенных, точных и подробных проклятий, которыми там бьют по врагу,— разве что от дам сомнительной репутации. А ведь несколько столетий назад анафема была обычным делом. Так, в Средние века она составляла часть судебной процедуры. Как явствует из протоколов гражданских палат, истцу полагалось произнести родительское, сиротское или еще какое-нибудь проклятие. Проклятие играло большую роль также и в церковной политике. На одном из этапов истории воинствующее христианство всего мира в унисон кляло по-латыни Венецианскую республику — представляете, какой это был громкий и внушительный хор! По-моему, нельзя допустить, чтобы эти древние обычаи канули в прошлое. А ведь, по моему подсчету, больше половины готских ругательств совсем забыто. В ирландском и гэльском, наверно, тоже имелись отличные вещи; кельты с их большим чувством колорита, живым умом и эмоциональностью всегда превосходили в брани бедных на выдумки тевтонцев Однако все это доживает последние дни.

Право, нынешний средний британец совсем разучился божиться. Трудно себе представить что-нибудь бесцветней и скучней того, что идет сейчас в Англии за брань. Это обычная речь, сдобренная полдюжиной общепринятых ругательств, которые вставляются между словами самым бессмысленным и нелепым образом. Подумать только, непринятые слова — и те употребляются на общепринятый манер! Помню, как однажды после полудня я ехал метрополитеном в вагоне третьего класса для некурящих, битком набитом простолюдинами. Каждое существительное они подкрепляли одним и тем же глупым прилагательным и, несомненно, чувствовали себя удальцами. В конце концов я попросил их не повторять больше

этого слова. Один из них мигом осведомился: «...какого... (право, я не силах приводить его детский лепет!) — какого... (опять это избитое слово) мне дело?» Тогда я спокойно взглянул на него поверх очков и начал сыпать. То было для бедняг настоящее откровение. Они сидели, разинув рты. Затем ближайшие ко мне стали потихоньку отодвигаться, и на первой же остановке, не успел поезд затормозить, они все как один ринулись из вагона, точно я был заразный больной. А монолог мой представлял собой всего лишь слабое подобие нескольких банальных, ничего не значащих фраз, коими сирийские язычники честили обычно американских миссионеров.

— Еще спасибо, женщины помогают, не то в Англии совсем бы иссякло сквернословие,— закончил свою речь профессор Гнилсток.

— Не слишком ли дурно так думать о дамах? — осведомился я.

— Ничуть. По некоторым не очень ясным причинам они решили объявить ряд слов неприличными. Это чистейшая условность. И дело вовсе не в первичном значении этих слов, поскольку у каждого из них есть свой вполне допустимый парафраз или синоним. Но нарушение этого «табу» существом слабого пола считается предосудительным. Впрочем, дамы уже стали догадываться, как им исправить свою ошибку. Слово «чертов», говорят, уже проникло в будуар, и его можно частенько услышать в дамской беседе; возражать против него почитается теперь чуть ли не ханжеством. Между тем мужчины, особенно хлюпики, ни за что не станут делать то же, что женщины. В результате мужчин, поминающих черта, остальные их собратья ставят нынче почти на одну доску с теми, у кого в лексиконе слова «мерзкий» и «противный». Слабый пол скоро почувствует перемену, происшедшую с этим запретным словом. И тогда дамы тут же, разумеется, введут в обиход и все прочие ругательства. Поначалу это, наверно, будет несколько резать слух, но в результате не станет неприличных слов. Я уверен, что найдутся охотники поупражнять свое жалкое остроумие над женщиной, которая первой решится вступить на сей путь, но если дело станет за жертвой, то среди дам всегда найдется подвижница. Борясь против старой веры, она погрязнет в богохульствах и погибнет в них, как в тунике

Несса,— мученица за чистоту нашей речи. И тогда исчезнет наша убогая ругань, это бессмысленное и нарочитое грубиянство. И от этого будет немалая польза.

Есть в этой области один раздел, который я назвал бы «изящным сквернословием». «Ах, сучий прах! — вскричал король, увидев человека, взбирающегося на шпиль Солсберийского собора.— Выдать ему привилегию на право лазать туда, и чтоб больше никто не смел!» Подобные обороты можно занести в рубрику «антикварных проклятий». Для дам имеется вариант — «прах тя возьми», а в Британском музее я однажды наткнулся на такое производное — «прахоблуды». В прежние времена каждый джентльмен стремился иметь свое собственное проклятие, так же как свою особенную прическу, свой экслибрис или какую-нибудь замысловатую подпись. Это словечко порхало в его речи, как бабочка на полотнах Уистлера, одновременно удостоверяя его личность и вызывая восхищение. Вот задрибабочка!.. Я часто подумывал о том, что не худо бы составить сборник таких изысканных примолвок и геральдических ругательств, напечатать его на лучшей бумаге с большими полями, переплести в мягкий сафьян, тисненный золотыми цветочками, и выпустить как подарок ко дню рождения или карманный справочник под титлом: «Обиходные проклятия».

Возвращаясь к брани, должен сознаться, что с грустью гляжу на ее упадок. Это было крайне полезное для морали и здоровья упражнение. Видите ль, когда с человеком случается неприятность или его охватывает волнение, мозг его под действием раздражителей вырабатывает огромное количество энергии. Ему приходится пускать в ход всю свою волю, чтоб сдержать эту энергию. Часть ее просачивается порой к лицевым нервам и искажает лицо судорогой; часть может вызвать работу слезных желез, спуститься по блуждающему нерву, замедлить биение сердца и вызвать обморок или нарушить ток крови в мозговых сосудах и привести к параличу. Если же человек сдержит себя и не даст ей вырваться в одну из этих отдушин, она может перелиться через край, и тогда скандалы, разбитая мебель, а глядишь, и «убивство». Так вот, для всей этой энергии какое-нибудь забористое, крепкое словечко служит природным громоот-

водом. Все примитивные люди и большая часть зверей пользуются проклятиями. Это своего рода эмоциональное «рвотное». Ваш кот фыркает, чтоб не вцепиться вам в лицо. А конь, который не может послать вас к черту, мертвым падает на землю. Теперь, надеюсь, вам понятно, что заставляет меня сожалеть об упадке этого прекрасного и благотворного обычая...

Однако я должен работать. Сейчас я как раз объезжаю Лондон, не платя чаевых кэбменам. Порой удается выудить что-нибудь новенькое, хотя по большей части слышишь одни банальности.

За сим он пульнул в меня игривым трехэтажным и минуту спустя скрылся в клубах дыма, откуда я его перед тем извлек. Вообще он был малый веселый и приятный, хотя, надо признаться, занимался несколько предосудительным делом.

1898

ХРУСТАЛЬНОЕ ЯЙЦО

Год тому назад близ Севендайлса еще стояла маленькая, вся снаружи закопченная лавка, на вывеске которой поблекшими желтыми буквами было написано: «К. Кэйв. Набивка чучел и антиквариат». Набор вещей, выставленных в ее витрине, поражал своей пестротой. Там были слоновые клыки, разрозненные шахматные фигуры, четки, пистолеты, ящик, наполненный стеклянными глазами, два черепа тигра и один человеческий, изъеденные молью обезьяньи чучела (одно — со светильником в лапе), старинная шкатулка, несколько засиженных мухами страусовых яиц, рыболовные принадлежности и на удивление грязный пустой аквариум. В то время, к которому относится наш рассказ, среди всех этих предметов лежал и кусок хрусталя, выточенный в форме яйца и прекрасно отшлифованный. На него-то и смотрели двое стоявших перед витриной лавки: высокий худощавый пастор и смуглый чернобородый молодой человек восточного типа, одетый весьма непритязательно. Молодой человек что-то говорил, энергично жестикулируя, видимо, убеждал своего спутника купить хрустальное яйцо.

Они все еще стояли у витрины, когда мистер Кэйв вышел в лавку из задней комнаты, дожевывая на ходу кусок хлеба с маслом, отчего бородка у него так и ходила ходуном. Увидев этих людей и догадавшись, что их заинтересовало, мистер Кэйв как-то сразу сник. Он виновато оглянулся через плечо и тихо притворил за собой дверь в заднюю комнату. Мистер Кэйв был старичок небольшого роста со странными водянисто-голубыми глаза-

ми на бледном лице. В волосах его мелькала желтоватая седина; на нем был поношенный синий сюртук, допотопный цилиндр и расшлепанные ковровые туфли. Он выжидательно смотрел на разговаривающих. Но вот пастор сунул руку в глубину кармана, посмотрел на вынутые оттуда монеты и блеснул зубами в приятной улыбке. Когда они вошли в лавку, физиономия у мистера Кэйва вытянулась еще больше.

Пастор спросил без всяких обиняков, сколько стоит хрустальное яйцо. Мистер Кэйв бросил тревожный взгляд на дверь в заднюю комнату и ответил: пять фунтов. Обращаясь одновременно к своему спутнику и к мистеру Кэйву, пастор запротестовал против такой высокой цены (она действительно была гораздо выше того, что хотел просить Кэйв, когда эта вещь попала к нему в руки) и начал было торговаться. Мистер Кэйв подошел к входной двери и распахнул ее.

— Цена пять фунтов,— повторил он, видимо, не желая утруждать себя бесцельным спором.

И тут в щелке над занавеской, которой была задернута застекленная дверь в комнату при лавке, показалась верхняя половина женского лица, глаза с любопытством уставились на покупателей.

— Цена пять фунтов,— дрогнувшим голосом проговорил мистер Кэйв.

Смуглый молодой человек пока что молчал, внимательно присматриваясь к Кэйву. Но теперь и он подал голос:

— Хорошо, платите пять фунтов.

Пастор посмотрел на своего спутника — не шутит ли он — и, переведя взгляд на мистера Кэйва, увидел, что тот побелел, как полотно.

— Это слишком дорого,— сказал пастор и, снова порывшись в кармане, стал пересчитывать наличность.

У него оказалось немногим больше тридцати шиллингов, и он стал урезонивать своего спутника, с которым был, видимо, на самой короткой ноге. Это дало мистеру Кэйву возможность собраться с мыслями, и он начал взволнованно объяснять, что, собственно говоря, хрустальное яйцо не продается. Оба покупателя, естественно, удивились: следовало бы подумать об этом раньше! Зачем же тогда было назначать цену? Мистер Кэйв сконфу-

зился, но продолжал твердить, что продать яйцо он не может, так как договорился с другим покупателем. Истолковав эти слова как попытку еще больше набить цену, пастор и его друг сделали вид, будто хотят уйти, но в эту минуту задняя дверь отворилась, и в лавку вошла хозяйка — обладательница черной челки и маленьких глазок.

Эта женщина, полная, с грубыми чертами лица, была моложе мистера Кэйва и гораздо крупнее его. Поступь у нее была тяжелая, лицо — красное от волнения.

— Хрустальное яйцо продается,— сказала она.— И пять фунтов — цена вполне достаточная. Я не понимаю, Кэйв, почему ты отказываешь джентльменам?

Мистер Кэйв, крайне расстроенный этим внезапным вторжением, сердито посмотрел на жену поверх очков и стал — впрочем, не слишком уверенно — защищать свое право вести дела по собственному усмотрению. Между ними началась перепалка. Оба покупателя с интересом наблюдали эту сцену, то и дело подсказывая миссис Кэйв новые доводы. Припертый к стене, Кэйв все же не хотел сдаваться и нес что-то несуразное, путаное об утреннем покупателе хрустального яйца. Волнение дорого ему стоило, но он с необыкновенным упорством продолжал твердить свое.

Конец этому странному спору положил смуглый молодой человек. Он сказал, что они зайдут через два дня, и, следовательно, у того покупателя, на которого ссылается мистер Кэйв, будет время воспользоваться такой отсрочкой.

— Но уж тогда твердо,— сказал пастор.— Пять фунтов.

Миссис Кэйв сочла своим долгом принести извинения за мужа, пояснив, что он у нее иной раз «чудит», и по уходе покупателей супружеская чета приступила к открытому обсуждению этого случая во всех его подробностях.

Миссис Кэйв изъяснялась напрямик. Дрожа от волнения, ее несчастный муж то твердил о каком-то другом покупателе, то сбивался с этой версии и говорил, что хрустальное яйцо стоит не меньше десяти гиней.

— Тогда почему же ты спросил с них пять фунтов? — возразила ему жена.

— Прошу тебя, предоставь мне вести мои дела по собственному усмотрению,—отвечал Кэйв.

В доме мистера Кэйва жили его падчерица и пасынок, и вечером, за ужином, случай в лавке снова подвергся обсуждению. Домашние мистера Кэйва и без того невысоко ценили деловые способности главы семейства, но последний его поступок показался им верхом безумия.

— По-моему, он и раньше придерживал это яйцо,— заявил пасынок, нескладный верзила лет восемнадцати.

— Но пять фунтов! — воскликнула падчерица, юная дева двадцати шести лет, большая любительница поспорить.

Ответы мистера Кэйва были жалки по своей беспомощности: он только невнятно бормотал, что ему лучше знать, как вести дела. Посреди ужина несчастного погнали в лавку — запереть дверь на ночь. Уши у него горели, слезы досады затуманивали стекла очков. «Почему я не убрал яйцо с витрины? Какое легкомыслие!» — вот что не давало ему покоя. Он не видел способа отвертеться от продажи хрустального яйца.

После ужина падчерица и пасынок мистера Кэйва принарядились и отправились гулять, а жена поднялась наверх и, попивая горячую воду с сахаром, лимоном и еще кое с чем, стала обдумывать, как быть с хрустальным яйцом. Мистер Кэйв ушел в лавку и оставался там довольно долго под тем предлогом, что ему надо делать маленькие гроты в аквариумах для золотых рыбок. На самом же деле он был занят совсем другим, но об этом речь впереди.

На следующий день миссис Кэйв обнаружила, что хрустальное яйцо убрано с витрины и припрятано за стойкой подержанных книг по рыболовству. Миссис Кэйв переложила его обратно, на видное место. Говорить об этом с мужем она не пожелала, так как у нее разыгралась мигрень. Что касается самого Кэйва, то у него такое желание вообще никогда не появлялось. Время тянулось томительно. Мистер Кэйв был рассеян больше обычного (если только это возможно) и сверх того крайне раздражителен. После обеда, когда жена, по своему обыкновению, легла отдохнуть, он опять убрал яйцо с витрины.

На следующий день мистер Кэйв повез в одну из клиник морских собачек, которые требовались там для анатомических занятий. В его отсутствие мысли миссис Кэйв снова вернулись к хрустальному яйцу и к тому, как потратить нежданно-негаданные пять фунтов. Она уже успела самым приятным образом распределить эту сумму — между прочим, имелась в виду покупка зеленого шелкового платья и поездка в Ричмонд,— как вдруг звон колокольчика у входной двери вызвал ее в лавку. Посетитель оказался лаборантом из клиники, который пришел пожаловаться на то, что лягушки, заказанные накануне, до сих пор не доставлены. Миссис Кэйв не одобряла этой отрасли торговых операций мистера Кэйва, вследствие чего джентльмену, явившемуся в несколько запальчивом настроении, пришлось удалиться ни с чем после краткой и вежливой — в той мере, в какой это зависело от него,— беседы с хозяйкой. Взоры миссис Кэйв, естественно, обратились к витрине: вид хрустального яйца должен был придать реальность пяти фунтам и мечтам, связанным с ними. Каково же было ее удивление, когда яйца в витрине не оказалось!

Она кинулась к тому месту за прилавком, где нашла яйцо накануне. Но его и там не было. Тогда миссис Кэйв немедленно приступила к обыску лавки.

Доставив морских собачек по адресу, мистер Кэйв вернулся домой около двух часов и застал в лавке полный разгром. Жена его, злая-презлая, стояла на коленях за прилавком и рылась в материале для набивки чучел. Когда колокольчик возвестил о приходе мистера Кэйва, она высунула из-за прилавка свою свирепую красную физиономию и с места в карьер обвинила мужа, что он «спрятал его».

— Кого его? — спросил мистер Кэйв.

— Хрустальное яйцо.

Выражая всем своим видом крайнее удивление, мистер Кэйв бросился к витрине.

— Разве его здесь нет? — воскликнул он.— Боже мой! Куда же оно делось?

В эту минуту из задней комнаты в лавку вошел с громкой бранью пасынок мистера Кэйва, вернувшийся домой за минуту до него. Он работал на той же улице подмастерьем у краснодеревщика, торговавшего подержанной

мебелью, но обедал дома и теперь изволил гневаться, что обед еще не готов. Однако, услыхав о пропаже, мальчишка забыл о еде и перенес свой гнев с матери на отчима. Мать и сын, разумеется, сразу же решили, что мистер Кэйв спрятал хрустальное яйцо. Но он всячески отрицал это, не скупясь на клятвенные заверения, ни для кого не убедительные, и под конец сам стал обвинять сперва жену, а за ней и пасынка в том, что хрустальное яйцо спрятали они, решив тайком продать его. Ожесточенный, полный накала страстей спор привел к тому, что у миссис Кэйв начался нервный припадок — нечто среднее между истерикой и приступом бешенства, а пасынок на целых полчаса опоздал в мебельную мастерскую. Мистер Кэйв укрылся от разбушевавшейся жены в лавке.

Вечером спор возобновился, но уже с меньшей горячностью, и спорщики вели его под началом падчерицы обстоятельно, как судебное разбирательство. Ужин прошел невесело и закончился тяжелой сценой. Мистер Кэйв вскипел и выбежал из лавки, громко хлопнув дверью. Воспользовавшись его отсутствием, остальные члены семьи высказались о нем с полной свободой, а затем обшарили весь дом с чердака до подвала в надежде найти хрустальное яйцо.

На следующий день оба покупателя снова появились в лавке. Миссис Кэйв встретила их чуть не со слезами. Как выяснилось из ее слов, никто, ни один человек не может себе представить, сколько ей всего пришлось вытерпеть от Кэйва на стезе их супружеской жизни. Кроме того, она поведала им — в несколько искаженном виде — историю исчезновения хрустального яйца. Пастор и смуглый молодой человек переглянулись между собой, внутренне посмеиваясь, но согласились с миссис Кэйв, что все это действительно очень странно. Они не стали задерживаться в лавке, так как миссис Кэйв явно вознамерилась изложить им всю свою биографию. Цепляясь за последнюю надежду, она все же успела спросить адрес пастора и пообещала известить его, если ей удастся добиться чего-нибудь от мужа. Адрес был дан, но потом, очевидно, утерян. Миссис Кэйв так и не могла сказать, куда он запропастился.

К вечеру того дня страсти в семействе мистера Кэйва несколько улеглись, и сам он, вернувшись из своей

отлучки, поужинал в полном одиночестве, представлявшем приятный контраст с недавними бурями. Атмосфера в доме по-прежнему оставалась напряженной, но ни хрустальное яйцо, ни покупатели его так больше и не появились.

Теперь, чтобы не вводить кого-либо в заблуждение, мы должны признаться, что мистер Кэйв просто-напросто лгал. Ему было хорошо известно, где находится хрустальное яйцо. Его хранил у себя мистер Джекоби Уэйс, помощник демонстратора больницы св. Екатерины на Уэстборн-стрит. Прикрытое куском черного бархата, оно лежало у него дома на буфете возле графина с американским виски. От мистера Уэйса и были получены сведения, на основе которых написан этот рассказ. Кэйв принес хрустальное яйцо в сумке с морскими собачками и пристал к молодому ученому, чтобы тот спрятал его у себя. Мистер Уэйс согласился не сразу. У него были довольно своеобразные отношения с Кэйвом. Коллекционируя разного рода чудаков, он частенько приглашал к себе старика выкурить трубочку, выпить стакан вина и слушал его не лишенные занятности высказывания о жизни вообще и о миссис Кэйв в частности. Мистеру Уэйсу случалось иметь дело с этой дамой, когда мистера Кэйва не бывало в лавке. Он знал, что Кэйва притесняют дома, и, обдумав все как следует, решил приютить у себя хрустальное яйцо. Мистер Кэйв обещал объяснить свою странную приверженность к этой вещи, а пока что признался, что в хрустале ему открываются видения. В тот же вечер он опять зашел к молодому ученому.

Мистер Уэйс выслушал весьма путаный рассказ. Из него следовало, что Кэйв купил хрустальное яйцо заодно с другой мелочью на аукционе у одного разорившегося антиквара и, не зная стоимости этой вещи, назначил наугад десять шиллингов. Яйцо провалялось в витрине лавки несколько месяцев, и он уже подумывал, не снизить ли цену, как вдруг ему открылось нечто странное.

Надо иметь в виду, что здоровье у мистера Кэйва было плохое, а во время описываемых событий оно совсем расстроилось, чему немало способствовало также пренебрежительное и прямо-таки дурное отношение к не-

му жены и ее детей. Миссис Кэйв, женщина взбалмошная, бессердечная, питала все возрастающую склонность к спиртным напиткам. Падчерица была заносчива и сварлива, пасынок не выносил своего приемного отца и пользовался каждым случаем, чтобы показать это. Хлопоты по лавке тяготили мистера Кэйва, и мистер Уэйс склонен думать, что старику тоже случалось иной раз грешить по части спиртного. В молодые годы Кэйв не знал лишений, получил хорошее образование, а теперь он по целым неделям страдал приступами меланхолии и бессонницей. Когда ему становилось невмоготу от тяжелых мыслей, он тихонько, стараясь никого не разбудить, вставал ночью со своего супружеского ложа и бродил по дому. И однажды, часа в три ночи — было это в конце августа,— случай привел его в лавку.

Эта грязная маленькая конура была погружена во тьму, и только в одном ее уголке теплился какой-то странный свет. Подойдя поближе, мистер Кэйв увидел, что свет исходит от хрустального яйца, которое лежало на краю прилавка, у самой витрины. Тонкий лучик, пробившийся с улицы сквозь щель в ставне, падал прямо на яйцо и словно наполнял его сиянием.

Мистер Кэйв сразу же понял, что это противоречит законам оптики, известным ему еще со школьной скамьи. Если бы луч преломился в хрустале и собрался в фокусе внутри него, это было бы понятно, но такое рассеивание света шло вразрез с основными законами физики. Мистер Кэйв подошел к яйцу поближе, вгляделся в самую его глубь, осмотрел его со всех сторон, вдруг загоревшись той любознательностью, которая помогла ему с молодых лет определить свое призвание. Он поразился, увидев, что свет растекается по всему яйцу, точно это был полый шар, наполненный светящимися парами. Разглядывая яйцо то с правой, то с левой стороны, он случайно заслонил его от луча света, но хрусталь и тогда нимало не потускнел. Потрясенный этим открытием, мистер Кэйв взял яйцо и перенес его подальше от окна, в самый темный угол лавки. Оно продолжало излучать сияние еще минут пять, потом стало медленно тускнеть и наконец погасло. Мистер Кэйв подставил его под луч света, и почти тотчас же сияние снова разлилось по нему.

Эту часть удивительного рассказа старого антиквара мистер Уэйс мог подтвердить. Он сам не раз держал яйцо под лучом шириной чуть меньше миллиметра. И действительно, в полной темноте, накрытый куском черного бархата, хрусталь хоть и слабо, но все же фосфоресцировал. Однако в этой фосфоресценции было что-то странное, и видели ее не все. Так, например, мистер Харбинджер — имя, известное всем, кто интересуется работой Пастеровского института, — вообще не заметил никакого свечения. У мистера Уэйса эта способность была несравненно ниже, чем у мистера Кэйва. И даже у самого мистера Кэйва она сильно колебалась, обостряясь в часы наибольшей усталости и плохого самочувствия.

Свечение в хрустальном яйце с первого дня словно зачаровало мистера Кэйва. И то, что он долгое время ни с кем не делился своим открытием, говорит о его глубоком одиночестве больше, чем мог бы сказать целый том трогательных описаний. Бедняга жил в атмосфере такого недоброжелательства, что вздумай он признаться, что вот такая-то вещь доставляет ему удовольствие, как его мигом лишили бы ее. Он заметил, что с приближением утра, при рассеянном освещении, хрусталь перестает светиться изнутри. Какое-то время вообще удавалось наблюдать это свечение только по ночам в самых темных углах лавки.

Тогда мистер Кэйв решил воспользоваться куском старого бархата, служившего фоном для коллекции минералов. Сложив бархат вдвое и накрыв им голову и руки, он улавливал игру света в хрустальном яйце даже днем. Но тут ему приходилось быть начеку, чтобы не попасться жене, и он предавался этому занятию, залезая из предосторожности под прилавок, только в послеобеденное время, когда она отдыхала наверху. И вот однажды, поворачивая яйцо в руках, мистер Кэйв увидел нечто новое. В глубине хрусталя словно вспыхнула молния, и ему показалось, будто перед ним открылись на миг бескрайние просторы какой-то неведомой страны. Он повернул яйцо еще раз и снова поймал в тускнеющем хрустале то же видение.

Было бы слишком долго и скучно излагать все подробности этого открытия мистера Кэйва. Достаточно

сказать о результатах его опытов: держа хрусталь под углом примерно в сто тридцать семь градусов к лучу света, в нем можно было ясно и подолгу видеть широкую и чем-то совершенно необычную равнину. В пейзаже этом не было ничего фантастического, он казался вполне реальным, и чем сильнее был свет, тем живее и ярче обозначалась в нем каждая его деталь. Всю эту картину пронизывало движение, подчиняющееся размеренному ритму, и она непрестанно менялась в зависимости от направления луча света и той или иной точки зрения. Так бывает, когда рассматриваешь что-нибудь сквозь выпуклое стекло: стоит его повернуть, и все предстает в ином виде.

Мистер Уэйс уверял меня, что мистер Кэйв описывал ему все это очень обстоятельно, без малейших признаков возбуждения, которое обычно наблюдается у галлюцинирующих. Однако все попытки самого мистера Уэйса увидеть сколько-нибудь четкую картину в бледной, опаловой глубине хрусталя оканчивались полной неудачей. Видимо, разница в силе восприятия их обоих была слишком велика и то, что представлялось одному четким, ясным, было для другого всего лишь туманным пятном.

По словам мистера Кэйва, видение, открывавшееся ему в хрустальном яйце, оставалось неизменным. Это была широкая равнина, и он смотрел на нее откуда-то сверху, точно с башни или мачты. На востоке и на западе, далеко-далеко, равнину замыкали высокие красноватые скалы, похожие на те, что он видел на какой-то картине; на какой именно, мистер Уэйс так и не добился от него. Скалы тянулись с севера на юг (направление можно было определить по звездам ночью) и, теряясь в бесконечности, видимо, смыкались где-то в туманных далях. В первый раз мистер Кэйв был ближе к восточной цепи скал; тогда над ними всходило солнце и в воздухе парило множество каких-то существ, похожих на птиц. Против солнца они казались совсем черными, а попадая в тень, ложившуюся от скал, светлели. Внизу, под собой, мистер Кэйв видел длинный ряд зданий, и чем ближе они были к темному краю картины, где преломлялся луч света, тем все более расплывчатыми становились их очертания. Сверкающий

на солнце широкий канал окаймляли деревья с необычными по форме и цвету стволами — то темно-зелеными, как мох, то серебристо-серыми. Что-то большое и яркое пролетело в вышине над красноватыми скалами и равниной. В первый раз это зрелище открывалось мистеру Кэйву на две-три секунды, не больше. Руки у него дрожали, голова тряслась, и неведомая равнина то возникала перед ним, то снова исчезала в тумане, стоило только ему потерять нужный угол зрения.

Второй раз удача пришла только через неделю. Промежуток не дал ничего, кроме нескольких мучительно неясных проблесков и некоторого опыта в обращении с яйцом. Теперь равнина открылась мистеру Кэйву в перспективе. Вид изменился, но у него была странная уверенность, неоднократно подкреплявшаяся в дальнейшем, что он каждый раз смотрит на этот странный мир с одного и того же места, но только в разных направлениях. Большое, длинное здание, крышу которого мистер Кэйв видел впервые внизу, под собой, теперь вытянулось в перспективе. По крыше он его и узнал. Вдоль фасада этого здания шла терраса поистине огромных размеров, а посредине нее, на равном расстоянии одна от другой, высились массивные, но стройные мачты, к верхушкам которых были прикреплены какие-то маленькие блестящие предметы, отражавшие лучи заходящего солнца. О назначении этих предметов мистер Кэйв догадался гораздо позже, когда рассказывал о своих опытах мистеру Уэйсу. Терраса нависала над зарослями роскошных цветущих кустарников, а дальше начинался широкий луг, в траве которого возлежали какие-то странные существа, похожие на огромных, раздавшихся в ширину жуков. За лугом бежала дорога, выложенная узором из розоватого камня, а еще дальше, вдоль цепи скал, сверкала зеркально-гладкая река, заросшая по берегам *красной* травой. Большие птицы тучами величественно парили в воздухе. По ту сторону реки, в чаще деревьев, покрытых мхами и лишайниками, высились дворцы, игравшие на солнце полировкой разноцветного гранита и металлической резьбой. И вдруг перед мистером Кэйвом что-то замелькало; это были словно взмахи крыльев или украшенного драгоценностями веера, и он увидел чье-то лицо, вернее, верхнюю часть

лица, с огромными глазами — увидел его так близко от себя, точно их разделял только прозрачный хрусталь. Испуганный и пораженный живостью этих глаз, мистер Кэйв поднял голову, заглянул за яйцо и, очнувшись от своих видений, увидел себя все в той же холодной, темной лавчонке, пропитавшейся запахом метила, плесени и гнили. И пока он изумленно озирался по сторонам, сияние в хрустале стало меркнуть и вскоре совсем погасло.

Таковы были первые опыты мистера Кэйва. Рассказывал он о них обстоятельно, со всеми подробностями. Мелькнув перед ним в первый раз, пейзаж в хрустальном яйце поразил его воображение, а по мере того, как он обдумывал увиденное, любопытство его перешло в страсть. Дела в лавке он вел теперь спустя рукава, помышляя только о том, как бы поскорее вернуться к своему новому занятию. И вот через несколько недель после странного открытия мистера Кэйва приход в лавку двух покупателей, тревоги, вызванные их намерением купить хрустальное яйцо, и исчезновение его с витрины — словом, все то, о чем я уже рассказывал.

До тех пор, пока мистер Кэйв держал свое открытие в тайне, он любовался этими чудесами украдкой, словно ребенок, одним глазком заглядывающий в чужой сад. Но мистер Уэйс обладал на редкость ясным и точным для начинающего ученого умом. Как только хрустальное яйцо появилось у него в доме и ему удалось убедиться собственными глазами, что старик антиквар говорит правду и что хрусталь действительно светится изнутри, он приступил к систематическому исследованию этого странного явления. Мистер Кэйв, не устававший любоваться зрелищем чудесной страны, просиживал у молодого ученого все вечера, с половины девятого до половины одиннадцатого, а иногда забегал и среди дня в отсутствие хозяина. Приходил он и по воскресеньям, в послеобеденное время. Мистер Уэйс с самого начала вел подробную запись их общих наблюдений, и методичность его помогла установить, какое направление светового луча дает наилучшую возможность обозревать картины, открывающиеся в хрустальном яйце.

Поместив яйцо в ящик с небольшим отверстием для луча и заменив светло-коричневые шторы на окнах сво-

ей комнаты плотными черными занавесками, мистер Уэйс значительно улучшил условия наблюдений, так что вскоре они могли обозревать равнину из конца в конец.

Теперь, после этих предварительных сведений, мы дадим краткое описание призрачного мира внутри хрустального яйца. Исследователи всегда придерживались одного и того же метода работы: мистер Кэйв всматривался в хрусталь и рассказывал, что он там видит, а мистер Уэйс, научившийся писать в темноте еще в студенческие годы, конспектировал его рассказы. Когда хрусталь тускнел, яйцо снова помещали в ящик и включали электричество. Мистер Уэйс задавал вопросы и делал те или иные поправки по ходу наблюдений, стараясь избежать малейших неясностей. Словом, ни того, ни другого нельзя было заподозрить в визионерстве, их занятие носило чисто деловой характер.

Мистера Кэйва больше всего интересовали похожие на птиц существа, которые всякий раз появлялись в хрустале. Сначала он считал этих птиц чем-то вроде дневных летучих мышей, потом, как ни странно, решил, что это ангелы. Головы у них были круглые, поразительно схожие с человеческими. Одно из этих существ когда-то и напугало мистера Кэйва, встретившись с ним взглядом в хрустале. Их серебристые, лишенные оперения крылья искрились на свету, как чешуя у рыбы, только что вынутой из воды. Впрочем, мистер Уэйс вскоре установил, что крылья эти не были похожи на крылья летучих мышей или птиц, а держались на изогнутых ребрах, расходящихся веером от туловища. (Крыло бабочки с чуть изогнутыми прожилками — вот наиболее близкое сходство.) Само туловище у них было небольшое; ниже рта выступали два пучка хватательных органов, похожих на длинные щупальца. Как это ни казалось невероятным мистеру Уэйсу, но в конце концов он пришел к мысли, что именно им, крылатым существам, принадлежат величественные дворцы, напоминающие человеческое жилье, и роскошные цветущие сады — короче говоря, все то, чем ласкала глаз широкая равнина. Мистер Кэйв, со своей стороны, подметил еще одну особенность этих зданий: обитатели их влетали и вылетали оттуда не через двери, а в окна — большие, круглые, легко открывающиеся. Сядут на свои щупальца, при-

жмут сложенные крылья к тонкому, как тростинка, туловищу и легко спрыгнут внутрь. В этом рое было и множество других, более мелких существ, подобных большим стрекозам, бабочкам и летающим жукам, а на зеленой луговине лениво копошились и бескрылые жуки, слепящие глаз своей яркой окраской. Большеголовые мухи огромных размеров, но тоже лишенные крыльев, деловито скакали по дороге и террасам, отталкиваясь от земли при помощи своих щупалец, похожих на человеческие руки.

Я уже упоминал о каких-то блестящих предметах на мачтах, которые стояли на террасе дворца у самого края этой картины. Однажды, когда видимость была исключительно хороша, мистер Кэйв рассмотрел одну из таких мачт и увидел, что этот блестящий предмет ничем не отличается от его собственного хрустального яйца. И, как выяснилось из дальнейших наблюдений, такие же хрустальные шары были почти на всех других двадцати мачтах. Время от времени крылатые существа взлетали на одну из них и, сложив крылья, обхватив ее щупальцами, подолгу, иной раз минут по пятнадцать, пристально вглядывались в хрусталь. Ряд наблюдений, проведенных по совету мистера Уэйса, убедил обоих исследователей, что хрустальное яйцо, в которое они смотрят, укреплено на террасе с двадцатью мачтами, на верхушке крайней из них, и что в лицо мистеру Кэйву заглянул один из обитателей потустороннего мира.

Таковы основные факты этой странной истории. Если не считать ее от начала до конца остроумной мистификацией мистера Уэйса, придется признать одно из двух: либо хрустальное яйцо мистера Кэйва находилось одновременно в двух мирах и, перемещаясь в одном мире, оставалось неподвижным в другом, что совершенно невероятно, либо между обоими хрустальными яйцами существовала какая-то связь и то, что было видно внутри одного из них здесь, на земле, при соответствующих условиях могло открыться наблюдателю в том, другом мире, и наоборот.

Сейчас мы, разумеется, не в состоянии объяснить, каким образом эти два хрустальных яйца могли быть связаны между собой, но современная наука уже не

отрицает такой возможности. Предположение о некоем родстве между ними принадлежит мистеру Уэйсу, и, на мой взгляд, оно вполне правдоподобно.

Но где же находится тот, другой мир? Живой ум мистера Уэйса не замедлил пролить свет и на этот вопрос. После захода солнца небо в хрустале быстро темнело — сумерки там были совсем короткие,— появлялись звезды. Те же звезды, группирующиеся в те же созвездия, мы видим и на нашем небосклоне. Мистер Кэйв узнал Большую Медведицу, Плеяды, Альдебаран и Сириус. Следовательно, тот мир находится где-то в пределах солнечной системы и самое большее — на расстоянии каких-нибудь нескольких сот миллионов миль от нашего. Развивая дальше эту догадку, мистер Уэйс установил, что полночное небо в том мире намного темнее даже нашего зимнего, а солнечный диск несколько меньше. *И на небосклоне там сияли две луны!* («Похожие на нашу луну, но меньшего размера и с другим расположением морей и кратеров».) Одна из этих лун двигалась так быстро, что движение ее было заметно глазу. Поднимались они обе невысоко и исчезали вскоре после восхода — другими словами, вращение их вокруг своей оси сопровождалось затмением вследствие близости обеих к планете, вращающейся вокруг солнца. И все это в точности соответствовало тем астрономическим законам (неизвестным мистеру Кэйву), которые должны существовать на Марсе.

В самом деле, почему не допустить, что, глядя в хрустальное яйцо, мистер Кэйв действительно видел планету Марс и ее обитателей? А если так, значит, вечерняя звезда, ярко сияющая в небе этого далекого мира, была не что иное, как наша Земля.

Первое время марсиане — если это на самом деле были жители Марса,— по-видимому, не подозревали, что за ними наблюдают. Иной раз кто-нибудь из них поднимался на мачту, вглядывался в хрустальное яйцо минуту-другую и перелетал к следующему, вероятно, в поисках лучшей видимости. Мистер Кэйв следил за жизнью этих крылатых существ без всяких помех с их стороны, и его наблюдения, хоть и отрывочные, давали пищу для ума. Представьте себе, какое впечатление о людях сложилось бы у марсианина, если бы он после дол-

гих усилий, напрягая глаза, мог бы лишь минуты по четыре за раз смотреть на Лондон с высоты колокольни св. Мартина! Мистер Кэйв не мог сказать, были ли крылатые марсиане такими же существами, как и те, что скакали по дороге и террасам, и могли ли последние обзавестись по желанию крыльями. Несколько раз на равнине появлялись какие-то двуногие, смахивающие на неуклюжих белых обезьян с прозрачным туловищем. Они паслись среди заросших лишайниками деревьев, и как-то раз один круглоголовый, передвигающийся прыжками марсианин погнался за ними и схватил одного своими щупальцами. Но тут видение сразу поблекло, и мистер Кэйв остался в темноте, сгорая от неудовлетворенного любопытства. В другой раз нечто огромное стремительно пронеслось по дороге вдоль канала. Когда это «нечто» приблизилось к краю картины, мистер Кэйв признал в нем сначала гигантское насекомое, а потом сверкающую металлом машину чрезвычайно сложной конструкции. Он хотел разглядеть ее как следует, но не успел, так быстро она скрылась из виду.

Спустя некоторое время мистер Уэйс вознамерился привлечь внимание марсиан, и в следующий раз, когда глаза одного из них глянули в хрусталь, мистер Кэйв громко вскрикнул и отскочил назад. Уэйс сейчас же зажег свет, и оба они стали подавать знаки марсианину. Но все их старания ни к чему не привели. Когда мистер Кэйв снова посмотрел в глубь хрустального яйца, там никого не было.

Такие сеансы продолжались до первых чисел ноября. Убедившись к этому времени, что подозрения его домашних улеглись, мистер Кэйв стал уносить хрустальное яйцо с собой, с тем чтобы не упускать ни малейшей возможности — днем ли, ночью ли — тешить свою душу видениями, которые составляли теперь весь смысл его жизни.

В декабре, готовясь к экзамену, мистер Уэйс был занят больше обычного; наблюдения над хрустальным яйцом, увы, на неделю пришлось отложить. Неделя прошла, но Кэйв не дал о себе знать и на десятый, а может быть, и на одиннадцатый день. Мистеру Уэйсу не терпелось снова приступить к наблюдениям, поскольку спешная работа у него кончилась, и он сам отправился

к старику антиквару. Выйдя на Севендайлс, он увидел, что у торговца птицами и сапожника окна закрыты ставнями. Лавка мистера Кэйва тоже была на запоре.

Мистер Уэйс постучал в дверь; ему отворил пасынок старика с черной повязкой на рукаве. По его зову в лавке появилась миссис Кэйв в полном вдовьем трауре, хоть и дешевом, но явно рассчитанном на то, чтобы бросаться в глаза, как отметил мысленно мистер Уэйс. Он почти не удивился, узнав, что Кэйв умер и уже похоронен. Миссис Кэйв пустила слезу и несколько сиплым голосом сообщила ему, что она сию минуту с Хайгейтского кладбища. Вдовица, видимо, была вся во власти мыслей о своей дальнейшей судьбе и перипетий торжественной церемонии погребения, так что мистер Уэйс не сразу и с большим трудом выведал у нее подробности смерти старика.

Кэйва нашли мертвым в лавке рано утром на другой день после их последней встречи с мистером Уэйсом. Окоченевшие руки старика сжимали хрустальное яйцо, рассказывала миссис Кэйв, на губах застыла улыбка. Рядом с ним на полу лежал кусок черного бархата. Смерть наступила часов за пять, за шесть до того, как его обнаружили.

Уэйс был потрясен этим рассказом и горько упрекнул себя за то, что смотрел сквозь пальцы на явно ухудшавшееся здоровье старика. Впрочем, главным образом его беспокоило хрустальное яйцо. Зная некоторые особенности характера миссис Кэйв, он приступил к расспросам с осторожностью. И совершенно онемел от неожиданности, узнав, что хрустальное яйцо уже продано.

Когда покойника перенесли наверх, миссис Кэйв сразу же вспомнила про чудака пастора, предлагавшего пять фунтов за хрустальное яйцо, и решила написать ему о своей находке. Но лихорадочные поиски его адреса, в которых принимала участие и ее дочь, ни к чему не привели: бумажка затерялась. У миссис Кэйв не было средств на сложные по ритуалу похороны, которых заслуживал столь почтенный обитатель Севендайлса, и она прибегла к помощи одного знакомого торговца с Грэйт-Портленд-стрит. Он любезно согласился взять часть вещей Кэйва по собственной расценке. В их числе было и хрустальное яйцо. Выразив, правда,

несколько второпях, приличные случаю соболезнования вдове, мистер Уэйс поспешил на Грэйт-Портленд-стрит. Но там он узнал, что хрустальное яйцо уже продано и что купил его высокий смуглый человек в сером костюме. Здесь фактический материал этой странной, но, на мой взгляд, наводящей на размышления истории внезапно обрывается. Торговец с Грэйт-Портленд-стрит не знал, кто был тот высокий смуглый человек в сером, и не мог точно описать его мистеру Уэйсу. Он даже не заметил, в какую сторону покупатель пошел, выйдя из лавки. Мистер Уэйс до конца испытал терпение торговца, изливая в бесконечных расспросах свою досаду. Убедившись напоследок, что всему этому делу пришел конец, что теперь уж ничего не попишешь, он вернулся домой и с удивлением увидел свои заметки о наблюдениях над хрустальным яйцом, которые по-прежнему лежали на его заваленном книгами и бумагами столе.

Легко представить себе разочарование и досаду молодого ученого. Он еще раз сходил к торговцу на Грэйт-Портленд-стрит (столь же безуспешно), дал объявления в газеты и журналы, которые могли попасть в руки коллекционеров разных редкостей. Написал письма в «Дейли кроникл» и «Нэйчюр», но оба эти органа, заподозрив тут мистификацию, посоветовали ему подумать как следует, прежде чем настаивать на опубликовании своих писем. Кроме того, мистеру Уэйсу было дано понять, что эта странная история, лишенная каких бы то ни было вещественных доказательств, может повредить его репутации ученого.

Месяца через полтора после двух-трех последних бесед с антикварами мистер Уэйс скрепя сердце отказался от поисков хрустального яйца, тем более что работа в больнице оставляла у него мало свободного времени. Впрочем, недавно молодой ученый признался мне (и я не имею оснований не верить ему), что бывают дни, когда он бросает самые неотложные дела и, полный рвения, принимается разыскивать пропажу.

Найдется ли хрустальное яйцо или оно исчезло навсегда, об этом сейчас можно только гадать. Если теперешний его обладатель — коллекционер, он, казалось бы, должен узнать через антикваров, что эта вещь разы-

скивается. Мистер Уэйс уже выяснил, кто были те люди — пастор и «восточный человек», приходившие в лавку к мистеру Кэйву. Оказалось, что это достопочтенный Джеймс Паркер и молодой яванский принц Боссо-Куни. Им я обязан некоторыми подробностями этой истории. Настойчивость принца объяснялась просто любопытством и... долей чудачества. Ему захотелось купить хрустальное яйцо только потому, что Кэйв со странным упорством отказывался продать его.

Вполне вероятно, что тот, кому в конце концов досталась эта вещь, был не коллекционер, а просто случайный покупатель, и, может быть, хрустальное яйцо находится сейчас на расстоянии какой-нибудь мили от меня и украшает чью-нибудь гостиную, а то и служит пресс-папье, не обнаруживая своих замечательных свойств. Откровенно говоря, эта мысль отчасти и побудила меня изложить всю эту историю в форме рассказа в расчете на то, что так она скорее попадет на глаза рядовому потребителю беллетристики.

Мое собственное мнение о хрустальном яйце вполне совпадает с мнением мистера Уэйса. По-моему, между хрустальным шаром, укрепленным на вершине марсианской мачты, и хрустальным яйцом мистера Кэйва существует какая-то тесная связь, в настоящее время еще не разгаданная. Мы оба считаем также, что хрустальное яйцо могло быть послано с Марса на Землю (вероятнее всего, в незапамятные времена), когда марсиане захотели поближе познакомиться с нашими земными делами. Допускаю мысль, что у нас на Земле где-нибудь есть и другие такие же хрустальные шары — парные тем, что украшают остальные марсианские мачты. Во всяком случае, ссылками на галлюцинации тут ничего не объяснишь.

1899

СОДЕРЖАНИЕ

РАССКАЗЫ

Индекс 70665

Герберт Уэллс.
Собрание сочинений в 15 томах.
Том III.

Редактор тома С. Майзельс.

Оформление художника
Н. Гришина.

Иллюстрации художника
Е. Казакова.

Технический редактор
А. Шагарина.

Подп. к печ. 17/VI 1964 г. Тираж 350 000 экз.
Изд. № 1155. Зак. 1102. Форм. бум. 84×108 1/32.
Физ. печ. л. 15,5+4 вкл. иллюстраций.
Условн. печ. л. 25,83. Уч.-изд. л. 27,22.
Цена 90 коп.

Ордена Ленина типография газеты «Правда»
имени В. И Ленина. Москва, А-47,
улица «Правды», 24.